



UNIVERSITAS TARTUENSIS  
HUMANIORA: LITTERAE RUSSICAE



STUDIA RUSSICA HELSINGIENSIA  
ET TARTUENSIA

XII

МИФОЛОГИЯ  
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

К 80-летию Сергея Геннадиевича Исакова

ТАРТУ 2011

HUMANIORA: LITTERAE RUSSICAE

STUDIA RUSSICA HELSINGIENSIA  
ET TARTUENSIA

XII

TARTU ÜLIKOOLI  
VENE KIRJANDUSE ÕPPETOOL  
КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

UNIVERSITAS TARTUENSIS  
HUMANIORA: LITTERAE RUSSICAE

STUDIA RUSSICA HELSINGIENSIA  
ET TARTUENSIA

XII

МИФОЛОГИЯ  
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

К 80-летию Сергея Геннадиевича Исакова



TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS

Настоящий сборник издается под эгидой международной редколлегии: **Humaniora: Litterae Russicae**, утвержденной на заседаниях Совета философского факультета Тартуского университета 8.02.2006 г. и 30.03.2011 г.:

Д. Бетеа (США), А. Долинин (США), С. Доценко (Эстония),  
Л. Киселева (Эстония) — председатель редколлегии,  
А. Лавров (Россия), Р. Лейбов (Эстония), А. Немзер (Россия),  
А. Осповат (США), П. Песонен (Финляндия),  
Л. Пильд (Эстония), Т. Степанищева (Эстония),  
П. Тороп (Эстония), О. Ханзен-Леве (Германия)

*Редакторы тома:* Л. Киселева, Т. Степанищева

*Технический редактор:* С. Долгорукова

*В редактировании настоящего тома участвовали:* Р. Войтехович,  
Т. Гузаиров, Л. Зубарев, Д. Иванов, Л. Киселева, Р. Лейбов,  
Л. Пильд, К. Сарычева, Т. Стащенко, Т. Степанищева, П. Успенский,  
А. Федотов, Е. Фомина, А. Чабан

Все статьи и публикации настоящего тома прошли  
предварительное рецензирование  
Kõik kogumiku materjalid on läbinud eelretsenseerimise  
All manuscripts were peer reviewed

*Авторские права:*

Статьи и публикации: авторы, 2011

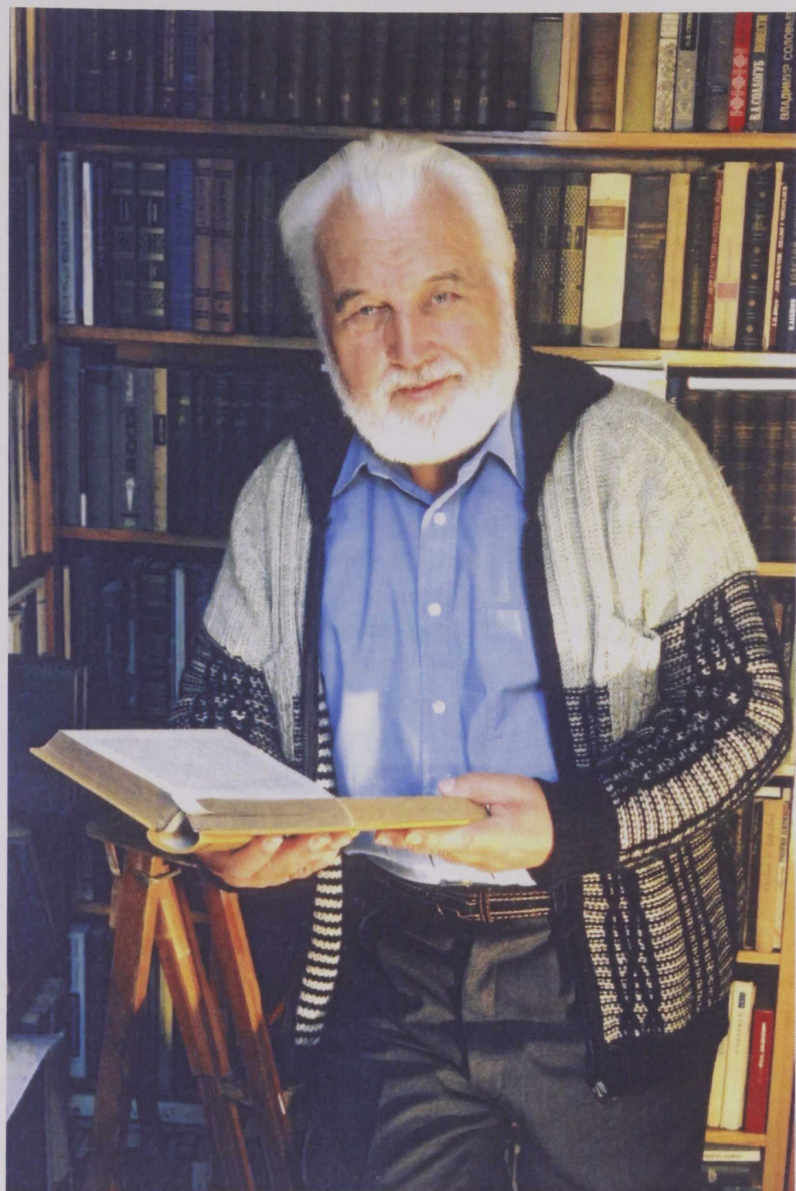
Составление: Кафедра русской литературы Тартуского  
университета, 2011

*Издание осуществлено на средства  
гранта ЭНФ № 7901  
Raamat on välja antud ETF grandi nr 7901 rahadega*

ISSN 1239–1611  
ISBN 978–9949–19–852–8

Tartu Ülikooli Kirjastus / Tartu University Press  
www.tyk.ee  
Eesti / Estonia





## ЗАЧИНАТЕЛЬ ТРАДИЦИИ

Двенадцатый сборник серии “*Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*” посвящается человеку, который стоял у ее истоков — у истоков сотрудничества двух кафедр русской литературы, Хельсинкского университета и Тартуского университета, совместных хельсинкско-тартуских научных семинаров, давно ставших большими международными конференциями. Идея сотрудничества родилась в то время, когда профессор С. Г. Исаков работал по обмену в Хельсинкском университете (1983–1986). Непросто было в условиях еще Советского Союза осуществить этот смелый проект и преодолеть всевозможные идеологические и бюрократические барьеры. Но заведующие двумя кафедрами — Пекка Песонен и Сергей Исаков — сделали, казалось, невозможное<sup>1</sup>: 2–3 июня 1987 г. в финской столице состоялся первый семинар, на который прибыла (через Москву!) тартуская делегация из семи человек. С тех пор каждые два года ученые из двух городов и их коллеги из разных стран встречаются попеременно в двух университетах. Последний, двенадцатый семинар, состоялся в Тарту 11–13 сентября 2009 г., его труды представлены в настоящем сборнике.

Сергей Геннадиевич Исаков родился 8 октября 1931 г. в Нарве. В своем сердце он остается нарвлянином, хотя большая часть его жизни прошла в Тарту. В 1949 г. он поступил на отделение русского языка и литературы историко-филологического факультета Тартуского университета; в 1954 г. защитил дипломную работу на тему «Литературное общество “Арзамас” и декабристы». Формально руководителем значился доц. Б. В. Правдин, но реально работой руководил Ю. М. Лотман, который всегда называл С. Г. Исакова своим первым учеником.

---

<sup>1</sup> Воспоминания П. Песонена хорошо передают атмосферу тех лет. См.: Вышгород. 1998. № 3. С. 185–189.

После окончания университета с отличием вчерашний выпускник был оставлен при кафедре русской литературы — сначала в должности лаборанта, но уже через год — старшего преподавателя. Первая научная работа была опубликована С. Г. Исаковым уже в студенческие годы. Над кандидатской диссертацией «Прибалтика в русской литературе 1820–1860-х гг.» он работал почти десять лет (защитил в 1963 г. в Ленинградском университете), зато монографию «Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов» (1961), составившую основу диссертации, широко цитируют до сих пор как один из основополагающих трудов по теме. Существенным вкладом в изучение русско-эстонских литературных и культурных связей стала и докторская диссертация С. Г. Исакова «Русская литература в Эстонии в XIX веке», защищенная в Тарту в 1974 г. К этому моменту он уже был признанным экспертом в области межкультурных контактов, истории эстонской литературы и журналистики, связей культуры Эстонии с культурами соседних и отдаленных стран и народов, истории Тартуского университета. Его научные труды были отмечены государственными наградами: в 1970 г. литературной премией Эстонии за монографию «Сквозь годы и расстояния», в 1985 г. за книгу «История Тартуского университета» (в соавторстве) — государственной премией<sup>2</sup>.

В 1967 г. С. Г. Исаков становится доцентом, в 1976 г. — профессором, в 1980 г. — заведующим кафедрой русской литературы Тартуского университета. В этой должности он про-

---

<sup>2</sup> Всего список научных трудов профессора С. Г. Исакова (см.: <http://www.ut.ee/FLVE/ruslit/staff/sgi/list.doc>) насчитывает более 500 работ, в их числе 10 монографий, учебники для высшей и средней школы, три антологии и около 750 энциклопедических статей. Работы публиковались на английском, армянском, болгарском, венгерском, грузинском, немецком, польском, русском, украинском, финском, шведском, эстонском, японском и др. языках. Количество докладов, прочитанных С. Г. Исаковым на международных конференциях в Англии, Венгрии, Германии, России, Польше, США, Финляндии, Эстонии, Японии и др. странах, мы подсчитать не беремся.



работал до 1992 г., когда стал профессором возобновленной кафедры славянской филологии. Свои лекции по истории литературы Прибалтики, Закавказья, восточно- и западнославянских литератур, спецкурсы по русской культуре в Эстонии и русско-эстонским литературным контактам он продолжал читать и после того, как в 1997 г. стал профессором-эмеритусом. С Исаковым-преподавателем знакомы студенты многих университетов Финляндии, Италии, России, Латвии, Литвы, Грузии и других стран. Его лекторскую манеру характеризует основательность, скрупулезная точность в изложении фактов, а педагогический почерк — требовательность и одновременно очень доброжелательное отношение к студентам. Недаром под руководством С. Г. Исакова защищено в Тартуском университете более 70 дипломных работ, 3 кандидатских и одна магистерская диссертация. Почти все они посвящены русско-эстонским литературным связям, и мы вполне можем говорить о «школе Исакова», которая продолжается в рамках Русского исследовательского центра в Эстонии, основанного мэтром в 1993 г. и руководимого им до настоящего времени. Труды Центра составляют заметную часть научной продукции, выходящей в Эстонии на русском языке.

В 1990-е гг. начинается новый этап в научной и общественной деятельности проф. С. Г. Исакова. В 1995–1999 гг. он являлся депутатом эстонского парламента (Riigikogu) и членом Балтийской ассамблеи (парламентского объединения балтийских стран). Как член комиссии по образованию и культуре он много сделал для сохранения и развития русского образования в Эстонии. Его вклад в политику ЭР был отмечен орденом Белой звезды III степени (2003), а неутомимая деятельность по продвижению русской культуры — Пушкинской медалью (РФ, 2010).

В научной области С. Г. Исаков начинает новое направление исследований — изучение истории русской эмиграции и культуры русского национального меньшинства в Эстонии. Здесь в полной мере раскрылся дар ученого — неутомимого архивиста и опытного источниковеда, который помог ему в короткий срок поднять и ввести в научный оборот огромный

фактический материал. Он был обобщен в серии очерков проф. Исакова «Русские в Эстонии (1918–1940)» (1996) и в коллективной монографии, вышедшей под его редакцией в 2001 г. — «Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике (1918–1940)». Большое значение имеет и «Словник» (3-е изд. — 2006) для будущего словаря русских общественных и культурных деятелей в Эстонии, работа над которым ведется под его руководством.

Для широкого читателя в последнее десятилетие вышли две ценные антологии С. Г. Исакова — «Эстония в произведениях русских писателей XVIII – начала XX века» (2001) и «Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918–1940 гг.» (2002), а также его книги — «Очерки истории русской культуры в Эстонии» (2005), «Путь длиною в тысячу лет. Русские в Эстонии: История культуры» (Ч. 1, 2008) и «Властители Российской Империи на эстонской земле» (2009, в соавт. с Т. К. Шор).

Среди интенсивной и богатой достижениями научной жизни Сергей Геннадиевич не забывает и свои увлечения. Он — заядлый грибник и путешественник, мастер застолья и доброй шутки. Всем памятно и его доброе дело, о котором свидетельствует памятная доска (2002) в здании, где располагается отделение славянской филологии: свою премию имени Игоря Северянина С. Г. Исаков пожертвовал на обустройство родного отделения переехавшего тогда на новое место.

Коллеги и ученики поздравляют Сергея Геннадиевича с юбилеем и желают долгой и плодотворной деятельности во славу русской культуры в Эстонии.

## ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящий сборник продолжает на новом материале и в новом ракурсе проблематику прежних выпусков серии “*Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*” — в первую очередь, темы «своего» и «чужого» в литературе и культуре (вып. IV) и границы в культуре (вып. VI). Мифология культурного пространства трактуется в настоящем издании как проблема «идеологической географии» — трансформации этногеографических реалий в воображаемое пространство, конструируемое в культуре, и формирования национальных стереотипов в литературе и публицистике<sup>1</sup>. Такую концепцию отражает и структура сборника.

Первый раздел посвящен пространственному аспекту. Большинство статей сосредоточено на разнообразных способах мифологизации России в русской, финской и эстонской литературах, на столкновении двух культурных парадигм в одном тексте. Отдельные темы — участие словесности в выстраивании государственной идеологии через мифологизацию пространства и отражение пространственных мифов в языке. Анализируемый материал охватывает широкие временные рамки — от начала становления Российской империи до современности, территориальный охват также велик — от западных окраин бывшей империи и западных границ современной России до Сибири. Жанровый диапазон — от лирики до совре-

---

<sup>1</sup> Сборник издается в рамках проекта ЭНФ № 7901 «“Идеологическая география” западных окраин Российской империи в литературе» и составлен по материалам двух международных научных встреч — совместного хельсинкско-тартуского семинара «Мифология культурного пространства» (Тарту, 11–13 сентября 2009 г.) и тартуского семинара «Нации в литературе» (Тарту, 3–5 декабря 2010 г.). Статьи, написанные на основе прочитанных докладов, подверглись существенным изменениям и дополнениям по сравнению с докладными версиями.



менного романа, от церковной проповеди до путеводителей и путевых заметок.

Статьи второго раздела сосредоточены, в основном, на имперской проблематике и на том, как народы, населявшие западные регионы Российской империи — остзейские провинции (Эстляндия, Лифляндия, Курляндия), Царство Польское, Великое княжество Финляндское, Малороссию — воспринимали друг друга и воспринимались в русской литературе. Особое внимание уделено теме, до сих пор недостаточно разработанной в науке, — участию литературы в национальном строительстве и в формировании национальных мифов. На разнообразном материале (образы немцев, литовцев, финнов, поляков, украинцев в русской литературе, немцев в латышской и эстонской литературах и т.п.) авторы статей демонстрируют, что в художественной словесности национальные образы конструируются не столько на основании бытовых впечатлений, сколько исходя из общих мировоззренческих установок писателя, из литературной традиции и, наконец, из поэтики конкретного текста. Отдельную проблему составляют способы конструирования образа собственной нации в собственной национальной литературе. Здесь поиски решений связаны с необходимостью нахождения «другого», на фоне которого выстраивается образ «своего». Другая проблема, затронутая в разделе, — пути складывания национальных стереотипов и роль литературы в этом процессе.

Проблематика сборника в целом встраивается в более общую научную проблему изучения истории межкультурных отношений. В ее исследование на материале русско-эстонских литературных и культурных связей, контактов русской и эстонской культур с другими национальными большой вклад внес профессор Сергей Геннадиевич Исаков. Ему и посвящено настоящее издание.

## СОДЕРЖАНИЕ

Борис Егоров. К портрету Сергея Геннадиевича Исакова (по переписке Ю. М. Лотмана и Б. Ф. Егорова 1958–1963 гг.) .....	17
---	----

### I

Мария Сморжевских - Смирнова. Парадиз в географии Петра Великого .....	28
Роман Лейбов, Александр Осповат. К польской теме у Хомякова .....	44
Бен Хеллман. «Много! Многоо! Многоо!» Финская выставка в Петрограде в 1917 г. ....	52
Евгений Сошкин. Между могилой и тюрьмой: «Голубые глаза и горячая лобная кость...» О. Мандельштама на пересечении поэтических кодов (Статья вторая) .....	74
Галина Пономарева. К советской мифологии эстонского пространства («красная Россия» и «окровавленная Эстония») .....	109
Татьяна Шор. «О, дивный остров Валаам!»: паломничество на Валаам в русской литературе и публицистике Эстонии в 1930-е гг. ....	121
Татьяна Степанищева. «И ему показалась Россия...»: баллада Д. Самойлова и ее перевод Я. Кросса .....	145
Андрей Немзер. Два «московских» стихотворения Давида Самойлова .....	163
Пекка Песонен. Россия как мифологизированное пространство в современной финской литературе .....	184

Николай Вахтин. От «дикости» к «другому»: к эволюции образа Сибири и Севера в русском языке .....	203
---	-----

## II

Любовь Киселева. Литературная составляющая в имперском национальном проекте .....	217
Дмитрий Иванов. Трактровка финского этноса в трилогии А. А. Шаховского «Фин» и ее источник .....	234
Инна Булкина. «Известная фамилья»: польский патриот граф Фаддей Чацкий .....	250
Генрих Киршбаум. Брут, Мазепа, Валленрод: О специфике украинской тематики в творчестве К. Ф. Рылеева .....	265
Елизавета Фомина. Этническая характеристика как проблема поэтики (немецкие персонажи в творчестве И. С. Тургенева) .....	278
Алексей Вдовин. Русский народный характер как «литературный обман» (рассказ А. Ф. Писемского «Леший») .....	301
Аннелоре Энгель-Брауншмидт. Прибалтийские немцы о себе и о других .....	318
Янина Курсите-Пакуле. Образ немца в латышской литературе .....	337
Тимур Гузаиров. Прагматика образа «верноподданного финна» в идеологических текстах 1809–1854 гг. ....	349
Евгения Назарова. Рассказы К. А. Скуйе о латышских крестьянах для русского юношества (1890-е гг.) .....	373

Павел Лавриненц. Литовцы в русской литературе XIX – начала XX веков .....	384
Татьяна Мисникевич. «Польский вопрос» в лирике и публицистике Федора Сологуба .....	401
Олег Лекманов. У «Лукоморья»: К истории одного «националистического» журнала .....	411
Роман Войтехович. Польская гордыня и татарское иго в стихах Цветаевой к Ахматовой .....	427
Леа Пильд. Об эволюции личности и нации в романе А. Х. Таммсааре «Я любил немку» (роль русской литературной традиции) .....	451
Роман Абисогомян. А. К. Баиов — русский генерал на эстонской службе .....	468
Kokkuvõtted .....	482
Об авторах .....	498
Contents .....	502

К ПОРТРЕТУ  
СЕРГЕЯ ГЕННАДИЕВИЧА ИСАКОВА  
(по переписке Ю. М. Лотмана и  
Б. Ф. Егорова 1958–1963 гг.)

БОРИС ЕГОРОВ

С. Г. Исаков, студент отделения русского языка и литературы историко-филологического факультета Тартуского университета в 1949–1954 гг., стал известен авторам переписки с 1951 г., когда они начали преподавать на отделении. В 1952 г. он трудился в семинаре Б. Ф. Егорова<sup>1</sup>, где представил для обсуждения свою курсовую работу о романе А. Н. Степанова «Порт-Артур» (1946), невиданную по объему — несколько сотен рукописных страниц, содержащую подробнейший анализ произведения с использованием материалов чуть ли не всей истории русско-японской войны. Тогда было принято зачитывать на заседании семинара полный текст курсовой работы, и для ее полного прочтения С. Г. было выделено несколько недель. В последнем учебном университетском году С. Г. под руководством Ю. М. Лотмана писал дипломную работу «Литературное общество “Арзамас” и декабристы».

Уже на студенческой скамье С. Г. показал себя как зрелый ученый, поэтому у руководства кафедры не было ни малейших сомнений: надо добиться, чтобы при распределении окончивших С. Г. оставили при университете. Это было непростым делом. В Советской Эстонии во все учебные заведения, от школ до вузов, были в обязательном порядке введены обширные курсы русского языка, преподавателей катастрофически не хватало, и поэтому каждый выпускник русского отделения был на учете. Б. Ф. Егорову, тогдашнему заведующему кафедрой русской литературы, стоило больших усилий уговорить

---

<sup>1</sup> Считаю более удобным использовать форму третьего лица.



ректора Ф. Д. Клемента освободить С. Г. от распределения в школу и оставить его при университете. К сожалению, ставки преподавателя тогда не нашлось, и следующий учебный год С. Г. проработал лаборантом кафедры. Он оказался идеальным лаборантом, все документы содержал в изумительном порядке, да еще отличился прекрасной осведомленностью в жизни университета и факультета в особенности.

С 1955 г. С. Г. вошел в преподавательский состав кафедры русской литературы. Любопытно, что его молодость лишала тогда старших коллег собранной вежливости при обращении к нему: он долгие годы потом ходил в «Сергеях», без отчества, а первое его упоминание в переписке вообще было «Сережка». Это письмо Ю. М. Лотмана от 26 июля 1958 г., где есть строка: «Сережка матерится по поводу целины» [Лотман—Егоров]. Его матерщина оказалась обоснованной. Дело в том, что в те хрущевские годы, когда бурно осваивалась казахстанская целина, во время летних каникул вузы должны были организовывать студенческие отряды для уборки урожая, а руководить ими полагалось преподавателям. С. Г. как самому молодому из нас выпала «честь» отправляться в Казахстан, чего он, как человек науки, страстно не желал: летние каникулы он мечтал посвятить работе в питерских и московских библиотеках и архивах. Но пришлось ехать. Преподаватели — руководители отрядов, если они были настоящими людьми, сами участвовали в уборке. С. Г. стал помощником комбайнера и на этом поприще заработал травму: прицепляя комбайн к трактору, он поранил руку и сломал себе мизинец.

Но жизнь все-таки шла вперед. С. Г. под руководством Ю. М. Лотмана энергично продвигал к концу свою кандидатскую диссертацию «Прибалтика в русской литературе 1820-х — 1860-х годов» [Исаков 1962], которая, как и его курсовые работы, была перенасыщена материалом и составляла 998 страниц. Чтобы не пугать будущих оппонентов величиной своего труда, С. Г. намеренно не довел его объема до 1000 страниц.

Чем ближе диссертация С. Г. подходила к концу, тем серьезнее авторы переписки стали заниматься проблемами ее защиты. В Тарту тогда, к сожалению, не было возможности за-



щитить работу по русской филологии. И естественно, без колебаний намечался Ленинградский университет, ЛГУ, *alma mater* авторов переписки, где как раз в то время и Ю. М. Лотман защищал свою докторскую диссертацию «Пути развития русской литературы преддекабристского периода». Ю. М. закончил ее в самом начале 1961 г., представил на кафедру русской литературы ЛГУ в марте 1961 г., защита состоялась неожиданно быстро в мае 1961 г. Именно в эти месяцы уже заканчивал свою кандидатскую диссертацию и С. Г.

В июне 1960 г. С. Г. переступил через последнюю очень важную официальную ступень перед защитой — так называемый «кандидатский минимум»: это три серьезных экзамена по специальности, по иностранному языку и по философии. Принимали эти экзамены специальные комиссии при трех кафедрах. 8 января 1960 г. находившийся тогда в Питере Б. Ф. Егоров получил напоминание от Ю. М.: «Узнали ли Вы для Беззубова<sup>2</sup> и Сергея? Не ленитесь, сделайте!!!!» [Лотман 1997: 122]. Очевидно, нужно было конкретно договориться о сроках сдачи экзаменов. А 21 июня того же года Егоров пишет Лотману из Анапы, где находился на отдыхе: «Передайте торжественно Сергею и Вал<ерию> Ивановичу мои поздравления с успешным завершением минимума» [Лотман–Егоров].

Но прошло больше года после сдачи кандидатского минимума до того момента, когда авторы переписки вплотную занялись проблемами защиты — во второй половине 1961 г. С. Г. еще только заканчивал свой труд. Прежде всего нужно было подобрать оппонентов. Первое письмо, из которого становится ясно, что кандидатуры оппонентов начали серьезно обсуждаться, — письмо Лотмана к Егорову от 18–19 января 1962 г.:

---

<sup>2</sup> Товарищ С. Г. по сдаче экзаменов и его однокурсник Валерий Иванович Беззубов (1929–1991), преподаватель кафедры, защитил свою диссертацию значительно позже, в 1968 г.

Дела такие: сходите к Макогону<sup>3</sup> и заведите с ним обворожительный разговор о Сергее (дескать, наш ученик и то и сё) и договоритесь. Сергей надеется сдать работу в марте–апреле. Кто бы оппоненты? Берков<sup>4</sup> и Предтеченский<sup>5</sup>? или Рейсер<sup>6</sup> и Предтеченский. Потолкуйте с Рейсером, а Предт<еченского> я беру на себя.

Надо договориться с Макогоном (или Ереминым<sup>7</sup>), чтобы на рецензию послать в Таллин. Если такая договоренность будет, то Сергей бы это сделал прямо из Тарту, сильно сэкономив время.

Но самое главное — закрутить машину, чтобы кафедра поставила в план <...>

А что Вы думаете о сочетании Рейсер – Пугачев<sup>8</sup>? [Лотман 1997: 134–135].

Любопытно, что первая названная Ю. М. пара предполагаемых оппонентов реально выступала на защите С. Г.

Ю. М. Лотман подчеркивает важность Таллинна в смысле скорости отправки и получения отзыва (диссертацию перед защитой полагалось посылать на так называемый «внешний отзыв»), но об еще более важной причине см. ниже письмо Ю. М. от 11 апреля 1962 г. [Лотман 1997: 138].

Егоров ответил Лотману 26 января 1962 г.:

О Сергее. Лучший вариант, конечно, мне кажется: Берков — Пугачев. Последний сразу согласился, Беркова я вчера долго искал,

---

<sup>3</sup> Макогон (или Мак) — Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912–1986), профессор, с 1965 г. — заведующий кафедрой русской литературы ЛГУ, оппонент Лотмана на докторской защите.

<sup>4</sup> Павел Наумович Берков (1896–1969) — профессор кафедры русской литературы ЛГУ, член-корреспондент АН СССР (1960).

<sup>5</sup> Анатолий Васильевич Предтеченский (1893–1966) — профессор ЛГУ, историк.

<sup>6</sup> Соломон Абрамович Рейсер (1905–1989) — профессор Института культуры.

<sup>7</sup> Игорь Петрович Еремин (1904–1963) — профессор и заведующий кафедрой русской литературы ЛГУ. Он часто болел, его верным помощником был Г. П. Макогоненко, который фактически его замещал.

<sup>8</sup> Владимир Владимирович Пугачев (1923–1998) — историк, доцент, затем профессор Горьковского (Нижегородского) университета.

но так и не нашел. Нашел, правда, его телефон дом<ашний> — но увы — сегодня, да и ближ<айшие> дни верно не войду в колею<sup>9</sup> [Лотман–Егоров].

Следующий отклик находим в письме Егорова от 22 февраля 1962 г.:

Вы мне что-то ничего не написали о своих соображениях с оппонентами. Я так и не видел Еремина (болен вроде меня), Мак советует говорить по телефону — не хочу, не то знакомство и не тот разговор.

Мак еще советовал сунуться к Мейлаху<sup>10</sup> — тот очень кривился, а я и не настаивал — таких-то найдем! Рейсер сказал, что он возьмется лишь в самом неизбежнейшем случае, ему смертельно неохота чужую тему. Уж я начал в душе подумывать о Базаныче<sup>11</sup> — м<ожет> б<ыть> я к нему зайду в Комарово, выпьем, по душам поговорим и прочее? Его тогда можно было бы великолепно сочетать с Пугачевым!! Думаю, что в такой ситуации он не стал бы нож точить.

Напишите хоть два слова — и вообще держите в курсе! [Лотман–Егоров].

Следующий этап — письмо Егорова к Лотману от середины марта 1962 г.:

Я эти дни проворачивал Сергея (правда еще никак не поймаю Еремина). Берков вел себя как вельможа (я за ним вынужден был ходить по коридору, не мог, стерва, остановиться; великой силы стоило мне сдержаться), говорил о 3 диссертациях, кот<орые> ему нужно в ближайшие месяцы оппонировать и т.д. А на поздний период, дескать, сейчас не могу загадывать. Всячески нажи-

---

<sup>9</sup> В тот момент у Б. Ф. Егорова был сильный грипп с температурой 39°.

<sup>10</sup> Борис Соломонович Мейлах (1909–1987) — научный сотрудник ИРЛИ, профессор ЛГУ. Тартуанцы относились к нему весьма сдержанно из-за его причастности к казенному «марксизму-ленинизму».

<sup>11</sup> Василий Григорьевич Базанов (1911–1981), член-корреспондент АН СССР, научный сотрудник, потом директор ИРЛИ. Соображения Ю. М., почему не желательно показывать Базанову диссертацию С. Г., см. ниже в его письме от 11 апреля.

мал на Предтеченского. М<ожет> б<ыть>, и в самом деле нажать, вернее, поговорить с А<натолием> В<асильевичем>? Но тогда не подойдет Пугачев — нужен филолог. Яша<sup>12</sup>? Павел<sup>13</sup>? (Или сослуживцу неудобно?).

Боюсь, что если доктором считать Рейсера, то это тоже шатко. Он наверняка будет отбрыкиваться и не без оснований: ни эпоха, ни тема в общем-то не его амплуа! Напишите Ваши соображения. Я очень зол, т. к. по всем предыдущим разговорам (когда требовалось мое старание) Берков был чрезвычайно любезен; никогда не думал, что он даже внешне может вести себя как последний пушкинодомский сапожник! [Лотман–Егоров].

Уклончивость П. Н. Беркова, вызвавшая такой гнев Егорова, объяснялась в свою очередь его раздражением по поводу объема диссертации в 998 страниц, о чем уже после защиты С. Г. писал к Егорову:

Одним из моих оппонентов был назначен кафедрой П. Н. Берков. Он пришел в ужас и ярость от объема диссертации и, очень разгневанный, на обсуждении диссертации на кафедре (на котором я, кстати, не присутствовал) в своем выступлении требовал запретить принимать к защите диссертации такого объема, ограничить их размер. Содержанием же диссертации П. Н. был вполне удовлетворен, хотя и не поддержал предложение второго оппонента, проф. А. В. Предтеченского, дать мне сразу же докторскую степень [Лотман 1997: 149].

В следующем письме Егорова к Лотману от середины марта уже ясно заметна эта перемена:

О моем разгов<оре> с Ереминым — спр<осите> у Сергея. Берков уверяет, что понял раньше — дисс<ертация> докторская! А так — согласен на осень [Лотман–Егоров].

---

<sup>12</sup> Яков Семенович Билинчис (1926–2001) в 1953–1955 гг. преподавал на кафедре русской литературы Тартуского университета

<sup>13</sup> Павел Семенович Рейфман (род. 1923) — с 1950-х гг. преподаватель, потом доцент, профессор той же кафедры. Считалось практически недопустимым оппонирование диссертации своего же сотрудника.



Вероятно, очень помогло сменить гнев на милость письмо Ю. М. Лотмана П. Н. Беркову от 2 марта 1962 г.:

Мне очень совестно, что я беспокою Вас просьбой, выполнение которой отняло бы у Вас известное время. А поскольку я очень хорошо представляю себе Вашу перегруженность, мне действительно очень неловко Вас тревожить.

Речь идет о просьбе выступить в качестве оппонента на защите кандидатской диссертации С. Исакова «Прибалтика в русской литературе 1800-х — 1850-х гг.» Я уже знаю от Б. Ф. Егорова о Вашем в общем отрицательном отношении к этой просьбе и все же решаюсь ее повторить. Для этого есть причины и общего, и, для меня, личного порядка. Постараюсь их изложить. Диссертация охватывает очень широкий круг материалов (она — плод очень кропотливого труда, обобщает огромное количество фактов) по русской литературе и публицистике от конца XVIII до середины XIX веков, и я, честно говоря, не знаю другого возможного оппонента (диссертация на степень канд<идата> филолог<ических> наук, след<овательно>, доктором должен быть филолог), чья компетентность и авторитетность во всем сложном комплексе поднимаемых там вопросов была так бесспорна.

Но есть и <еще> одна — для меня лично очень важная — причина. С. Исаков — первый мой ученик, защищающий диссертацию. Это очень способный, очень порядочный, достойный уважения человек. И мне было бы особенно приятно, чтобы работу его оппонировали Вы. Защита Исакова — итог большой работы человека, в котором я вижу бесспорно будущего ученого. Я беру на себя смелость считать себя Вашим учеником, и мне было бы не для ВАКа, а по-человечески и научно очень важно услышать в день его защиты именно Ваше слово.

Таким образом, в марте 1962 г. проблема с оппонированием П. Н. Беркова была решена положительно, хотя, видимо, какие-то отголоски раздражения ученого продолжали проскальзывать и в дальнейшем. Характерно письмо Лотмана к Егорову от 10 декабря 1962 г., где говорится:

Берков зря на Сергея рычит. Между слов намекайте ему, что Сергей получил очень лестн<ые> письма от ак<адемика> Дру-

жина<sup>14</sup> и от Оксмана<sup>15</sup>. Это произведет на него впечатление [Лотман 1997: 148–149].

Возможно, что отголоски раздражения Беркова отразились и в его отказе от предложения А. В. Предтеченского поставить защиту диссертации С. Г. как докторскую. Кстати, с оппонированием А. В. Предтеченского никаких затруднений не было: он, зная труды С. Г., сразу согласился участвовать в защите.

Если в марте 1962 г. оппонирование было уже точно намечено, то проблемы перед защитой еще оставались. Очень показательно письмо Лотмана к Егорову от 11 апреля, содержащее такие строки:

Теперь такое дело: надо разъяснить Макогону (хорошо бы, сведя его и Сергея за коньяком, но можно и так), что диссертация — антиархиповская<sup>16</sup> (ему, т<о> е<сть> = Бялому<sup>17</sup>, сие должно импонировать). Из этого следует, что посылать ее на рецензию в Пушдом, т<о> е<сть> к Базанову, нельзя. Ergo, хай Макогон на кафедре предложит (а предварительно поговорит сам с Ереминым) в связи с характером темы послать на отзыв не в Пушдом, а в Институт <литературы> в Таллин. Я пишу письмо на сию тему Макогону, но не убежден, что вручать его (письмо Вам передаст Сергей) удобно. Прочтите и решайте — может, лучше все сделать на словах [Лотман 1997: 138].

Кажется, именно в Институт языка и литературы Академии наук ЭССР и была послана на внешний отзыв диссертация С. Г.

<sup>14</sup> Николай Михайлович Дружинин (1886–1986) — известный московский историк.

<sup>15</sup> Юлиан Григорьевич Оксман (1894–1970) — не только выдающийся историк и литературовед, но и один из друзей тартуанцев. См.: [Егоров 1998].

<sup>16</sup> С. Г. отмечал в диссертации ошибки профессора МГУ Владимира Александровича Архипова (1913–1977), невежественного литературоведа.

<sup>17</sup> Григорий Абрамович Бялый (1905–1987) — профессор ЛГУ, упомянут потому, что ему принадлежат воистину антиархиповские статьи: [Бялый; Бялый, Дементьев]. В. Г. Базанов тесно дружил с Архиповым!



Далее все пошло, как по маслу, если не считать некоторой замедленности. Из письма Егорова к Лотману от 21 ноября 1962 г.:

Передайте Сергею Г<sup>еннадиевичу</sup>, что рецензии задерживаются. Сегодня я специально нашел Предтеченского, кот<sup>орый</sup> божился, что на этой неделе сдаст рец<sup>ензию</sup> — просил передать это Вам и С. Г. [Лотман–Егоров].

Кажется, здесь впервые мы начали называть С. Г. по имени-отчеству, хотя и инициально!

Оппоненты вскоре сдали свои отзывы, т.к. 29 ноября Егоров пишет Лотману: «Пишу сейчас Сергею — он прошел на сегод<sup>няшней</sup> кафедре» [Лотман–Егоров]. Диссертация не только была утверждена к защите, но уже намечалось и время — март 1963 г. Окончательно дата — 28 марта — была утверждена в конце января – начале февраля 1963 г. Из письма Егорова к Лотману от 2 февраля:

Скажите Сергею Г<sup>еннадиевичу</sup>: уч<sup>еный</sup> секретарь теперь симпатичная девушка; защита назн<sup>ачена</sup> 28-го; изменение м<sup>ожет</sup> б<sup>ыть</sup> лишь в случае отказа оппонентов; им посланы письма, ответов еще нет [Лотман–Егоров].

Защита прошла в срок и весьма благополучно. С. Г. предстоял дальнейший долгий путь в науке, который продолжается и поныне.

В переписке Лотмана и Егорова тех давних лет обсуждаются не только диссертационные дела, постоянно возникали другие научные темы и различные бытовые просьбы. Задолго до защиты С. Г. работал над необходимой для диссертации монографией «Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов» [Исаков 1961] и заинтересовался сведениями о запрещенной цензурой статье известного публициста Н. В. Шелгунова (1824–1891) о положении в Прибалтике (об этом упоминается в делах Главного управления по делам печати). Однако текст самой статьи так и не удалось найти в московских и ленинградских архивах. Егоров помогал искать эту статью в рукописном отделе ИРЛИ, и в письме к Лотману от 29 сентября 1960 г. сообщил: «Скажите Сергею, что статьи Шелгунова,

о кот<орой> он спрашивал, в архиве ИРЛИ — нет» [Лотман–Егоров].

После защиты С. Г. Исакова Егоров, будучи заместителем главного редактора серии «Библиотека поэта», привлек его к внутреннему рецензированию собрания сочинений Н. М. Языкова [Языков], которое готовила сотрудница редакции «Библиотеки поэта» Ксения Константиновна Бухмейер-Троицкая (род. 1923). Из письма Егорова к Лотману от 27 июня 1963 г.:

Скажите Сергею, что к концу месяца Бухмейер, вернее Троицкая, вышлет ему тексты и комм<ентарии> к Языкову для рецензии, а статью она только сядет писать в июле. Попросите его написать мне или ей, где он будет в конце VII – нач<але> VIII [Лотман–Егоров].

Стараясь не загружать занятого Ю. М. лишними просьбами, Егоров, переехав в Ленинград, но сохраняя часть нагрузки в Тарту, оставил доверенность на получение тартуской зарплаты С. Г. Исакову. Ю. М. Лотман трогательно возревновал:

Теперь о конкретных делах: доверенность на зарплату Вы оставили Сергею, я, мол, не сделаю, и ошиблись — я-то Вам денежки переводил, а Сергей в кассу не зашел, теперь деньги будут 24 (т<о> е<сть> сегодня). Видимо, он уже получил или получит [Лотман 1997: 146 (из письма к Егорову от 24–25 октября 1962 г.)].

Егоров ответил 28 октября: «Сергею — доверенность не по злобе, а по нежеланию нагружать Вас лишним — и так много просьб» [Лотман–Егоров].

Взаимная выручка, взаимные просьбы и их выполнение продолжались в течение многих десятилетий.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Бялый: Бялый Г. А. Архипов против Тургенева // Новый мир. 1958. № 8.  
 Бялый, Дементьев: Бялый Г. А., Дементьев А. Г. Архипов полемизирует... // Новый мир. 1959. № 10.

- Егоров 1998: *Егоров Б. Ф.* Оксман и Тарту // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 175–193.
- Исаков 1961: *Исаков С. Г.* Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов / Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1961. Вып. 107.
- Исаков 1962: *Исаков С. Г.* Прибалтика в русской литературе 1820-х – 1860-х годов / Дис. ... канд. филол. н. Тарту; Л., 1962. Т. 1–2 (машинопись).
- Лотман 1997: *Лотман Ю. М.* Письма: 1940–1993. М., 1997.
- Лотман–Егоров: *Лотман Ю. М., Егоров Б. Ф.* Переписка (в печати).
- Языков: *Языков Н. М.* Полн. собр. стихотворений / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. К. К. Бухмейер. М.; Л., 1964 (Библиотека поэта. Большая серия).

# ПАРАДИЗ В ГЕОГРАФИИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

МАРИЯ СМОРЖЕВСКИХ-СМИРНОВА

11 октября 1702 г. русскими войсками была взята крепость Нотебург. В Северной войне эта победа стала для России первой на территории Ингерманландии и итоговой в военной кампании 1702 г. Островная крепость Нотебург, известная по русским летописям как Орешек, имела большое стратегическое значение: она находилась в самом истоке Невы из Ладожского озера. В период Смутного времени крепость отошла к Швеции.

Петр I, принимавший личное участие в осаде и 12-часовом штурме, так сообщал о взятии Нотебурга своим корреспондентам:

помощию победодавца Бога, крепость сия, по жестоком и чрезвычайно трудном и кровавом приступе <...> здалась на окорт. <...> Хотя и бывали у дела аднако сие кроме всякаго мнения человеческого учинено, но токмо единому Богу в славу сие чудо причесть [ПБПВ: II, 91, 93].

Через три дня по взятии Петр переименовал крепость в Шлиссельбург, из «Ореха-города» в «Ключ-город». Новое название прямо указывало на стратегическое значение крепости, открывавшей для России течение Невы и дорогу к Балтике. Теперь интерес Петра и основные силы русской армии были сосредоточены именно на этом направлении.

Взятие Нотебурга, как и надежды на дальнейшие завоевания в Ингерманландии, стали центральными темами в торжествах, прошедших по традиции в Москве: триумфальном «вшествии» победителей в Москву 4 декабря 1702 г. и новогоднем фейерверке 1 января 1703 г<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Так, на одном из транспарантов фейерверка был представлен двуликий Янус с ключом в одной руке и замком в другой. Над-



В день Нового года в главном кафедральном храме Москвы — Успенском соборе состоялось праздничное богослужение, во время которого местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский обратился к победителям с торжественной речью. Свое слово митрополит Стефан назвал «Колесница торжественная» и, как следовало из вступления к слову, посвящал его сразу нескольким значимым событиям. Во-первых, Яворский говорит слово на «преславный и всерадостный вход в царствующий град Москву» царя Петра; Петр возвращается «по многих преславных победах и по пленении удивительной крепости Слюшенбурга». Во-вторых, слово посвящено Новому году «от Рождества Христова 1703». В-третьих (эта тема не обозначена во вступлении, но она появляется уже в самом начале), в слове говорится об Обрезании Господнем, отмечаемом церковью также 1 января [Яворский: 140–141].

Перед слушателями (среди которых был и «непреодоленный врагов поборник» царь Петр [Там же: 140]) возникал целый ряд разных сюжетов и событийных пластов: триумфальный (торжественное «вшествие» в Москву); светско-календарный (праздник Нового года) и сакрально-календарный (Обрезание Господне). В слове Яворского все эти сюжеты были объединены и представлены слушателям в совершенно особом пространственном ракурсе.

Слово начинается с цитаты из пророчества Иезекииля, где описана мистическая колесница:

<...> и бысть рука Господня на мне, и видех, и се ветр воздвижеся, и грядяше от севера, и облак велик в нем, и свет окрест его и огонь блистася, и посреде его яко подобие четырех животных, и подобие лица их: лице человеческо, лице львово, лице тельчее, лице орлее. И видех, и се видение колес четырех, на четыре страны, и колеса те бяху полна очес: и внегда шествоваху животная,

---

пись «Богу за сие благодарение, о сем прошение» поясняла, что благодарить следует за взятие Нотебурга, который является «ключом-городом», а просить следует о замке — т.е. Ниеншанце, запиравшем течение Невы, и тех крепостях, дорога к которым уже открыта [Погосян: 53; Зелов: 103].

шествоваху и колеса: егда стояху сии, стояху и колеса: егда воздвизахуся от земли животная, воздвизахуся и колеса: яко дух жизни бяше в них и проч. [Яворский: 141].

По нашему предположению, первые строки пророчества могли напомнить стоящим в храме недавние боевые действия в Ингерманландии и взятие Нотебурга так, как оно было представлено на только что появившейся гравюре А. Шхонебека.



Эта гравюра была создана по распоряжению Петра (и согласно его плану) и напечатана в официальных реляциях. Увеличенный рисунок с гравюры был также помещен на один из центральных щитов фейерверка, состоявшегося в день произнесения Яворским проповеди<sup>2</sup>. На этом изображении осаждаемая

<sup>2</sup> Картины, изображающие штурм крепостей, традиционно украшали триумфальные врата. И хотя у нас нет точных сведений о том, было ли помещено изображение штурма Нотебурга на триумфальных воротах в декабре 1702 г., можно предположить, что к торжественному входу русских войск в Москву эта картина была уже закончена и являлась частью композиции триумфальных ворот. Известно, что работа над картиной продолжалась с конца октября по декабрь.



русскими войсками новая *северная* крепость буквально утопала в облаках дыма и «всполохах» огня. Слова Иезекииля «се ветер воздвижеся, и грядяше от севера, и облак велик в нем, и свет окрест его и огонь блистася» довольно точно описывали картину штурма.

За цитатой из Иезекииля следует цитата из Евангелия от Луки: «Обрезаху его и нарекоша имя ему Иисус» [Яворский: 141]. Так в слове появляется сюжет обрезания Господня и наречения имени<sup>3</sup>. И хотя эта Евангельская история напрямую никак не связана с обретением новых земель и победами Петра, именно сюжет Обрезания Яворский берет в основу своей концепции географического расширения России в Северной войне.

Яворский начинает с простого вопроса: почему Христу нарекают имя во время обрезания, а не тогда, когда «Ангели Слава в вышних ему поют, и пастырие кланяются, егда звезда над вертепом сияет, егда трие цари от Персиды приходят», т.е. почему имя дается не при рождении и «таких светлостях», не при величии и славе, но при истечении «дражайшей крови» [Там же: 142]? История с Обрезанием Христа, — поясняет далее митрополит Стефан, — «нам <...> наука, да уведем, яко высокое имя, высокое титло не без страдания, не без терпения, не без крове: кровию и страданием преданные суть великие имена, титлы и славы <...>, не <...> иною купятся ценою» [Там же]. Эти слова проповедник подтверждает многочисленными примерами из Священного писания, начиная с истории Авраама (Господь дает Аврааму новое имя и с «ним великую честь», но и велит обрезать плоть<sup>4</sup> [Там же: 142–143]) и заканчивая примером Ветхозаветной скинии, той ее части,

---

<sup>3</sup> Согласно иудейской традиции, обрезание младенца совершалось в храме на восьмой день после рождения. Тогда же, после обряда, нарекалось имя.

<sup>4</sup> Здесь же Яворский упоминает, что Аврааму Бог повелел возложить и сына Исаака на жертвенный алтарь: т.е. Авраам должен был быть готов дважды пролить кровь своей плоти в жертву Богу — через обрезание себя и затем через заклание своего сына.

которая называлась «Святая святых». Вхождение первосвященника в Святая святых (оно происходило только раз в год) уподоблено в проповеди обретению имени и связано, как поясняет Яворский, с «великим титулом, великой почестью» [Яворский: 143]. Ссылаясь на апостола Павла<sup>5</sup>, проповедник напоминает слушателям, что архиерей входил в эту скинию «не без крове», — приносил на алтарь жертву [Там же].

Но, как и в послании Павла, в проповеди ветхозаветная скиния (скиния земная) — это прообраз Скинии небесной, куда «входит Архиерей небесный, Единородный сын Божий» [Там же: 144]. Здесь же Яворский дает подробное описание небесной скинии, и слушатель узнает, что в ней, как и в земной скинии, есть своя «Святая святых». Это — «безсмертная слава», войти в которую может не каждый (т.е. слава имеет все признаки пространства).

Образ «безсмертной славы» Яворский дополняет описанием вполне предметной преграды, — ворот, которые охраняются небесными вратарями (и это еще одна пространственная характеристика славы). Вратари открывают ворота Христу лишь тогда, когда на свой вопрос «кто есть сей Царь славы», получают ответ: «Господь крепок и силен, Господь силен в брани» [Там же]. «Аки бы рекше, — продолжает Яворский, — сей то преславный Победитель входит в славу, который толь многая претерпел страдания, который преславною над миром, над смертию, над диаволом восприял победу, который кровию своею купил себе великое имяни титуло» [Там же]. Далее слушатель узнает, что «бессмертная слава», «святая святых» уготована не только Христу: Яворский приводит строки Апокалипсиса, где рассказывается о многих людях, одетых в белые одежды и стоящих перед престолом Божиим. «Сии суть иже приидоша от скорби великия, и испраша ризы своя в крови Агнчей», — цитирует он Иоанна Богослова [Там же: 145]. При чем скорбь здесь — тоже место, из которого можно выйти (на это указывает и вопрос Иоанна: «кто сии суть, и откуда приидоша?»).

---

<sup>5</sup> Яворский ссылается на 9 главу послания к Евреям [Яворский: 143].

Люди, пришедшие «от скорби», попадают прямо к престолу Бога, в «Святая святых». Одежды, убеленные кровью Агнца, — прямое указание на Причастие, на то, что, причастившись крови Христа, человек очищается и избавляется от страданий. Темы бессмертной славы, Причастия и Престола Господня появляются в проповеди Яворского неоднократно. Так, когда Яворский приступает к основной части слова — «Колеснице торжественной», он обращается к победителям-воинам: «Мы же, чем прислужимся вам на сей новый год при сем вашем торжественном и всерадостном в царствующий град Москву вшествии: поставихом вам врата торжественная, в храм бессмертной славы вводящая» [Яворский: 149].

«Врата торжественные» — это, конечно, те самые триумфальные врата, через которые совершали свое недавнее «вшествие» в Москву слушатели Яворского. Однако в ряду уже прозвучавших примеров врата, «в храм бессмертной славы вводящая», прямо соотносились с вратами небесной скинии, вводящими «в славу». Эти же врата имели и прямую аналогию в месте произнесения проповеди — в соборе. Аналогией врат небесных были здесь Царские врата. Через эти врата в праздник Обрезания Господня (очевидно, сразу до или после проповеди Яворского) для Причащения входил в алтарь, к престолу Господню, главный «земной» победитель — царь Петр. Наконец, сама православная Москва становилась в этом ряду аналогом небесного престола и местом славы. Вскоре слушатель узнает, что и вся Россия, встречающая победителей, есть место славы. Россию Яворский называет «царством трехвенечным, три венцы в славу Триипостаснаго единого Божества в себе содержащим». Здесь, с одной стороны, обыгрывается геральдика (три венца двуглавого российского орла), но, с другой стороны, здесь отчетливо звучит и тема Российского царства как земного аналога царства Небесного, где живет Бог — Триипостасный и Трехвенечный (как далее называет его Яворский).

Оказывается, что Петр и в реальном, и в мистическом пространстве Москвы, России и Храма входит во «славу». Как и причастники из Откровения, Петр приходит сюда «от скорби



великой», т.е. от тягот войны и последнего тяжелого штурма. Весь этот эпизод строится таким образом, что у слушателей не остается сомнений: российские воины, «кавалеры Российские», обретают для себя и России великое имя, поскольку изливают, как и «Кавалер небесный», кровь:

торжествуйте <...> преславная кавалерия Российская, сердечнии и неустрашенные воины: ваше то ныне празднество, ваша то при нынешнем Спасителевом обрезании изобразуется слава. Изливает кровь свою Кавалер небесный <...> вы такожде защитница наша, слава наша <...> проливаете кровь свою и неприятельскую, но при всем, о коль великое стяжаете титло [Яворский: 148].

Примечательно, что в этом символическом Обрезании Яворский приравнивает излитие «своей» и «неприятельской» крови; т.е. воинам подобает именно такое обрезание. И, конечно, говоря о Кавалере Небесном и кавалерах российских, Яворский также имеет в виду недавно учрежденный орден Андрея Первозванного<sup>6</sup>.

Говоря об Обрезании, Яворский не ограничивается только примерами и аналогиями из Священной истории, но приводит примеры и из других «мирских историй». Так, он перечисляет «первоначальных четырех монархов»: Навуходоносора, Дария, Александра Великого и «Римского Юлия» и признает, что «всех тех высокие титлы бяху не без крове: о всяком можно реши: и обрезаха его и нарекоша именем» [Там же: 145]. Выбор этих «мирских историй» не случаен: в каждой из них символическое «обрезание» сопровождается и обретением новых земель, т.е. по сути — становлением Империи. На этом прямые намеки на расширение земель прерываются, и Яворский переходит к как будто бы отвлеченным примерам Обрезания «бессловесного естества»:

---

<sup>6</sup> Орден Андрея Первозванного был учрежден 30 ноября 1699 г. Первым кавалером ордена стал дипломат Федор Головин в 1699 г., а кавалерским днем стал день памяти св. ап. Андрея 30 ноября. Св. Андрею Первозванному были посвящены две отдельных проповеди Яворского.



...древо изрядные плоды приносит, но впервых обрезаша его. Виноградная лоза прекрасные грозды прорашает, но прежде о коликое терпит обрезание <...> Камень не прежде огонь из себе испускает донележе от твердаго железа претерпит ударение. Тако всяко красота, всяка слава, всякое великое имя <...> аки крин с тернием... [Яворский: 146].

Так и драгоценности, украшающие царскую корону, — алмазы, яхонты, бисер, — они тоже стоят в ряду «обрезываемых» «бессловесных естеств», т.к. претерпевают свое обрезание — огранку. Красная царская порфира, тоже обрезанная, обагрена «кровью излиянной» [Там же].

«Кратко рекше, — подводит Яворский итог, — что только есть на всем свете преславно, что есть великое имя <...> все то снискано бывает с великим трудом, с великим терпением и страданием, с кровию и обрезанием» [Там же]. И здесь, словно желая свидетельств от непосредственного объекта обрезания, митрополит Стефан обращается прямо к Российскому царству: «Великоименитое государство Российское, рцы нам откуда имаши толь великое титло». И хотя ответ от лица Великоименитого государства тут же оглашался, он и так был уже очевиден, ведь «бессловесные естества» очень многое рассказали слушателям на языке хорошо им знакомой символической образности.

Так, камень, испускающий огонь, был камень-Петр I; испускание огня — «огненное» взятие Нотебурга (осада крепости сопровождалась сильным пожаром в гарнизоне). Обрезание камня, т.е. удар по камню железом, вполне документально напоминало о неприятельской артиллерии, разгромившей Петра под Нарвой в 1700 г.

Но этот удар по камню-Петру был необходим для «испускания» огня под Нотебургом. Так и камни из царской короны: их блеск достигается военными испытаниями царя — «огранкой»; так же порфира царя обагрется кровью походов. «Крин» и «терние», упоминаемые вместе, еще раз «говорили» о скинии небесной, поскольку «крин» — райский цветок, а «терние» — страдание.

Обрезанное же дерево, приносящее плоды, и виноградная лоза, «о коликое» претерпевшая обрезание, вместе составляли узнаваемый иконографический сюжет. Есть несколько его изводов, но мы приведем здесь наиболее известный: «Богоматерь Владимирская, или Насаждение древа Российского государства». Эта икона не являлась царским заказом, и мы даже не знаем точно, была ли она известна Петру (икона была написана Симоном Ушаковым для алтаря московской церкви Троицы в Никитниках), но она отражает сложную историческую концепцию династии, царского рода, которая становится очень важной в эпоху Петра.

На иконе изображено Российское государство в виде древа и — одновременно — виноградной лозы, «произрастающей» из Успенского собора Кремля. Рядом с «насаждающими» древо Иваном Калитой и митрополитом Петром — царь Алексей Михайлович, царица Мария Ильинична и их сыновья Алексей и Федор. В центре Древа — икона Владимирской Богоматери. Ветви древа Московского царства украшают плоды — князья, цари и святые земли русской (т.е. княжение, царство и святость). Все это составляет «великое титло государства Российского» так, как описано это «титло» Яворским: «откуда имаша великое имя <...> яко прежде княжением, нынеж преславным еси Государством и <...> царством трехвенечным <...> в славу Триипостаснаго единого Божества в себе содержащим» [Яворский: 147].

Древо Московского царства Ушакова отражает развитие еще одного сюжета, важного для Петра и представленного в проповеди Яворского, — пролитие драгоценной крови. На вопрос Яворского к России, как же она обрела великое имя, следовал ожидаемый ответ: «кровию сие имя стажася, кровию купися, от крове родися, кровию воспитася и возрасте кровию» [Там же]. На иконе эта концепция представлена буквально: именно «кровию», а не водой митрополит Петр поливает из кувшина древо Московского царства.

Далее в проповеди появляется еще множество деревьев, символически представляющих Россию. Различные риторические приемы вносят в этот образ динамику: царство-дерево

словно вырастает и расширяется на глазах у слушателя. Так, Яворский напоминает хорошо известную евангельскую метафору: «зерно горчичное», которое «есть меньше всех семян». В евангельской притче речь идет о царстве небесном, которое, как и зерно горчичное, вырастает в «великое древо». То же самое уподобление, — поясняет Яворский, — можно применить и к царству Российскому, если вспомнить его историю:

Вспомняните себе сего царствия начатки, колика бѣше его малость <...> Что же потом: досталось сие зерно в руки добрых земледельцев, Монархов Российских, начнут добре орати <пахать> железом Марсовым, начнут нивы Казанския, Астраханския, Сибирския мечем управляти <т.е. на языке проповеди — снова обрезать. — М. С.>, многотрудным потом и кровотокащими дождями орошати <...> Се зрите мое зерно горчичное <...> како великим сталося деревом [Яворский: 157–158].

Образ древа, насажденного, возвращенного и политого кровью, трансформируется затем в ниву, которая тоже растет: сначала перечисляются уже названные «нивы Казанския, Астраханския, Сибирския, Кашмовския», затем проповедник призывает взглянуть на нивы новые, которые «возрасли» уже в царствование Петра: «зрите нивы Казикирменския, Таманския, Азовския, Шведския и прочая» [Там же: 158].

Символический ряд деревьев в проповеди завершается деревом-человеком, это — Петр: «вижду человека, аки древо насажденное при исходящих вод». Полную цитату из псалма («И будет яко древо, насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет») Яворский заканчивает на «исходящих водах» и добавляет: «Марсом Российским даже до моря отверстых и очищенных» [Там же: 176]. Т.е. в слова псалма Яворский вносит тематику Обрезания: воды, как плоть, отверзаются и очищаются.

Древо-Петр на данном этапе идеологического строительства связан лишь с Москвой: древо насаждено было в Москве, и путь к морю открыт из Москвы (хотя параллель Шлиссельбурга, в буквальном смысле стоящего «при исходящих вод», напрашивается сама собой). В январе 1703 г. Яворский еще не



знает, что очень скоро псаломская тематика «речных устремлений, веселящих град Божий», переместится в новые северные пределы и что воплощенная в городе Новозаветная Скиния (так, как представлена у Яворского Москва) географически будет перенесена в Петербург — воплощенный парадиз Петра.

Именно по Москве проезжает и «колесница торжественная», о которой Яворский рассказывает слушателям во второй части слова. Колесница здесь — собирательный образ. Во-первых, колесница торжественная — сама проповедь: «хощу Божию помощь триумфальную вам на въезд составить колесницу» [Яворский: 149]. Как в «ветхом» и новом Риме, — поясняет проповедник, — кесарям, возвращавшимся с победой, «составляли» колесницы, так и он составляет свое торжественное слово победителю-Петру. Во-вторых, четырехколесной колесницей в Древней Греции было принято изображать четыре времени года. Времена года — это колеса, «о коль скоро движимая» [Там же]. Яворский говорит слово в Новый год, и грядущий год он «по примеру ветхих мудрых еллинов» тоже хочет представить «во образе триумфальной колесницы» [Там же] (т.е. год еще только наступает, но у слушателей не остается сомнений: он будет триумфальным). И, наконец, самая главная колесница, представленная в слове — это колесница из пророчества: «только я начинаю помышляти о колеснице триумфальной, и се, мне предстоит пред очами чудная оная колесница, Иезекилем виденная» [Там же: 150].

Яворский возвращается к отрывку из пророчества Иезекииля, но приводит его уже в более развернутом варианте, дополняя строками: «о колеснице что глаголет Иезекиль пророк: и видех на ней яко подобие престола, и яко видение сапфира, и образ Сына Человеческого на нем».

«Что ся вам мнит, слышателие, сия колесница», — спрашивает Яворский и отвечает словами толкователей — отцов церкви, — «чрез сию колесницу разумеют быти царство, государство, а наипаче благочестивое, православное, идеже <...> Христос Спаситель наш, и хвала его святая, благочестие святое проезжается и торжествует и триумфы строит» [Там же: 151].



Это толкование необходимо, чтобы показать: только что состоявшееся вшествие российских воинов в Москву «строится» и, в буквальном смысле слова, «проезжается» по примеру небесного триумфа. Более того, Яворский достраивает толкование, — он нарекает Иезекилевой колесницей Россию: «триумфальною Иезекилевою колесницею *нареку* тебе, преславная наша Монархия, тривенечное царство Московское» [Яворский: 151]. Это «наречение» возвращает слушателей к сюжету Обрезания, а вместе с ним и обретения новых земель. Здесь же, вслед за Яворским, слушатель созерцает Россию, к которой присоединены целые части света: «зрю широту Монаршества Российскаго полуношными и восточными странами мало не четвертою частию света владеющего» [Там же].

И вот теперь Яворский приступает к детальному описанию самой колесницы. Сначала он напоминает слушателям, что на колеснице восседает Спаситель, а затем рассказывает о самых загадочных частях колесницы — колесах, которые, согласно Иезекиилю, были животными, «суть колеса многоочитыя, на все страны смотрящая и будущая <...> издалече мудрым оком зряща» [Там же: 152]. Вся последующая часть проповеди — это детальный рассказ о том, как образ четырех животных, виденных Иезекиилем, воплощается и в российском воинстве, и в царе Петре. «Божество Христа, — говорит Яворский, — изобразуется орлом, и сам Спаситель в Писании назван орлом: “яко орел покри гнездо свое и на птенцы своя вожде”» [Там же: 153]. Но «сие знамение орле» принадлежит и «высокой царской Монархов <...> российских породе». Даже и дом российских монархов «орлом украшается», а царь российский, как и царь Небесный, оберегает своих птенцов. Благодаря этому орлу высоко возносится вся российская колесница: «от славы в славу, от силы в силу, от победы в победу» [Там же] (примечательно, что все «ипостаси» триумфа, перечисляемые здесь, называются дважды: «от славы в славу» и т.д., так что триумф снова существует в двух пространствах: реальном и мистическом).

Лицо львово — это горячность, без которой не может быть «марсовой победительной жатвы» [Яворский: 156]; это мужество, и это — «неустрашенное сердце» [Там же: 166].

Лицо тельчее — готовность в бою идти на заклание. «Всяк из вас, — обращается к воинам Яворский, — во уме своем глаголет», далее следуют строки псалма: «аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну» [Там же: 160].

Лицо же человеческое — сам человек в том виде, в каком предстал Христос перед Пилатом: «весь в ранах, весь в крови, голова в тернии, ризы кровию обгарены <...> се человек!» [Там же: 162].

Яворский резюмирует:

Все четыре лица вижу во едином лице <...>, в тривенечном монархе <...> Петре. <...> Вемы о том, яко в едином лице Христовом все четыре изобразуются херувима <...> Сообразно и лепо есть глаголати: в едином царском лице всех четырехличных вижу херувимов [Там же].

Т.е. царь Петр, как и царь Небесный, вбирает в себя все четыре качества, необходимых для существования триумфальной колесницы. Но это, конечно, не прямое и далеко не однозначное уподобление Петра Христу. Здесь значимо, что колесница Иезекииля — это снова пространство храма. Все части Иезекиилевой колесницы вместе складываются в центральный сюжет деисусного ряда главного иконостаса Успенского собора. Это — икона «Спас в силах», которая в главном кафедральном храме Москвы находится прямо над царскими вратами (т.е. слушатель видит колесницу Иезекииля прямо перед собой).

Очевидно, при взгляде на эту икону слушатель отмечал и особую последовательность, в которой Яворский раскрывал лики животных: орел, лев, телец, человек. В самом пророчестве Иезекииля, цитируемом выше, лики животных перечислены совсем в ином порядке: «лице человеческо, лице львово, лице тельчее, лице орлее». Выбранная Яворским последовательность как бы прочерчивала на иконе незримый, но при этом вполне явственный Х-образный, т.е. Андреевский крест, ставший символом и орденским знаком недавно учрежденного ордена.

Яворский использовал здесь характерный для барочной традиции прием, когда элементы текста или изображения складываются в крест, и крест имеет концептуальное значение. Самый яркий и близкий хронологически пример в этом ряду — эпиграмма Кариона Истомина «Книга любви знак в честен брак...», написанная в 1689 г. по случаю брака Петра I с Евдокией Лопухиной. Уже в самом начале «Книги» появляется изображение сердца. В центре его находится надпись «желаю», а вокруг сердца несколько отдельных букв и словосочетаний. Буквы (а–в–г–д) указывают, в какой последовательности следует эти словосочетания читать. Прочтение по заданному буквами порядку складывается в стихотворение:

Сердце смиренно  
В слове явлено  
К Царстей державе  
Российской славе [Истомин: Л. 3 об.].



Но если проследить движение нашего взгляда при чтении по буквам-номерам, то это сердце оказывается осенено крестом: сначала сверху вниз, а потом слева направо от читателя. Это



невидимое присутствие креста на сердце подчеркивается и символикой восьми- и четырехугольников, в которые сердце вписано. Концепция Кариона Истомина, которую он развивает далее в «Книге», сводится к тому, что желания сердца, осененного крестом, должны розниться от желаний сердца до наложения на него креста. Вся книга посвящена воспитанию чувств молодого царя и очищающему значению брака как таинства и как института.

Вернемся к слову Яворского. Митрополит, уже посвятивший несколько проповедей апостолу Андрею Первозванному, и в этом новогоднем слове, «прочерчивая» таким образом незримый Андреевский крест, стремится подчеркнуть значение Андреевского креста и ордена для колесницы славы Российского государства.

Яворский выстраивает в проповеди пространство храма. Москва и Россия торжествующие — это тоже воплощенный храм, пространство, где есть и врата бессмертной славы, и триумфальная колесница, и победитель, восседающий на ней — «тривенечный царь» Петр. Москва как храм — земное воплощение царства и воинства небесного.

Митрополит Стефан нигде не говорит о парадизе или рае прямо. Но эта тема потенциально представлена в его проповеди. И хотя Яворский вспоминает в связи со взятием Шлиссельбурга именно ключи апостола Петра («ныне же Снейтембург нарицается Слисембург, то есть Ключ город, а кому же сей ключ достался: Петрови Христос обещал ключи дати. Зрите убо ныне, коль преславно исполняется обещание Христова» [Яворский: 170]), однако, как и образ древа, «насажденно-го при исходящих вод», проповедник не связывает эти ключи с географией невских берегов.

Яворский объясняет присоединение земель через переименование, и эта концепция, вне сомнения, будет важна для Петра весь последующий 1703 г., когда монарх будет давать новые названия завоеванным в Ингерманландии территориям. Позднее наречение именами Петр будет прямо связывать с темой парадиза и Адама, дающего всему имена.



В ряду церковных панегириков проповедь Яворского стала первой, где именно Шлиссельбург являлся ключом апостола Петра от райских врат. И очень скоро Петр приспособил этот ключ к своему новому «парадизу» — Санкт-Петербургу.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Зелов: *Зелов Д. Д.* Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII — первой половины XVIII века: История триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы. М., 2002.
- Истомин: *Истомин Карион.* Книга любви знак в честен брак. М., 1989.
- ПБПВ: Письма и бумаги Императора Петра Великого. СПб., 1889. Т. 2.
- Погосян: *Погосян Е.* Петр I — архитектор российской истории. СПб., 2001.
- Яворский: *Стефан Яворский.* Проповеди: В 2 ч. М., 1804. Ч. 1.

## К ПОЛЬСКОЙ ТЕМЕ У ХОМЯКОВА

РОМАН ЛЕЙБОВ, АЛЕКСАНДР ОСПОВАТ

1. Текст, о котором пойдет речь, имеет весьма любопытную эдиционную историю. Она началась 30 декабря 1830 г., когда в Санкт-Петербургский цензурный комитет была представлена рукопись, намеченная для публикации в газете «Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду»:

*«Прошу вас поляков не ненавидеть»*

(Незабвенныя слова возлюбленного нашего Монарха).

Внимайте! Голос истребления!  
За громом гром, за криком крик!  
То звуки дальнего сраженья;  
К ним слух воинственный привык.  
Вот ружей звонкие раскаты;  
Вот пешей рати мерный шаг;  
Вот натиск конницы крылатой;  
Вот пушек рев на высотах;  
И крик торжеств, мне крик знакомый,  
И смерти стон, мне плач родной.  
О замолчите, битвы громы!  
Остановись, кровавый бой.

Потомства пламенным проклятьям  
Да будет предан тот, чей глас  
Против славян славянским братьям  
Мечи вручил в преступный час.  
Да будут прокляты сраженья,  
Одноплеменников раздор  
И перешедший в поколенья  
Вражды бессмысленной позор.  
Да будут прокляты преданья,  
Веков исчезнувших обман,  
И повесть мшенья и страданья,  
Вина неисцелимых ран.  
И взор поэта вдохновенный

Уж видит новый век чудес.  
Он видит!.. Гордо над вселенной  
До свода синего небес  
Орлы славянские взлетают  
Широким дерзостным крылом,  
Но мощную главу склоняют  
Пред старшим Северным Орлом.  
Их тверд союз, горят перуны,  
Закон их властен над землей  
И будущих боянов струны  
Поют согласие и покой.

На этой рукописи сохранились карандашные пометы: одна служила подписью — «А. Хомяков», вторая указывала на источник взятой в эпиграф фразы императора — «№ 144 Сев<ерной> Пч<елы>» [Егоркин, Шляпкин: 128–130].

Эпиграф стихотворения Хомякова отсылает к сцене, произошедшей 26 ноября 1830 г. в Михайловском манеже на разводе от третьего батальона л.-гв. Преображенского полка. Объявив офицерам о начавшемся в Варшаве восстании и предстоящем походе русской армии в Царство Польское, Николай I выразил уверенность в том, что

<...> вы, моя гвардия, пойдете наказать изменников и восстановить порядок и оскорбленную честь России.

Воинственный энтузиазм присутствующих достиг такого градуса, что государь счел нужным внести успокоительную ноту:

<...> должно карать зачинщиков мятежа, но не мстить народу, прощать раскаявшихся и не допускать ненависти [Шильдер: 322–324].

В передаче «Северной пчелы» (№ 144 от 2 декабря) — единственного отечественного издания, сообщившего информацию об этом эпизоде, — заключительная реплика императора приобрела такой вид:

Прошу вас, господа, Поляков не ненавидеть: они наши братья. В мятеже виновны немногие злонамеренные люди. Надеюсь, что с Божиею помощью все кончится к лучшему.

Понятно, что в преддверии военных действий против польских инсургентов Цензурный комитет не взял на себя ответственность решать вопрос о публикации сочинения, пафос которого отнюдь не отвечал господствовавшему в публике настроению «неумолимых русских патриотов», мечтавших, как засвидетельствовано в отчете III Отделения за 1830 год, о повторении «суворовской резни» в Варшаве [РПН: 70]. Дело пошло на самый верх, и личное распоряжение Николая I «*Не дозволять*» [Хомяков 1969: 552; коммент. Б. Ф. Егорова] отразилось в резолюции, вынесенной 23 января 1831 г.: «Стихотворение не разрешено, как относящееся к переменам в Царстве Польском» [Егоркин, Шляпкин: 129].

До сих пор считалось, что оригинальный текст этого стихотворения увидел свет только в 1861 г. (по смерти автора): сначала в Москве под заглавием «Ода» [Хомяков 1861: 30–31], затем в Лондоне под заглавием «1831» [РПЛ: 211–212] (в обоих случаях без эпиграфа). Однако на самом деле впервые — за подписью автора — оно напечатано в газете «Русский Инвалид, или Военные ведомости»<sup>1</sup> 17 сентября 1831 г. (№ 236. С. 914)<sup>2</sup>. Помещенное в ряду оперативных откликов русской лиры на подавление восстания, стихотворение Хомякова лишилось эпиграфа и получило заглавие «На войну с Польшею». Именно по тексту газетной публикации был сделан немецкий перевод для тут же вышедшей брошюры “*Der Polen Aufstand und Warschau’s Fall 1831. In drei Gedichten von A. Puschkin, W. Shukowski und A. Chomjakow*” (St. Petersburg, in der Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1831; цензурное разрешение 22 сентября)<sup>3</sup>. Здесь нелишнее привести

<sup>1</sup> «Русский инвалид», как и «Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду», издавался А. Ф. Воейковым.

<sup>2</sup> Точная библиографическая справка дана в воспоминаниях А. Д. Блудовой [РА 1875: I: 137], на что обратил в свое время внимание В. Ледницкий [Lednicki: 159, note 1].

<sup>3</sup> В эту брошюру вошли также переводы пушкинской инвективы «Клеветникам России» и «Русской песни на взятие Варшавы» Жуковского.



перевод стихотворения Хомякова (выполненный, как и оба других, по-видимому А. Е. Вульфбертом<sup>4</sup>) вместе с обратным переводом на русский:

### Der Polenkrieg

Vernehmet der Zerstörung Stimme!  
Kanonendonner, Feldgeschrei!  
Es eilt der Krieg, im wilden Grimme,  
Auf blutgetränkter Spur herbei.

Hört Ihr der Flinten grell Geschmetter,  
Des Fussvolks Marsch, gemessenen Schritts,  
Seht Ihr die Reuter nah'n im Wetter,  
Und hoch das dröhnende Geschütz?

Aus Todesgsrau'n erhebt des Sieges  
Triumph ein kampfgeohnt Geschlecht!  
Verstumme, Donnerruf des Krieges,  
Halt ein, Du mörderisch Gefecht.

Des Fluches Flämme regne nieder  
Auf des Verräthers finstres Grab,  
Der Slaven gegen Slavenbrüder  
Das erste Schwert der Zwietracht gab.

Verflucht sey dieses bittre Höhnen  
Verwandter Stämme, diese Schmach,  
Die sich vererbt der Nachwelt Söhnen  
Bis auf des Weltgerichtes Tag.

Verflucht der Vorzeit dunkle Sage,  
Die Enkeln Feindschaft Überträgt,  
Und mit des Rachschwerts Völkerplage  
Die niegeheilten Wunden schlägt. —

Allein des Sehers Auge weidet  
Sich an den Wundern besser Zeit,  
Wo Licht aus Finsterniss sich scheidet  
Und schlichtet den verjährten Streit.

Der Slaven mächt'ge Adler steigen  
Mit kühn gedehntem Flügelpaar

---

<sup>4</sup> См. [Пушкин. Письма: 430; коммент. Л. Б. Модзалевского].

Empor, und ihre Häupter neigen  
Sich vor des Nordens ältrem Aar.  
Fest sey ihr Bund, ihr Stolz: der Friede,  
Und das Gesetz: ihr Heiligthum;  
Dann preist in schönern Bardenliede  
Die Nachwelt edler Eintracht Ruhm.

A. Ch.

### Польская война

Услышите глас уничтоженья!  
Гром пушек, полевой крик!  
Спешит сюда война в яром гневе,  
По кровавому следу.  
Вы слышите резкий треск кремней,  
Марш пехоты, размеренный шаг,  
Вы видите, как конники близятся в бурю,  
Грозя воздетым оружием?

Из смертных областей победа  
Поднимает род, привычный к войне.  
Умолкни, громовой зов войны,  
Остановись, убийственная схватка.

Пусть пламя проклятия прольется  
На сумрачную могилу изменника,  
Который первым дал в руки славянам  
Меч раздора против братьев славян.

Да будет проклята эта горькая издевка  
Родственных племен, этот позор,  
Что наследуется потомством  
До Страшного суда.

Да будут прокляты темные предания старины,  
Передающие внукам вражду,  
И мечом мести, бичом народов,  
Поражающие незаживающие раны. —

Но глаз зрителя услаждается  
Чудесами лучших времен,  
Когда свет отделяется от тьмы  
И умирят давнюю распрю.

Могучие славянские орлы воспаряют ввысь  
Отважно простирая крылья,  
И их головы склоняются  
Перед старейшим орлом севера.

Пусть крепок будет ваш союз; ваша гордость — мир,  
А закон — ваша святыня;  
Тогда воспоет в прекраснейшей песне бардов  
Потомство славу благородного согласия.

2. Кому бы ни принадлежало заглавие «Ода» (введенное в издании 1861 г. и утвердившееся в современной эдиционной практике), оно имеет под собой основание: топики, стилистика и интонационный рисунок этого стихотворения внятно отзываются витийственной поэзией. Вместе с тем очевидно, что интересующий нас текст активно участвует в том процессе «разложения» высокой лирики XVIII в., который Тынников относил ко второй половине 1820-х — началу 1830-х гг. Одновременно с Тютчевым, деформирующим («фрагментизирующим») философскую оду, Хомяков ревизует логико-риторическую схему старой батальной оды.

Описывая в первой строфе «дальнее сражение», которое читатель опознает как метонимию русско-польской войны, автор демонстративно выводит из текста не только оценочные дефиниции (в роде «кичливого ляха» и «верного росс» в «Клеветниках России») или маркированные местоимения («мы»/«наши» vs «вы»/«ваши»), но даже нейтральные этнонимы. Этот прием «минус-номинации» усилен заключительным восклицанием (*Остановись, кровавый бой*), не подразумевающим симпатию ни к одной из противоборствующих сторон.

Вторая строфа расширяет поле обзора за счет подключения темы давней внутриславянской распри — но в совершенно особом модусе. Субъект речи подвергает обструкции как собственно историю русско-польского конфликта, так и бесконечную повесть мщеня и страданья, т.е. всю мифологию взаимной ненависти, разработанную совместными усилиями *одноплеменников*. Травматизирующей памяти противопоставлено здесь целительное забвение.

Этот сознательный отказ от историзма (и в одическом, и в романтическом его изводах) подготавливает переход к утопической аллегории, рисующей будущий союз *орлов славянских*. Дело прежде всего идет о России и Польше, гербами которых являлись соответственно двуглавый и белый орлы. Такое сходство геральдики русская военная лирика 1830–1831 гг. предпочитала либо вовсе игнорировать («... И на развалинах Варшавы / Воссел уже Орел двуглавый» — Авраам Норов), либо, напротив, обыгрывать с солдатской прямоотой («... И белого Орла в гнезде его карая / Орла двуглавого на чад его спускал» — Федор Глинка); еще одна трансформация данного мотива — «двуглавый орел» терзает «хищного врана» (Иван Паршов). Хомяков же, прорицая воссоединение орлиной семьи под эгидой *старшего Северного* брата, скорее всего вторит популярным уже в то время декларациям раннего панславизма. Напомним хотя бы о двадцатом сонете из поэмы словацкого пастора Яна Коллара «Дочь Славы» (“*Slávy dcera*”, 1824), содержание которого — с опорой на французский перевод в “*Revue Britannique*” (1828. Т. 17) — следующим образом резюмировано в статье, появившейся в июне 1831 г. в московском журнале:

Исполинская дочь Славян, могущественная Россия, <...> когда соединишь ты в одну рукоять эти разметанные ветви одного корня, когда сольешь в один поток эти расплесканные волны одной крови? [Телескоп: 400–401; подробнее см.: Зайцева: 113–115].

## ЛИТЕРАТУРА

- Зайцева: Зайцева А. А. Ян Коллар и русско-чешские литературные связи первой половины XIX века // Литература славянских народов. М., 1967. Вып. 8.
- Егоркин, Шляпкин: Егоркин А. И., Шляпкин И. А. Литературные дела Цензурного комитета // Пушкин и его современники: Материалы и сообщения. Пг., 1918. Вып. XXIX–XXX.
- Пушкин. Письма: Пушкин. Письма. Л., 1935. Т. III.
- РА: Русский архив.



РПЛ: Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения. Ч. 1 / С предисловием Н. Огарева. Лондон, 1861.  
РПН: Россия под надзором: Отчеты III Отделения, 1827–1869. М., 2006.

Телескоп: Телескоп. 1831. № 11.

Хомяков 1861: Стихотворения А. С. Хомякова. М., 1861.

Хомяков 1969: *Хомяков А. С.* Стихотворения и драмы. Л., 1969.

Шильдер: *Шильдер Н. К.* Император Николай I: Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. II.

Lednicki: *Lednicki W.* Puchkine et Pologne: A propos de la trilogie anti-polonaise de Pouchkine. Paris, 1928.

# «МНОГО! МНОГОО! МНОГОО!» Финская выставка в Петрограде в 1917 г.<sup>1</sup>

БЕН ХЕЛЛМАН

На выставках «Мира искусства» в 1898 и 1899 гг. работы финских художников, в том числе Альберта Эдельфельта, Аксели Галлен-Каллела и Магнуса Энкеля, занимали видное место. Этому придавались большое значение, но надежды на дальнейшее сотрудничество не оправдались. В своем дневнике А. Н. Бенуа возлагал вину на финнов: несмотря на приглашения, они «из патриотической солидарности» воздержались от дальнейшего участия в выставках «Мира искусства» [Бенуа 2003: 187]. Почти через двадцать лет после первых совместных выставок русские и финские художники опять встретились — в апреле 1917 г., когда работы около 40 финских художников экспонировались на петроградской «Выставке финского искусства». Недавняя Февральская революция придала выставке особое значение: и вернисаж, и последовавший за ним банкет вылились в знаковые встречи приезжих финских художников и русской политической и художественной элиты. Полагали, что это — начало новой эры дружбы, но на самом деле событие стало прощальным праздником совместной истории.

Инициатором «Выставки финского искусства» была владелица петроградского художественного салона Надежда Добычина<sup>2</sup>. «Художественное бюро Н. Е. Добычиной» со дня сво-

---

<sup>1</sup> Расширенная версия статьи опубликована на финском языке в журнале “*Idäntutkimus*” (2002. № 4. С. 27–40).

<sup>2</sup> Стренгелл предполагал, что инициатором выставки был Максим Горький [Strengell], но его предположение было опровергнуто. Горький поддержал проект, но о плане он узнал *post factum* [Hbl 1916a]. Впоследствии инициатором называлась и секретарша Добычиной, Эльза Радлова. Мысль о финляндской выставке в Петрограде возникала и в других контекстах. Например, некий

его образования в 1911 г. было одним из важных центров художественной жизни Петербурга [Казанская]. В помещении по адресу «Марсово поле, 7» организовывались не только выставки «Мира искусства», представители авангардного искусства также имели возможность продемонстрировать там свои работы. «Выставка финского искусства» стала первой экспозицией зарубежных художников, но в дальнейшем предполагалась и демонстрация скандинавского и дальневосточного искусства [Strengell].

Ранней весной 1916 г. Н. Е. Добычина вместе с финским скульптором Альпо Сайло пришла в «Атенеум», финскую национальную галерею, и предоставила директору, Густафу Стренгеллу, свой план большой финской выставки в Петрограде. Стренгелл заинтересовался и созвал Общество художников Финляндии, Салон «Паллас», группу «Септем», Общество скульпторов и Клуб архитекторов для обсуждения русского плана [Там же]. Идея была встречена с энтузиазмом. Финская культура попала в изоляцию из-за войны, и, кроме того, с точки зрения финнов, Россия представляла собой огромную, но почти неосвоенную область. Критик Людвиг Веннервирта открыто заявил, что уже пора ориентироваться не только на Швецию, но и на восток и связаться с художественным миром России. Из-за экономического кризиса момент был не самым удачным, но в перспективе инвестиция станет рентабельной, предполагал Веннервирта [Wennerwirta].

Предложенное Добычиной время экспозиции, то есть поздняя осень того же года, совпадало с большой выставкой финского искусства в Стокгольме и поэтому петроградскую выставку пришлось перенести на апрель 1917 г. [Strengell]. Из-за Февральской революции художественный проект превратился и в праздник политической свободы и национального братства. Накануне встречи в Петрограде правление Общества художников Финляндии послало поздравительную телеграмму в «Мир искусства» [DP 1917a]. Председатель правления Маг-

---

«А. И.» предложил в «Биржевых ведомостях» устроить подобную выставку после посещения «Атенеума» осенью 1916 г. [К. С.]

нус Энкель выразил пожелание, чтобы «великий русский гений» раскрылся столь же великолепно в политической и общественной жизни, как до сих пор в науке, искусстве и литературе [Бенуа 1917]. Бенуа ответил от имени «Мира искусства», что духовная поддержка финнов в настоящий момент жизненно важна для русских. Как и финская природа, финское искусство могло укрепить тело и дух, так как в нем — «здоровье и правда». В Финляндии искусство развивалось в нормальных условиях, и поэтому оно было глубоко национальным и демократическим. От имени своих соотечественников Бенуа пожелал, чтобы сотрудничество, прерванное из-за царской политики угнетения, теперь осуществилось на прочной основе [Там же].

На какую рецепцию новое финляндское искусство могло надеяться в русской столице? С этим вопросом газета “Hufvudstadsbladet” [Hbl: 1917b] обратилась к четырем известным русским художникам. В своих ответах А. Бенуа, Н. Шмаков, Осип Браз и И. Е. Репин утверждали, что интерес — большой и что финны будут встречены с распростертыми объятиями. Бенуа, вероятный кандидат на планируемый (но не утвержденный) пост министра культуры, вспоминал об успехах финских художников в Петербурге в 1890-е гг. и сожалел, что добрососедские связи впоследствии оборвались. О новом финляндском искусстве он слышал много хорошего. Особенно хвалили Тико Саллинену.

Н. Шмаков, художник «Мира искусства», также проявил особый интерес к Саллинену. Кроме того, он предполагал, что народные мотивы Юхо Риссанена, «прекрасные акварели» Ю. Мякеля и картины Маркуса Коллина получают признание в Петрограде. О. Браз, график и эксперт Эрмитажа, часто бывавший в Финляндии, ответил на вопрос газеты: «В России восхищаются северным духом и очаровательным пейзажем, который можно найти именно в Финляндии». Среди финских художников он выделил Галлена-Каллелу, Энкеля и Ээро Ярнефельта. Браз пообещал, что финляндскому искусству будет отведено видное место в планируемом (но не осуществленном) новом художественном музее на Екатерининском канале. У Репина было очень выгодное представление о новом фин-



ляндском искусстве, и он был уверен, что на открытии выставки появится большое число русских художников [Hbl: 1917b].

На вернисаже финской выставки и на банкете Репин так и не появился, но в списке покровителей стояло и его имя. Список был длинный и внушительный [Выставка: 3]. Русское изобразительное искусство представили, в частности, Н. И. Альтман, А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарь, А. П. Остроумова-Лебедева, Н. К. Рерих, Н. П. Шмаков и К. А. Сомов, музыку — А. К. Глазунов, С. С. Прокофьев, Ф. И. Шаляпин и А. И. Зилоти и литературу — Л. Н. Андреев и М. Горький. По инициативе Добычиной в почетный комитет также входили представители нового политического руководства России — А. Ф. Керенский, Ф. И. Родичев, П. Н. Милюков и В. Д. Набоков. В списке также стояли имена ветеранов революционной борьбы — В. Н. Фигнер и Н. Е. Буренина. Состав имен не был случайным, у большинства были давние близкие связи с Финляндией.

Собрать работы для выставочной коллекции было сложно из-за беспокойного времени. Финские музеи, галереи и частные коллекционеры боялись отправлять произведения искусства в революционный Петроград<sup>3</sup>. В помещения «Атенеума» все-таки собрали 291 произведение 39 художников для отправки в Россию. Галлен-Каллела, Халонен, Энкель, Хуго Симберг и Вилле Валлгрэн, получившие персональные приглашения<sup>4</sup>, не смогли принять участие, но в целом список имен включал в себя самых видных современных художников Финляндии. Хорошо были представлены на выставке Виктор Вестерхольм, Ээро Ярнефельт, Юхо Риссанен, Маркус Коллин, Вернер Томе, Микко Ойнонен, Эллен Теслефф и Тико Саллинен. Несколькими произведениями были представлены художники

<sup>3</sup> Антти Фавен в выставке не участвовал. У него должна была пройти одновременно персональная выставка в Петрограде, но его картины были возвращены в Гельсингфорс из-за революционных беспорядков в России [DP 1917b].

<sup>4</sup> В то же время планировалась отдельная выставка финской скульптуры, где должны были экспонироваться около 60 работ В. Валлгрена [Hbl 1916b]. План не осуществился.

Альфред Финч и Алвар Кавен. Хейкки Тандефельту было поручено выбрать достойных среди молодых, независимых художников. Среди последних можно назвать Хелен Шерфбек, Рагнара Экелунда и Ээро Нелимаркку. Из скульпторов участие приняли Альбин Каасинен, Вийви Паармио, Инто Сакселин и Альпо Сайло, а Вийви Эклунд, Элин Юселиус и Герда Теслефф представляли финляндское прикладное искусство [Hbl: 1917c].

Юхо Риссанен приехал на несколько недель ранее других для ознакомления с выставочным помещением [HS: 1917a; Hbl: 1917a; Wennerwirta]. Вместе с Тико Саллиненем он также отвечал за конечное оформление выставки [Hbl: 1917c]. Аксель Хаартман и Альвар Кавен, приехавшие в Петроград за день до вернисажа, смогли только констатировать, что все было хорошо подготовлено. В квартире Добычиной, расположенной в том же здании, был накрыт пасхальный стол, и финских гостей пригласили угощаться лакомствами вместе с русскими коллегами. После обеда Шмаков сел за пианино и поочередно играл русские и финские композиции, пока другие пили чай, курили и ели конфеты. Беседа, однако, шла туго. Смешение языков было просто безнадежным, жаловался Хаартман в "Hufvudstadsbladet" [A. G-s: 1917a]. Ослабление контактов соседних народов коснулось, в частности, изучения языка, и не только Хаартману, но и другим было досадно за свое незнание русского.

Вечером поехали от Добычиной на Финляндский вокзал, чтобы встретить там главную группу финских гостей. Газета «Речь» [Речь 1917a] заранее сообщила о приезде «важных представителей Финляндии», и на вокзале уже стояло несколько русских художников и местных финнов, среди них барон Теодор Бруун, начальник Финляндской паспортной экспедиции. Из гельсингфорского поезда вышла большая группа финских художников: Галлен-Каллела со своим сыном Ёрма, Ээро Ярнефельт с женой, Магнус Энкель, Альберт Финч, Альпо Сайло и Вилле Валлгрэн со своей невестой Вийви Паармио. Дирижер Роберт Каянус, участвующий в качестве представителя финляндской музыки, рассказал журналисту, что поезд-

ка была «чрезвычайно веселой»: уже в поезде царило «товаришеское настроение». Скульптор Сайло решил присоединиться к компании в последний момент, без багажа и без нужных документов, но русскому пограничнику хватило удостоверений остальных, что «Сайло — хороший парень» [Hassan].

В петроградских гостиницах не было свободных номеров, и финские гости разместились у русских хозяев. Каянус всю неделю жил у Бенуа [Hassan], а Галлен-Каллела был гостем Горького [Gallen-Kallela-Sirén: 400]. У Шмакова были влиятельные знакомые, и ему удалось достать чистокровных рысаков и пять черных закрытых дрожек из бывшей царской конюшни. В них финнов отвезли к местам их ночлега через город, где еще были видны следы революционной борьбы.

Вернисаж состоялся в понедельник 3(16) апреля, на второй день Пасхи. Уже при входе в дом было видно, что открытие выставки не являлось исключительно художественным событием. Финляндский красно-желтый герб со львом украшал знамена и плакаты у двери, и когда финляндская группа приехала на царских дрожках, оркестр Измайловского полка заиграл «Марш Бьернеборгского полка» (“Björneborgarnas marsch”). В залах толпились «длинноволосые художники, молодые барышни в своеобразных туалетах, писатели, профессора, коммерсанты, члены финляндской колонии» [A. G-s 1917b]. В толпе можно было увидеть госпожу Керенскую, В. Д. Набокова и графа Д. И. Толстого. Галлен-Каллела и Горький вели оживленную беседу. Присутствовала и группа московских футуристов, среди них Д. Д. Бурлюк [A. G-s 1917b], О. М. Брик и В. В. Маяковский. С ними был и молодой Роман Якобсон, приехавший в Петроград для участия в съезде Конституционно-демократической партии [Jangfeldt: 135]. В окружении русских художников — Браза, Шмакова, Сомова, Альтмана, Н. К. Рериха и Н. Э. Радлова — стояли Риссанен, «серьезный и солидный, как пробст, в своем длинном рединготе», и Вилле Валлгрен со своими орденами на фраке [A. G-s 1917b]. Среди местных финнов можно было увидеть барона Брууна и Хуго



Бакманссона, известного в России в качестве портретиста и батального художника.

Прием финляндской делегации получил характер государственного визита, но почетных мест гостям все-таки не было отведено. По приглашению Добычиной на мероприятие пришли двое ветеранов революционного движения, что придало вернисажу откровенно политический оттенок. В газете "Hufvudstadsbladet" Хаартман так описал ситуацию:

Вдруг сквозь толпы прошел как будто электрический ток, оркестр заиграл «Марсельезу», и в сопровождении мадам Добычиной через дверь входит маленькая, хрупкая госпожа с гладко причесанными седыми волосами. На ее бледном и худом лице — ласковая улыбка, и она почти смущенно благодарит за аплодисменты [A. G-s 1917b].

Это была 65-летняя В. Фигнер, которой пришлось провести 20 лет в одиночной камере и которая только сейчас смогла вернуться в Россию из-за границы. Вслед за ней в салон вошли министр иностранных дел Временного правительства Милюков, комиссар по делам Финляндии Родичев и Бенуа.

Но среди собравшихся еще господствует словно настроение ожидания, и молодые финские художники стоят вместе в одной группе, готовые поспешить навстречу тому гостю, которого мы все напряженно ждем. Из вестибюля слышен пронзительный женский голос, и когда мы подходим к двери, мы видим «бабушку русской революции», Е. К. Брешко-Брешковскую, которая, поддерживаемая двумя женщинами, тяжело поднимается по лестницам. Сгорбленная, крепко сложенная старушка, у которой на голове большой платок и на нем — черная, мягкая фетровая шляпа [A. G-s 1917b].

Под звуки «Марсельезы» Брешко-Брешковская появилась перед публикой, которая полукругом собралась вокруг нее и приветствовала криками «ура» и пятиминутными аплодисментами.

73-летняя Екатерина Брешко-Брешковская провела полжизни в тюрьме и в ссылке за революционную деятельность. Несмотря на свой солидный возраст, она после Февральской революции активно участвовала в политической жизни. На



французскую приветственную речь Валлгрена Брешко-Брешковская ответила «на прекрасном французском языке», с радостью и благодарностью вспоминая один визит в Финляндию много лет тому назад и прося передать привет финскому народу [Речь 1917б; Hassan; A. G-s 1917b; Н. В.].

Потом наступила очередь министра Милюкова. От имени Временного правительства он приветствовал финских художников и восхвалял «борьбу финнов за культуру и свободу» [Н. В.; A. G-s 1917b]. Родичев, бывший опытным оратором, говорил «пламенно и сильно, что не пропало даром», о том, как финская борьба за свободу до сих пор всегда наталкивалась на русский кулак. Теперь, пообещал Родичев, настала совместная «борьба за свет и свободу». В конце своей речи он пожелал успехов «финскому освободительному труду и свободной России, на союзе которых молодое поколение построит новую культуру на основе права и свободы» [A. G-s 1917b; Н. В.]. Затаив дыхание, публика слушала комиссара по делам Финляндии и наградила его выступление бурными аплодисментами [A. G-s 1917b]. Финны сожалели, что на месте не было представителей политического руководства Финляндии [Н. В.].

Горький ограничился четырьмя финскими словами, нашептанными ему Галленом-Каллелой: “*Eläköön Suomi! Rakastan Suomi!*” [Gallen-Kallela-Sirén: 400]. Ээро Ярнефельт, хорошо знавший русский язык, ответил от имени финской делегации «несколькими теплыми словами» [Н. В.; Observator]. После него выступали Фигнер и художник Радлов. Попросил слова и Маяковский [Речь 1917б]. Что он сказал, мы не знаем, но вряд ли это была «приветственная речь финским художникам», как предполагает советский историк [Bondarenko: 14]. В духе футуристов Маяковский, по всей видимости, провоцировал присутствующих. В своем дневнике Сомов прокомментировал выступление Маяковского одним единственным словом — «скверно!» [Сомов: 176]. Добычина завершила отдел торжественных речей, благодаря Брешко-Брешковскую и целуя ей руки. «Это было знаком для нас финнов, — пишет Хаартман, — и мы столпились вокруг старой героини революции.

Под градом приветствий она обнимала и целовала нас» [А. G-s 1917b]. И Сомов был вовлечен в этот спектакль. Добычина толкнула его в объятия «бабушки русской революции», и та, предполагая, что перед ней — революционер, схватила за его голову и дважды поцеловала. Выхода не было, и Сомов горячо целовал руки Брешко-Брешковской [Сомов: 176].

Атмосфера была «наэлектризованная»; все казалось возможным. Характерными для господствующего безудержного проявления братства были комические недоразумения: например, удивительно похожих друг на друга Милюкова и Валлгрена неоднократно путали [Валлгрен: 203; А. G-s 1917b]. Но не все присутствующие впали в экстаз, были и те, кто сумел взглянуть на повторяющиеся «перегибы» как бы со стороны. В эмиграции И. А. Бунин вспоминал о своем последнем визите в Петербург и об «истерически-подобострастных» речах его соотечественников на финской выставке [Бунин 1950: 53]. В дневнике он отметил, что «все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу “зари свободы, засиявшей над Финляндией”» [Бунин 1990: 50].

Три статьи в буклете выставки были написаны в том же «финнофильском» духе<sup>5</sup>. Бенуа повторил свои слова, что выставка состоялась в тот момент, когда контакты с Финляндией имели большое значение для русских. Свободная Россия нуждалась в опоре, и «такую опору дружбы могут дать именно финляндцы, их крепкая цельная культура, их здоровое, прочное, насквозь правдивое искусство» [Выставка: 7]. Своим искусством финны могли служить учителями и «целителями»:

Вот целый народ, который носит свободу в себе, которого не только не смогла сломить вся пыточная система нашей политики, но который прошел это испытание с тем ясным спокойствием, на которое способны лишь люди, обладающие силой чрезвычайной [Там же: 5–6].

---

<sup>5</sup> Статья Бенуа также опубликована в книге: [Бенуа 1968: 133–135].

Технике финские художники выучились за границей, но космополитическая культура и русское угнетение не смогли отрицательно повлиять на их природное, национальное чувство.

Горькому четырех слов уже не хватило, когда он в каталоге изливал свое восхищение Финляндией:

Финляндия, — страна гранита и озер, такая маленькая, бедная, хмурая, но — я не знаю страны, которая возбуждала бы у меня более нежное чувство любви, более глубокое уважение, чем она, Суоми! Нигде я не вижу с такой ясностью, не чувствую с такой убедительной силой величие человеческого духа, всепобеждающую мощь разумного труда. <...> Я уверен, что всякий кто хочет ясно представить себе красоту труда человеческого — должен внимательно вдуматься в то изумительное напряжение воли к жизни, которое обнаружил народ Суоми. Многому можно поучиться у этого народа, его молчаливая деловитость творит чудеса. Теперь, когда Финляндия свободна от гнета русской власти, с какой сердечной радостью я, русский, невольный угнетатель ее свободы, могу воскликнуть:

Да здравствует Финляндия!

Элякзэн Суоми! [Выставка: 8].

Композитор В. Г. Каратыгин заключил свой исторический обзор русско-финских отношений утверждением, что «правда, свобода и красота», которые до сих пор присутствовали только в культурных связях, теперь должны проявиться также в политической и социальной сферах.

После речей настала пора познакомиться с самой выставкой. Носитель финского языка, если бы он пошел посмотреть картины с выставочным каталогом в руках, был бы поражен странными именами финских художников и искаженными топонимами. Многочисленные опечатки, которые “Hufvudstads-bladet” приписала пылкому пасхальному празднованию русских [А. G-s 1917a], были, правда, исправлены в отдельном списке, но все равно давали финнам повод для смеха и шуток.

Картины поместились в шести больших светлых залах. Ретроспективной коллекции из 25 картин Юхо Риссанена был отведен отдельный зал, а скульптуры располагались по всем шести залам. Стены были украшены ворсовыми коврами и



ткаными покрывалами «Орнамо» [Hbl 1917c], финская мебель дополняла общую картину [Речь 1917б]. Самый большой интерес у публики вызвали картины Саллинена, но они, к сожалению, не продавались [A. G-s 1917b; -г]. Вокруг Бенуа собралась одна группа посетителей, а центром другой был Бурлюк, тщательно рассматривавший выставленные работы сквозь свой лорнет [A. G-s 1917b]. То, что он видел, ему понравилось, и он тут же предложил совместную выставку русских футуристов и молодых финских художников в Москве. Но далеко не вся публика была довольна. В своем дневнике Сомов ограничился одним словом — «неинтересно» [Сомов: 176]. Галлен-Каллела считал уровень выставки низким [Gallen-Kallela-Sirén: 400]. Брешко-Брешковская быстро прошла все залы под руку с Юхо Риссаненом. С выставки ее вынесли на руках Каянус и другие финны под звуки «Марсельезы» и овации. На улице ее ждали автомашина и большая толпа зрителей, следивших за сценой, обнажив головы и со слезами на глазах [Н. В.; A. G-s 1917b].

После вернисажа финны посетили братские могилы на Марсовом поле, а потом наступило время надевать фраки и ехать на банкет. Вместе со скандинавской колонией Петрограда русские художники давали ужин в ресторане «Донон» (Мойка, 24). В семь часов длинный ряд дрожек и автомашин проехал во двор ресторана, и поток гостей стал подниматься по лестницам в красивые бело-золотые залы. Там их встретили знакомые лица:

У дверей мы наталкиваемся на всегда приветливого Каянуса, и немного подальше, посреди комнаты, стоит Максим Горький в своем длинном рединготе, делающем его более худым и менее крепким, чем мы представляли себе знаменитого писателя на основании известных портретов [A. G-s 1917c].

На банкете присутствовало 150–200 человек, «весь художественный и артистический Петроград» [Бурлюк: 97; Hassan]. Два длинных праздничных стола были украшены красными тюльпанами. Почетные гости Милюков и Родичев сидели друг против друга. Политическую сферу представляли также



В. Д. Набоков и Морис Палеолог, французский посол. За министерским столом сидели «высокий, смуглый, гениальный» Галлен-Каллела [Бурлюк: 97], Риссанен, Ярнефельт, Валлгрэн, Горький и Бунин. Между Бенуа и В. Нувелем, деятелем «Мира искусства», сидел Сомов, напротив них — Прокофьев, И. Я. Библин со своей супругой, керамисткой Рене О'Коннель-Михайловской, Рерих и график Г. И. Нарбут [Сомов: 176]. Группа футуристов, к которой примыкал поэт и художник И. М. Зданевич [Катанян: 426–427], была рассажена подальше от почетных гостей.

На столах в «Дононе» — икра и, несмотря на военный сухой закон, стаканы наполнялись водкой и вином. Были произнесены речи на темы «свободы, культуры, братства» [Сомов: 176]. Первым начал Милюков. В своей «блестящей» речи он подчеркивал, что финны, несмотря на царский гнет, всегда были лояльными и, соответственно, всегда были окружены любовью и уважением лучших представителей русского народа. В конце своего выступления министр пожелал, чтобы финны забыли все то плохое, что сделала царская власть. Финны встретили призыв Милюкова к политическому сотрудничеству «искренними и бурными аплодисментами» [A. G-s 1917c]. Каянус ответил «мужественной и красивой речью», закончив ее словами «Да здравствуют свободная Россия и свободное русское искусство» [Hassan]. Когда эти слова прозвучали в русском переводе, весь зал разразился бурей аплодисментов.

Потом выступали Родичев, Каянус, Саллинен. Вдохновенная французская речь Вилле Валлгрэна неоднократно прерывалась громкими возгласами одобрения. Вийви Паармио произнесла речь, адресованную русским женщинам, и Юхо Риссанен поднял тост за Добычину. Бакманссон пишет, что «даже футуристы, снабженные моноклями и лорнетами, вставали, чтобы выступать», очевидно, подразумевая Бурлюка и Брика [Н. В.]. «Энтузиазм возрастал, и оратор выходил за оратором» [A. G-s 1917c]. Военный оркестр играл по очереди «Марсельезу» и «Марш Бьернеборгского полка».

Вечер закончился пожатиями рук, объятиями, поцелуями: «Идея дружбы и добрососедских отношений мигом осущест-

вилась» [A. G-s 1917c]. Вийви Паармио видела, как ее будущего мужа Валлгрена носили на скрещенных руках, а Галлена-Каллелу бросали в воздух, как мяч: «Мы боялись, что он упадет на пол» [Vallgren: 204]. Лицо Риссанена стало мокрым от поцелуев Горького. Риссанен в свою очередь пытался выразить свои теплые чувства в адрес Бенуа. Тот написал в своем дневнике:

Громадный, тяжелый, вдрызг пьяный, Риссанен<sup>6</sup> все лез на меня и изъяснялся в какой-то страстной, граничащей с раболепством, любви. Я несколько раз вырывался из его объятий, но он снова вцеплялся в меня, требуя, чтоб я непременно плюнул ему в лоб, в чем он почему-то видел единственный способ подтвердить мое к нему расположение или, вернее, мое «согласие на его поклонение»!.. [Бенуа 2003: 188].

На банкете присутствовал и Бунин, который здесь, так же как и на вернисаже, чувствовал себя единственным нормальным человеком. В его восприятии весь банкет был «пиром во время чумы». Везде в Петрограде и особенно на «Выставке финского искусства» москвич Бунин видел признаки приближающегося конца: «И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел тогда в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет!» [Бунин 1950: 53]. В роли главного демона на банкете он видел Маяковского. Якобсон вспоминает, что Маяковского попросили почитать свои стихи. Прочитав несколько стихотворений, он заявил, что будет читать стихи своего друга Брика. Тот сильно смутился, так как сам он не считал себя поэтом [Jangfeldt: 33]. По мнению Добычиной, Маяковский был «редким деликатесом», и она привела его к Горькому, который сразу предложил молодому футуристу «дружбу и любовь». Рядом с ними сидел Бе-

---

<sup>6</sup> Редакторы дневника Бенуа, не узнавшие фамилию знаменитого финского художника Риссанена (1873–1950), называют его «Риссапек». Чтобы скрыть свое незнание, они решили включить это мифическое лицо в алфавитный указатель, придумав ему имя и годы жизни: «Риссапек Энгель (1870–1925) — финский художник» [Бенуа 2003: 682].

нуа, явно восхищаясь другим футуристом, Зданевичем [Катанян: 426–27].

Бунин, однако, вспоминает и другой инцидент. В начале ужина он беседовал с Горьким и Галленом-Каллелой, когда вдруг Маяковский незванным присоединился к их компании, поставил свой стул между их стульями, начал есть с их тарелок и пить из их стаканов. Галлен-Каллела глядел на Маяковского так, «как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, вели в этот банкетный зал». Горький громко хохотал над затеями футуриста. Когда Бунин хотел отодвинуться, Маяковский весело спросил его: «Вы меня очень ненавидите?». Бунин ответил, что нет, не ненавидит: «Слишком много чести было бы вам!» [Бунин 1950: 54].

Именно в этот момент Милюков поднялся, чтобы предложить официальный тост. Маяковский ринулся к министру, вскочил на стул и начал так «похабно» кричать, что Милюков запутался в своих словах. Через минуту он сделал новую попытку, но Маяковский не сдался, а, наоборот, закричал так громко, что Милюков решил на время отказаться от всяких речей. Тогда встал французский посол, уверенный, что никакой русский «хулиган» не посмеет ему помешать. Но Маяковский продолжал шуметь. Затем и другие футуристы присоединились к хору: они топали ногами, били кулаками по столу, стали «хохотать, выть, визжать, хрюкать» [Там же].

Из присутствующих только Бунин рассказывает об этом хулиганстве. Журналист Хаартман видел инцидент, но упоминает его только мимоходом и в слегка шутливом тоне: «...временами бойкий футурист вскакивал на свой стул и пытался во весь голос заглушить гул голосов» [A. G-s 1917c]. Другой финн, судя по описанию — Вилле Валлгрэн, был глубоко потрясен поведением Маяковского. Бунин пишет:

И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо! [Бунин 1950: 54–55].



Поведение Маяковского можно истолковать как протест футуриста против пустопорожней праздничной риторики и ненавистных ему буржуазных политиков. В глазах Бунина сцена была предвестием победы хамства и черни, и вопль потрясенного финна был здоровой реакцией на неудержимую русскую «свободу».

Но и финские гости «отличились» в течение вечера. Якобсон вспоминает, как его попросили быть переводчиком в беседе Горького и какого-то «знаменитого финского архитектора», говорящего только по-французски. Оба уже успели выпить достаточно много. Финн попросил Якобсона перевести его слова Горькому: “*Tout le monde pense que vous êtes un génie — génie — et moi, je vous dit: vous êtes un imbécile. Traduisez, mais traduisez exactement! Non, non, non, vous ne traduisez pas comme j’ai dit! Imbécile, comment se dit ça en russe?*”<sup>7</sup> [Jangfeldt: 32].

Около полуночи большая компания поехала в кабаре «Привал комедиантов», расположенный в подвале того здания, где находились и квартира Добычиной, и ее художественный салон. Зеленый фонарь освещал путь вниз в подвальное помещение, стены которого были расписаны художниками «Мира искусства». По Каянусу, программа была «замечательно остроумной и забавной» [Hassan]. Сидели за длинными столами, пили чай, ели конфеты и курили до самого утра [А. G-s 1917c; -r]. Горький тоже поехал в кабаре. Бурлюк вспоминает, что он был весел и шутлив, но за его шутками чувствовались придирчивость и желчность, может быть из-за его слабого здоровья и выпитого [Бурлюк: 97]. Сам Бурлюк ушел посреди вечера и поехал на Финляндский вокзал, куда в тот же вечер Ленин должен был приехать из эмиграции. Вернувшись в «Привал комедиантов», Бурлюк передал Маяковскому и Брику свои впечатления от большевика: «Кажется, сумасшедший, но страшно убедительный» [Jangfeldt: 33].

---

<sup>7</sup> «Весь мир считает, что вы гений — *гений* — но я вам скажу: вы — *imbécile*. Переводите, но переводите дословно! Нет, нет, нет, вы не так переводите! *Imbécile*, как это будет по-русски?»



Программа финских гостей на этом не закончилась. Последовала целая «финская неделя», во время которой русские хозяева словно соревновались в гостеприимстве. Во вторник посещали Музей Александра III (теперь Русский музей) в сопровождении директора, вечером слушали «Гугенотов» Дж. Мейербергера в Мариинском театре. К удивлению финнов, их посадили в царскую ложу, причем Каянус, Галлен-Каллела, Ярнефельт, Валлгрэн и барон Бруун попали в первый ряд. Во время первого антракта Шмаков, сидевший в министерской ложе, встал, поприветствовал финских гостей и предложил прокричать «ура», и зал, стоя, последовал его призыву. Каянус рассказал журналисту о ситуации, в которую попали он и его друзья:

В тот миг тысячи глаз обратились на нас, аплодировали, махали платками. Момент был критический, и так как надо было ответить, я подошел к перилам ложи и поблагодарил по-фински от имени моих соотечественников, и в конце моей краткой речи я сказал по-русски «да здравствует свободная Россия». Новые шумные овации, оркестр заиграл «Марсельезу» [Hassan].

Снова и снова финнам приходилось кланяться публике [A. G-s 1917c; -г].

После оперы все финны и несколько русских художников были приглашены в напоминающую дворец квартиру Браза на Мойке. Валлгрэн обратился с французской речью к хозяевам и присутствующим русским художникам [Hassan]. Хаартман стал обсуждать, как потом у себя в Финляндии ответить на гостеприимство русских художников [A. G-s 1917c].

На следующий день они посетили Эрмитаж в сопровождении его директора, гр. Д. Толстого, и Бенуа. Галлен-Каллела и Каянус получили от Ф. И. Шаляпина личное приглашение в Народный дом на «Бориса Годунова» в тот же вечер. Каянус был в восторге от исполнения Шаляпина:

Я и раньше много раз слышал и видел Шаляпина и вообще много видел и слышал в этом мире, но никогда и нигде я не слышал и не видел ничего подобного Борису, исполненному Шаляпиным в тот вечер. Он прямо превзошел самого себя [Hassan].

После оперы Бенуа пригласил финских гостей к себе домой на ужин. Присутствовали и Риссанен, и Энкель, и «какой-то бородатый генерал в форме», и «сам грандиозный, красивый “героический” Галлен-Каллела, который покорила сердца всех наших дам и девиц» [Бенуа 2003: 188]. После обеда танцевали, притом «плясовая прыть» Галлена произвела большое впечатление на русских. «И у нас все финны сильно подвыпили», — записал Бенуа [Там же] в своем дневнике.

В пятницу пора было отправляться в обратный путь. Неделя в большом городе, сердечный прием и бесконечное чествование произвели на гостей глубокое впечатление. «Мы чувствовали себя пчелами, купавшимися в нектаре», — вспомнила Вийви Паармио, теперь уже Валлгрэн [Vallgren: 205]. Кавену даже стало неловко: «...все что было, одним словом, так великолепно, что стало стыдно» [-г].

Постепенно в печати стали появляться отзывы о выставке. М. Грушевский из «Биржевых ведомостей» озаглавил свою статью так: «Торжество финского искусства» [Observator]. В том же духе Вл. Денисов воскликнул в газете «День»: «Элякээн Суоми!» [Денисов 1917a] Комментируя отношение финских художников к французскому импрессионизму — а во многих случаях влияние было очевидное — Грушевский, Денисов [Денисов 1917б] и А. А. Ростиславов из «Речи» считали, что технические навыки, приобретенные вне родины, не составляют угрозы, а, наоборот, создают плодородную почву для чисто народного искусства [US 1917b]. Финляндское искусство было целостным и здоровым и в то же время изысканным [Observator]. Денисов [Денисов 1917б] согласился со словами из каталога: финны многое могли дать русским. Его список вызывавших восхищение финских народных черт был длинным: здоровый дух, спокойствие, созерцательность, строгость, скромность, честность, самообладание.

Зато Бенуа был явно смущен после больших ожиданий и громких приветственных слов. Ему пришлось признать, что выставка, в конце концов, получилась не такой интересной, как он ожидал. «Выставка была такая скромная, тихая, чуть-чуть серая и тусклая», — жаловался он в горьковской «Новой

жизни» [А. Б.]. Но, с другой стороны, она имела чисто художественный характер, в ней не было ничего провинциального или безвкусного.

Сходными выражениями искусствовед Л. И. Пумпянский в журнале «Аполлон» пытался смягчить свой, в общем, суровый приговор. Выставка, мол, была культурной, на европейском уровне и далека от «русского варварства», но, с другой стороны, видны были боязнь нарушить границы и нехватка индивидуальности. Самым радикальным на выставке был Алвар Кавен, но и его «футуристические эксперименты» показались русскому критику наивными.

Критик журнала «Столица и усадьба», скрывшийся под псевдонимом С. К., поставил представительность выставки под вопрос: «Это, скорее, финский “Мир искусства”, старающийся показать нам, что и Suomi вполне в курсе всех последних европейских течений». На самом деле не хватало творческого воображения и индивидуальности. Общее впечатление было удручающим: «Грязная гамма серых, тусклых тонов и унылые мотивы по преимуществу пейзажного характера — таков общий колорит выставки» [С. К.: 15].

Наиболее негативный отзыв поместил А. Левинсон, известный театральный и балетный критик, в горьковской «Летописи». Он отказался согласиться с Бенуа в том, что русские художники должны учиться у финнов: «Необдуманная слова самоунижения, сорвавшиеся на радостях» [Левинсон: 365]. Напротив, выставка показала, что финляндская школа живописи уже не могла дать никаких образцов и примеров русским. Финские и русские художники следовали традиции нового западного искусства. И, строго говоря, на самом деле русские уже давно оставили далеко позади своих неторопливых попутчиков. Добросовестные, упорные и осторожные финны действительно были свободны от русского «хаоса» и «надрыва», все было как надо, все — гармонично, но это им не пошло на пользу: «Среди тиши да глади финского искусства нет места для нашей жажды и нашего беспокойства» [Левинсон: 371].

Пумпянский и Левинсон объясняли упадок финского искусства следствием потери национальной идентичности. Ко-



гда «патриотический период» достиг своего самого высшего пика, молодые художники начали ездить в Париж и искать вдохновения у французского импрессионизма, попав в зависимость от иностранных образцов. Процесс европеизации привел к разрыву с национальной традицией. Как видим, выводы Пумпянского и Левинсона были строго противоположны взглядам Грушевского, Денисова и Ростиславова.

«Выставка финского искусства» закрылась 10 (23) мая 1917 г. Можно было констатировать, что успех выставки, несмотря на грандиозное открытие и широкую рекламу, оказался скромным. Если число посетителей в первые дни составляло около 3 000 человек в день, то вскоре оно упало до 20–30. Владелец гельсингфорской галереи, Гёста Стенман, посетивший Петроград в мае, узнал, что продажа художественных произведений после первого порыва сильно уменьшилась. В первый день продали десять работ, в том числе картины Риссанена, Коллина, Кавена, Энгберга, Аланко, Сакселина, Каасинена и Теслефф [A. G-s 1917b; -r]. Однако музеем Александра III пришлось отказаться от своих планов купить картины Ярнефельта, Риссанена и Саллиненна, так как обещанные ассигнования Временного правительства так и не были выделены. Первоначально боялись, что помешает царившее на художественном рынке затишье из-за мировой войны и революции, но теперь и быстро ослабевшие финско-русские политические контакты отрицательно влияли на ее успех [V-r].

Мадам Добычина не могла не разочароваться в своих надеждах, но все-таки хотела верить, что на волне возникшего интереса можно было бы устроить ежегодные финские выставки в Петрограде [Там же]. Из этого ничего не вышло, и окно в Финляндию опять закрылось на долгое время. Предложение Добычиной организовать большую выставку из 350 картин «Мира искусства» в «Атенеуме» осенью 1917 г. также не осуществилось [Strengell; Hbl 1917d]. «Атенеум» не купил ничего из нового русского искусства, как советовал, например, Веннервирта. Бурлюк не устроил совместной выставки в Москве, и Гёсте Стенману пришлось забыть о своих планах открыть финский художественный салон в Петрограде [Hbl



1917г]. Вилле Валлгрэн не успел обогатиться от продажи тысяч статуэток и профильных плакатов Брешко-Брешковской, несмотря на то, что он уже в петроградском ателье успел вылепить голову революционной героини [Vallgren: 204; Hbl 1917h; DP 1917c]. Чувство благодарности и финско-русская дружба забылись, когда русские хозяева, один за другим, исчезли с арены истории. Осталась лишь память об уникальном празднике свободы и кратковременном финско-русском братстве в области культуры, что удачно выразила Вийви Валлгрэн: «Боже мой, дым был коромыслом! Нетрудно представить себе результат встречи русских и финских художников. Ох, как это было весело!» [Валлгрэн: 204].

## ЛИТЕРАТУРА

- А. Б.: А. Б. <Бенуа Александр>. Финская выставка // Новая жизнь. 1917. № 11. 30 апреля.
- Бенуа 1917: Бенуа А. Привет финляндцам. Художественные письма // Речь. 1917. № 65 [17 марта].
- Бенуа 1968: Бенуа А. Александр Бенуа размышляет. М., 1968.
- Бенуа 2003: Бенуа А. Мой дневник 1916–1917–1918. М., 2003.
- Бунин 1990: Бунин И. Окаянные дни: Под серпом и молотом. Рига, 1990.
- Бунин 1950: Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950.
- Бурлюк: Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994.
- Выставка: Выставка финского искусства. СПб., 1917.
- Денисов 1917а: Денисов В. Элякзэн Суоми! К выставке финского искусства // День. 1917. № 28 [8 апреля].
- Денисов 1917б: Денисов В. Выставка финского искусства // День. 1917. № 32 [13 апреля].
- Катанян: Катанян В. Маяковский. Литературная хроника. М., 1956. 3-е изд.
- Казанская: Казанская Л. Весною, в доме Адамини... Финская выставка в апреле семнадцатого // Невское время. 1993. 27 мая.
- Левинсон: Левинсон А. Пути финского искусства. Заметки по поводу «Выставки финского искусства» // Летопись. 1917. № 2–4. С. 364–371.

- Observer: *Observer* <Грушевский М. С.>. Торжество финского искусства // Биржевые ведомости. 1917. № 14168 [6 апреля].
- Пумпянский: *Пумпянский Л.* Современное финское искусство. Выставка в бюро Добычиной // Аполлон. 1917. №№ 4–5. С. 75–84.
- Речь 1917а: Выставка финского искусства // Речь. 1917. № 76 [31 марта].
- Речь 1917б: Торжественное открытие выставки финского искусства // Речь. 1917. № 78 [5 апреля].
- С. К.: С. К. Петроградская выставка финского искусства // Столица и усадьба. 1917. № 80. С. 15–16.
- Сомов: *Сомов К. А.* Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979.
- A. G-s: *A. G-s* <*Haartman, Axel*>. De finländska konstnärerna och den "Finska veckan" i Petrograd // Hufvudstadsbladet. 1917. № 105: а [20 апреля], № 106: б [22 апреля], № 107: с [25 апреля].
- Bondarenko: *Bondarenko V.* Gallen-Kallela venäläisin silmin // Taide. 1978. № 3. С. 10–14.
- DP 1917а: Lyckönskningstelegram // Dagens press. 1917. № 70 [24 марта].
- DP 1917б: Antti Favéns utställning // Dagens press. 1917. № 90 [20 апреля].
- DP 1917с: Medaljon af Breschko-Breschkovskaja // Dagens press. 1917. № 105 [9 мая].
- Gallen-Kallela-Sirén: *Gallen-Kallela-Sirén, Janne.* Minä palaan jalanjäljilleni. Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide. Keuruu, 2000.
- Hassan: *Hassan.* Suomalainen taidenäyttely Pietarissa. Innostunut juhla-mieliala avajaisissa, sydämellisiä kunnian- ja ystävyidenosoituksia venäläisten puolelta. Prof. Robert Kajanus kertoo // Uusi Suometar. 1917. № 106 [21 апреля].
- H. B.: *H. B.* <*Backmansson Hugo*>. De finländska konstnärernas utställning // Fyren. №№ 9–13. С. 34.
- Hbl 1916а: Planen på en finländsk Petrograd-exposition // Hufvudstadsbladet. 1916. № 214 [10 августа].
- Hbl 1916б: Finsk skulpturutställning i Petrograd // Hufvudstadsbladet. 1916. № 265 [30 сентября].
- Hbl 1917а: Finlands och Rysslands konst // Hufvudstadsbladet. 1917. № 89 [2 апреля].
- Hbl 1917б: Finsk konst till Ryssland. Hvad man säger i ryska konstnärskretsar // Hufvudstadsbladet. 1917. № 92 [5 апреля].
- Hbl 1917с: Den finska konstutställningen i Petrograd // Hufvudstadsbladet. 1917. № 94 [8 апреля].

- Hbl 1917d: Stor rysk konstutställning i Helsingfors i höst // Hufvudstadsbladet. 1917. № 97 [11 апреля].
- Hbl 1917e: Den finska utställningens öppnande i Petrograd // Hufvudstadsbladet. 1917. № 104 [19 апреля].
- Hbl 1917f: Den finländska utställningen i Petrograd // Hufvudstadsbladet. 1917. № 107 [22 апреля].
- Hbl 1917g: Stenmans konstsalong öppnar exposition i Petrograd // Hufvudstadsbladet. 1917. № 107 [22 апреля].
- Hbl 1917х: Ett nytt verk af Ville Vallgren // Hufvudstadsbladet. 1917. № 111 [26 апреля].
- HS 1917a: Suomen taidenäyttely Pietarissa. Päätetty asia // Helsingin Sanomat. 1917. № 87 [30 марта].
- HS 1917b: Suomalaisen taidenäyttelyn awaus Pietarissa // Helsingin Sanomat. 1917. № 106 [21 апреля].
- Jangfeldt: *Jangfeldt Bengt* [ed.]. Jakobson-budetljanin. Sbornik materialov. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in Russian literature 26. Stockholm, 1992.
- K. C.: K. C. Ett uttalande om den finländska konsten // Dagens Press. 1916. № 215 [16 сентября].
- r: -r. Suomalaiset taiteilijat Pietarissa. Suurenmoinen vastaanotto // Helsingin Sanomat. 1917. № 109 [24 апреля].
- Reitala: *Reitala Aimo*. Ystävyyttä politiikan varjossa. Johdatusta Venäjän/Neuvostoliiton ja Suomen kuvataidesuhteiden historiaan // Taide. 1979. № 6. С. 4–11.
- SK: SK. Suomalaisten taiteilijan näyttely Pietarissa // Suomen kuvalehti. 1917. № 19. С. 266.
- Strengell: *Strengell Gustaf*. Den finländska Petrograd-expositionen. Arki-tekst Strengell redogör för planens uppkomst // Hufvudstadsbladet. 1916. № 206 [2 августа].
- US 1917a: Suomalainen taidenäyttely Pietarissa // Uusi Suomi. 1917. № 105 [20 апреля].
- US 1917b: Suomen taiteen näyttelystä Pietarissa // Uusi Suomi. 1917. № 118 [4 мая].
- V-r: V-r. Finländsk konst i Petrograd // Hufvudstadsbladet. 1917. № 145 [1 июня].
- Vallgren: *Vallgren Viivi*. Sydämeni kirja. Elämän muistelmia. Porvoo-Helsinki, 1949.
- Wennerwirta: *Wennerwirta L*. Suomalainen taidenäyttely Pietariin. Näyttely awataan lähimmässä tulevaisuudessa // Turun Sanomat. 1917. № 3751 [4 апреля].

## МЕЖДУ МОГИЛОЙ И ТЮРЬМОЙ:

«Голубые глаза и горячая лобная кость...»

О. Мандельштама на пересечении поэтических кодов  
(Статья вторая<sup>1</sup>)

ЕВГЕНИЙ СОШКИН

### II

#### Голубая версия глобальной тюрьмы

*Голубая тюрьма.* Чтобы разобраться в этой формуле, нам потребуется поочередно рассмотреть обе ее лексических составляющих. Начнем с *тюрьмы*.

В смысловом поле *тюрьмы* как метафизической величины можно выделить два основных направления, на которых логическим шагам будут соответствовать конкретные поэтические мотивы<sup>2</sup>. Одно из них (I) связано с комплексом идей, проникнутых духом эсхатологизма и в раннесимволистскую эпоху в основном ориентированных на тезис гностиков о непознаваемости надмирного Бога<sup>3</sup> и гностический акосмизм<sup>4</sup>. Другое же (II) прямо или косвенно базируется на Платоновой притче о пещере и наследует греческой традиции почитания космоса.

---

<sup>1</sup> Статья первая опубликована в «Блоковском сборнике, 18». Тарту, 2010. С. 56–79.

<sup>2</sup> Ниже анализируется только тюремная или близкая к ней метафора, тогда как поддерживающие ее фундаментальные антитезы («свобода — плен», «открытость — замкнутость», «бесконечность — предел») по возможности не затрагиваются.

<sup>3</sup> Впрочем, эта дуалистическая модель в том или ином обличье бытовала в русском космологическом сознании со времен романтизма: [10, 234].

<sup>4</sup> Менее употребительный, но более точный термин — «антикосмизм».



И. Фетовский зачин («Если жить суждено и на свет не родиться нельзя») выражает базисную для всех эсхатологических учений идею первородного греха и представление о рождении как понесенной за этот грех кары и о земной жизни как о длежащемся наказании. Посредством некоего причинно-следственного «склеивания» рождение человека интерпретируется и как финальный элемент преступления, и как исходный пункт наказания за него. Метафора земной жизни как тюремного наказания за априорно преступное рождение была смоделирована буквально в драме Кальдерона «Жизнь есть сон», ценимой Шопенгауэром<sup>5</sup>, а в век романтизма — в поэме Виньи «Тюрьма» (1821); в русской поэзии она варьировалась от Лермонтова<sup>6</sup> до Минского<sup>7</sup>.

Восприятие мира как тюрьмы, всем памятное по беседе Гамлета с Розенкранцем, разрабатывалось поэтами двояко. В одном случае мобилизовалась идея верховного существа как вселенского тюремщика, подобного гностическим архонтам. Соответственно, «[а]рхетип всевидящего (или всезнающего)

---

<sup>5</sup> Соответствующая цитата из нее (“Pues el delito mayor / Del hombre es haber nacido”) дважды появляется в «Мире как воле и представлении».

<sup>6</sup> «...Пришло мне в мысли хоть на миг <...> Узнать, для воли иль тюрьмы / На этот свет родимся мы!» («Боярин Орша», 1835–36). С небольшими изменениями фрагмент переключался в «Мцыри» (надо отметить, что тюремная метафорика, сквозная для трех лермонтовских поэм, образующих генетическую последовательность: «Исповедь», «Боярин Орша», «Мцыри», — очевидным образом внушена их жанровым и стиховым прототипом — «Шильонским узником»). Ср. также в исключенном из белого текста фрагменте «Мцыри», где трактовка *рождения* как персонального проклятия опосредована изофункциональностью тюрьмы — *родине*: «...почему / Ты на земле мне одному / Дал вместо родины тюрьму?», «...И детский голос мой дрожал, / Когда я пел хвалу тому, / Кто на земле мне одному / Дал вместо родины — тюрьму...».

<sup>7</sup> «Мой мир — тюрьма. В нем, к смерти осужден, <...> За что не знаю, мучусь бесконечно» («Свет правды», цит. по: [45, 84]).

“солнечного ока” диаволизир[овался], становясь каким-то божественным “вуайеризмом” <...>» [45, 348], т.е. актуализируя гностическое отношение к звездам как враждебным соглядатаям [20, 247–250]<sup>8</sup>, причастным к порабощающему учреждению временной периодизации [20, 206]<sup>9</sup>. В другом случае мир сам по себе уподоблялся тюрьме, прежде всего за счет его изображения в виде запертого здания<sup>10</sup>. Между тем еще романтики понимали глобальную тюрьму как тюрьму безграничную [28, 76–77], и одним из проявлений этой безграничности выступала темпоральная неизмеримость тюремного бытия<sup>11</sup>, антиномичная вышеупомянутой гностической концеп-

---

<sup>8</sup> Вслед за О. Ханзен-Лёве [45, 350] процитирую «Стеклышко в двери» Минского: «Чей-то глаз следит за мной, / Равнодушный или злой <...> Не гляди в мою тюрьму! / Дай побыть мне одному! <...> Нет! Всезрящий глаз открыт, / Смотрит, судит и следит». Ср. у Кольриджа в переводе Гумилева (1919): «Сквозь снасти Солнце видно нам <...> Как за решеткою тюрьмы / Горящий, круглый глаз» («Поэма о старом моряке»). См. также: [11, 354].

<sup>9</sup> Об этом мотиве применительно к Гоголю и его современникам см.: [10, 398–400]. Ср. у Вяч. Иванова: «Все, что предельно, — / Сердцу тюрьма, — / Лето ли зелено, / Бела ли зима» («При дверях», 1912).

<sup>10</sup> Ср. у Случевского: «...Кругом совсем темно; / И этой темнотой как будто сняты стены: / Тюрьма и мир сливаются в одно» («На мотив Микеланджело», <1880>).

<sup>11</sup> Ср. в «Шильонском узнике»: «То было тьма без темноты; / То было бездна пустоты / Без протяженья и границ» — и далее. У Случевского: «...И мнится при луне, что мир наш — мир загробный, / Что где-то, до того, когда-то жили мы, / Что мы — не мы, послед других существ, подобный / Жильцам безвыходной, таинственной тюрьмы. // И мы снуем по ней какими-то тенями, / Чужды грядущему и прошлое забыв <...>» (“Lux aeterna”, <1881>); у Надсона: «...И только с белеющей башни собора / Доносится бой отдаленных часов. / Внимая им, узник на миг вспоминает, / Что есть еще время, есть ночи и дни» («Ни звука в угрюмой тиши каземата...», 1882); у Брюсова: «День и ночь — не все равно ли, / Если жизнь идет в неволе!» («Песня из темницы», 1913). Ср. идею вечной жизни как вечной тюрьмы в поэме Виньи «Тюрьма».

ции порабощения посредством членения времени. Две ипостаси мировой безысходности<sup>12</sup> — тотальная ограниченность (или разграниченность) и абсолютная безграничность (или нечеткость границ) — противопоставлены друг другу как тюремный космос тюремному хаосу. У символистов они либо дополняют друг друга в пространстве<sup>13</sup> или во времени<sup>14</sup>, либо синтезируются, и тогда тюрьма предстает зыбким лабиринтом, выход из которого, быть может, и существует, но едва ли будет найден<sup>15</sup>; постсимволистская метафорика менее схематична<sup>16</sup>. Наконец, в преддверии разговора о гносеологической *глубой тюрьме* значима уподобляемость романтического порабощения субъекта маниакальной страстью или идеей — тюремному заточению<sup>17</sup>.

---

<sup>12</sup> Подробно о диаволической замкнутости мира см.: [45, 89].

<sup>13</sup> «...Весь мир стал снова изначальным, / Весь мир — замкнутый дом, и на замке печать. // Вновь Хаос к нам пришел и воцарился в мире <...>» (К. Бальмонт, «Злая ночь», 1903).

<sup>14</sup> Ср. картину сменяющих одна другую космической и хаотической фаз в режиме «мировой тюрьмы» из одноименного стихотворения Бальмонта <1905>.

<sup>15</sup> «...Камни везде, и дома. <...> Город мне — точно тюрьма» (Ф. Сологуб, «Узкие мгlistые дали...», 1898); «Мы бродим в неконченном здании / По шатким, дрожащим лесам <...> Нам страшны размеры громадные / Безвестной растущей тюрьмы. <...> О думы упорные, вспомните! / Вы только забыли чертеж! // Свершится, что вами замыслено. / Громада до неба взойдет / И в глуби, разумно расчисленной, / Замкнет человеческий род» (В. Брюсов, «В неконченном здании», 1900). Ср. также брюсовского «Каменщика» (1901).

<sup>16</sup> В черновиках «Армении», например, обыденная реальность эмоционально окрашивается тюремным колоритом: «Дома из тюремного хлеба / Из мякиша строит тоска». Или, согласно другому прочтению: «Дома из тюремного хлеба / Из мякиша страшной тоски» [36, 136].

<sup>17</sup> Так, в XXXVI главе «Моби Дика» Ахав сравнивает белого кита со стеной своего узилища, которую нужно пробить, чтоб вырваться на свободу (но также и с бессмысленной маской, сквозь которую проглядывают черты рационального зла).



Гностический акосмизм, с которым, в частности, диссонировал, по замечанию Е. А. Торчинова, «яркий космизм (оптимистический взгляд на природу творения, стремящегося к единению с Абсолютом и “обожению”) русской религиозной философии» [20, 8], преодолевается посредством идущей от Фета и навеянной Шопенгауэром концепции, согласно которой, с одной стороны, звезды делят с человеком его невольничий жребий<sup>18</sup> и смертный удел<sup>19</sup>, а с другой — являют зрелище альтернативного бытия, позитивно бесконечного за счет космической беспредельности, проводящей свет<sup>20</sup>.

II. В уже упоминавшейся выше программной статье «Ключи тайн» Брюсов так рассуждает об иллюзорности мира явлений:

...Глаз обманывает нас, приписывая свойства солнечного луча цветку, на который мы смотрим. Ухо обманывает нас, считая колебания воздуха свойством звенящего колокольчика. Все наше сознание обманывает нас, перенося свои свойства, условия своей деятельности, на внешние предметы. Мы живем среди вечной, исконной лжи. <...>

Но мы не замкнуты безнадежно в этой «голубой тюрьме» — пользуясь образом Фета. Из нее есть выходы на волю, есть просветы. Эти просветы — те мгновения экстаза, сверхчувственной интуиции, которые дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину. Ис-

<sup>18</sup> См. «Среди звезд» (1876). В статье о Фете (1903) Брюсов прямо увязывает этот мотив с *голубой тюрьмой*: «В мире явлений, в “голубой тюрьме”, все совершается по определенным правилам. Даже звезды движутся по установленным путям — “рабы, как я, мне прирожденных числ”» [9, 213].

<sup>19</sup> См. «Угасшим звездам» (1890). Ср. также: «А ты, застывший труп земли, лети, / Неся мой труп по вечному пути!» («Никогда», 1879).

<sup>20</sup> См. «Измучен жизнью, коварством надежды...» <1864?> с эпиграфом из Шопенгауэра и «Угасшим звездам». О развитии данной фетовской темы у Мандельштама см.: [34, 103]. О. Ронен также указывает на мотив затрудненного дыхания в «Среди звезд» и «Измучен жизнью...», что делает оба текста релевантными для понимания фетовского одышливого карандаша в «Дайте Тютчеву стрекозу...» [34, 37].



конная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения, вдохновения [9, 92]<sup>21</sup>.

Как видим, Брюсов, методично введивший фетовский троп в символистский обиход, трактует *голубую тюрьму* как естественный удел человека, находящегося в поработочающей зависимости от органов чувств и сознания<sup>22</sup>. Помимо шопенгауэровской концепции «чистого субъекта», развивающей и радикализирующей трансцендентальный идеализм Канта, брюсовскую трактовку можно проследить и в учении гностиков. Согласно гностической модели, телу, которое подчинено закону физического мира («гемармену»), и душе («психе»), которая подчинена нравственному закону, как продуктам враждебных космических сил противопоставлен дух («пневма») — часть божественной материи, заключенная в душе, как в тюрьме [20, 60, 171] (ср. [45, 87–88])<sup>23</sup>. Сообразно с этой моделью органы чувств отождествимы с телом, а сознание — с душой. Этот нюанс необходимо учитывать, поскольку в русской поэзии, предшествующей символизму, душа и дух, как правило, изофункциональны друг другу в рамках оппозиции той и другого

---

<sup>21</sup> См. об этом пассаже: [50, 138–139], а также о более раннем его варианте: [45, 29].

<sup>22</sup> Ср. в уже цитировавшейся выше статье о Фете: «Мысль Фета, воспитанная критической философией, различала мир явлений и мир сущностей. О первом говорил он, что это “только сон, только сон мимолетный”, что это “лед мгновенный”, под которым “бездонный океан” смерти. Второй олицетворял он в образе “солнца мира”. <...> Но Фет не считал нас замкнутыми безнадежно в мире явлений, в этой “голубой тюрьме”, как сказал он однажды. Он верил, что для нас есть выходы на волю, есть просветы, сквозь которые мы можем заглянуть “в то сокровенное горнило, где первообразы кипят”. Такие просветы находил он в экстазе, в сверхчувственной интуиции, во вдохновении» [9, 211].

<sup>23</sup> Подобная двойственность понятия *духа*, который в одних случаях отождествляется с *душой*, а в других ей противопоставляется, зафиксирована и в словаре Даля. См. также языковедческое исследование М. О. Гершензона «Дух и душа: Биография двух слов» (1918).

по отношению к телу (ср. [10, 339]), чему соответствует элементарное воззрение на тело как темницу души / духа<sup>24</sup>.

Идея гносеологической тюрьмы, с поистине символической неизбежностью всплывающая в символистских текстах с грамматным названием «Одиночество»<sup>25</sup>, легко прослеживается

<sup>24</sup> Ср. в «Кратиле»: «Многие считают, что тело подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу» [31, I, 634] и особенно в «Федоне»: «Тем, кто стремится к познанию, хорошо известно вот что: когда философия принимает под опеку их душу, душа <...> вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве. Видит философия и всю грозную силу этой тюрьмы: подчиняясь страстям, узник сам крепче любого блюстителя караулит собственную темницу» [31, II, 39]. В русской поэзии эта древняя метафора, воспринятая отчасти в неоплатоническом ракурсе [10, 234], оставалась ходовой до конца романтической эпохи в идейном диапазоне от пиетизма Жуковского до лермонтовского демонизма. Ср. соответственно: «Высокая душа так много *вдруг* узнала, / Так много тайного небес *вдруг* поняла, / Что для нее земля темницей душной стала, / И смерть ей выкупом из тяжких уз была» («Плачь о себе: *твое* мы счастье схоронили...», 1838); «...Знай, этот пламень с юных дней, / Таяся, жил в груди моей; / Но ныне пищи нет ему, / И он прожег свою тюрьму / И возвратится вновь к тому, / Кто всем законной чередой / Дает страданье и покой...» («Мцыри», 1839).

<sup>25</sup> «В своей тюрьме, — в себе самом, / Ты, бедный человек, / В любви, и в дружбе, и во всем / Один, один навек!..» (Д. Мережковский, 1890); «Мы беспощадно одиноки / На дне своей души-тюрьмы!» (В. Брюсов, 1903); «Мне в мой простор, в мою тюрьму, / Входить на свете одному...» (Ю. Балтрушайтис, 1904). Этот вывод о невозможности какой-либо коммуникации между узниками, запертыми в одиночных камерах своего бытия, представлял собой символистскую радикализацию романтического скепсиса по поводу любых интенций, исходящих от смертных; ср. в финале романа Х. К. Андерсена «Всего лишь скрипач» (1837): «То, что мы называем великим и бессмертным, когда-нибудь для других поколений будет чем-то вроде надписей углем на стенах тю-

к притче о пещере, которая прямо сравнивается у Платона с тюрьмой («...область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу <...>» [31, III, 298]) и — ввиду популярности притчи в России начиная с рубежа XVIII–XIX вв. [10, 264, 307–308] — в соответствующем контексте служит постоянным объектом поэтических аллюзий<sup>26</sup>. Приведенные выше рассуждения Брюсова относительно органов зрения и слуха, обманывающих нас, представляют собой вариацию реплики Сократа: «Если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы ни произ-

---

ремной камеры, которые теперь читают любопытные...» (пер. С. Белокриницкой).

<sup>26</sup> Ср.: «Проснулись мы, — конец виденью, / Его ничем не удержать, / И тусклой, неподвижной тенью, / Вновь обреченных заключенью, / Жизнь обхватила нас опять» (Ф. Тютчев, «Е. Н. Анненковой», не позднее 1859); «...Кто бредет по житейской дороге / В безрассветной глубокой ночи, / Без понятия о праве, о бже, / Как в подземной тюрьме без свечи» (Н. Некрасов, «Ночь. Успели мы всем насладиться...», 1858); «...когда ни звука песен, / Ни смелых образов, когда вся жизнь — тюрьма, / Где млеет по стенам сидящая плесень / И веет сыростью губительная тьма» (К. Фофанов, «Из старого альбома», 1888); «Все снится — в мрачный склеп / Навек попали мы: / Стучим, зовем — увы! / Недвижен свод тюрьмы. // Нет песен, смеха нет... / Ни солнца, ни цветов...» (П. Якубович, 1907). Особой популярностью притча о пещере пользуется у старших символистов — Бальмонта («В пещере», 1895; «В тюрьме», 1899), Коневского («Жертва вечерняя», 1896) и др. (см.: [45, 226]). Слово бы в пику символистскому мотиву зверинца как модели мировой тюрьмы (см.: [45, 100]) Заболоцкий в текстах рубежа 1920–30-х гг. — таких, как «Прогулка», «Змеи», «Осень» («В овчинной мантии...»), поэма «Деревья», — разрабатывает руссоистскую концепцию природы-тюрьмы, а в поэме «Безумный волк» (1931), как показал М. Вайскопф, интерпретирует особенность физической конституции волка, опираясь на притчу о пещере [12, 425–6]. В ином аспекте природу как аналог тюрьмы (а вернее, жестокого государственного порядка) трактовал молодой Мандельштам в стихотворении «Природа — тот же Рим и отразилась в нем...» (1914) с характерным сравнением воздуха с цирком голубым.



нес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени?» [31, III, 296]. Последствия, которые для пещерного узника может иметь освобождение от оков и лицезрение солнечного света, составляют у Платона парадигму альтернативных возможностей, каждая из которых находит отражение либо аналог в поэтической мифологеме заточения.

Выход из мрака на свет грозит ослеплением. Тогда узник не признает истинным вдруг открывшийся ему мир сущностей и желает вернуться в темную пещеру<sup>27</sup>. Но если освободивший-

---

<sup>27</sup> Ср.: «...Привыкший к сумраку темницы, / Томится узник... по деннице. / Для глаз его несносен свет; / И, если луч ее порою / Проглянет светлой полосой, — / Не верит он, что были дни, / Когда и для него блистал / Приветный луч златой денницы: / Серdito тяжкие ресницы / Спешить закрыть, как бы не знал / Он никогда дневного света» (П. Бессонов, «Что ж? Отчего так грустна ты?», 1845; цит. по: <[http://www.poesis.ru/poeti-poezia/bessonov/fm\\_vers.htm](http://www.poesis.ru/poeti-poezia/bessonov/fm_vers.htm)>); «И как узник, полюбивший долголетний мрак тюрьмы, / Я от солнца удаляюсь, возвращаясь в царство тьмы» (К. Бальмонт, «Из-под северного неба», 1895). Этот мотив ослепления при выходе из темницы интегрирован в обширную тему душевной привязанности к тюремному существованию: «...И подземелье стало вдруг / Мне милой кровлей... <...> И... столь себе неверны мы!.. / Когда за дверь своей тюрьмы / На волю я перешагнул — / Я о тюрьме своей вздохнул» («Шильонский узник»); «Когда-нибудь настанет мой черед / Привычное покинуть заточенье, / Но только будет, знаю наперед, / Нерадостным мое освобожденье» (Д. Кленовский, «Моя земля! Тюремщик старей мой...», 1966). Мотивировкой нежелания выйти на свободу может служить не только внутренняя привычка к несвободе, но и рациональные соображения двоякого рода — нравственные либо материальные. Примеры нравственной мотивировки: «Но... что случилось с проснувшимся сердцем моим? / Отчего на тюремном пороге / Вдруг поник я челом и стою, недвижим, / В непонятной душевной тревоге?.. / Что за сила влечет меня снова назад?» (С. Надсон, «Распахнулись тяжелые двери тюрьмы...», 1883), — как выясняется, в тюрьме остался товарищ; «Но я опять вернулся бы в тюрьму, / ... / Когда бы знал, что, выбрав скорбь и



ся узник переходит от теней к отражениям, от них — к лицезрению звезд и Луны, а уж затем к солнечному свету<sup>28</sup>, то он постепенно привыкает к новым условиям и осознает все их преимущества перед прежними<sup>29</sup>.

После пребывания на свету возвращение во мрак пещеры также сопровождается потерей зрения. Тот, кому открылся истинный мир, теряет способность ориентироваться в мире теней, где он теперь показался бы смешным, — и это его качество, обозначенное Платоном, Шопенгауэр интерпретирует как проявление родства между гениальностью и безумием [49, 306]. Безумие как пограничное состояние, сопряженное с пересечением порога гносеологической тюрьмы (необязательно

---

тьму, / Я с чьей-нибудь души тяжелый грех сниму!» (К. Бальмонт, «Последняя мысль Прометея», <1895>). Материальную мотивировку можно проиллюстрировать распространенным мотивом страха, который внушает рабу или живущему в неволе животному перспектива свободы с ее отсутствием материальных гарантий; ср. хотя бы тщетный призыв соловья, обращенный к подруге: «Покинь золотую тюрьму!» (Я. Полонский, «Соловьиная любовь», 1856).

<sup>28</sup> Ср. у Лермонтова мотив различного воздействия ночи и дня на истощенный заточением организм: «На мне печать свою тюрьма / Оставила... Таков цветок / Темничный: вырос одинок / И бледен он меж плит сырых, / И долго листьев молодых / Не распускал, все ждал лучей / Живительных. И много дней / Прошло, и добрая рука / Печально тронулась цветка, / И был он в сад перенесен, / В соседство роз. Со всех сторон / Дышала сладость бытия... / Но что ж? Едва взошла заря, / Палящий луч ее обжег / В тюрьме воспитанный цветок...» («Мцыри»).

<sup>29</sup> «Но свыкнись, узник! Из тюрьмы на свет / Когда выходят — взору трудно, больно, / А после станет ясно и раздольно!» (Н. Огарев, «Упование. Год 1848»). Эта диалектика чревата противоположными оценками пробуждения от тюремного сна, которое может трактоваться и как выход из тюрьмы, и как возвращение в нее: «...В тесной тюрьме видит сны. / Горе проснувшимся!» (Н. Минский, цит. по: [45, 246]); «Рассеется при свете сон тюрьмы, / И мир дойдет к предсказанному раю» (В. Брюсов, «Я знаю...», 1898).

отождествляемой с Платоновой пещерой), трактуется либо как духовное освобождение (доступное поэту), в результате которого тело попадает уже в реальную тюрьму<sup>30</sup>, либо, напротив, как радикальное (поистине тюремное) ограничение возможностей сознания — т.е. ординарное сумасшествие<sup>31</sup>, которое в символистском представлении четко отделено от священного безумия [45, 352] — качества, эквивалентного поэтическому призванию и позволяющего — за счет потери ориентации в дольном мире — лицезреть вышний мир сущностей<sup>32</sup>.

Обратимся теперь к определению тюрьмы по признаку цвета: *голубая*. Метафорическое клише, легшее в фундамент *голубой тюрьмы* и учтенное в ходе ее рецепции, таково: тюрьма есть место погребения заживо, метонимия могилы<sup>33</sup> с маркированным дефицитом голубизны или синевы как символа свободы и вечной жизни<sup>34</sup>. Тем самым выражение «голубая тюрьма» за-

---

<sup>30</sup> Самый яркий пример — пушкинское «Не дай мне Бог сойти с ума...» (1833).

<sup>31</sup> Ср. строки Вяземского о Батюшкове, который культивировал Тассо и чье сумасшествие поэтому закономерно ассоциировалось с тюремным заточением: «Он в мире внутреннем ночных видений / Жил взаперти, как узник средь тюрьмы, / И был он мертв для внешних впечатлений, / И Божий мир ему был царством тьмы» («Прекрасен здесь вид Эльбы величавой...», 1853).

<sup>32</sup> О. Ханзен-Лёве цитирует в этой связи Бальмонта: «Да, но безумье твоё было безумье священное, / Мир для тебя превратился в тюрьму, / Ты разлюбил все земное, неверное, пленное, / Взор устремлял ты лишь к высшему Сну своему» («Пред картиной Греко», 1897).

<sup>33</sup> То место в шестом круге Ада, где души еретиков заключены в темных гробах, названо у Данте «слепой тюрьмой». См. в этой связи комментарий Л. Г. Степановой и Г. А. Левинтона к «Разговору о Данте» [27, 547].

<sup>34</sup> Ср.: «...в наряде голубом, / Крутясь, бежал Гвадалкивир, <...> Светило южное текло, /.../ Но в монастырскую тюрьму / Игривый луч не проникал <...>» (М. Лермонтов, «Исповедь», 1831); «Я никогда не знал, что может / Так пристальным быть взор, / Впиваясь в узкую полоску, / В тот голубой узор, / Что, узники, зовем мы

ключает в себе семантический парадокс (тюрьма с преизбытком небесной голубизны, нивелирующей онтологическую данность тюремного заточения, но не посягающей на

---

небом / И в чем наш весь простор» (О. Уайльд, «Баллада Рэдингской тюрьмы», пер. К. Бальмонта — 1904); «...Посмотреть на синю волю / Сквозь железное окно» (С. Городецкий, «Тюремные песни», 1907). Антиномичное тюремное голубое небо может замещаться звездным: «Сосны шепчут про мрак и тюрьму, / Про мерцание звезд за решеткой» (Н. Клюев, «В златотканные дни Сентября...», 1911). Порой мотив синевы вводится с помощью образов-посредников. Таковы голубые глаза: «...часто ночью мне мечталось, / Что дверь тихонько отворялась, / И робко шла ко мне она — / Голубоокая жена <...>» (Н. Огарев, «Тюрьма», 1858); цветы: «Но фиалка и в тюрьме: с ума сойти в безбрежности!» (О. Мандельштам, «Я молю, как жалости и милости...», 1937); наконец, однокоренные ключевому слову *голуби*, чья мифологема фиксирует способность покидать место, которое человек покинуть не может (Ноев ковчег): «Вам, птицы поднебесные, / Насыпал я пшена / За те пруты железные / Тюремного окна. <...> Покойны будьте, голуби! / Обильно сыплю я. <...> Когда же все насытитесь, / Умчитесь в эту синь, / Рассеетесь, рассыпетесь / Средь голубых пустынь» (С. Городецкий, «Тюремные песни»). Ср. финал ахматовского «Реквиема»: «...И голубь тюремный пусть гулит вдаль, / И тихо идут по Неве корабли», — где голубь, способный покидать пределы тюрьмы и возвращаться, не замечая пересекаемой границы, выступает субститутотом наружного голубого простора, зримо представленного движущейся Невой. Впрочем, стереотип голубя, удел которого завиден узнику, дискредитировался еще П. Якубовичем: «Эмблема кротости, любимый житель неба, / О голубь, бедный раб, тебя ль не презирать? / Для тошего зерна, для жалкой крошки хлеба / Ты не колеблешься свободой рисковать» («Голуби», 1885). Ср. также рассказ С. Риттенберга: «Последний раз я встретил Мандельштама в Летнем саду, это было перед самым моим отъездом в Финляндию, в 1918 году. Когда я подошел к нему, он сидел на скамейке, откинув голову назад, и читал: “Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, un arbre par-dessus le toit berce sa palme”. “Знаете, что Верлен написал это в тюрьме?” — спросил Мандельштам» (цит. по: [41, 475]).



нее)<sup>35</sup>, — парадокс, который до Фета получил в русской поэзии классическую трактовку у Жуковского в стихотворении «Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу» (1813): «Лети ж, лети к свободе в поле; / Оставь сей бездны глубину; / Спеша прожить твою весну — / Другой весны не будет боле; / Спеша, творения краса! / Тебя зовут луга шелковы: / Там прихоти — твои оковы; / Твоя темница — небеса»<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> У Некрасова в «Кому на Руси жить хорошо» упоминается тюрьма, цвет которой тоже сатирически диссонирует с ее стереотипом: «Обугленного города / Картина перед ним: / Ни дома целевшего, / Одна тюрьма спасенная, / Недавно побеленная, / Как белая коровушка / На выгоне, стоит». Эта картина города анахронистически напоминает фотографию в негативе: тюрьма и белый свет поменялись признаками. В символическом плане белая тюрьма подменяет собой сгоревший город, представая мировой тюрьмой в ее политическом изводе (которым русская литературно-публицистическая традиция обязана де Кюстину). Ср. у Бальмонта попытку снять противоречие между представлением о небе как тюрьме и нетюремными коннотациями небесной голубизны: «Мне Небо кажется тюрьмой несчетных пленных, / Где свет закатности есть жертвенная кровь» («Мировая тюрьма»). То же, в опосредованном виде, у Мандельштама в «Египетской марке», где, как было отмечено О. Роненом [52, 101], *суконно-потолочное* и, в другом месте, *суконно-полицейское небо* происходит из «Истории города Глупова»: там фоном для портрета Угрюм-Бурчеева служит «пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...». Ср. также алый цвет неба над острогом в стихе: «В час, как полоской заря над острогом встает» («Колют ресницы. В груди прикипела слеза...», 1931).

<sup>36</sup> Аналогичная метафора (мир — гроб) была развернута Полонским: «...И представлялось мне два гроба: / Один был твой — он был уютно-мал, / И я его с тупым, бессмысленным вниманьем / В сырую землю опускал; / Дугой был мой — он был просторен, / Лазурью, зеленью вокруг меня пестрел, / И солнца диск, к нему прилаженный, как бляха / Роскошно золоченая, горел. <...> И порывался я очнуться — вострепнуться — / Подняться — вечную мою гробницу изломать — / Как саван сбросить это небо, / На солнце



Однако для Фета образ *голубой тюрьмы* был более многослойным, чем для Брюсова и других символистов. *Голубая тюрьма* имела для Фета не только универсальный, но и сравнительно локальный смысл: это кавказские горы. *Тюрьма*, которую адресат стихотворения *успел обойти, полюбить*, обнесена *вечной оградой скал*, после смерти и погребения Н. Я. Данилевского (в Тифлисе) ставшей кладбищенской оградой<sup>37</sup>.

В трансцендентном плане *голубая тюрьма*, возможно, явилась у Фета скрытым полемическим откликом на известную сентенцию Данилевского: «Бог пожелал создать красоту и для этого создал материю» [39, XXXII]<sup>38</sup>. Если приравнять к мате-

наступить и звезды разметать — / И ринуться по этому кладбищу, / Покрытому обломками светил, / Туда, где ты <...>» («Безумие горя», 1860).

<sup>37</sup> В связи с кавказской референцией *голубой тюрьмы* вспоминается лермонтовский фрагмент «Синие горы Кавказа...» (1832), который, хотя и не мог оказать влияние на стихи памяти Данилевского, тем не менее заканчивается перечеркнутым в автографе анапестическим периодом (т.е. содержит опыт метризованной прозы на основе трехсложных размеров, канонизированной впоследствии Белым), где есть и созвучные мировой тюрьме *цепи судьбы*: «В дымной сакле, землей иль сухим тростником покровенной, таятся их жены и чистят оружие, и шьют серебром — в тишине увядая душою — желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой». В единственной доступной Фету публикации («Отеч. записки», 1859, № 7, отд. 1, с. 61) текст оформлен как стихи со строками неравной длины и оборван на слове «увядая».

<sup>38</sup> Среди поклонников Данилевского это рассуждение было популярно. Ср. в письме К. Н. Леонтьева Т. И. Филиппову (1888): «Не есть ли прекрасное, как говорит Данилевский, *духовное* начало в *материи*?» [22]. Та же мысль несколько развернута Данилевским в следующем пассаже, записанном на отдельном листке и процитированном в предисловии Страхова к посмертному изданию «России и Европы»: «Красота есть единственная духовная сторона материи, следовательно, красота есть единственная связь двух основных начал мира. То есть красота есть единственная сторона, по которой она (материя) имеет цену и значение для духа — единственное свойство, которому она отвечает, соответ-

рии фетовскую «тюрьму», то, следуя Данилевскому, эта материя-тюрьма есть *цена* красоты. У Фета же, напротив, красота (которая замещена эпитетом «голубая») есть как бы отвлекающий, обольщающий фактор (ср. глаголы «оглядеть», «полюбить»), призванный *примири́ть* дух с тюрьмой-материей<sup>39</sup>.

Эпитетом *голубая* Фет задал тенденцию к позитивной переоценке заточения в мировой тюрьме у младших символистов — переоценке, уже имевшей место у романтиков (начиная радикальной трансформацией привычных схем в творчестве Новалиса [28] и заканчивая противоречивой эклектикой русских авторов [10, 234–7]), а теперь сместившейся от декадентской эстетизации «тюрьмы» в рамках ее обычной негативной подачи<sup>40</sup> к превращению «классическ[ой] формул[ы] “мир — тюрьма”» «в формулу “тюрьма — мир”, что означает экспансию внутреннего, воображаемого мира человека (диаволически воспринимающего внешний мир как собственную проекцию) на весь мир» [45, 100]<sup>41</sup>. Знаменательно, что до

вует потребностям духа, и которое в то же время совершенно безразлично для материи как материи. И наоборот, требование красоты есть единственная потребность духа, которую можно удовлетворить только материей» [39, XXXII].

<sup>39</sup> Ср. мотив смирения перед бытийственной тюрьмой в несколько более раннем стихотворении Фета: «Окна в решетках и сумрачны лица, / Злоба глядит ненавистно на брата, / Я признаю твои стены, темница, / Юности пир ликовал здесь когда-то» (1882).

<sup>40</sup> Кроме вышеупомянутого стихотворения Надсона «Снова лунная ночь...» ср. также: «Вся жизнь с ее страстями и угаром, / С ее пустой, блестящей мишурой / Мне кажется мучительным кошмаром / И душною, роскошною тюрьмой» (он же, «Минуло время вдохновений ...», 1878); «И демоны вас бросили на скалы, / И ввергли вас в высокую тюрьму» (К. Бальмонт, «Осужденные», 1902). Ср. строки, возможно, подсказанные непосредственно образом *голубой тюрьмы*, в программной для раннего символизма поэме Минского «Холодные слова» (1896): «Стеснились глыбы голубые, / И нет нам бегства из *тюрьмы*» (курсив мой. — Е. С.).

<sup>41</sup> Ранний пример — уже у Надсона, отчасти преодолевающего тут собственный привычный эмоциональный настрой: «Пусть нас да-

символистов подобная переориентировка, начатая Руссо [28, 38–39] и продолженная европейскими романтиками [35, 313 и след.]<sup>42</sup>, совпала по времени со сменой европейской пенитенциарной парадигмы, когда, по определению М. Фуко [44, 340], тюремное заключение получило двойное обоснование: одновременно и «юридическо-экономическое», т.е. искупительное, в этом своем аспекте отчасти наследующее логике традиционной казни, и «техничко-дисциплинарное», т.е. исправительное: смирившись, приняв и наконец полюбив тюрьму, заключенному предстоит затем распространить это отношение на общественный порядок в целом.

В статье Белого «Театр и современная драма» (1908) содержалась компромиссная концепция искусства как бомбы замедленного действия, которая в грядущем превратит тюрьму в открытый мир:

Искусство есть временная мера: это — тактический прием в борьбе человечества с роком. Как в ликвидации классового строя нужна своего рода диктатура класса (пролетариат), так и при упразднении несуществующей, мертвой, роковой жизни нужно провозгласить знаменем жизни мертвую форму. Этим поклонением и начинается в душе художника бессознательное отрицание

---

вят угрюмые стены тюрьмы, — / Мы сумеем их скрыть за цветами» и т.д.; «И да будут позор и несчастье тому, / Кто, осмелившись сесть между нами, / Станет видеть упрямо все ту же тюрьму / За сплетенными сетью цветами» («На мгновенье», 1880). Ср.: «Каждый камень может быть чудесен, / Если жить в медлительной тюрьме» (В. Брюсов, «Каждый миг», 1900); «...И вот опять в стенах сию. / В очах — нет слез, в груди — нет вздохов. // Мне жить в застенке суждено. / О, да — застенок мой прекрасен» (А. Белый, «В темнице», 1907); «Я и садовник, я же и цветок, / В темнице мира я не одинок» (О. Мандельштам, «Дано мне тело — что мне делать с ним...», 1909). Ср. также строки Анненского, возможно, даже растворившие в себе формулу Фета: «Мечта весны, когда-то голубая, / Твоей тюрьмой горящей я смущен» («Ледяная тюрьма»).

<sup>42</sup> Подробно о позитивных репрезентациях тюрьмы в художественной литературе см.: [51, 1204–1234].



рока. В ту минуту, когда рок превращает вселенную только в тесную нашу тюрьму, художник отвертывается от тюрьмы, занимаясь в тюрьме какими-то праздными забавами. Эти забавы — художественное творчество. Нет, это не забавы: нет, это изготовление взрывчатых веществ. Будет день, и художник бросит свой яростный снаряд в тюремные стены рока. Стены разлетятся. Тюрьма станет миром [5, 155].

Здесь Белый уже недалек от той смены философского курса, которую Мандельштам выдвинет необходимым условием преодоления противоречий, присущих русскому символизму, в своей программной статье «Утро акмеизма», написанной между 1912 и 1914 гг.:

Символисты были плохими домоседами, они любили путешествия, но им было плохо, не по себе в клетки своего организма и в той мировой клетки, которую с помощью своих категорий построил Кант. Для того, чтобы успешно строить, первое условие — искренний пиетет к трем измерениям пространства — смотреть на них не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец. <...> Вот почему архитектор должен быть хорошим домоседом, а символисты были плохими зодчими. <...> [26, I, 179].

Спустя два десятилетия Мандельштам предпринял бесконечно грустную в своей будничности попытку осмыслить на примере дантовской эпохи экспансию тюрьмы на все пространство жизни советского гражданина:

В подсознании итальянского народа тюрьма играла выдающуюся роль. Тюремные кошмары всасывались с молоком матери. Треченто бросало людей в тюрьму с удивительной беспечностью. Обыкновенные тюрьмы были доступны обозрению, как церкви или наши музеи. Интерес к тюрьме эксплуатировался как самими тюремщиками, так и устрашающим аппаратом маленьких государств. Между тюрьмой и свободным наружным миром существовало оживленное общение, напоминающее диффузию — взаимное просачиванье [26, III, 246].

Собственно понятие *голубой тюрьмы*, которое быстро вошло в обиход символистов и стало использоваться без пояснений и



ссылок на Фета<sup>43</sup>, вскоре тоже подверглось полемической переоценке — в статье Блока «О лирике» (1907):

*Так я хочу.* Если лирик потеряет этот лозунг и заменит его любым другим, — он перестанет быть лириком. Этот лозунг — его проклятие — непорочное и светлое. Вся свобода и все рабство его в этом лозунге: в нем его свободная воля, в нем же его замкнутость в стенах мира — «голубой тюрьмы». Лирика есть «я», макрокосм, и весь мир поэта лирического лежит в *его* способе восприятия. Это — заколдованный круг, магический. Лирик — заживо погребенный в богатой могиле, где все необходимое — пища, питье и оружие — с ним. О стены этой могилы, о зеленую землю и голубой свод небесный он бьется, как о чуждую ему стихию. Макрокосм для него чужероден. Но богато и пышно его восприятие макрокосма. В замкнутости — рабство. В пышности — свобода» [6, 133–4]<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Так, в книге Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога» (1904) голубой тюрьмою назван мир олимпийцев, безразличный к страданиям смертных, коему противопоставлен человекоподобный бог-мученик орфической религии (цит. по: [33, 202]), а в брюсовской критической статье того же года состоянием, иноприродным «голубой тюрьме», объявляется страсть, вызванная сексуальным влечением: «Любовь исследима до конца, как всякое человеческое, хотя бы и произвольное создание. Страсть в самой своей сущности загадка: корни ее за миром людей, вне земного, нашего. Когда страсть владеет нами, мы близко от тех вечных граней, которыми обойдена наша “голубая тюрьма”, наша сферическая, плывущая во времена вселенная. Страсть — та точка, где земной шар прикасается к иным бытиям, всегда закрытая, но дверь в них» (цит по: [7, 234]). Ср. диалектику тюремной решетки, которой разделены томимые взаимной страстью в стихотворении Брюсова «Решетка» (1902): «...Но опять у роковой преграды / Мы, едва затеплятся лучи. / И, быть может, нет для нас отрады / Слаше пытки вашей, палачи!».

<sup>44</sup> Об этом пассаже Блока см.: [45, 104]. В позднем эссе о Фете (1925) Бальмонт, наоборот, возносит поэта высоко над «голубой тюрьмой», в которой томятся его читатели: «Скрежеты зубовные не досягают терема, где от зари и до зари и во всю долгую ночь звенят гусли-самогуды и тонко отзываются на малей-

В постсимволистскую эпоху *голубая тюрьма* как поэтическая формула сменяется соответствующим *мотивом*, уже с допущением вариаций в определении цвета. Такова, например, *темно-лазурная тюрьма* в стихотворении «День» (1921) Ходасевича<sup>45</sup>, который присутствовал при «официальном» введении понятия на лекции Брюсова о Фете 7 января 1903 г. [8, 388]<sup>46</sup>. В то же время, перестав быть формулой, у Ходасевича идея *голубой тюрьмы* растворяется в более широком контексте лирики Фета, чьи ласточки из одноименного стихотворения 1884 г., летающие опасно низко над водой, в «Ласточках» Ходасевича (1921), восхитивших Белого присутствием в них «духовности» наравне с «душевностью» [2, 138], взаимодействуют (в рамках общей парадигмы, заданной державинской «Ласточкой»<sup>47</sup>) с противоположным пределом, получающим все признаки *голубой тюрьмы* (ср. [8, 390]): «Вон ту прозрачную, но прочную плеву / Не прободать крылом остроуголь-

---

шее движение ветерка, на движение самой тайной мысли и еще не сказанного чувства тайноведческие струны, стерегущие полный женских очарований сад Жар-птицы. Золотые ресницы звезд смотрят в этот терем и в этот сад. И завороживший верных, завороженный мировым таинством, звездный вестник беззакатного дня шепчет, а шепот его слышится через всю голубую тюрьму мира, через все затоны времен <...>» [1].

<sup>45</sup> Вариантом *темно-лазурной тюрьмы* Л. Силард считает и *аквариум голубой* из стихотворения «Берлинское» (1922) [37, 99].

<sup>46</sup> Ср. стихотворение из «Римского дневника 1944 года» Вяч. Иванова (где *питье* и *корм Пегаса*, возможно, отсылают к *пище* и *питью* заживо погребенного лирика из приведенного выше блоковского отрывка): «Тебе, заоблачный Пегас, / Ключи питье и злаки корм, / Пока стоянки длится час / На берегу раздельных форм. // Что поверяют боги снам, / Звучит на языке богов: / Не уловить земным струнам / Мелодии священных снов. // И в них поющая любовь / Останется земле нема, / Пока шатер мой — плоть и кровь, / А твой — лазурная тюрьма».

<sup>47</sup> Откуда, например, в «Измучен жизнью...» явилась *бездна эфира* [18, 19].

ным, / Не выпорхнуть туда, за синеву, / Ни птичьим крылыш-  
ком, ни сердцем подневольным».

В поминальных стихах Мандельштама с разной степенью уверенности можно выявить несколько уровней освоения подтекста: (I) рецепция, не рассчитанная на читательское узнавание; (II) аллюзия, намекающая на подтекст; (III) реминисценция.

I. Приуроченность образа *голубой тюрьмы* к кавказским горам, возможно, вызвала у Мандельштама ассоциацию с мифом о Прометее, чьим местом наказания также были горы Кавказа<sup>48</sup>. Во всяком случае, в последующих стихах на смерть Белого («Утро 10 января 1934 года») Мандельштам использует данный топоним в первый и последний раз за всю свою поэтическую практику<sup>49</sup>. Там же он выводит «гравировальщика» —

<sup>48</sup> Надо отметить, что Прометей, прикованный к скале, — обычная параллель к заточению Наполеона на о. Святой Елены (она встречается, например, в «Путевых картинах» Гейне [14, 14]). Именно в связи со ссылкой и смертью Наполеона в русской лирике возникает мотив такой тюрьмы, стены которой — бескрайний голубой простор: «Есть далекая скала; / Вкруг скалы — морская мгла; / С морем степь слилась другая, / Бездна неба голубая; / К той скале путь загражден... / Там зарыт Наполеон» (В. Жуковский, «Бородинская годовщина», 1839); ср. «Могила Наполеона» Тютчева <1829>.

<sup>49</sup> В книге Белого «Ветер с Кавказа» (1928), которая в данном случае была первоочередным объектом мандельштамовской аллюзии [13, 660], ожидаемо всплывает и прометеевская тема: «...в разряжениях — голубизна, к нам летящая; и — без единого облачка; справа и слева, ее обрамляя, уставились мощные массы, слагая проход.

И — мелькнуло:

— Конечно: к скале приковали они Прометея.

Он прыгал из неба на ком нежнорозовый; прыгал из неба за ним обругавшийся Зевс, угрожая трезубцем, — на ком нежнорозовый; и — Прометея схватили: в прошеле двух скал; потащили приковывать;

<...>



В. А. Фаворского (чья фамилия, кстати, имеет «горную» семантику), а в начале 1937 г., когда серия стихотворений пишется тем же размером, что и цикл 1934 г., в одном из них вновь звучит имя Фаворского, а в написанном непосредственно перед ним говорится о Прометее, с которым поэт себя отождествляет [13, 669]. В это же время Мандельштам работает над одой Сталину, где снова заходит речь о Прометее, чье деяние — похищение огня и обучение людей искусствам — мотивирует изображение вождя-громовержца (который простил поэта-Прометея) углем: «Знать, Прометей разжег мой уголек». Но и сам вождь отождествляется с Прометеем в качестве культурного героя, связанного с Кавказом [Там же]. Можно допустить, что образ Прометея, в котором для Мандельштама в 1937 г. пересекаются два мотива — рисовальщика и кавказских гор, присутствовал в сознании поэта и в пору написания стихов на смерть Белого и что навеян он был именно кавказским антуражем стихотворения Фета.

Впрочем, тема Прометея затрагивалась уже в самом первом обращении Мандельштама к Ан5, в стихотворении дебютного периода «О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала...» (1908). Интерпретатору этого текста Д. В. Фролову «[с]трока “Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана” — Прометея, железом прикованного к скале, — представляется посвященной памяти Гершуни: “железо и камень” — это почти хрестоматийный образ тюрьмы, где Гершуни провел несколько лет, каменного каземата и железных кандалов» [43, 48–49]. Этот прецедент чрезвычайно важен не только фактом изначального присутствия прометеевской темы в семантическом спектре Ан5 у Мандельштама, но и как свидетельство того, что, обращаясь к этому размеру, поэт-дебютант уже превосходно чувствовал его генетически доминантную двупланную семантику, связанную с тюрьмой и с чьей-то смертью. По мнению Д. В. Фролова, «редкий сверхдлинный размер “Сай-

---

А за Перевалом — обрыв <...> сюда Прометей перекинуть сумел унесенный огонь; огонь — вспыхнул, разнесся: пожарилась местность» [3, 226–227].



мы” <...> вместе со столь важным для “Саймы” образом солнца навеяны творчеством Бальмонта, который «неоднократно, больше, чем кто-либо иной из современников, обращался к Ан5, причем этот приметный размер, судя по всему, имел для него определенную семантическую нагрузку. Общим смысловым знаменателем для таких стихотворений, как “Скифы”, “Альбатрос”, “Начистоту” <...>, является тема свободы человека, народа <...>. Именно эта сросшаяся с размером семантика, вероятно, и определила выбор размера мандельштамовского стихотворения, которое говорит в сущности о том же <...>» [43, 50–51]. Не оспаривая наличие бальмонтовского следа, необходимо все же уточнить, что и Бальмонт, и вслед за ним Мандельштам, воспевая 5-стопными анапестами борьбу за свободу, в более широком масштабе лишь разрабатывают одну из потенций тюремного инварианта в семантическом ореоле этого размера.

II. В черновиках вместо *лобной кости* присутствует *горячий череп*: «Из горячего черепа льется и льется лазурь»<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Давно отмечено [32, 271–272], что значимую параллель к этому образу составляет следующий фрагмент из «Котика Летаева» (варирующий, в свой черед, образы из глав «Петербурга» «Дурной знак» и «Лобные кости»): «...перед вами — внутренность лобной кости: вдруг она разбивается; и в пробитую брешь <...> несутся: стены света, потоки <...>» [4, 322]. Но если у Белого речь идет о проникновении света внутрь черепа, то Мандельштам, сообразно траурному поводу, придал метафизическому процессу обратное направление: из *еще* горячего черепа (ср.: «...И грубый камень, <...> На череп мой остывший ляжет». — А. Одоевский, «Умиравший художник», 1828) неумолимо изливается жизненная субстанция — лазурь, чей обычный эпитет у Мандельштама — *горячая*. В то же время для Мандельштама определение черепа — *горячий* — не есть его нормальное прижизненное свойство, а есть болезненное состояние повышенного накала, как раз и приведшее к смерти-перегоранию — ср. описание Ленина в заметке 1924 г. «Прибой у гроба»: «Там, в электрическом пожаре, окруженный елками, омываемый вечно-свежими волнами толпы, лежит он, перегоревший, чей лоб был воспален

В традиционном уподоблении черепа — зданию (vs. мирозданию) или его верхней части — куполу, башне<sup>51</sup> (ср. разг. «кумпол», «башня»), каковым воспользовались и Белый, описывая 5-стопным анапестом череп в «Котике Летаеве»<sup>52</sup> («я сниму

еще три дня назад». Эта текстуальная параллель подтверждает уже упоминавшуюся версию о том, что *горячая лобная кость* подразумевает мигрени Белого [13, 659]. Но и *лазурь* из черновых вариантов — не только возможная реминисценция из давних стихов Белого, отмеченная Н. И. Харджиевым [46, 298], и, вопреки мнению С. В. Поляковой [32, 271], — не абстрактный образ, а портретная характеристика, ведь *голубые глаза* основной редакции — часть этой лазури, видимая через глазницы. Сходной метафорической логике следует Ходасевич в очерке «Андрей Белый» (1934–38): «Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества»; «Теперь он был совсем уже сед. Глаза еще более выпвели — стали почти что белыми» [47, 55, 60].

<sup>51</sup> Ср. такие скальдические кеннинги неба, как «черепа великана» и «шлем или дом воздуха, земли и солнца» [29, 121]. Кстати, одно из обозначений черепа в «Стихах о неизвестном солдате» — «тараканья» — поразительно напоминает кеннинг.

<sup>52</sup> На фоне отсутствия в творчестве Белого стихотворений, написанных Ан5, особый интерес приобретает так называемый «анapestит» как одна из характеристик метризованной прозы «Петербурга», реминисценциями из которого изобилует мандельштамовский цикл. Правда, исследователь данной проблемы Ю. Б. Орлицкий приходит к выводу, что в «городских» фрагментах романа «достаточно употребимыми оказываются все три типа условно выделяемых трехсложников: дактиль, амфибрахий и анапест, так что гипотеза об “анapestите” прозы Белого не подтверждается» [30, 206]. Но и не будучи количественно преобладающими, анапестические фразы «Петербурга» порой достаточно длинны, чтобы их можно было представить как написанные 5-стопным размером. Позволю себе поделить на соответствующие отрезки отдельный абзац (из главы «Бегство»), приводимый в статье Орлицкого: «Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись / два передних копыта; и крепко внедрили в гранит- / ную поч-

с себя череп; он будет мне — куполом храма» [4, 318]]<sup>53</sup>, и Маяковский в «Облаке в штанах»<sup>54</sup>, и впоследствии Мандельштам в ряде текстов 1937 года<sup>55</sup>, одним из частных случаев здания оказывается тюрьма<sup>56</sup>. С другой стороны, тюремная

ву — два задних». Аналогичным образом и в лирике Белого спорадически появляются фрагменты, условно относимые к этому размеру (но обычно распадающиеся на подстроchia — например, на 2-стопное с мужским окончанием и 3-стопное с женским) — в основном в стихах «Золота в лазури» (1904), но иногда и в позднейших текстах, как, например, «О полярном покое» (1922), где имеется графически трансформированное двустипхия с женской внутренней (нефиксированной) и мужской концевой рифмой: «...Быстро выпала / Ворохом / Белого пепла / Зима... // И — / — Окрепла / Хрустальною пряжей / Полярная тьма».

<sup>53</sup> Принадлежащий к этому же интертекстуальному ряду череп из «Записок чудака» (1922) составляет образную пару Гетеануму [21, 309].

<sup>54</sup> «У церкви сердца занимается клирос! // Обгорелые фигурки слов и чисел / из черепа, / как дети из горящего здания»; «Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе!».

<sup>55</sup> «...Выпить здравье кружащейся башни — / Рукопашной лазури шальной» («Заблудился я в небе...», 2-й вар.); «Мир, который как череп глубок» («Чтоб, приятель и ветра и капель...») — с подтекстом из Хлебникова [34, 107–108]. Ср. о черепе в «Стихах о неизвестном солдате»: «куполом яснится». Возможно, при дальнейшем изучении беловско-мандельштамовской метафорики, связанной с негерметичностью черепа, окажется плодотворным ее сопоставление с таким мотивом лурианской каббалы, как свет, исходящий из глаз, уст, ушей и ноздрей Адама кадмона [48, 331].

<sup>56</sup> «Как тюрьму, череп судьбы раскрою ли?» (В. Шершеневич, «Слезы кулак зажать», 1919). Ср. соседство двух этих семантических единиц в переводе Анненского из Бодлера: «Тюремщик — дождь гигантского размера / Задумал нас решеткой окружить, / И пауков народ немой и серый / Под черепа к нам перебрался жить...» («Сплин», <1904>), а также в «Пляске мертвеца» А. Добролюбова: «Череп, седалище внутреннего царя! / Неужели не разобьет тебя, несчастный, о стены темницы?» Ср. цветаевское: «В себе — как в тюрьме <...> В висках — как в тисках // Маски железной» («Жив, а не умер...», 1925).



камера по своей семиотике есть метонимия могилы, первейшим атрибутом которой как раз и является череп<sup>57</sup>. Вообще, учитывая, что и мозг, и органы зрения, слуха, вкуса и обоняния располагаются внутри или в районе черепной коробки, эта последняя предстает зримым воплощением гносеологической тюрьмы. Поэтому *голубые глаза и лобная кость* — возможные корреляты соответственно небесной голубизны и тюрьмы. Эта аналогия подкрепляется тем, что популярная метафора объявляет глаза окнами тела(-тюрьмы), через которые душа созерцает наружный мир или становится доступной для созерцания извне (см., например, 24-й сонет Шекспира).

III. «Памяти Н. Я. Данилевского» начинается с косвенного отказа оплакивать кончину адресата: «Если жить суждено и на свет не родиться нельзя» — что является очевидным перепевом «Мира как воли и представления» (ср. хотя бы § 51). Фет переворачивает здесь тривиальное представление о трагической неизбежности смерти<sup>58</sup>. Аналогичным образом поступает и Мандельштам в своих черновиках, где формула «почетно принять смерть за кого/что-либо» появляется в зеркальном отображении: «И остаться в живых за тебя величайшая честь».

Авторизованный список трехчастного стихотворения «Утро 10 января 1934 года» сохранился в архиве друга и литературного поверенного Белого — П. Н. Зайцева. Как явствовало из воспоминаний последнего, частично опубликованных в 1988 г., он навестил Мандельштама вскоре после похорон Белого и получил текст стихотворения непосредственно от автора, сказавшего, «что никогда не писал стихов по поводу чьей-либо

<sup>57</sup> Ср. включенные в подтекстовый пласт «Стихов о неизвестном солдате» череп Йорика [34, 108] и другие черепа [13, 672–673], к перечню которых можно добавить и череп из одноименного стихотворения Майкова (1840).

<sup>58</sup> Ср. аналогичную парадоксальность финала стихотворения «Севастопольское братское кладбище», написанного в следующем, 1887 г.: «Их слава так чиста, их жребий так возвышен, / Что им завидовать грешно...».



смерти, а на смерть Андрея Белого написал» [17, 590]. Изучив бумаги Зайцева, включая разные редакции его мемуаров и наброски к ним, М. Спивак [38] постаралась восстановить в основных деталях историю этих контактов. Выяснилось, что, во-первых, Зайцев приходил к Мандельштаму как минимум дважды; во-вторых, получил вышеназванный список 22 января с намерением включить авторское чтение этих стихов в программу вечера памяти Белого, в итоге так и не состоявшегося; в-третьих, услышал от Мандельштама совсем иную реплику: «П. Н., запомните, я, еврей, первый написал стихи об Андрее Белом» [38, 515] (что, по-видимому, должно было значить: я, поэт-еврей, первым почтил память поэта-антисемита<sup>59</sup>); в-четвертых же, и это самое интригующее, во время первого визита к Мандельштаму (в период с 16 по 18 января) услышал в авторском чтении стихотворение «Голубые глаза...», текст которого — якобы по памяти — почти безукоризненно точно привел в полной версии своих воспоминаний.

Резонно поставив под сомнение столь выдающиеся мнемонические способности мемуариста, исследовательница предполагает, что в распоряжении Зайцева имелся ныне утраченный список стихотворения, полученный в один из визитов к Мандельштаму в январе 1934 г.

Понятно, <...> что для выступления на вечере памяти Белого стихотворение <...> не предназначалось <...> стихотворение, в котором Белый предстал как поэт, “веком гонимый взашей”, а его смерть рассматривалась как “казнь”, совсем не годилось для публичного исполнения на официальном мероприятии. Хранить дома такие рукописи тоже было небезопасно, а уж признаваться в их хранении и вовсе не следовало. Дважды сидевший Зайцев это не мог не понимать [38, 534].

---

<sup>59</sup> И потаенный антисемитизм Белого в его отношении к чете Мандельштамов, с которыми его свело совместное проживание в Доме творчества в Коктебеле летом 1930 г., и возможные подозрения Мандельштама на сей счет тщательно проанализированы М. Спивак. Отсылаю читателя к ее статье.

В 1960 г., как сообщает Зайцев в своих черновых записях, ему довелось читать некий самиздатовский сборник Мандельштама «ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ». Констатируя, что «[т]рудно сказать, когда Зайцев включил в воспоминания о Белом стихотворение “Голубые глаза и горячая лобная кость...” — до или после знакомства с самиздатовским сборником, ведь он работал над мемуарами достаточно долго» [38, 536], М. Спивак считает, однако, маловероятным, чтобы сборник мог быть источником зайцевского списка, поскольку в этом случае Зайцев, скорее всего, упомянул бы «Голубые глаза...» в числе других запомнившихся ему стихотворений. В качестве основного довода в пользу своей гипотезы о давнем списке, утаенном Зайцевым, исследовательница указывает на важное разночтение в зайцевской версии текста: «молодей, и лети» вместо «молодей и лежи»: «Так лежи, молодей, и лети, бесконечно прямась». Отмечая, что автографа стихотворения не существует, М. Спивак находит зайцевский вариант более подходящим по смыслу и поэтому правильным, а общеизвестный — результатом ошибочного прочтения рукописной *т* как *ж* [38, 540].

...второе «лежи» в той же строке выглядит странно и неуместно. Зачем Мандельштам настойчиво призывает покойника «лежать, бесконечно прямась», если по-иному, не прямо, в гробу лежать просто невозможно? Если же все-таки поставить себе неременной целью «оправдать», а значит, объяснить стоящее в слове «Ж», то, увы, единственным приходящим на ум аналогом «лежи, бесконечно прямась» оказывается поговорка «горбатого могила исправит» <...>

Думается, однако, что эту курьезную и кощунственную интерпретацию стоит отбросить по причине ее абсурдности.

Гораздо проще представить, даже чисто «физиологически», как можно «лететь, бесконечно прямась». К тому же с понятием смерти тесно связано представление о душе, отлетающей в иной мир. <...> И, наконец, при замене «лежи» на «лети» со всей очевидностью высвечивается столь любимое Мандельштамом использование чужого слова. Здесь — слова Маяковского:

Вы ушли,  
как говорится,  
в мир в иной.

Пустота...

Летите,

в звезды врезываясь [38, 538–539].

Объяснение фразе «лежи, бесконечно прямясь» и целому ряду подобных ей в других мандельштамовских текстах предложил в свое время О. Ронен [52, 183], усмотрев тут намек на «скажочный посмертный рост художника в глазах массы», о котором Мандельштам говорит в докладе «Скрябин и христианство». В добавление к этому Г. А. Левинтон отмечает здесь мотив трупного окоченения [23, 210], а тему омоложения поэта в смерти считает опять-таки отголоском стихов Маяковского — из «Про это»: «Дантесам в мой не целить лоб. / Четырежды состарюсь — четырежды омоложенный, / до гроба добраться чтоб», а также связывает, вкупе с «[н]агнетаемы[ми] в стихах на смерть Белого слова[ми] с семантикой “маленького” и “детского” <...> с важным для Мандельштама мотивом “мы в детстве ближе к смерти, / Чем в наши зрелые года”» [23, 200, 213]. Добавлю, что ассоциация с поговоркой «Горбатого могила исправит», озвученная М. Спивак в качестве сугубо курьезной, образует любопытный параллелизм с каламбурной строкой «Положили тебя никогда не судить и не клясть», где двусмысленный глагол *положили* прозрачно намекает на другую поговорку: “De mortuis aut bene, aut nihil”.

Но особенно трудно согласиться с допущением путаницы между буквами *т* и *ж*. Текст существует в записи рукой Н. Я. Мандельштам с авторскими собственноручными поправками от 11 января 1934 г. и позднейшими черновыми набросками (см. [24, 489–490]). Факсимиле этого списка, хранящегося в Архиве Мандельштама (Отдел редких книг и спец. коллекций Файерстоунской б-ки Принстонского ун-та), приводится во втором издании книги И. М. Семенко «Поэтика позднего Мандельштама» [36, после 100]. В 22-й строке здесь, вне всяких сомнений, дважды написано «лежи» с характерной для «ж» удлинняющейся книзу вертикальной палочкой в середине буквы. Даже если текст в данном случае был не надиктован, а скопирован с не дошедшего до нас автографа, путаница на стадии переписывания маловероятна, ведь Мандельштам пи-

сал строчную «т» как печатную. Но главное — список является авторизованным, и можно не сомневаться, что поэт обнаружил бы и устранил ошибку. Поскольку же, с одной стороны, поправки были внесены примерно за неделю до визита Зайцева, а новые двустушия записаны на том же листе спустя много времени, нет оснований думать, что редакция, предоставленная Зайцеву, содержала какие-то разночтения, — разве что имела место, — пользуясь формулировкой Н. Я. Мандельштам, — «случайная и необдуманная поправка с налету, как бывает при чтении и диктовке, когда поэты на ходу и случайно меняют свои стихи» [16, 193].

Какова же в таком случае вероятность того, что Зайцев с помощью какого-то самиздатовского списка «воспроизвел» стихи, некогда им слышанные в авторском чтении? В принципе, к подобному (само)обману его могло бы подтолкнуть ревнивое чувство при виде отрывка из этих стихов в мемуарах Эренбурга «Люди, годы, жизнь» («Новый мир», 1/1961, с. 143), о жадном чтении которых Зайцевым мы узнаем из статьи М. Спивак. В этом случае при описании самиздатовского сборника (куда как беглом — только топонимические привязки: «В нем были стихи о Петербурге, о Ленинграде, о Каме» [38, 536]) Зайцев мог бы умолчать о стихотворении «Голубые глаза...».

Впрочем, независимо от того, послужил ли Зайцеву источником именно этот сборник или же какой-то список, есть обстоятельство, свидетельствующее о том, что этот неведомый источник был, очевидно, позднего происхождения. Дело в том, что разночтения зайцевской версии частично совпадают с разночтениями каждой из двух публикаций стихотворения, осуществленных в 1960-е годы по обе стороны железного занавеса. В обоих случаях с 22-й строкой тоже возникли затруднения (курсив мой):

1. «Так *лети*, молодежи и *лети*, бесконечно прямаясь» («Воздушные Пути», II, Нью-Йорк, 1961, с. 32);



2. «Так лежи *молодой*, и лежи, бесконечно прямая» («Простор», 4/1965, Алма-Ата, с. 59)<sup>60</sup>.

Версия журнала «Простор» (как и остальные тексты, очевидно, предоставленная Эренбургом — автором предисловия к подборке) предлагает слово «молодой» вместо «молодей» — и оно же, как сообщает М. Спивак, стояло в зайцевской машинописи, где буква «о» была исправлена ручкой на «е». Поскольку оба разночтения, порознь попавшие в печать («лети» и «молодой»), имеются и в списке Зайцева, то из этого, скорее всего, следует, что все три списка — и «Гринберговский», и «Эренбурговский», и «Зайцевский» — в конечном счете восходят к одному и тому же рукописному источнику, который и породил путаницу с буквами *ж/т* и *е/о*<sup>61</sup>.

В принципе, такую путаницу мог породить и «канонический» авторизованный список, поскольку, во-первых, букву «т» Надежда Яковлевна писала по-разному: то как печатную «т», то как прописную «т», и невнимательный переписчик мог принять «ж» за второй вариант написания («т»); во-вторых, в слове «молодей» буква «е» мелкая и зачерненная, и хотя ее идентификация не вызывает сомнений, переписчик, пожалуй, мог прочесть ее как «о». Тому, чтоб ошибочно увидеть в этом слове прилагательное, способствует и стоящая после него запятая, всеми публикаторами опускаемая<sup>62</sup>. Показательно, что эту запятую мы находим и в списке Зайцева.

---

<sup>60</sup> Оба эти разночтения приводятся в: [25, 513–514]. Мною они сверены по журнальным первопубликациям. Надо отметить, что отсутствующая в версии «Простора» запятая перед словом «молодой», возможно, пропала по техническим причинам, так как между словами «лежи» и «молодой» имеется двойной интервал.

<sup>61</sup> Как бы то ни было, в тот период среди читателей самиздата и первых публикаторов циркулировали только списки Надежды Яковлевны или восходящие к ним копии [42, 101–102, 104].

<sup>62</sup> Ср.: «Пунктуация в [прижизненных рукописных] сборниках, так же как в отдельных копиях, всецело принадлежит Н. Я. Мандельштам и потому допускает перемены» [36, 6].

Наконец, превращение под рукой переписчика «лежи» в «лети» упрощалось в силу характерного восприятия мертвого поэта как летящего в своей неподвижности. Ср. свидетельство Э. Г. Герштейн:

...Он совсем не был похож на лежащего человека, а будто плыл в блаженном покое и слушал...

И еще десятилетия спустя, когда при мне произносили имя Осип Мандельштам, мне хотелось воскликнуть: «Как он красиво спал!» <...> С этим переживанием я могу сравнить только потрясение от зрелища мертвого Маяковского. Когда, прямой и легкий, он лежал на столе с омытым смертью лицом и, несмотря на бросавшиеся в глаза тяжелые подкованные подошвы башмаков, казался летящим [15, 16].

Не доводясь Мандельштаму близким знакомым, Зайцев имел, однако, прямое отношение к предмету стихотворения, так как взял на себя организацию похорон Белого. Поэтому возможно, что поэт показал гостю эти стихи в знак траурной солидарности. Но даже если и так, Мандельштам, как мне представляется, преследовал дополнительную цель. Дело в том, что Зайцеву принадлежит стихотворение, вполне «ортодоксально» (в русле Фета и Брюсова) трактующее *голубую тюрьму* как общий удел человека и космоса:

Испуганной бьется птицей  
В небесных силках звезда.  
Так сердце умеет биться,  
Когда обманет мечта.

Звезда в небесной неволе,  
В мешке голубой тюрьмы,  
И сердце в колодце боли,  
Под белой повязкой мольбы.

Один зеленеет стебель —  
Жребий — звезде и мне:  
Ей — птицею биться в небе,  
Мне — горько петь на земле.

Стихотворение практически наверняка было известно Мандельштаму по зайцевской подборке в знаменитой антологии

И. С. Ежова и Е. И. Шамурина<sup>63</sup> (куда вошли и 17 текстов самого Мандельштама). Мандельштам прочел стихи тому, кто имел все шансы распознать текст-прототип. Возможно, что и реваншистская фраза о собственном еврействе была произнесена с оглядкой на Фета, столь болезненно воспринимавшего свое происхождение<sup>64</sup>.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Бальмонт К. Д.* Звездный вестник: (Поэзия Фета) // Он же. Солнечная пряжа: Стихи, очерки. М., 1989. <Цит. по: [http://az.lib.ru/b/balxmont\\_k\\_d/text\\_0470.shtml](http://az.lib.ru/b/balxmont_k_d/text_0470.shtml)>.
2. *Белый А.* Рембрандтова правда в поэзии наших дней // Записки мечтателей. 1922. № 5. С. 136–139.
3. *Белый А.* Ветер с Кавказа: Впечатления. М., 1928.

---

<sup>63</sup> «Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней» (М., 1925). «Испуганной бьется птицей...» цитируется по переизданию: М.: Амирус, 1991. С. 279.

<sup>64</sup> Ранний вариант статьи опубликован в декабре 2007 г. на сайте Ruthenia.ru: <<http://www.ruthenia.ru/document/542513.html>>.

**Благодарности.** Ценными замечаниями и библиографическими справками со мной поделился Н. Г. Охотин, общение с которым побудило меня к семантическому анализу русского Ан5. При разборе метафорического комплекса тюрьмы в русской поэзии мне служили подспорьем щедрые консультации М. Вайскопфа. Также меня выручали советами Г. Дюсембаева и Й. Регев. Несколько важных уточнений было внесено в текст статьи по рекомендации Ю. Л. Фрейдина, удостоившего препринт обстоятельным письменным отзывом. Дополнительные библиографические подсказки я получил от Р. Д. Тименчика. Одно мандельштамоведческое затруднение было разрешено благодаря любезности О. Лекманова. Также я сердечно благодарю М. Безродного, И. Делекторскую, Ю. Левинга за их неоценимую помощь в работе с библиографией и М. Спивак за великодушное позволение отреагировать на ее статью прежде, чем та увидела свет. Отдельная благодарность — Р. Лейбову, по чьей инициативе состоялось виртуальное обсуждение статьи, а также моим коллегам, согласившимся поучаствовать в этом экспериментальном мероприятии.

4. *Белый А.* Котик Летаев // Он же. Серебряный голубь: Повести, роман. М., 1990. С. 307–460.
5. *Белый А.* Символизм как миропонимание. М., 1994.
6. *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962.
7. *Богомолов Н. А.* «Мы — два грозой зажженные ствола»: Эротика в русской поэзии — от символистов до обэриутов // Он же. Русская литература первой трети XX века. Томск, 1999. С. 224–258.
8. *Богомолов Н. А., Волчек Д. Б.* Примечания // Ходасевич В. Стихотворения / Вступ. ст. Н. А. Богомолова; сост., подгот. текста и примеч. Н. А. Богомолова и Д. Б. Волчека. Л., 1989. С. 355–432.
9. *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. VI. М., 1975.
10. *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М., 2002.
11. *Вайскопф М.* Во весь логос: религия Маяковского // Он же. Птица-тройка и колесница души: Работы 1978–2003 годов. М., 2003. С. 343–486.
12. *Вайскопф М.* Две заметки о Заболоцком // Хармс — Авангард: Материалы международной конференции «Даниил Хармс: авангард в действии и отмирании. К 100-летию со дня рождения поэта». Белград, 2006.
13. *Гаспаров М. Л.* Комментарии // Мандельштам О. Стихотворения. Проза / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Л. Гаспарова. М., 2001. С. 604–710.
14. *Гейне Г.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. Л., 1957.
15. *Герштейн Э.* Мемуары. СПб., 1998.
16. Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990.
17. *Зайцев П.* Московские встречи (Из воспоминаний об Андрее Белом) // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 557–591.
18. *Иванов Вяч. Вс.* Современность поэтики Державина // Он же. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 10–23.
19. Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб., 1998.
20. *Йонас Г.* Гностицизм: (Гностическая религия). СПб., 1998.
21. *Кацис Л. И.-В.* Гете и Р. Штейнер в поэтическом диалоге Андрей Белый — Осип Мандельштам // Он же. Русская эсхатология и русская литература. М., 2000. С. 301–327.



22. «Я не умею иначе...»: Письмо К. Н. Леонтьева — Т. И. Филиппову от 10 октября 1888 года / Подг. текста Г. Б. Кремнева, примеч. Г. Б. Кремнева и С. В. Хатунцева // Подъем. 11/2001. < Цит. по: <http://www.hrono.ru/text/podyem/letter.html>>.
23. Левинтон Г. Смерть поэта: Иосиф Бродский // [19, 190–215].
24. Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. СПб., 1995.
25. Мандельштам О. Собр. соч.: В 3 т. Т. I. Вашингтон, 1967.
26. Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993–1999.
27. Мандельштам О. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. Т. 2. М., 2010.
28. Махов А. Е. «Есть что-то, что не любит ограждений»: библейская доктрина границы и раннеромантический демонизм // [40, 27–87].
29. Младшая Эдда / Пер. О. А. Смирницкой под ред. М. И. Стеблин-Каменского. Л., 1970.
30. Орлицкий Ю. Б. «Анапестический» «Петербург» и «ямбическая» «Москва»? (К вопросу о стиховом начале в романах А. Белого и его содержательной функции) // Москва и «Москва» Андрея Белого: Сб. статей. М., 1999.
31. Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990–94.
32. Полякова С. В. «Беловский субстрат» в стихотворениях Мандельштама, посвященных памяти Андрея Белого // Она же. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб., 1997. С. 270–281.
33. Проскурина В. “Cor Ardens”: смысл заглавия и эзотерическая традиция // НЛО. № 51. 2001. С. 196–213.
34. Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002.
35. Сапрыкина Е. Тема темницы и свободы в литературе XIX века // [40, 300–339].
36. Семенко И. М. Поэтика позднего Мандельштама: От черновых редакций к окончательному тексту. М., 1997. (= Записки Мандельштамовского Общества. Т. 8).
37. Силард Л. «Орфей растерзанный» и наследие орфизма // Она же. Герметизм и герменевтика. СПб., 2002.
38. Спивак М. О. Э. Мандельштам и П. Н. Зайцев: (К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла «Памяти Андрея Белого») // «Сохрани мою речь...». Вып. 4. Ч. 2. М., 2008. С. 513–546.
39. Страхов Н. Н. Жизнь и труды Н. Я. Данилевского // Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1995. С. XXI–XXXIV.

40. Темница и свобода в художественном мире романтизма / Отв. ред. Н. А. Вишневская, Е. Ю. Сапрыкина. М., 2002.
41. *Тименчик Р.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Toronto, 2005.
42. *Фрейд Ю. Л.* Мандельштам (Хазина) Н. Я. // О. Э. Мандельштам, его предшественники и современники: Сб. материалов к Мандельштамовской энциклопедии. М., 2007. С. 97–110.
43. *Фролов Д. В.* Заметки о ранних стихах Мандельштама (1906–1908) // Известия АН. Серия литературы и языка. Т. 55. № 4. 1996. С. 42–52.
44. *Фуко М.* Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М., 1999.
45. *Ханзен-Лёве А.* Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999.
46. *Харджиев Н. И.* Примечания // Мандельштам О. Стихотворения / Сост., подг. текста и примеч. Н. И. Харджиева. Л., 1973. С. 251–316.
47. *Ходасевич В.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1997.
48. *Шодем Г.* Основные течения в еврейской мистике. М.; Иерусалим, 2007.
49. *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление. Т. 1. / Пер. М. И. Левиной // Он же. О четверояком корне... Мир как воля и представление. Т. 1. Критика кантовской философии. М., 1993. С. 125–502.
50. *Эллис.* Русские символисты. Томск, 1998.
51. *Duncan M. G.* "Cradled on the See": Positive Images of Prison and Theories of Punishment // California Law Review. Vol. 76. № 6 (1988). P. 1201–1247.
52. *Ronen O.* An Approach to Mandel'shtam. Jerusalem, 1983.

# К СОВЕТСКОЙ МИФОЛОГИИ ЭСТОНСКОГО ПРОСТРАНСТВА («красная Россия» и «окровавленная Эстония»)<sup>1</sup>

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

Политическая символика красного цвета сводится, в целом, к двум основным значениям: 1) цвет революции и свободы; 2) цвет крови. В советской литературе 1920-х гг. первое значение относили к СССР, а второе — к Эстонии.

В настоящей статье мы рассмотрим произведения, написанные после неудачной попытки коммунистического восстания в Эстонии 1 декабря 1924 г., которое было инспирировано СССР. Литературовед Н. Бассель в статье «Эстонская тема в русской советской литературе» отмечает, что советская литературная общественность болезненно и с возмущением отреагировала на подавление коммунистического восстания [Bassel: 709]. В своей статье, однако, он лишь вскользь говорит о произведениях, связанных с этой темой: эссе А. В. Луначарского «Окровавленная Эстония» и стихотворении Н. Тихонова «Ночь президента». В более поздней работе — «Эволюция эстонской темы в творчестве русских писателей Эстонии» — литературовед, прибавив к названным выше текстам очерк Л. Соболева «Ленин в Ревеле», называет эти произведения «чрезмерно политизированными», а освещение эстонской темы «декларативно-тенденциозным» и отказывается от их рассмотрения [Бассель: 44].

Эти тексты, однако, кажутся нам интересными и достойными более подробного рассмотрения. Их авторов объединяет не только сочувствие к эстонским рабочим, пострадавшим во время подавления декабрьского восстания, но и общая точка

---

<sup>1</sup> Статья написана в рамках проекта базового финансирования науки SF 0130126S08.

зрения на политическую ситуацию: и Луначарский, и Соболев, и Тихонов так или иначе развивали идею о включении Эстонии в состав СССР.

Концепцию отношения советской власти к новым независимым республикам описал Луначарский в статье «Окровавленная Эстония» (1925). Луначарский развивает еще популярные в то время идеи Л. Троцкого и Г. Зиновьева о распространении мировой революции на другие страны: «Вокруг великого Союза Советских Социалистических Республик образовалось кольцо маленьких стран, где благодаря поддержке крупных хищников Западной Европы удалось удержаться буржуазии» [Луначарский: 308]. Критик считает, что прежние окраины Российской империи не могут существовать самостоятельно:

Большинство этих мелких государств не могут жить отделенными от прежней метрополии и не включенными в то же время в какую-нибудь другую государственную систему. Это не страны, это какие-то клочки земли, это не свободные нации вроде Белоруссии и Грузии, которые входят в союз свободных народов, это именно лохмотья, обрывки земли, отданные на поток и разграбление дрожащей от ненависти и страха клике без прошлого и без будущего [Там же].

Носителем революционной идеологии считаются только эстонские рабочие:

<...> а пролетариат этих стран, как это показывает несчастная Эстония, этот благородный, энергичный, пламенный пролетариат видит так близко свое счастье, оно кажется таким возможным, так бросается в глаза эта ужасная нелепость жить под палачеством своей буржуазии, когда можно сказать, несколькими шагами дальше проходит граница, охраняемая Красной Армией братьев [Там же].

В концепции Луначарского весьма наглядно проявляется семиотическое понимание пространства. Напомним, что, по Лотману,

одним из основных механизмов семиотической индивидуальности является граница. А границу эту можно определить как черту, на которой кончается периодичная форма. Это пространство определяется как «наше», «свое», «культурное», «безопасное»,



«гармонически организованное» и т.д. Ему противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное», «хаотическое» [Лотман: 175].

Как раз подобное представление о пространстве выражено у Луначарского. Эстония у него абстрактна и мифологизирована, в ней отсутствуют топонимы. С его точки зрения, эстонское пространство — это *их* пространство, которое совсем недавно было *нашим* общим пространством, поэтому прогрессивная часть населения Эстонии стремится вновь соединиться с *нашим* пространством, т.е. с СССР.

Подчеркнутая семиотичность пространства подкрепляется игрой с семантикой красного цвета. Если полукрасный цвет связан у Луначарского с тюрьмой и насилием, то красный ассоциируется со счастьем, свободой, надежной защитой. По мнению публициста, для эстонских рабочих СССР — это свет, «который сияет всего в нескольких верстах» [Луначарский: 308]. Эстонский пролетариат постоянно рвется в свободную счастливую страну, но из-за закрытой границы он вынужден жить в стране, напоминающей тюрьму. Попытки освобождения влекут за собой жестокую месть буржуазии: «Отчаянные священные усилия пролетариата, почти невольные, почти внезапные, которые он проделывает в своей эстонской тюрьме, навлекают на него только неслыханную зверскую расправу» [Там же].

Мотивы, намеченные в статье «Окровавленная Эстония», продолжены в очерке Л. Соболева «Ленин в Ревеле», написанном в апреле 1926 г. В отличие от Луначарского, который никогда не бывал в Эстонии, Соболев неплохо знал Таллинн (впервые он побывал там в 1917 г., когда учился в Петрограде в Морском корпусе; второй раз — как писатель, в январе 1926 г. на советском корабле. См. записи в его дневнике: [Соболев: 126–128]).

Любопытно, что в его очерке город именуется не Таллином, как он тогда официально назывался, а носит дореволюционное название Ревель (так же его называли и местные русские жители). Вообще, у советских писателей Ревель 1920-х гг. — это город, где кипят политические страсти. Родо-

начальником «ревельского текста» в советской литературе следует считать Б. Пильняка, побывавшего в Таллинне зимой 1922 г. и описавшего город, в духе традиционного авантюрного романа, в повести «Третья столица». В тексте город фигурирует под тремя разными историческими названиями: Колывань, Ревель, Таллинн. Персонажи повести — бывшие белогвардейцы и агенты Коминтерна; одна из устойчивых коннотаций Таллинна — публичный дом и т.п. В то же время именно Пильняк наметил основные мотивы таллиннского текста 1920–1930-х гг., которые впоследствии окажутся частотными у советских писателей: средневековая башня «Толстая Маргарита» как бывшая царская тюрьма, советский ледокольный пароход «Ленин» в Финском заливе (о «Третьей столице» см. [Пономарева, Трофимов; Пономарева, Шор]).

В очерке «Ленин в Ревеле» Соболев описывает советских моряков, которые встречаются в городе с группой арестованных эстонских рабочих:

По узкой, извилистой улице с горы, из центра, из полицейского управления навстречу нам спускается группа людей. Восемнадцать-двадцать молчаливых, грозно спокойных фигур в рабочих куртках, в кепках, руки в карманы, глаза в мостовую, — и вокруг них с дюжину шапочек пирожком и светло-серых штанов со штрипками, руки на револьверах [Соболев: 137].

Форму эстонских полицейских Соболев описывает верно: тогда они действительно носили серые брюки [Kriik 1994: 36]. Головной убор стражей порядка составляли фуражка и пилотка.

Встреча с полицейскими и рабочими напоминает советским морякам недавнюю попытку революционного восстания 1924 г.: «Из камней мостовой пятнами проступает кровь. И дома кричат каменными стенами трагическое число — 1 декабря» [Соболев: 137]. Понятно, что перед нами метафора: пятна крови на мостовой никак не могут выступить год спустя. С нашей точки зрения, эти «пятна крови» — развитие образа «окровавленной» Эстонии, введенного Луначарским.

По мысли Соболева, революционное возмездие недалеко. Его символом становятся

<...> полуразрушенные в семнадцатом году руками русских матросов стены «Толстой Маргариты» — башни-тюрьмы. Она зияет провалами, щербится на сумрачном небе разваленным верхом толстых круглых стен. Ее не отремонтировали. Она стоит каменным и грозным символом грядущего часа, который придет, когда стрелка истории шевельнет тщетно сдерживаемую отличными шубами и светло-серыми брюками на штрипках сжатую пружину [Соболев: 137].

Соболев развивает тему эстонской тюрьмы, начатую Луначарским: у него в тексте есть и старая дореволюционная тюрьма, находившаяся в «Толстой Маргарите», и полицейское управление, и находящаяся неподалеку новая тюрьма [Там же]. Образы хорошо одетых полицейских у Соболева больше напоминает образы буржуев.

Традиционно у писателя-мариниста море связано со свободой. Так и у Соболева: по Балтийскому морю плавают советские ледоколы; один из них — пароход «Ленин», который освобождает иностранные суда из ледового плена. Но свобода это ограничена. На прибывший в таллиннский порт советский корабль после журналистов и таможенников приходят полицейские. У них «длинные, на штрипках, светло-серые брюки <...> Шапочка — серый пирожок набекрень, зеленые погоны с серебряными розетками» [Там же: 136]. Это портовая полиция (в январе 1926 года полицейские уже должны были носить погоны не зеленого, а стального цвета. Но, возможно, что за месяц погоны еще не успели заменить, поскольку приказ о замене формы относится к 4 декабря 1925 года [Eesti: 38]).

Свободы нет не только в морском, но и в городском пространстве. Напомним, что встреча с группой арестованных и сопровождающими их полицейскими происходит в центре города. Таллинн — не только столица Эстонии, но и центр Эстонии-тюрьмы. У Соболева, в отличие от Луначарского, рабочие изображены более конкретно, а сочувствующие им советские моряки находятся не на границе, как пограничники у Луначарского, а внутри эстонского пространства. Моряки встречают группу арестованных рабочих: «Мы невольно замедляем шаги и почти останавливаемся, растеряв все возбуждение, все шут-



ки, весь смех в этой странной многозначительной встрече. — Э-х... — коротко крикает сбоку боцман» [Соболев: 137].

В стихотворении Н. Тихонова «Ночь президента» (1927), написанном по мотивам декабрьского восстания 1924 г., функция тюремщиков распространяется и на военных. По мнению поэта, после неудачной попытки восстания власть осталась в руках богатых, в Таллинне — по-прежнему стоят неизменные «баронские дома», только немецких дворян сменил «цезарь Эстонии — Акель»<sup>2</sup> [Тихонов 1973: 147].

Поведение Акеля во время восстания изображается Тихоновым саркастически. Поэт считает, что Акель — трус. Преследуемый восставшими рабочими, он «вбегает в чердачный зажим, как римлянин в Капитолий» [Там же: 148]. Но и на чердаке Акель продолжает бояться:

Но Цезарь дрожит откровенно,  
Порой ему кажется мирный чердак  
Утесом святой Елены [Там же].

Как мы видим, Тихонов иронично сравнивает Акеля с заключенным на острове Святой Елены.

Сравним обрисованную поэтом картину с описанием событий в таллиннской газете «Последние известия», которая подробно рассказывала о попытке коммунистического мятежа. В анонимной статье «Как были произведены нападения» было рассказано о нападении на дом Акеля<sup>3</sup>:

Рано утром позвонил какой-то человек в унтер-офицерской форме. Швейцар открыл двери, как вдруг по знаку незнакомца в вестибюль ворвались еще несколько человек, тотчас же принявших за обыск. Главе государства удалось избежать захвата исключительно благодаря присутствию духа и постепенному переходу

---

<sup>2</sup> Напомним, что Фридрих Карл Акель (1871–1941) — эстонский политик и дипломат — с 26 марта по 6 декабря 1924 г. был Главой государства. Расстрелян органами НКВД в 1941 г.

<sup>3</sup> Глава государства Акель жил в официальной резиденции в центре города, за собором Александра Невского [Vahtre 2006: 218].



в более отдаленные комнаты, двери в которые сейчас же взламывались искавшими его коммунистами [Последние известия].

Историк эстонской полиции Май Крикк уточняет, что Акель закрывал двери на ключ, а поскольку двери были дубовые, то вышибить их было трудно [Krikk 2008: 185]. Акеля спасло не только собственное хладнокровие, но и смелость его адъютанта Шенберга. Он «выпрыгнул из окна и под градом пуль побежал к зданию военного министерства, откуда к дому Главы государства был немедленно выслан броневомобиль. При его приближении красные бандиты поспешно убежали» [Последние известия].

Тихонов изображает события несколько в ином свете. Когда борьба кончается поражением коммунистов, то Акель начинает выглядывать из окна:

Но вот тишина, точно жидкое пиво,  
Шипит, пригорев на огне,  
И Аккель — подмерзшая синяя слива —  
Маячит в чердачном окне [Тихонов 1973: 148].

Из окна правитель Эстонии видит генерала-победителя:

И видит: опять у камней на ладони,  
Сжимая тюремный кулак,  
Проходит, как лаком облитый Лайдонер,  
Со сворой вспотевших собак [Там же].

Лайдонер был военным, а не начальником тюрьмы<sup>4</sup>. Но Тихонов для усиления художественной выразительности дает эпитет *тюремный*. Лайдонер, который, по мнению поэта, превра-

<sup>4</sup> Необходимо напомнить, что генерал Йохан Лайдонер (1884–1953) был главнокомандующим эстонской армии, подавившим коммунистическое восстание. Лайдонер — яркая и сложная фигура в эстонской политике. 16 лет он прослужил в царской армии, дослужился до подполковника, был начальником штаба дивизии. В начале 1920-х гг. выступил против сноса памятника Петру Первому в Таллинне; руководил Кайтселийтом (Союз обороны). После установления советской власти был арестован. Умер во Владимирской тюрьме.

тил Эстонию в большую тюрьму, сам отнесен к разряду тюремщиков. Историк Н. Андреев, живший в 1924 г. в Таллинне, вспоминает в связи с восстанием стихотворение Тихонова, где генерал якобы назван «кровавым Лайдонером» [Андреев: 179], но таких слов у поэта нет.

Сочетание «камней на ладони» дано не только ради рифмы с фамилией Лайдонер. По этим камням проходили рано утром восставшие рабочие:

И гулко у дома растут спросонья  
Шаги неизвестной породы [Тихонов 1973: 147].

Победившая власть буржуазии агрессивна, «тюремный кулак» — это те тюрьмы, в которые насильно будут заключены восставшие рабочие. Образ генерала-победителя снижен советским поэтом до предела. Лайдонер находится у него где-то между миром людей и агрессивно настроенных животных. Он сильно вспотел, как и его собаки: «Как лаком облитый, Лайдонер со сворой вспотевших собак» [Там же: 148]. Отметим, что собаки у Тихонова не совсем обычные:

И доги<sup>5</sup>, маститые морды вздымая,  
Слюняво трясут языки [Там же].

Здесь Тихонов меняет одну букву. Слово «маститые» (т.е. породистые) поэт переделывает на «маститые», т.е. заслуженные. Это собаки, которых уже не раз натравливали на мятежников.

Стихотворение Тихонова довольно быстро стало известно в Эстонии. Просоветски настроенный поэт Й. Барбарус цитирует отрывки из него в статье «Заметки о поэзии в СССР и литературном сегодня», опубликованной в журнале «Лооминг» в 1928 г. [Barbarus: 777].

Итак, образ «окровавленной» Эстонии, возникший в советской литературе во второй половине 1920-х гг., включает в себя ряд образов: с одной стороны, полицейских-тюремщиков (военных), тюрьму и полицейское управление, служебных

---

<sup>5</sup> Напомню, что в качестве служебных собак обычно используют немецких овчарок, но никак не догов.

собак, с другой — рабочих, кровь, булыжник. Любопытно, что нигде нет красного флага. Но красный флаг должен символизировать победу, а в советской литературе изображен только тяжелый путь к победе. Эстонский пролетариат от «полукрасного» цвета с трудом движется к «красному» («Красная армия братьев»), потому что на этом пути ему приходится преодолевать много препятствий.

Русские эмигранты, жившие в Эстонии, в отличие от советских писателей и критиков, не идеализировали эстонский пролетариат. Хорошо осведомленный журналист ведущей русской газеты «Последние известия» П. М. Пильский (его квартира около железнодорожного вокзала попала под обстрел 1 декабря 1924 г.) оценивал роль эстонского пролетариата в коммунистическом восстании невысоко:

Попытка бунта не нашла почвы. Эстонский коммунист, один из руководителей восстания, с вполне определенной досадой сказал: «Из-за таких рабочих не стоит рисковать своей головой. Их 30.000, а в восстании участвовала едва сотая часть». Что правда, то правда! Более организованная часть рабочих осталась глуха к их призывам, не шла навстречу их обещаниям и принуждениям, не проявляла вообще никакой активности <...>

На самом деле в восстании участвовали в основном чужаки, инициатива полностью принадлежала пришельцам. Командовали и отдавали приказы незваные гости. Хозяева оставались спокойными наблюдателями. Эстонский пролетариат повернулся спиной к мятежникам, не отдал им доверия и силы, не оказал никакой поддержки [Пильский: 218–219].

Эстонские ученые справедливо называют предпринятую коммунистами попытку государственного переворота «совершенно авантюрной» [Бойков, Исаков, Раясалу: 73].

Сколько эстонских рабочих участвовало в восстании? И что это были за люди? Ответить на этот вопрос поможет книга Юри Саара «Попытка государственного переворота. Первое декабря 1924 в Таллине». Юри Саар — псевдоним известного эстонского журналиста, юриста, общественного деятеля Эдуарда Лаамана. В 1924 г. Лааман был редактором крупной таллиннской газеты «Vaba maa» («Свободная страна»). Есте-

венно, что информацию о попытке большевистского переворота он получал из первых рук. По мнению Лаамана, это была авантюра Коминтерна. Инициаторами восстания были эстонские большевики, пришедшие из России во главе с Яном Анвельтом<sup>6</sup>. Для подготовки к восстанию из России в Эстонию были посланы кадровые военные — командир эстонского полка Аугуст Лиллакас и его адъютант Рихард Кяэр.

По данным Лаамана, из задержанных 140 участников восстания, чьи личности удалось установить, 42 человека оказались портовыми рабочими, грузчиками, из них 33 рабочих трудились в советских учреждениях Доброфлота и Центросоюза [Saar: 95]. Фабричных рабочих, на которых особенно рассчитывали революционеры, было, по данным Лаамана, всего восемь [Там же: 96]. Кто же были остальные участники восстания? По сведениям Лаамана, среди них были профессиональные большевики, служащие советского посольства, чернорабочие, почтальоны, канцелярские чиновники, стрелочники на железной дороге — очень пестрая, но в целом очень серая публика [Там же: 95–96].

Таким образом, мы видим, что тот эстонский «пролетариат», который изображен в советской литературе 1920-х гг., не только идеализирован, но и мифологизирован. Это социальная группа, которая противостоит другой группе (полицейским). Заметим, что ни в одном из трех произведений советских авторов рабочие не находятся в своем пространстве, связанном с их профессиональной деятельностью, т.е. на заводе или фабрике. Они или рвутся к чужому пространству, к границе с СССР, или насильно вторгаются в запретное для них эстонское пространство — в дом, где находится носитель высшей государственной власти. И ни разу в руках этих рабочих не

---

<sup>6</sup> Ян Анвельт (1884–1937) — известный эстонский революционер, в 1918 г. был в Нарве председателем правительства Эстляндской трудовой коммуны, в 1921–1925 гг. находился на подпольной работе в Эстонии. В 1925 г. вернулся в Россию, был профессиональным военным, а с 1935 г. работал в Коминтерне. В 1937 г. был репрессирован.



появляются рабочие инструменты. Они ничего не создают, а только разрушают: или держат винтовку (у Тихонова), стреляют, ломают двери, или засовывают руки в карманы (у Соболева). Борьба за власть для пролетариата важнее их работы. Понятно, что под видом рабочих все три советских писателя на самом деле изобразили профессиональных эстонских революционеров-коммунистов, живущих в Эстонии в подполье или легально в СССР и мечтающих о присоединении Эстонии к СССР.

В дальнейшем образ полукрасной Эстонии исчезает из советской литературы. Путешествовавший в составе делегации советских писателей по Финляндии и Прибалтике в 1937 г. писатель Н. Тихонов назовет Прибалтику «полуфашистской», а об Эстонии будет писать как о стране, в которой «буржуазное правительство Пятса и Лайдонера больше всего на свете боится революции» [Тихонов 1976: 392]. Считаем, что образ полукрасной Эстонии в советской литературе сыграл в сознании советских людей определенную подготовительную роль для «правильного» восприятия июньского переворота 1940 г., когда, якобы, передовой эстонский пролетариат сверг буржуазию и захотел добровольно присоединиться к Советскому Союзу.

## ЛИТЕРАТУРА

- Андреев: *Андреев Н. Е.* То, что вспоминается. Таллинн, 1996. Т. 1.
- Бассель: *Бассель Н.* Эволюция эстонской темы в творчестве русских писателей Эстонии // Русские в Эстонии: Сб. ст. Таллинн, 2000. С. 42–50.
- Бойков, Исаков, Раясалу: *Бойков В., Исаков С., Раясалу И.* Политическая жизнь // Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике. 1918–1940. Тарту; СПб., 2001.
- Васильев: *Васильев Г.* Осколки памяти. Из книги воспоминаний // Таллинн. 1989. № 6.
- Лотман: *Лотман Ю. М.* Понятие границы // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996.
- Луначарский: *Луначарский А. В.* Окровенная Эстония // Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1964. Т. 2.

- Пильский: *Пильский П. М.* Первое декабря // Балтийский архив. Таллинн, 1996. Т. 1.
- Пономарева, Трофимов: *Пономарева Г., Трофимов И.* Балтийский топос в «Третьей столице» Б. Пильняка // Б. А. Пильняк. Исследования и материалы. Межвуз. сборник научн. трудов. Коломна, 2011. Вып. III–IV. С. 54–63.
- Пономарева, Шор: *Пономарева Г., Шор Т.* Образы эмигрантов и эстонцев в повести Б. Пильняка «Третья столица» // *Toronto Slavic Quarterly*. 2010. № 34. С. 75–95.
- Последние известия: Как были произведены нападения // Последние известия. 1924.
- Соболев: *Соболев Л.* «Ленин» в Ревеле // Соболев Л. Неизменному другу. Дневники. Статьи. Письма. М., 1986.
- Тихонов 1973: *Тихонов Н.* Ночь президента // Тихонов Н. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1.
- Тихонов 1976: *Тихонов Н.* Гибель эпопеи // Тихонов Н. Собр. соч.: В 7 т. М., 1976. Т. 6.
- Barbarus: *Barbarus, J.* Märkmeid S.S.S.R-l luuletust ja kirjanduslikust tänapäevast // *Looming*. 1928. Nr 8.
- Bassel: *Bassel, N.* Eesti ainestikku vene nõukogude kirjanduses // *Keel ja Kirjandus*. 1972. Nr 12. Lk 708–716.
- Kriik 1994: Eesti politsei. Loomine ja areng: 1918–1940 / Koost. M. Kriik. Tln., 1994.
- Kriik 2002: *Kriik, M.* Eesti poliitiline politsei 1920–1940. Tln., 2002.
- Kriik 2008: *Kriik, M.* Tallinna ja Harjuma politsei. 1918–1940. Tln., 2008.
- Saar: *Saar, J. [Laaaman, E.]*. Enamlaste riigipöörde katse Tallinnas 1. detsembril 1924. Tln., 1925.
- Vahtre: *Vahtre, L.* Tappa noort vabariiki. 1. detsembril 1924 üritas Moskva hävitada Eesti iseseisvust // Vahtre, L. Ajaloo pööripäevad. Tln., 2006. Lk 215–219.

# «О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ!»: паломничество на Валаам в русской литературе и публицистике Эстонии в 1930-е гг.

ТАТЬЯНА ШОР

Валаам настолько своеобразен, что сколько бы ни делали описаний, всегда будет свое временно другое описание, потому что художественных, исторических и монастырских особенностей здесь не сосчитать [Случевский 1888: 467].

Туристы! Все не по-русскому говорят. Им чего тут делать? Подъехали, посмотрели, дескать, остров как остров — и дале... некогда, вишь [Зайцев 1936: 69].

Валаам — памятник лесоразведения и лесопаркового искусства [На Валаам 1966: 23].

Комплекс исторических, религиозно-эсхатологических и эстетических мотивов, связанных с Валаамом<sup>1</sup>, позволяет назвать его, наряду с Китежем, легендарным литературным топонимом, хотя и не таким популярным. В конце XIX в. поэт К. Случевский, посетивший знаменитый монастырь в составе

---

<sup>1</sup> *Валам, Валаам*, финн. *Valamo*, аборигены-карелы называют остров *Valamoi*. Наиболее частая версия перевода топонима — «высота», «высокая земля»; более раннее толкование: от финского слова *varama* — «горная земля», измененного под влиянием шведского языка в *Valamo*. Некоторые современные исследователи предлагают другую версию, считая, что в основе лежит финское *valaa* — «лить» (металл), «отливать» (из металла). Любое из этих толкований по внутреннему смыслу ближе к существу названия острова, чем связь с библейским образом месопотамского волхва Валаама, заставившего своим упрямством заговорить ослицу [Остров Валаам: 17; Горбаневский 1987: 94–95].

свиты вел. князя Владимира Александровича во время путешествий по Северо-Западу России, подробно излагая историю и легенды православного Валаама, писал о «неправильности его административной зависимости от Финляндии» [Случевский: 467].

В 1920–1930-е гг. древний монастырь оказался на территории нового независимого государства Финляндии. Следует отметить, что российской имперской системе на северо-западных границах не хватало «цивилизационного потенциала». Россия так и не смогла добиться культурного подчинения народов западных окраин, обеспечивая свое могущество исключительно военной мощью и административным ресурсом. В связи с этим в отпавших от России государствах процесс формирования самостоятельных культур происходил с большой интенсивностью. Так, Закон о Православной Церкви в Финляндии был утвержден уже 26 ноября 1918 г. Согласно этому закону, Православная Церковь получила в Финляндии статус «национальной Церкви меньшинства», а монастыри расценивались как неотъемлемая часть церкви [Baschmakoff, Leinonen: 168–169]. По сообщению эмигрантских газет 17 июня 1922 г., епархиальный совет финской Греко-католической Церкви объявил автокефалию, и уже в следующем году был осуществлен переход на новый (григорианский) календарь, на который пришлось перейти и Валааму [Жизнь 1922: 3]. Это повлекло за собой раскол в среде братии, некоторые сторонники юлианского календаря были изгнаны из монастыря [Харитон: 336, 339]. Постепенно приходилось закрывать скиты. Из 13 дореволюционных скитов осталось 7, из которых населены были только Предтеченский, Тихвинский и Всесвятский.

Несмотря на печальное разделение братии, Валаамская обитель оставалась светильником православной веры как для русских, так и для местных карелов и финнов<sup>2</sup>. В 1930-е гг. под

---

<sup>2</sup> Ежегодно созывались съезды духовенства и мирян, с 1926 г. в надвратном храме в честь апостолов Петра и Павла иеромонах Исаакий вел регулярные службы на финском языке. 20.09. 1931 г.



руководством иеромонаха Фотия и иеродиакона Досифея ученики иконописной школы трудились над реставрацией собора. В обители удалось сохранить традиции старчества, например, на Предтеченском острове жил известный среди паломников схиигумен Иоанн (Алексеев) [Янсон 1938: 11; Валаам 1935: 38–39]. Валаам славился богатым собранием старинных книг и рукописей, в 1933–1934 гг. там издавался старообрядческий «Коневецкий листок» [Baschmakoff, Leinonen: 176–179].

Большинством русской эмиграции Валаамский монастырь воспринимался как осколок истинно русской религиозной жизни, и шире — как заповедник древнего христианства<sup>3</sup>, как остров «ушедшей России».

Кто не перекрестится усердно, заметив обитель не на открытой равнине, как большая часть монастырей в средней России, но среди бурных Ладожских вод, в ущельи уединенного острова, на вершине высокой каменной скалы? Неминуемая мысль, — какую чистую, высокую веру должно питать в здешнем уединении и какие тяжкие труды должно несть, чтобы превозмогать здешние неудобства жизни, заставляет всякого благоговеть перед Валаамом,

— так писал автор брошюры о Валааме в середине XIX в. [Остров Валаам: 16].

Эти же чувства с искренней непосредственностью переданы и в стихотворении юной таллиннки Ирины Кайгородовой

---

в Воскресенском скиту открылся детский приют на 30 мальчиков из бедных православных семей Карелии [ИАЭ 5355–1–288].

<sup>3</sup> В интервью хельсинкской газете “Huvudstads” голландский ученый-византолог Лодевик Гермен Грондийс (Lodewijk Hermen Grondijs, 1878–1961), побывавший в 1934 г. на Валааме, сказал: «У вас на вашей территории существует последний во всем мире монастырь, где еще живет христианство в его древнейшей форме с его характерными духовными ценностями. Я долго беседовал с монахами и могу засвидетельствовать, что они не жалуются на свою судьбу и никто из них не занимается политикой... При посещении монастыря невольно вспоминаешь святого Франциска Ассизского и древние легенды о святых. На Валааме стремятся к совершенству на земле по примеру первопроходцев» [Валаамский монастырь: 173].

«Валаамский монастырь», опубликованном в 1928 г., когда Валаам уже почти десятилетие не принадлежал России:

Под игом времени все прежний, невредимый,  
Как сотни лет назад, так в наш печальный век  
Он тихо смотрит ввысь, озерами хранимый...  
Что для него борьба, где бьется человек?  
Он сторож тишины, залог России прежней  
И будущей Руси, бессмертной и святой,  
И старцы-схимники в простой своей одежде  
Хранят в себе его незыблемый покой.  
И нас он охватил своею верой твердой;  
И вечером, когда по небу разлились  
Удары гулкие, и купол строго-гордый  
Весь зазвучал от них, и, устремляясь ввысь,  
Призывный гулкий звон над Ладогой широкой  
Разлился далеко, сливаясь с тишиной —  
О как тогда на нас повеяло глубоко  
Россией царственной, великой и родной!  
Как ясно стало нам, как вера пробудилась!  
Мы слышали его могучий русский зов...  
Так вот куда сейчас Россия схоронилась  
С душой нетронутой под тяжестью оков! [Кайгородова: 2]

В 1930-е гг. Валаам — это «русский Афон», переместившийся с периферии русской светской культуры, где он жил в качестве местной легенды, к центру. Борис Зайцев, побывавший на Афоне [Зайцев 1993: 206], а затем на Валааме, тонко передает состояние «путника» и «странника» по жизни, ощущение нераздельности природы и человека и их единения с Богом. У писателя это чувство охватывает русских паломников-эмигрантов при соприкосновении с островным ландшафтом Валаама:

Но вот дальше, войдя в лес, очутились уже в стране неведомой. Неведомая, да родная! Ведь это все мое, в моей крови, я вырос в таких именно лесах, с детства все знаю: горький аромат хвои, песчаные колеи, комариков, вьющихся за тобой, слегка отстающих, пока идешь, и неизменно свое напевающих, и белку, метнувшую рыжим хвостом, проскакавшего зайца. В общем, ведь все это радость, Божья благодать [Зайцев: 75–76].

На десятилетие обитель как осколок истинно российской жизни становится одним из ключевых образов духовной культуры русского зарубежья. Он оформляется под влиянием житийной литературы и путешествий-паломничеств, начатых в русской традиции с «Хожения Даниила русския земли игумена». Основные черты жанра «хождения», сближающие его с путеводителем — «географизм», цитатность (т.е. включение в текст явных и скрытых цитат из Библии, апокрифических сказаний, легенд и исторических рассказов), а также общерусский православный патриотизм — присущи и «валаамскому тексту» первой половины XX в. В этот заповедный уголок Европы устремлялись русские паломники в чаянии духовного обновления, укрепления веры и просветления. Если светский туризм совсем не обязательно связан с духовным ростом личности, то в нашем контексте герои сознательно стремятся к духовному очищению. Увидеть святыни, прикоснуться к тайнам отшельничества — одна из задач паломника<sup>4</sup>.

К кругу паломнической литературы на Валаам, возникшей в 1930-е гг., относятся как художественные, так публицистические тексты. В этом своеобразном цикле мы рассматриваем произведения профессиональных писателей — ностальгический очерк<sup>5</sup> И. Шмелева «Старый Валаам»<sup>6</sup> и повесть-путешествие Б. Зайцева «Валаам». К паломнической публицистике Эстонии, помимо газетных и журнальных заметок в местной печати, относятся «Валаамские впечатления» Иоанна Богоявленского (1937), две книги Михаила Янсона — «Валаамские старцы» (1938) и «Большой скит на Валааме» (1940), а также

---

<sup>4</sup> Ср.: "Some of them, such as the schema-monk Yefrem, gave the pilgrims spiritual support and guidance, which was indubitably needed in the difficult circumstances of emigre life" [Baschmakoff, Leinonen: 12].

<sup>5</sup> Так, А. М. Любомудров определяет жанр юношеского произведения Шмелева «На скалах Валаама» и его позднейшее переосмысление в книге «Старый Валаам» как очерк [Любомудров: 381].

<sup>6</sup> «Старый Валаам» написан в Париже в 1936, издан в монастыре св. Иова Почаевского во Владимировой (Карпаты, Чехословакия) в 1937 г. [Любомудров: 369, 377, 391].

очерки, стихотворения и были, частью опубликованные в «Православном собеседнике», позже вошедшие в опубликованный дневник «Путевая тетрадь: (На Валаам!)» (1940), Александра Осипова.

Все авторы отмечают особенность валаамского хронотопа — возможность явственно ощутить замирание и мерцание времени. Во время путешествия они попадают в локусы, где время застыло и не ощущается — это древние недвижные скалы, воды Ладоги, вековой лес. В монастырском комплексе течение времени воплощается в храмах и часовнях, старом иноческом кладбище, в каменных крестах, в одежде монахов, в монастырской библиотеке. Наконец, время звучит: слышен звон колоколов, зовущий на молитву и на трапезу, звучат истории, рассказанные монахами. А. Осипов в своем дневнике цитирует непритязательную стихотворную надпись — напоминание о времени, обнаруженную им на Всесвятском острове на столбике близ домика инока:

Время мчится вперед час за часом непреложно,  
И вернуть, что прошло, никому ни за что не возможно.  
Береги каждый час, их немного у нас для скитанья,  
И клади на часы, вместо гирь на весы покаянье.  
Приближает всех нас каждый пройденный час ближе к гробу.  
Помня этот удел, накапливай добрых дел понемногу,  
И отбрось суету, не стремись ко греху так беспечно,  
Но в юдоли земной обновишься душой к жизни вечной...  
[Осипов 1940: 19]<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Это чувство времени, осознанное на Валааме, А. Осипов, в советский период отрекшийся от веры и от сана, проецирует на религиозное представление времени у патриарха Алексия (Симанского). В своем доносе в КГБ в июне 1951 г. он передает его мысли: «Пусть все кругом меняется — мы должны застыть такими, какими были сотни лет назад. Пусть наша неизменяемость, неподчиняемость духу времени символизирует вечность церкви. Нам радостно видеть, что нас и ныне окружает то же самое в церкви, что мы видели с детских лет, чем жили отцы, деды и прадеды. Нам должно научиться хранить прошлое вопреки настоящему. В этом наша сила, в этом наша правда» [Осипов 1951: 923].



Каждый, кто соприкасался с Валаамом, вписывал себя в его историю и в пространство. Полифонический «валаамский текст» узнается по деталям ландшафта, монастырского быта, фигурам легендарных и живых обитателей древнего монастыря. «Валаамское ожерелье» как неповторимый природный комплекс вызывает яркие переживания и у насельников, и у паломников-богомольцев, и у людей светских — профессиональных литераторов. Здесь рождаются духовные, публицистические и литературные тексты. Любопытным примером последних может служить иллюстрированный стихотворный путеводитель «Валаам», созданный иеромонахами Петром Михайловым и о. Викентием, изданный в Таллинне в 1935 г. Это первый образец прерванной в 1917 г. книгопечатной деятельности Валаамской обители<sup>8</sup> — «труд Валаамских иноков», «скромная лира монахов», звучащая «полным аккордом жаркой любви к Валааму».

Путеводитель открывается переложением знаменитой песни-гимна «О, дивный остров Валаам». Текст этот и его фрагменты воспроизводятся в разных вариациях во многих литературных произведениях о монастыре:

О, дивный остров Валаам!  
Рука Божественной судьбы  
Воздвигла здесь обитель рая,  
Обитель высшей чистоты.  
Обитель чудную, святую,  
Жилище избранных людей,  
Обитель сердцу дорогую,  
Обитель мира от страстей.

---

<sup>8</sup> В 1933 г. настоятелем обители стал иеромонах Харитон (Дунаев), при котором монастырь возобновил книгопечатание. В 1936 г. он опубликовал сборник поучений святых отцов о молитве Иисусовой. Позже о. Харитон написал книгу «Аскетизм и монашество», которая была издана в 1943 г., уже после разрушения старого Валаама, во время короткой попытки его возобновления в годы Второй мировой войны. С наступлением линии фронта 20 июня 1944 г. монахи должны были вновь покинуть родную обитель, на этот раз навсегда.

Богоизбранная обитель!  
Пречудный остров Валаам!  
Тебя дерзнул воспеть твой житель:  
Прими его ничтожный дар! [Валаам 1935: 5]

Далее следуют экскурс в историю и стихотворные «прогулки» по монастырю, его хозяйственным постройкам, по скитам и многочисленным островам, украшенным часовнями, садами, устроенными трудами монахов под неутомимым руководством игумена Дамаскина (Кононова), при котором монастырь достиг своего наивысшего расцвета [Резников: 90–93]. Издание богато иллюстрировано фотографиями памятных мест, сделанными многочисленными паломниками. Определяется сущность обители как «путеводителя в духовный мир» и статус ее обитателей как «рабов Божиих»:

Смирненных иноков обитель!  
Приют трудящихся рабов,  
В духовный мир путеводитель,  
От силы вражией покров... [Валаам 1935: 7].

Есть все основания полагать, что путеводитель «Валаам» дошел и до Парижа. В августе 1935 г. Валаамский архипелаг посетили Б. К. Зайцев с супругой. Свою повесть Зайцев опубликовал сначала в парижской газете «Возрождение» (ноябрь 1935 – март 1936 г.), а затем «Валаам» вышел отдельной книгой в Таллинне в издательстве с символическим названием «Странник» [Зайцев; Любомудров: 378].

Почти все пишущие о Валааме приводят один из важных эпизодов его истории, во многом мифологизированный<sup>9</sup>, положивший начало массовому паломничеству на остров. Мы имеем в виду посещение обители императором Александром I [Остров Валаам: 46–48; Случевский: 341; Валаам 1935: 47]. Наиболее удачный литературный вариант этого сюжета,

---

<sup>9</sup> Например, А. Осипов записывает в дневнике о своем пребывании в Смоленском скиту: «Вот маленький заросший лесом островок, на нем из-за деревьев едва заметна избушка. Это “царская кухня”... Здесь царь, если не ошибаюсь, Александр I, в бытность на Валааме, ловил рыбу и варил уху...» [Осипов 1940: 20].

на наш взгляд, находим в изумительной по тонкости письма книге Зайцева. Ему, как никому другому, удалось передать переживание своего паломничества как несущего просветление, гармонию и душевное умиротворение [Любомудров 1995: 157–158]. Так же одушевлен и его рассказ о Валааме. После первых впечатлений от монастыря, его окрестностей и встреч с местной братией Зайцев начинает главу «Александр на Валааме» с описания приезда императора в обитель поздней ночью в августе 1819 г. Из-за беспокойной погоды на Ладоге императорские челны задержались<sup>10</sup>, и насельники легли спать:

Не в укор им говорится дальнейшее — они не виноваты — но вышло как бы и по-евангельски: жених явился «во полунощи», а светильники их погасли. Его не встретили. Более трех часов плыл в сумерках, а потом и в полной тьме император Александр, и если бы не огонек св. Николая, покровителя мореходов, на пустынном островке, то и неизвестно, как бы ввел в узкий пролив иеромонах Арсений своего высокого гостя. В тишине и мраке причалили. И лишь когда подымались наверх, по гранитной лестнице, в монастыре узнали о приезде. Зазвонили колокола: монахи спешно стали собираться. Шли во тьме по монастырскому двору с ручными фонариками. А гость стоял на церковном крыльце. Подходили клиросные, в алтаре облачали старого Иннокентия, уже более полувека трудившегося в монастыре, а теперь полубольного (не мог бы, как прежде, носить на себе кирпичи). Александр ждал покорно. Эти минуты, в бурную валаамскую ночь на паперти перед храмом, в который не мог он еще войти, были для него, вероятно, не совсем обычны [Зайцев: 45–46].

---

<sup>10</sup> Ср.: «Самая обитель лежит на острове за 40 верст, из коих первые пятнадцать плавание совершается по заливам. Хотя мы довольно рано пустились в путь, — он однако же продолжался за полночь; при самом выходе из губы густой туман пал на озеро, и поднялся свежий, противный ветер. Молва о Ладожских непогодах колебала несколько доверенность нашу к кормчему, долго служившему на море, прежде нежели посвятил себя церкви; и он уже начал скучать, что долго не прорезываются из туманов светлые куполы и белая колокольня» [Муравьев: 132].

Далее автор пишет о том, что венценосный паломник проявил здесь истинную кротость «богомольца»:

Восемнадцать лет был уже Александр императором, не *просто* человеком, а *существом-символом, воплощавшим Россию*, мощь ее. Не так легко было снять одежду, к нему приросшую. И по логике жизни, «паломник» должен был ждать, пока в соборе «приготовляли», и облачившийся Иннокентий, с крестом, в ризе, при открытых царских вратах, встретил посреди храма императора. Люстры сияли, хор пел многолетие. Александр приложился к иконам, подошел под благословение к игумену и по очереди ко всем иеромонахам, каждому целуя руку. Себе же запретил кланяться земно [Зайцев: 47; курсив мой. — Т. Ш.].

Осматривая острова и скиты, император как бы пролагает маршрут для всех последующих путешествий:

Современный валаамский паломник может восстановить путь императора. Теперь к «пустынной келии» покойного схимонаха Николая проведена прекрасная дорога, обсаженная пихтами и лиственницами. Тогда в таком виде ее не было. Государь шел пешком, подымаясь на изволок, слегка задохнулся [Там же: 48].

Келья, к которой пришел Александр, сохранялась и в более поздние времена, каждый паломник видел эту хижину:

Но сейчас видим крохотную келийку, подлинно избушку на курьих ножках, где обитал добрый дух в виде старичка Николая. Теперь над келийкой деревянный шатер, как бы футляр-изба, защита от непогоды и стремление дольше сохранить первоначальное [Там же: 49].

Именно здесь победитель Наполеона съел три нечищенные репки с огорода схимника и, позже на всенощной, когда «старый слепой монах Симон тронул рукой сидевшего с ним рядом государя и спросил тихонько: “кто сидит со мной?” Александр ответил: — Путешественник» [Там же: 50–51]. И хотя далее Зайцев не без иронии пишет о том, что «путешественника» провожали все-таки «по-царски», в итоге он дает Валааму определение «Корень — Россия». Своей фактической и бытовой конкретизацией писатель не снижает и не развенчивает символический образ Валаама, его святынь, но гуманизирует



знаки святости, приближая их к читателю. Чудо как обязательный атрибут культурного события сообщается им как нечто само собой разумеющееся, непритязательно, а потому и убедительно [Любомудров 1999: 360]. Зайцев решает проблему прикосновения к реалиям веры и Церкви через живой рассказ о. Милия о чудесах св. Николая-угодника:

А вот тут, видишь, — он указал на другую фреску, — нарисовано-то мало, а чудо было совсем порядочное. Значит, жил это один богатейший человек, и у него три дочери-красавицы прямо на весь город. Девушки нежные, как обыкновенно богатые бывают. Ну, и вдруг отец-то и разорился... я уж там не знаю почему, но только в нищету такую впал, просто не дай Бог. Ну, прямо, есть нечего... На лице о. Милия изобразилось полное беспокойство за судьбу знатного человека из Патары, потерпевшего крах. Думает-думает, что тут поделаешь: приходится дочерьми торговать... и совсем уж было собрался отдавать их в блудилище... Ну, а тут Николай-то, Чудотворец-то, сейчас и явился. Да как? Тайно! Видишь, в окошко дому ихнего кошелек с золотом бросает? Господь, мол, денежки послал. Отец это обрадовался, и не то что на позор, а девицу честным образом замуж выдал. Видит Николай Чудотворец, что отец себя прилично держит, и еще помог. Да что вы думаете? — всех троих дочерей пристроил! [Зайцев: 67–69].

Резюмируя пережитое на Валааме Зайцев пишет:

Увидишь ли еще все это на родной земле, или в последний раз, перед последним путешествием, дано взглянуть на облик Родины со стороны, из уголка чужого... Этого мы не знаем. Но за все должны быть благодарны [Там же: 78].

Известно, что вернувшись в Париж из своего путешествия, Зайцев передал И. С. Шмелеву «его юношескую книгу “На скалах Валаама”, хранящуюся в монастыре, прислал просфорку, “землицу”, образок...» [Любомудров: 378]. Все это подтолкнуло Шмелева вспомнить свое юношеское произведение и написать очерк-воспоминание «Старый Валаам». По-видимому, стихотворный путеводитель также побывал в руках писателя. На это указывает полускрытая неточная цитация песни-гимна «О, дивный остров Валаам!» в VIII главе, где у Шмелева речь идет о некоем стихе инокa о. Петра, везущего

паломников на лодке по островам. Естественно, что Шмелеву «стишок» рясофорного монаха «с восторгами перед неземной красотой обители» мог запомниться лишь в самом общем виде. Зато под рукой был стихотворный путеводитель «Валаам», и писатель пишет: «В памяти моей сохранились еще иные строфы. Вот, помнится...» — и далее цитирует отрывки из вводного стиха таллиннского путеводителя «О, дивный остров Валаам!».

И. С. Шмелев, начавший свой литературный путь в 1897 г. с цензурного скандала, связанного с изданием очерка «На скалах Валаама»<sup>11</sup>, через сорок лет вновь возвращается к нему, посвятив его памяти умершей жены. Если смысл монашеского подвига, аскетизма «для юного дарвиниста» остался совершенно закрытым, то позже он все же признавался, что чувствовал «во всем присутствие божества» [Любомудров: 369]. После долгих лет остров видится Шмелеву в соответствии с каноном, сложившемся в «валаамской» литературе в XIX в., например, в путешествии А. Н. Муравьева на Валаам в 1830 г. или в ознакомительной брошюре «Остров Валаам и тамошний монастырь» (1852). В них задается схема описания монастыря: географическое положение, хозяйственное и духовное устройство, легендарная история, быт, скиты, богомольцы, монастырская библиотека, флора и фауна острова. Эта традиция соблюдается как в художественных, так и в публицистических текстах валаамского цикла.

Схема нарратива, включающая географический и исторический дискурс, элементы жития, диалоги с насельниками, в различных вариантах перекочевывает из литературы XIX в.

---

<sup>11</sup> Материалом для брошюры послужило свадебное путешествие четы Шмелевых на святой остров в 1895 г. После всех перипетий, связанных с изданием и распространением книги, Шмелев почти десять лет ничего не писал. А. М. Любомудров сделал основательный анализ двух валаамских произведений Шмелева, показав путь писателя от ироничного духовного рационализма к осознанной христианской позиции — передать «дух святости и благодати, наполняющий Валаам, просветляющий иноков и паломников» [Сорокина: 43; Любомудров: 382].

в «валаамский текст» XX в.<sup>12</sup> Элементы канонического повествования в разных вариациях можно проследить во всех научных, религиозных, публицистических, литературных текстах и популярных путеводителях по Валааму. В свое время Шмелев разрушил этот канон, а в «Старом Валааме» снова приблизился к нему, сосредоточившись на гармонии локуса и его обитателей:

Остров Валаам расположен на севере Ладожского озера и привлекает каждый год тысячи туристов. Причин для этого несколько: уникальная природа острова, сосновые леса на отвесных скалах, теплые и тихие внутренние озера, наконец, на острове расположен Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Северным Афоном, «Честною и великою Лаврою» называли эту древнюю иноческую обитель, основанную преподобными Сергием и Германом, Валаамскими чудотворцами<sup>13</sup>. Не раз Валаамский монастырь подвергался опустошениям и разорениям, не раз иноки его падали под острием меча, не раз пылали святые храмы. Но всякий раз, оправившись от ударов, он подымался и расцветал. Валаам остался на своем граните, — «на луде», как говорят на Валааме, — на островах, в лесах, в проливах; с колоколами, со скитами, с гранитными крестами на лесных дорогах, с великой тишиной в затишье, с гулом леса и воли в ненастье, с трудом — для Господа, «во Имя». Как и святой Афон, Валаам, поныне, — светит. Афон — на юге, Валаам — на севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся «ночь мира», — нужны маяки. <...> И вот, живые нити протянулись от «ныне» — к прошлому, это

---

<sup>12</sup> «Паломническая литература» лишь отчасти подпадает под определение Ю. М. Лотмана о «литературе путешествий» как о «ритуализированной лжи» [Лотман: 624], если только не воспринимать всю религиозную историю, литературу и обрядность как «ритуализованную ложь».

<sup>13</sup> Ср.: «Таково незыблемое укрепление Валаамского монастыря, двое — “Сергий дивный и Герман чудный”. На этом нерушимом основании простояла обитель почти десять веков, хотя и подвергалась многократным разорениям, сожжениям и запустению. Но возрождаясь как феникс из пепла, вновь процветала, “яко крин”, и вновь теплилась лампада перед ракою Преподобных...» [Янсон 1940: 29].

прошлое мне светит. В этом свете — тот Валаам, далекий. И я подумал, что полезно будет вспомнить и рассказать о нем: он все такой же, светлый [Шмелев: 3].

Отметим, что если Валаам для Шмелева-эмигранта — путешествие-воспоминание, то Псково-Печерский монастырь в Эстонии — это реальное паломничество, которое было осуществлено им в сентябре 1936 г. [Вести дня: 2; Русский вестник: 2; Сорокина: 259–260].

Рассказы о Валааме старших литераторов стали стимулом для думающей русской молодежи, мечтавшей в эмиграции о некоем идеальном образе Родины. Совсем не случайно в молодежном, далеком от религии таллинском альманахе «Новь» печатаются «Поденщик Христов» Д. С. Мережковского, рассказы местных авторов В. Никифорова-Волгина, Б. Назаревского, Вл. Гущика и других, обнаруживающих свое понимание истинного христианства в произведениях русских классиков и в народном сознании.

С утратой китежской легенды<sup>14</sup>, связанной с поисками «русского Грааля» на Святой Руси и в дореволюционной куль-

---

<sup>14</sup> Шмелев в речи «К родной молодежи» 1928 г., напечатанной под таким заглавием в журнале «Русский колокол», уподобляет Россию Китежу [Сорокина: 194]. Тему подхватывает участник пражского «Скита поэтов» Евгений Мельников в стихотворении «Китеж»:

Дремучий лес хранит родные старины.  
Закат над озером, что птица-жар...  
На крыльях херувимов от татарина  
Сокрылся тихо Китеж в Светояр [Мельников: 2].

В Эстонии Борис Новосадов (Тагго) писал:

В счастье — миражный Китеж  
Веры нет у меня.  
Это и Ты видишь,  
За холодность не кляня... [Новосадов].

С другого берега Финского залива вторила Вера Булич:

Россия... Россия — наш Китеж-град,  
Сокрывшийся в глуби подводной.



туре, в среде русского зарубежья начинаются мучительные поиски новых идеалов.

Художественные писания о Валааме известных русских писателей-парижан пробудили интерес к христианской святости, к древним русским традициям в монастырях: Печерском — в Эстонии и на Валааме — в Финляндии. О значении последнего для русских Финляндии, в противовес привычному «дачному пространству» этого локуса, писали в своей книге Наталия Башмакофф и Марья Лейнонен<sup>15</sup>.

Паломничество на Валаам из Эстонии имеет свою историю, и оно глубоко отлично от туризма, ставшего весьма популярным в межвоенный период. В проспектах предложений Эстонского общества туризма значились местные Пюхтицкий и Печерский монастыри. Поездки же на Валаам с 1928 г. (сначала для гимназистов, а затем и для всех желающих из Таллинна и Нарвы) организовывал паломнический центр, руководимый Владимиром Ивановичем Тирманом [Осипов 1940: 15, 33]. В 1930-е гг. в газете «Старый нарвский листок» постоянно появляются объявления о наборе паломников на Валаам, сообщается о лекциях М. Янсона с демонстрацией световых картин и выступлением хора под управлением Н. А. Клааса [СНЛ 1934: 3; Янсон 1935: 2–3; Экскурсия: 3; СНЛ 1936: 3]. Всем этим в Нарве, а позже в Таллинне заведовал священник Александр Киселев<sup>16</sup>, избранный настоятелем Нарвского Ивангородского Успенского собора в 1933 г. Все доходы от лекций шли на издание православной литературы.

---

Над нею года неизбывных утрат  
Сомкнулись волною холодной [Булич].

<sup>15</sup> Интерес к внешней реализации одухотворенных примет Валаама отмечается в работах художников зарубежья Н. Рериха, его эстонского корреспондента Н. Роота и др. [Baschmakoff, Leinonen: 177–182; Осипов 1940: 1].

<sup>16</sup> Киселев Александр Николаевич (1909–2001), протоиерей таллиннской Никольской (Коппельской) церкви 1938–1941, в эмиграции настоятель Лос-Анджелесской православной церкви [ИАЭ 1655–3–650; ИАЭ 2100–1–4793; Алфеева: 20–21].

По воспоминаниям супруги Калифорнийского благочинного, протоиерея Дмитрия Гизетти Маргариты Романовны<sup>17</sup>, учившейся в таллиннской русской гимназии, в конце 1930-х гг. они с подругой и группой молодых людей ездили на Валаам в сопровождении таллиннских священников Александра Осипова<sup>18</sup> и Александра Киселева:

Группу водил отец Памво, удивительно кроткий, смиренный и исполненный любви ко всему живому монах. Нам открылся особый мир жизни в Боге, и мы чувствовали, что это очень глубокая и благодатная жизнь [Алфеева: 19; ср.: Зайцев: 18, 20].

В русской публицистике Эстонии «валаамский бум» относится к середине 1930-х гг. В 1937 г. на остров в поисках истины и благодати отправились богословы Иоанн Богоявленский<sup>19</sup>,

<sup>17</sup> Гизетти Маргарита Романовна, урожд. Банг (1923–2006), поступила в Тартуский университет перед самым началом войны. В 1944 г. вместе с родителями бежала в Германию, в 1947 г. вышла замуж за Дмитрия Гизетти, и в 1950 г. они переселились в США. Работала просвирней в православных приходах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, где священствовал ее муж [Album Academicum III: 464; Алфеева: 19–22].

<sup>18</sup> Осипов Александр Александрович (1911–1967), выпускник богословского факультета Тартуского университета, mag. theol. (дис. «Христианский пастырь по проповедям Иоанна Златоуста», 1935), протоиерей, профессор Ленинградской духовной академии. В 1959 г. отлучен от церкви, автор ряда атеистических книг [ИАЭ 2100–1–10678; ИАЭ 2100–2–773; Алфеева: 19; Милютин: 104; Шкаровский: 201].

<sup>19</sup> Богоявленский Иоанн Яковлевич (1879–1949), епископ Таллиннский и Эстонский Исидор (1947). Магистр богословия С.-Петербургской Духовной академии (дис. «Значение Иерусалимского храма в ветхозаветной истории еврейского народа», 1915). С 1919 г. жил в Эстонии, служил в Александро-Невском соборе, а после 1936 г. был настоятелем в храме свв. Симеона и Анны; преподавал Закон Божий в ряде учебных заведений Таллинна. Активно участвовал в работе Русского Православного Студенческого Движения, возглавлял делегации на ряде съездов, руководил работой семинаров. С 1930 г. протоиерей Иоанн редактировал вы-

Александр Осипов и таллиннский учитель Михаил Янсон<sup>20</sup>. Их разнообразные сочинения о Валааме представляют собой отдельный «эстонский» пласт «валаамского текста». Каждый из упомянутых авторов достоин отдельного рассмотрения с точки зрения вклада в христианскую публицистику.

Русским Прибалтики, чтобы прикоснуться к «северному Афону», достаточно было скопить немного денег и летом в Таллинне или в Риге сесть на пароход, доплыть до Хельсинки и оттуда на поезде добраться до Сердоболя (Сортавала); в обитель прибывали на специальном катере.

Даже неосуществленная мечта о паломничестве приносила счастье. Бедный рижанин, герой были А. Осипова «Как поступает христианин!», с трудом скопивший денег на путешествие на Валаам, неожиданно получает повышение по службе и не может поехать в обитель. Тогда он отдает деньги в паломнический пункт, чтобы другие смогли ими воспользоваться для этой же цели [Осипов 1940: 41].

Для понимания и толкования произведений валаамского цикла в русской публицистике Эстонии необходимо учитывать как личность каждого из авторов, так и общий фон складывания «валаамского текста». Здесь важно упомянуть публикации в журнале «Православный собеседник», который выходил

---

ходивший в Эстонии журнал «Православный собеседник». В 1938 г. основал трехгодичные богословско-пастырские курсы, в числе его выпускников был о. Михаил Ридигер, отец патриарха Алексия II [ИАЭ 1655–2–2653, ИАЭ–2–2797; ИАЭ 1655–3–643; Киреев: 405].

<sup>20</sup> Янсон Михаил Алексеевич (1887 – после 1943), приемный сын русского секретаря при правительстве Эстонской Республики А. К. Янсона. Окончил естественно-историческое отделение Юрьевского университета в звании кандидата естественных наук (1913); преподавал в таллиннских школах, автор двух книг о Валааме и детской пьесы “Rahuingel” (1930), иллюстрированной писателем-художником К. К. Гершельманом [ИАЭ 402–1–31282; ИАЭ 402–1–31283; ТГА 52–2–489].



дил в Таллинне<sup>21</sup>. На его страницах регулярно печатались новости с Валаама, например, «Аптека духовная», рукопись Валаамского схимника «О сновидениях», выписки из Валаамского патерика, собрание житий и изречений валаамских старцев и иноков «Жемчуга святоотеческой мудрости» — представлявшие Валаам «изнутри». Здесь можно также найти и паломнический взгляд на монастырь извне (описания паломников). Эти тексты перекликались, образовывая причудливый конгломерат религиозной и светской литературы.

Для всех авторов паломничество на Валаам — это практическое понимание дороги к духовному очищению, возможность увидеть примеры иночества и осмыслить путь в святость. Валаамский схиигумен Иоанн говорил, что «духовная жизнь есть наука из наук, требует она глубокого духовного рассуждения и опытного старческого руководства» [Янсон 1938: 37]. Отсюда многочисленные портреты-описания иноков, схиигуменов, отшельников с неизменной попыткой воссоздания их личных биографий-житий, открывающих путь к очищению и к светлой искупительной смерти, при этом «синтетический комплекс» «чужого слова» (библейская история, местные истории и легенды, жития) «переплавляются» в писаниях о Валааме в «свое».

Естественник Михаил Янсон побывал на Валааме еще студентом Юрьевского университета во время экскурсии на Белое море [ИАЭ 402—1—31282: 38]. В 1920-е гг. он разработал познавательный экскурсионный лекторий для школ, а в зрелые годы серьезно обратился к валаамской теме, волновавшей его с точки зрения осознания позиции человека в мире духовном [Janson 1924—1925]. В своей первой брошюре «Валаамские старцы», основой для которой послужил Валаамский па-

---

<sup>21</sup> Русский православный журнал, издавался с апреля 1931 по июль 1940 г. Вышло 94 номера. В качестве приложения были опубликованы магистерская диссертация А. Осипова «Пастырский идеал св. Иоанна Златоуста и наши дни» [Осипов 1938] и книга И. Богоявленского «Изыяснительные записки на символ веры» [Богоявленский 1938].



терик, он открыл много интересного для читателей Эстонии. Например, то, что Порфирьевский остров в валаамском архипелаге был назван по имени бывшего дерптского студента, инок Порфирия. Он первым поселился на нем и погиб в волнах Ладоги, провалившись под тонкий лед в 1828 г.<sup>22</sup> В итоговой работе Янсона «Большой скит на Валааме», изданной, как и книга Зайцева, в издательстве «Странник», описываются примеры «подвижнической жизни» валаамских иноков в самом старом из скитов — во имя Всех Святых. Книга составлена как путеводитель, ведущий читателя по всесвятскому кладбищу иноков: «За сто двадцать лет — десять могил» [Янсон 1940: 76–79]. Десять иноческих историй и беседы автора со схимонахом о. Пионием, доживающим свой век на острове, должны были посвятить читателя в то, что не доступно простому паломнику:

Сокрылись в келлиях<sup>23</sup> недоступного скита старцы, затаили подвиги свои и достижения. Молчит лес, укрывший уединенный скит, немотствуют громады гранитных скал, безмолвны необъятные просторы озера-моря... Хорошо спрятано, надежно укрыто!.. [Там же: 88].

Последние паломничества на остров совершались в лето 1939 г. незадолго перед Зимней войной, положившей конец старому Валааму. А. Осипов составил подробный дневник

---

<sup>22</sup> «Схимонах о. Порфирий был из дворян, воспитывался в Дерптском университете, в 1821 г. поступил в курский Знаменский монастырь и там с именем Порфирий пострижен в рясофор. В 1824 г. по прошению перемещен в Коневский монастырь и жил там в безмолвном уединении. В 1826 г. перемещен, по прошению, в Валаамский монастырь и здесь в 1827 г. пострижен в монашество 19 февраля и облечен в схиму 30 марта. Жил он в пустыни, проводил строгую подвижническую жизнь, но без старческого руководства <...> 23 октября 1828 г., когда заливы только покрылись тонким льдом, шел о. Порфирий в скит к духовнику <...>, утонул, провалившись под лед 28 лет от рождения» [Янсон 1938: 64–65].

<sup>23</sup> По афонской терминологии, «келлия» — небольшая обитель с церковью или часовней [Талалай: 6].

этого недельного путешествия, начавшегося 19 июня 1939 г. на пароходе «Рюген» под флагом немецкого рейха. В нем регистрируются все самые мелкие детали, а главное — автор описывает самого себя в этом путешествии:

...с 97 паломниками на борту впервые и не впервые предпринявших путешествие на Валаам <...> А что ждет меня?.. Меня, едущего на Валаам вторично? Меня, столько получившего в первую поездку, что два года жизни после этого оказались прочно окрашенными, пронизанными незримым светом Валаамских пустынь? Можно ли получить больше, что уже получено? Бог и будущее покажут. Но на душе праздник, и волны Балтики шумят Ладожским плеском [Осипов 1940: 3].

На горизонте маячит финско-советский конфликт, что же будет с монастырем? Осипов отвечает на этот вопрос в посвящении к отдельному изданию дневника в марте 1940 г. В свете последних политических событий он предчувствует скорую гибель обители, но еще без намека на свою будущую судьбу и жизнь без Бога:

Удивительна судьба настоящего дневника. Когда летом минувшего 1939 года я напечатал «Путевую тетрадь I» в «Православном Собеседнике», в мире был мир. Когда в следующем номере явилось продолжение, шла германо-польская война. III тетрадь была свидетельницей дальнейшего развития мировых событий. Печатаю IV в начале советско-финской кампании, я уже внимал с тревогой первым вестям о военной грозе над самим монастырем. V продолжение совпало с эвакуацией первой части иноков. VII — с окончательной эвакуацией монастыря, а последнее было помещено одновременно с известием о тяжких разрушениях, постигших обитель. Ныне, когда «Путевая тетрадь» печатается отдельным изданием, заключен мир, по которому Валаам делается достоянием СССР. По-видимому, монастыря на архипелаге больше не будет. 16 марта, память Лазаря четверодневного, но воскресшего [Там же: Б. п.].

В эту последнюю поездку А. Осипов<sup>24</sup> вел беседы со схиигуменом Иоанном, который, как оказалось, не был чужд последних достижений науки, интересовался физикой, был в курсе содержания «Мистической трилогии» М. В. Ладыженского, разрабатывавшего идею о том, что отшельнический образ жизни развивает «сверхсознание», способность к непосредственному восприятию тайны бытия.

И еще раз о чудесах Валаама. В числе последних эстонских паломников был и 9-летний Алеша Ридигер, который с родителями дважды совершил путешествие на Валаам. По его свидетельству, эти паломничества оставили в его душе неизгладимый след. Только через 60 лет он вновь возвратился туда, но уже как Патриарх Московский Алексей II, чтобы благословить восстановление древней христианской святыни.

#### ЛИТЕРАТУРА

Исторический архив Эстонии = ИАЭ

ИАЭ 402-1-31282 Личное дело студента Юрьевского университета Михаила Янсона. 1908-1912.

ИАЭ 402-1-31283 Личное дело студента Юрьевского университета Михаила Янсона. 1908-1912.

---

<sup>24</sup> М. Р. Гизетти вспоминала: «1939 год стал последним для старого Валаама: в Финскую войну монастырь эвакуировали. Но главными влияниями нашей юности остались эти семь дней на Валааме, съезды Русского студенческого христианского движения и наш любимый законоучитель. Интересно, что этим пламенным учителем веры был отец Александр Осипов, известный тем, что позже публично отрекся от веры. С тех пор, как его мобилизовали в Красную Армию, мы его не видели. Но я никогда не поверю, что это скандальное отречение было искренним. Рассказывают, что перед смертью он плакал и звал священника, но к нему никого не допустили. Для многих из нас это долго оставалось одной из страшных тайн советской системы: какими средствами добивалась она таких отречений человека — не только от родных, любимых, но и от своей души?» [Алфеева: 19].

- ИАЭ 2100–1–4793 Личное дело студента Тартуского университета Александра Осипова. 1931–1935.
- ИАЭ 1655–2–2653 Список духовенства Нарвской епархии и отчет о церквях 1944–1945.
- ИАЭ 1655–2–2797 Выписки из протоколов Синода ЭАПЦ об образовании и о деятельности русского Симеоновского прихода в Таллинне. 1936–1939.
- ИАЭ 1655–3–643 Послужные листы духовенства ЭАПЦ 1904–1928.
- ИАЭ 1655–3–650 Послужные листы духовенства ЭАПЦ 1933–1940.
- ИАЭ 5355–1–288 Фотографии Валаамской обители из фонда ЭАПЦ в изгнании.
- Таллиннский городской архив. 52–2–489 Личное дело преподавателя Михаила Янсона. 1922–1943.
- Алфеева: *Алфеева В.* Странники // Знамя 1999. № 1.  
<http://magazines.russ.ru/znamia/1999/1/alveev.html>. (16.12.2009)
- Богоявленский 1937: *Богоявленский И.* Валаамские впечатления // Православный собеседник. 1937. № 8. С. 91–100.
- Богоявленский 1938: *Богоявленский И.* Изъяснительные записки на символ веры. Таллинн, 1938.
- Булич: *Булич В.* Маятник. Гельсингфорс, 1934.
- Валаам: <http://valaam.ru/ru/oldvalaam/>
- Валаам 1935: Валаам: Стихотворения. [Таллинн], 1935. С. 3.
- Валаамский монастырь: Валаамский монастырь // Православный собеседник. 1934. № 12. С. 173.
- Вести дня: Писатель И. Шмелев в Петсери // Вести Дня. 1936. 4 сент. № 200. С. 2.
- Гершельман: *Гершельман К.* О современной поэзии // Новь. Таллинн, 1934. Сб. 6. С. 55.
- Горбаневский: *Горбаневский М.* В мире имен и названий. М., 1987.
- Жизнь 1922: Постановление финской церкви // Жизнь. 1922. 20 июня. № 50. С. 3.
- Зайцев: *Зайцев Б.* Валаам. Таллин, 1936.
- Зайцев 1993: *Зайцев Б. К.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 2.
- Кайгородова: *Кайгородова И.* Валаамский монастырь // Новь. Таллинн, 1928. Октябрь. С. 2.
- Киреев: *Киреев А.* Епархии и архиереи Русской Православной Церкви в 1943–2002 годах. М., 2002.
- Лотман: *Лотман Ю. М.* Письмо Б. А. Успенскому от 25.10.1981 // Лотман Ю. М. Письма 1940–1993 / Сост. Б. Ф. Егоров. М., 1997.



- Любомудров: *Любомудров А. М.* Православное монашество в творчестве и судьбе И. С. Шмелева // Христианство и русская литература. Сб. статей. СПб., 1994.
- Любомудров 1995: *Любомудров А. М.* Монастырские паломничества Бориса Зайцева // Русская литература. 1995. № 1. С. 137–158.
- Любомудров 1999: *Любомудров А. М.* «Прибежище и надежда». Саровский чудотворец в рассказах русского зарубежья // Христианство и русская литература. Сб. статей. 3. СПб., 1999.
- Мельников: *Мельников Е.* Китеж // Новь. Октябрь. Таллинн, 1930. С. 2.
- Мережковский: *Мережковский Д.* Поденщик Христов // Новь. Таллинн, 1934. Сб. 8. С. 85.
- Милютина: *Милютина Т. П.* Люди моей жизни. Тарту, 1997.
- Михайлов: *Михайлов О. М.* Об Иване Шмелеве // Шмелев И. С. Избр. соч. М., 1999. Т. 1. С. 5–17.
- Муравьев: *Муравьев А. Н.* Путешествие по святым местам русским. СПб., 1846. Ч. 1.
- На Валаам: На Валаам. Путеводитель / Сост. [Л. М. Лейбошиц]. Петрозаводск, 1966.
- Новосадов: *Новосадов Б.* Из цикла «Лето 1934» // Новь. Таллинн, 1934. Сб. 7.
- Осипов 1934: *Осипов А.* Духовный смысл светской литературы // Православный собеседник. 1934. № 8. 109–112.
- Осипов 1938: *Осипов А.* Пастырский идеал св. Иоанна Златоуста и наши дни. Таллинн: Православный собеседник. 1938.
- Осипов 1940: *Осипов А. А.* Путевая тетрадь: (На Валаам!). Таллинн: Православный Собеседник, 1940.
- Осипов 1951: Доклад секретного осведомителя, профессора протоиерея А. Осипова Ленинградскому уполномоченному А. И. Кушнareву о положении в Московской Патриархии // Данилушкин М. и др. История Русской Православной Церкви. Новый патриарший период. СПб., 1997. Т. 1: 1917–1970.
- Остров Валаам: Остров Валаам и тамошний монастырь. СПб., 1852.
- Почепцов: *Почепцов Г. Г.* Русская семиотика. М., 2001.
- Православный собеседник: орган православной мысли в Эстонии / изд. и ред. И. Богоявленский. Таллинн, 1931–1940.
- Резников: *Резников Л. Я.* Валаам раскрывает тайны: [ист.-краевед. очерк]. Петрозаводск, 1975.
- Русский вестник: Писатель И. Шмелев в Петсери // Русский вестник. 1936. 5 сент. № 70.

- Случевский: *Случевский К. К.* Балтийская сторона: Путешествия их императорских высочеств великого князя Владимира Александровича и великой княжны Марии Павловны в 1886 и 1887 гг.: С картою пути. С.-Петербург: [s. n.], 1888 (=По северу России. Т. 3).
- СНЛ 1934: Лекция о Валаамском монастыре // Старый нарвский листок. 1934. 10 дек. № 143.
- СНЛ 1936: М. Поездка на Валаам (Впечатления экскурсанта) // Старый нарвский листок. 1936. 8 июня. № 73.
- Сорокина: *Сорокина О.* Московянина: жизнь и творчество Ивана Шмелева М., 1994.
- Талалай: *Талалай М. Г.* Некрополь Свято-Андреевского скита на Афонской Горе. СПб., 2007.
- Харитон: *Харитон [Дунаев], иеромонах.* Введение нового стиля в Финляндской Православной Церкви и причины нестроений в монастырях: (по документам и записям инок). Валаам. Спасо-Преображ. монастырь, 1927.
- Шкаровский: *Шкаровский М. В.* Русская Православная Церковь и Советское государство в 1943–1964 годах. СПб., 1995.
- Шмелев: *Шмелев И. С.* Старый Валаам. М.; СПб., 1997.  
<http://www.wco.ru/biblio/books/shmelev1/Main.htm>
- Экскурсия: Экскурсия на Валаам // Старый нарвский листок. 1936. 18 мая. № 53.
- Янсон 1935: *Янсон М. Я.* Валаамский монастырь. (К предстоящей экскурсии из Нарвы) // Старый Нарвский Листок. 1935. 29 апр. № 48.
- Янсон 1938: *Янсон М. А.* Валаамские старцы. Берлин, 1938. [Напеч. в Таллинне, изд. Libris].
- Янсон 1940: *Янсон Михаил.* Большой скит на Валааме. Таллинн, 1940.
- Album Academicum: Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918–1944. III. Tartu, 1994.
- Baschmakoff, Leinonen: *Baschmakoff N., Leinonen M.* Russian Life in Finland 1917–1939: a Local and Oral History. Helsinki, 2001. P. 177–182 (=Studia Slavica Finlandensia. T. XVIII).
- Janson 1924–1925: *Janson, M.* Looduslooliste ekskursioonide küsimusest // Kasvatus. 1924. Nr 7. Lk 196–200; 1925. Nr 8. Lk 241–244; Nr 9. Lk 293–296; Nr 10. Lk. 293–296; Nr 11. Lk 330; Nr 12. Lk 370–373.

«И ЕМУ ПОКАЗАЛАСЬ РОССИЯ...»:  
баллада Д. Самойлова и ее перевод Я. Кросса<sup>\*</sup>

ТАТЬЯНА СТЕПАНИЩЕВА

«Баллада о немецком цензоре» не относится к самым известным текстам Давида Самойлова. Симптоматично, что даже жанровая принадлежность ее не вполне определена, несмотря на ясное заглавие. «Баллада» именуется то частью поэмы, то «небольшой поэмой». Действительно, стихотворение включалось в состав поэмы «Ближние страны» — но не с первого ее издания, вышедшего в 1958 г. После отдельной публикации в 1961 г. в журнале «Новый мир» баллада печаталась в составе «Ближних стран» (первое включение — в книге 1971 г. «Равноденствие. Стихотворения и поэмы»).

Подвижный жанровый статус «Баллады...» является, как нам представляется, признаком смысловых колебаний. На них указывает и краткая характеристика, данная Е. Евтушенко: «Небольшая поэма “Баллада о немецком цензоре” была, по сути, издевательством над нашей родной советской цензурой» [Строфы: 471]. Евтушенко счел немецкую прописку цензора условностью. Даже если аллюзии не входили в авторский замысел, реплика Е. Евтушенко дает представление о читательской рецепции, выделявшей в тексте именно эту составляющую. Возможно, именно скрытый аллюзионный смысл «Баллады о немецком цензоре» повлиял на выбор эстонского переводчика Яана Кросса.

Перевод был напечатан в сборнике «Бездонные мгновенья / Rõhjatud silmapilgud» [БМ], четвертом выпуске в миниатюрной серии «Рукопожатие / Käepigistus». В каждом выпуске поме-

---

<sup>\*</sup> Статья написана в рамках темы целевого финансирования «Рецепция русской литературы в Эстонии в XX в.: поэтика и интерпретация перевода».

щались стихотворения русского и эстонского поэтов, переводивших стихи друг друга — параллельно в оригинале и в переводе. Первая книга — Ральфа Парве и Всеволода Азарова — вышла в 1984 г. (ее заглавие позднее дало название серии). В 1987 г. составитель Михаил Корсунский выпустил сразу два сборника: «Время пришло... / Aeg tuli...» Деборы Вааранди и Анны Ахматовой, и «Обратная связь / Tagasiside» Арви Сийга и Евгения Евтушенко. «Бездонные мгновенья» помечены 1990-м, годом смерти Самойлова. Время не благоприятствовало книгопечатанию: книга была готова к публикации еще в 1988-м, но вышла лишь в 1990-м, а после нее серия и вовсе прервалась.

Как мы можем предположить, серия сложилась не сразу. Скорее всего, первая книга была задумана как самостоятельная — она должна была демонстрировать крепость советской «семьи народов». Авторы вошедших в нее стихов официально-благонадежны: Ральф Парве был советским офицером, участвовал в войне, с 1959 г. — заслуженный писатель ЭССР; Всеволод Азаров (1913–1990) — флотский офицер, поэт, писавший о войне. Получившаяся книга взаимных переводов вполне вписывалась по содержанию в рамки господствующей идеологии.

Два следующих сборника решительно отличаются от первого — прежде всего выбором авторов. Очевидно, смена направления была обусловлена изменившимся культурно-политическим контекстом. Возможно, именно в 1987 г. возникла идея продолжения двуязычного издания, превращения его в серию — по образцу книжки Азарова / Парве (потому и название серия унаследовала от нее). Принципы отбора текстов, как, впрочем, и вся история этой двуязычной серии, нуждаются в дополнительном исследовании. Можно предположить, что тексты переводились и включались в сборник по разным мотивам: наиболее репрезентативные для автора, наиболее удобные для переводчика, а также идеологически «действенные». Примером последнего, как нам представляется, можно счесть заключающее подборку в разбираемой книге стихотворение Самойлова «Эстимаа», подтверждающее вклю-



ченность русского поэта в культурное пространство Эстонии — при этом известно, что поэт в эту пору был обеспокоен возможными поворотами судьбы русских в стремившейся к независимости Эстонии.

В сборник «Бездонные мгновения / Põhjatud silmapilgud» вошли следующие стихотворения Самойлова: «Дом-музей», «Смерть Ивана» (из цикла «Стихи о царе Иване»), «Баллада о немецком цензоре» (из поэмы «Ближние страны»), «Завсегда-тай», «Рихтер», «Деревья должны...», «Афанасий Фет», «Сандрильона», «Залив», «Муза», «Пахло соломой в сарае...» и «Эстимаа»<sup>1</sup>. Подборка включает тексты разных лет, из разных циклов и сборников. Составитель не оговорил принципы компоновки сборника, не упомянул о них в своем предисловии и переводчик, Я. Кросс. Можно проследить определенные сюжетные и тематические линии в самойловской подборке: программный и иронический «Дом-музей» открывает тему художника, продолженную стихотворениями «Рихтер», «Фет» и «Муза»; можно выделить (условно) «тему деспотии» («Смерть Ивана», «Баллада...») и развивающуюся к финалу тему бегства и освобождения.

Параллельное размещение оригинала и перевода на книжном развороте, конечно, создает особое смысловое пространство. Стихотворения Самойлова образуют свой смысловой ряд, который дополняется соотносением с переводами, которые, в свою очередь, тоже образуют сверхтекстовое единство. Однако говорить о возможности интерпретации этих единств, а также об их авторской преднамеренности следует весьма осто-

<sup>1</sup> Вторая часть сборника, самойловские переводы из Яана Кросса, нуждается в отдельном исследовании. В книгу включены переводы следующих стихотворений: "Laul seitsmest lukust võtmetega", "Uks", "Laul pimedale trofeehobusele telliskivivabrikus", "Õhus ämblikulõngade lend on...", "Mu noorus, sulipoiss — sa kaod?!", "Luite-liivadel joostes...", "Tallipoisi laul", "Kõrgmäestik", "Ehitusmeistri mõtted", "Lõokesed", "Veebruari kevad", "Õhtu ja hommik", "Säilimine", "Luule on...", "Sellega, kes on näinud tuhandeid...", "Hakkas juba oskama näha...", "Autobiograafia süvitsi", "Mu sõbra avatud akna all..." и "Põhjatud silmapilgud", давшее заглавие сборнику.

рожно — пока не прояснена история формирования книги. Поэтому для начала мы сосредоточимся на одной паре поэтических текстов, анализируя отношения оригинала и перевода.

Интересно отметить, что военная тема, столь значимая в творчестве Самойлова, в сборнике представлена только двумя стихотворениями — «Баллада...» и «Муза». Второе стихотворение, отразившее личный военный опыт, Самойлов напечатал в подборке «Фронтовые стихи» в журнале *Юность* (1979, № 10), а затем — в сборнике «Залив» (1981), под датой «1944». Стилизованная и, как мы покажем ниже, наполненная литературными подтекстами «Баллада о немецком цензоре» контрастирует с «Музой» — и это может быть косвенным подтверждением трактовки баллады Евгением Евтушенко как аллюзионной и по сути антисоветской.

Как было отмечено выше, «баллада» не становилась объектом пристального внимания исследователей. Поэтому прежде, чем обратиться к эстонскому переводу, приведем некоторые наблюдения над поэтикой оригинального текста, которые будут существенны для интерпретации его эстонского перевода.

В «Ближних странах» есть два фрагмента, название которых включает жанровое определение — кроме баллады о цензоре, это еще «Баллада о конце Гитлера». Оба текста отсутствовали в первом издании. Если не-включение в издание 1958 г. стихотворений «Помолвка в Лейпциге» и «Я ночью в разрушенном доме...», исключение нескольких ключевых строк из «На том берегу», посвященного варшавскому восстанию<sup>2</sup>, могут быть объяснены понятными причинами — идеологическими, цензурными, то отсутствие баллад не вполне понятно. Одно из возможных объяснений лежит на поверхности — эти стихотворения написаны позднее, чем другие вошедшие в «Ближние страны» тексты. Действительно, «баллада о цензоре» печатается только в 1961 г., а «Баллада о конце Гитлера» не публиковалась до 1971 г., т.е. до появления пол-

---

<sup>2</sup> Герой стоит «на том берегу» и видит отчаянное сопротивление повстанцев: «Я их вижу! Прекрасно их вижу! / Но молчу. Но помочь не могу... // Мы стояли на том берегу».

ного текста «Ближних стран» в сборнике «Равноденствие», поэтому можно предположить, что она была написана позднее остальных частей поэмы. Возможно также, что до публикации полного текста поэмы автор отдавал в печать только наиболее существенные (с точки зрения целого) фрагменты.

Но возможны и дополнительные объяснения. А. С. Немзер в устном замечании отметил балладный подтекст стихотворения «Помолвка в Лейпциге» (шествие потсдамского жениха к невесте, его антураж напоминает о скачке жениха из «Людмилы» Жуковского — ср. об этом в послесловии [Немзер: 383]). Как нам представляется, вообще центральная сюжетная линия «Ближних стран» — окончание войны и возвращение героя домой — находит балладную параллель. Если обманутый жених «фройляйн Инге» — двойник героя (они сидят рядом с Инге), то пути героя (возвращение с войны) можно найти параллель в пути жениха Людмила / Леноры. Кроме фарсового любовного сюжета (Инге, которая не стала блюсти верность далекому жениху, и идущий к ней через Германию «молодой букинист из Потсдама»), в поэме есть и трагический — Лешка Быков и Ядвига, герои здесь гибнут, как гибнут балладные любовники.

Балладный жанр актуализирован самой темой поэмы. Действие «Ближних стран» происходит в «чужом» пространстве, в Германии и Польше. Как мы помним, отличительной чертой баллады, кроме сюжетной динамики, является экзотика — действие помещается в обстановку экзотическую, чужую (географически или исторически). Таким образом, балладные ассоциации, усиленные введением двух баллад с жанровыми заглавиями в состав поэмы, получают тематическую мотивировку. Герой воюет в Германии (или на «германской» территории — Варшава), находится внутри чужого и страшного мира, поэтому появление «страшной немецкой баллады» закономерно.

Кажется, прямых текстуальных переключек с балладами Жуковского (самыми известными, переведенными с немецкого — из Гете и Бюргера) или с другими немецкими переводными и оригинальными балладами мы в сомайловских «Ближних странах» не найдем. Конечно, не следует считать назван-



ные баллады подтекстами. Повторим, что здесь важен общий ореол жанра, а не конкретные тексты (хотя инициальные образцы русской романтической баллады все же, наверно, значимы).

Очевидно, что в «Ближних странах» Самойлов использовал и то странное свойство баллады, которое можно определить как комически-фарсовый потенциал трагического сюжета. Так, в «Балладе о конце Гитлера» можно отметить аллюзии на стихотворения о мертвом императоре Жуковского и Лермонтова («Ночной смотр» и «Воздушный корабль»), но осложненные «сказочной» ассоциацией заглавного героя с Кощеем. Еще живой, но сидящий в подземном укрытии властитель сзывает свою армию, которой уже нет — солдаты мертвы, а микрофоны, в которые он кричит, давно отключены<sup>3</sup>. Эти отключенные микрофоны и придают второй балладе в «Ближних странах» фарсовый оттенок. Можно предположить, что этот фабульный эпизод мог сложиться под влиянием советской карикатуры военного времени или сатирической поэзии тех же лет. Ср., напр., в стихотворном фельетоне С. Я. Маршака «Прощание ефрейтора с генеральским мундиром» (1944): «Прощай мой мундир, мой надежный слуга / Приходит минута разлуки. / Навеки прощай!.. Уж не ступит нога / В мои генеральские брюки!»<sup>4</sup>.

«Баллада о немецком цензоре» [БМ: 24–33], как нам кажется, апеллирует и к другому кругу текстов. Это русские классические повести о «маленьких людях». Ключ дает уже первая строка баллады Самойлова: «Жил в Германии *маленький* цензор». Далее характеристика героя разворачивается в этом направлении: «родился педантом», «человечишка мелкий, как просо!». Возможно, последующие комментаторы дополняют картину, сейчас назовем только те прецедентные тексты, которые, по нашему мнению, отразились в самойловской балла-

---

<sup>3</sup> Отметим и другие параллели между балладой Самойлова и двумя русскими переложениями Цедлица: кольцевая композиция самого текста, кольцевое движение героя (мертвец встает из могилы и потом возвращается в нее), в «Ночном смотре» также адъютанты.

<sup>4</sup> За этот пример мы благодарим А. С. Немзера.



де на уровне мотивно-лексическом: это «Шинель», «Медный всадник» и, очевидно, «Слабое сердце». Причем так же, как и с балладой, тут более оправданно говорить о мотивных, фабульных параллелях, не о подтекстах. Приведем примеры таких параллелей.

Для «маленького» немецкого цензора его работа является единственной ценностью, только в ней он видит смысл жизни (курсив здесь и далее в цитатах наш):

Он вымарывал, чиркал и резал

*И не ведал иного призванья.*

<...>

А работа? Работы до черта:

*Надо резать, и чиркать, и мазать.*

Перед ним были писем завалы,

Буквы, строчки – прямые, кривые.

<...>

Он читал чуть не круглые сутки,

*Забывая поестъ и побриться [БМ: 24–28].*

Это, конечно, напоминает о труженике пера и чернил Башмачкине<sup>5</sup>. Старательное исполнение цензором его обязанностей

---

<sup>5</sup> Ср.: «Вряд ли где можно было найти человека, который так *жил бы в своей должности*. Мало сказать: он служил ревностно, нет, он *служил с любовью*. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы *соразмерно его рвению давали ему награды*, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но *выслужил он*, как выражались остряки, его товарищи, *пряжку в петлицу, да нажил геморой в поясищу*. Впрочем нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состоя-

находит параллель как в истории гоголевского героя, так и в образе Васи Шумкова, героя «Слабого сердца» (Вася «ускорил перо» ради исполнения начальственного поручения, а потом, уже в помутненном рассудке, донес на самого себя<sup>6</sup>). К мотивам, вышедшим из «Шинели» Гоголя, стоит добавить холод и отсутствие у героя теплой одежды:

Было холодно ехать без шубы

<...>

То, что он называл «ностальгия»,

Было, в сущности, страхом и *стужей*

<...>

Он проснулся от страха и *стужи*...<sup>7</sup>

Бедность цензорского быта, замкнутый образ его жизни также указывают на родство героя и бедных чиновников из классических повестей о «маленьких людях»: «Три стены, а в четвертой окошко, / Стол и стул, и железная койка».

Подобно герою «Слабого сердца», цензор сходит с ума из-за слишком ревностного отношения к службе:

ло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. *Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало*» [Гоголь: 144–145].

<sup>6</sup> Здесь стоит заметить, что советским читателям самооговор и «разоружение перед партией» могли быть более памятливы по недавней истории, чем по повести Достоевского.

<sup>7</sup> В «Слабом сердце» дело тоже происходит зимой, см., напр., описание в финале: «Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от *замерзшего* снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглисто-го инея. Становился *мороз* в двадцать градусов. *Мерзлый* пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по *холодному* небу столпы дыма...» [Достоевский: 48].

И в его утомленном рассудке  
Что-то странное стало твориться.

<...>

Мысли длинные, словно обозы,  
Заезжали в углы мозговые,  
И извилины *слабого мозга*  
Сотрясались, как мостовые.

Цензора одолевают ночные кошмары, видения, в которых действительность претерпевает пугающие метаморфозы:

То, что днем он вымарывал, чиркал,  
*Приходило и мучило ночью*  
И каким-то *невиданным цирком*  
Перед ним представало воочью<sup>8</sup>.

С героем «Медного всадника» сближают немецкого цензора безумие и бунт против сведшего его с ума порядка вещей, а также посмертное забвение и безвестная могила:

Он стал груб, нелюдим и печален  
И с приятелями неприятен<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Ср. предсмертный бред Башмачкина: «Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье и приговаривает: виноват, ваше превосходительство; то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, от роду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом “ваше превосходительство”. Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели» [Гоголь: 168].

<sup>9</sup> Ср. состояние Аркадия Ивановича Нефедевича после болезни Васи: «Он сделался скучен и угрюм и потерял всю свою веселость» [Достоевский: 48].

Он был несколько дней гениален,  
А потом надорвался и спятил.  
Он проснулся от страха и стужи  
С диким чувством, подобным удушью.  
<...>  
И в душе его черная правда  
Утвердилась над белой ложью.

Протест цензора, как и бунт Евгения в «Медном всаднике» — краткий и обреченный:

А наутро он взялся ретиво  
За свое... нет, скорей — за иное:  
Он подчеркивал все, что правдиво,  
И вычеркивал все остальное.  
Бедный цензор, лишенный рассудка!  
Человечишка мелкий, как просо!  
На себя он донес *через сутки*  
И был взят в результате доноса...

Финальная строфа баллады — с частичным повтором начальных строк — суммирует историю «маленького человека», чья жизнь и смерть не оставили по себе следов:

Жил-был маленький цензор в Германии  
Невысокого чина и звания.  
Он погиб, и его закопали,  
А могилу его запахали.

Формула сказочного зачина, кажется, добавляет русскую ноту в балладу (причем «наивность», простота рассказа акцентирована парной глагольной рифмой).

Конечно, наши наблюдения над поэтикой самойловской «Баллады о немецком цензоре» фрагментарны и определяются задачей сравнения баллады с ее переводом. Но стоит сделать промежуточный вывод относительно общего авторского замысла: в «Ближних странах» немецкая тема облекается в жанровую форму с ясным германским ореолом, но с сильной русской традицией; а мотивные комплексы, отмеченные в разби-



раемой балладе, могут быть возведены к русским прозаическим источникам<sup>10</sup>.

Посмотрим, как с этим текстом обошелся переводчик Я. Кросс, известный поэт, автор исторических романов (в том числе и на русском материале).

В своем переводе он сохранил рифмовку, рифменную структуру (перекрестная рифмовка, за исключением последней строфы с парными рифмами) — при том, что собственные стихи Кросса обычно свободны от рифм (то есть, он стремился к сохранению особенностей переводимого стихотворения; Давид Самойлов так же переводил стихи Кросса — верлибром, как в оригинале). В последней паре строк сохранен даже лексический состав рифмы (глагольная пара).

Баллада стала короче (18 четверостиший против 21). В общем, при переводе с русского на эстонский любой текст несколько сокращается. Но Кросс переводит «Балладу о немецком цензоре» с некоторыми пропусками и заменами, которые, как нам представляется, смещают сюжет, меняют смысл.

Россия, куда был отправлен «маленький цензор», в переводе выглядит иначе. У Самойлова цензор глядел из вагонного окна «на снега, на поля, на погосты». У Кросса «silmitses vaguni aknast / maju, haudu ja teeviidaposte» («разглядывал из окна вагона / дома, могилы и дорожные столбы»). Из трех компонентов переводчик сохранил один, и то через метонимию (могилы вместо погостов). Перемена, возможно, обусловлена необходимостью сохранить барбаризм «нах Остен», находящийся в сильном месте второй строки и ударный в смысловом

<sup>10</sup> Вообще в «Ближних странах» интересно отметить постоянную связь немецкой темы с литературой («годы странствий и годы ученья» для героя проходят именно на войне; потсдамский жених «фройляйн Инге» — букинист; Инге показывает кавалерам альбомы с записями; в «Балладе о немецком цензоре» герой полностью сосредоточен на письмах, которые читает по долгу службы, и в конце концов сходит с ума от «текста» («Текст слагался из черных мозаик...»), перед смертью записывает все в «небольшую тетрадку» — «с талантом», то есть становится писателем.

отношении. Поэтому *пogосты* заменились совершенно не эквивалентным в смысловом отношении, но очень созвучным (рифмующимся с ним) словом *teeviidaposte*.

В исходном тексте цензор едет «мимо сел, где ни дома, ни люда» — в переводе это все исчезает, переводчик сосредоточен на самом герое: “Rebis endasse pakane öö ta. / Nagu jäätava tuule käes kõrbes” («Морозная ночь втягивала его в себя. / Как будто он горел на ледящем ветру»). Но при этом из строфы исчезла «шуба», без которой «было холодно» самоейловскому цензору. У Самойлова мороз и мерзнувший без теплой одежды «маленький» герой (сочетающиеся мотивы) отсылали к нескольким ключевым литературным текстам (здесь не так важно, что они были «петербургскими», важнее то, что повествовали о «маленьком человеке»). В переводе же отсылка (через отсутствующую у героя шубу — к «Шинели») исчезает.

Кросс усиливает в своей балладе темноту: цензор у Самойлова был отправлен в Россию «в зимний день 43-го года» — переводчик убирает день, оставляя «третью военную зиму»; затем неопределенное время суток становится «морозной ночью». В исходном тексте день сменялся ночью, что было не «реалистической деталью», а вполне символическим сюжетным ходом: смена дня и ночи связана с цветовыми мотивами, ложь в балладе «белая», а правда «черная», и именно ночью «черная правда утвердилась над белой ложью» в душе героя. Кросс, обобщив время начала действия, изменил сюжет и выделил один элемент оппозиции, ночь. Вместо «обгорелых» трубы становятся в переводе «черными» (из комплекса признаков остается один — цвет). Наконец, Кросс вводит строку, которой нет соответствия: “ei siin soendanud ainuski tuli” («там не теплилось ни единого огня»).

В переводе Россия не «показалась степью, Азией» — она является «скифской», бесприютной (“*Oli Venemaa kõle ja sküütlik*”, дословно «Была Россия промозглой / бесприютной / пустынной и скифской»). Бесприютность как характеристика России появляется еще раз, в прямой речи цензора (которой у Самойлова не было, была лишь косвенная):

Cp.:

Прежде всего бросается в глаза исчезновение замыкающей вторую строфу фразы. Отказ довольно значим, у Самойлова конструкция представлена дважды: «То, что он называл “ностальгия” / Было, в сущности, страхом и стужей» и «То, что он называл “неарийским”, / Было, в сущности, стужей и страхом». На этом повторе строятся образы цензора и страны, ставшей его последним пристанищем. Россия в самойловской балладе объята холодом, стужа и страх — это все, что способен чувствовать маленький человек, для которого за сложными словами скрыты самые простые явления, простейшие ощущения (то есть, сложные слова — ложь). В переводе мало того, что отменен повтор — и, соответственно, вся смысловая



конструкция. Сама формула поменяла «авторство»: у Самойлова «то, что он <цензор> называл», в пер.: “*mida kodus nostalgiaks hüüti*” — «то, что дома называли ностальгией». Личная конструкция замещена безличной, и поэтому самый смысл меняется (у Самойлова ностальгия настигала цензора за пределами «домашнего пространства», а в переводе ностальгию поминают именно «дома»).

Так же существенно, что из перевода исчезает понятие «неарийское» — еще один маркер военной, германской темы. Разумеется, барбаризм «*нах Остен*» достаточно силен, чтобы однозначно определять время и место действия, но сокращение тематических маркеров (особенно столь идеологически нагруженных) обличает замысел переводчика. Кросс, очевидно, стремился расширить ассоциативное поле, чтобы эстонский читатель увидел в тексте не только немецкую цензуру, но и советскую тоже. В приведенном фрагменте перевода опущено сопоставление живых и мертвых авторов писем (что дополнительно ослабляет, по нашему мнению, военную тему), введена фраза о неосторожной ошибке. Кросс отказывается от перечислений (у Самойлова: «письма, посланья, записки»; «писем завалы, / Буквы, строчки — прямые, кривые») — то есть от акцентирования мотивов письма, графики, тех мотивов, которые у русского читателя «Баллады...» могли вызывать ассоциации с литературными предшественниками цензора.

Еще один пропуск в переводе относится к эпизоду ночных кошмаров героя. Яан Кросс снова контаминировал две строфы, сделав из них одну — без «Востока», без песенно-балладных повторов и без имитации прямой речи:

Черной тушью убитые строки  
Постепенно слагались в тирады:  
«На Востоке, Востоке, Востоке  
Нам не будет, не будет

пощады...»

Mustiks mustriteks liitusid read ja  
Rida hõljudes libises reale.  
Geniaalseingi sõnadeseadja  
Poleks eal tulnud taolise peale!

Текст слагался из черных мозаик,  
Слово цепко хваталось за слово.  
Никакой гениальный прозаик  
Не сумел бы придумать такого.

(Строки соединялись в черные  
узоры и  
Строка, колеблясь, наезжала  
на строку.



Гениальнейшему писателю  
Такого не пришло бы в голову!)

Здесь важно отметить пропуск при переводе всей «тирады» — еще одного маркера времени и места («Восток» здесь — перевод значимого слова из ранее приведенного “*nach Osten*”, то есть эквивалент этого маркера). Эпитет *убитые* при слове «строки» у Самойлова работал на магистральную (для самой баллады и для поэмы в целом) военную тему — выпустив его, переводчик отказался от сюжетной параллели «убитые солдаты — убитые строки их писем» и вообще ослабил военную тему. Взамен он резко усилил фонетическую напряженность внутри строфы — чтобы компенсировать пропуск строк, наполненных повторами (*mustiks mustriteks, liitusid + libises, read + reale + peale + eal* и т.д.).

Появляется игра слов, которой нет в оригинале — *mustiks mustriteks*. На игре Кросса с цветом в этом переводном стихотворении стоит еще остановиться. Если у Самойлова главным признаком России является холод (стужа), то переводчик выделяет именно темноту, черноту; ее акцентирует игра слов. Таким образом Кросс усиливает, подкрепляет кульминационный эпизод баллады:

Он проснулся от страха и *стужи*  
С диким чувством, подобным  
удушью.

Тьма была непрогляднее *туши*,  
Окна были заляпаны *тушью*.

Он вдруг понял, что жизнь не бравада  
И что существование ничтожно.  
И в душе его *черная правда*  
Утвердилась над *белой ложью*.

Õösel ärkas ta, liikmetes lõdin:  
oli, justkui ta uppuma hakkaks.  
Õö, must nagu nõgine jõgi,  
oli tušiga määrinud akna.

Ja ta korraga mõistis, kui nõder  
ta on, ja ta elu kui hale.  
Ja ta südames õõtume tõde  
surus kõrvale valeva vale.

Опять была исключена *стужа*, но усилены мотивы темноты через введение образа *ночи*, *черной как законченная река* (отметим фонетическую игру “*nagu nõgine jõgi*”). Это отклонение от оригинала (при том, что Кросс все-таки стремится к точности), по нашему предположению, обусловлено поэтической находкой переводчика.

Довольно нетрадиционное использование цветowych эпитетов у Самойлова имеет фабульную мотивировку. Черной тушью цензор зачеркивал «правду» в письмах — поэтому *черная* здесь правда, а не ложь, что было более привычно для литературного словоупотребления (ср. хотя бы у А. С. Хомякова в «России»: «В судах черна неправдой черной...»); или в «Была пора: своих сынов...» А. Н. Плещеева: «Со злом и тьмой, с неправдой черной Она зовет теперь на бой...»). Кросс находит эпитет, который фонетически максимально близок эстонскому слову «ложь» (*vale*) — *valev*. Значение его — «белый, светлый, искрящийся или блестяще-белый» (снег, напр.). Чтобы подчеркнуть это звуковое подобие, переводчик делает «правду» не просто «черной», а «темной как ночь» (дословный перевод: «ночь, черная, как покрытая копотью / сажей река»). То есть образ, который был у Самойлова смысловой кульминацией, при переводе усилен еще и фонетической эмфазой, ради подготовки к которой подверглись изменению и другие фрагменты текста. При этом переводчик отказался от тех ассоциаций, которые возникали у русского читателя — потому что литературные отсылки читателем-эстонцем вычитывались бы плохо (таким образом, снижается значение читательского опыта, культурного контекста, они не так существенны для понимания перевода). Выше мы уже отметили ослабление мотива холода, «исчезнувшую» в переводе шубу. Взамен появились новые акценты, понятные вне «русского» культурного контекста, точнее — понятные в *другом* контексте (читателям, не погруженным в русскую культуру, но знакомым с советской действительностью).

Приведем еще одно наблюдение. Хотя Кросс не перевел фрагмента с перечислениями (писем, строк, букв) — как бы сняв гоголевско-достоевские ассоциации с занятий героя, но в финал он построил живописный образ, который выводил на первый план тему письма как судьбы. У Самойлова цензор гибнет, и итог его пути подводится с подчеркнутой наивной простотой:

Жил-был маленький цензор в Германии  
Невысокого чина и звания.

Он погиб, и его закопали.  
А могилу его запахали.

Цензор в переводе тоже подчеркнуто мал и маломочен:

Elas väikene tsensor kord Saksas,  
Väike tsensor, kes tegi, mis jaksas.  
Ja ta hukkus ja hauda ta aeti.  
Pärast haud künnivagudest kaeti...

(Жил маленький цензор однажды в Германии,  
Маленький цензор, который делал, что мог.  
И он погиб, и его погребли.  
Потом могилу запахали.)

Могилу цензора здесь не просто «запахали», а буквально «покрыли плужными бороздами» — черной распаханной землей, бороздами-линиями. То есть герой повторил судьбу тех строк из писем, которые он покрывал черной тушью. Этой параллели у Самойлова нет.

Подведем краткие итоги. Вставная баллада Самойлова вошла в поэму «Ближние страны» не сразу. Она появилась, как нам представляется, в результате вписывания военного сюжета в литературную традицию. Возвращение героя с войны актуализировало жанр баллады, которая в русском культурном сознании середины XX в. восходила прежде всего к «страшной немецкой балладе», акклиматизированной на русской почве Жуковским. Но эти корни жанра уже довольно слабо осознавались. История маленького цензора в балладе, ему посвященной, строилась с опорой на мотивы классической русской литературы — что делало «немецкое» происхождение героя вторичным, факультативным его признаком и позволяло современникам прочитывать стихотворение Самойлова как аллюзионное, имеющее сатирический подтекст, направленный против не немецкой, а советской цензуры.

Переводчик баллады Яан Кросс очевидно воспользовался потенциалом такого прочтения. Извлекая балладу из состава поэтического целого (поэмы «Ближние страны»), можно было пренебречь литературными ассоциациями, к тому же вряд ли

воспроизводимыми при переводе (если же их и можно было воспроизвести, они могли «не сработать», не быть восприняты читателем как актуальные). Однако при этом Кросс «дописал» сюжет самой баллады, развил потенциал содержащихся в оригинале мотивов — и тем самым компенсировал смысловые потери. «Баллада о немецком цензоре» в переводе приобрела более четкий аллюзионный оттенок, что, видимо, соответствовало интенции автора, Давида Самойлова.

#### ЛИТЕРАТУРА

- БМ: Давид Самойлов. Бездонные мгновенья / Jaan Kross. Põhjatud silmapilgud. Tallinn, 1990.
- Гоголь: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 3: Повести. [М.; Л.], 1938.
- Достоевский: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 2: Повести и рассказы 1848–1859. Л., 1972.
- Немзер: *Немзер А. С.* Поэмы Давида Самойлова [послесловие] // Самойлов Давид. Поэмы. М., 2005.
- Поэмы: *Самойлов Давид.* Поэмы. М., 2005.
- Строфы века: Строфы века: Антология / Сост. Е. Евтушенко. М.; Минск, 1995.



## ДВА «МОСКОВСКИХ» СТИХОТВОРЕНИЯ ДАВИДА САМОЙЛОВА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР

Давид Самойлов родился в Москве, здесь прошли его детство, отрочество и начало юности (до эвакуации в октябре 1941 г.), сюда он вернулся с войны (1946), в столице и подмосковной Опалихе жил до переезда в Пярну (1976), а обосновавшись в Эстонии, часто (несколько раз за год) наезжал в родной город, чувство глубокой приязни к которому оставалось неизменным на всех стадиях жизненного пути поэта. Интимное отношение к городу (обусловившее «московскую» окраску автобиографической лирики — стихов о детстве, пробуждении поэтического чувства, первой любви, предощущении «будущих трагедий», сгинувшем поколении потенциальных новых декабристов, утрате довоенного «рая» и невозможности его обретения<sup>1</sup>) у Самойлова нерасторжимо связано с его историко-софской государственнической концепцией, в которой столица великой державы выступает как ее метонимия. Впервые такая трактовка Москвы обнаруживается в «Софье Палеолог» (1941), единственном довоенном стихотворении, которое поэт включил в свою первую книгу «Ближние страны» (1958): «И где пределы торжеству, / Когда добытую жар-птицу — / Везли заморскую царицу / В первопрестольную Москву <...> И был уже неоспорим / Закон меча в делах условных... / Полу-

---

<sup>1</sup> Ср.: «Когда я умру, перестану...» (сер. 1950-х), «Из детства» (1956), «Двор» (1961), «Выезд» (1966), «Двор моего детства» (1966), «Пустырь» (1968), «Памяти юноши» (1979), «Был ли счастлив я в любви...» (1979), «Ревность» (1980) [Самойлов 2006]. Об «Из детства» (и предвещающем его «Когда я умру, перестану...») см.: [Немзер 2006а], о «Выезде» — [Рассадин: 612], о «Памяти юноши» — [Немзер 2006б: 30]. Ср. также мемуарные очерки поэта о довоенной поре [Самойлов 2000: 16–108].

улыбкой губ бескровных / Она встречала Третий Рим» [Самойлов 2006: 60].

Двоящееся чувство к столице (влюбленная верность идеальному «Третьему Риму» при осознании его измены себе и морального падения) окрашивает «Прощание» (1944; написано после краткого пребывания в Москве, где Самойлов, проходивший после ранения службу в тыловых частях, добивался отправки на фронт): «Я вновь покинул Третий Рим <...> Здесь так живут, презрев терновники / Железных войн и революций, — / Уже мужья, уже чиновники, / Уже льстецы и честолюбцы. // А те друзья мои далече, / Узнали тяжесть злой стези / На крепкие прямые плечи / Судьбу России погрузив. // Прощай мой Рим! Гудок кричит, / Вправляя даль в железную оправу. / А мы еще придем, чтоб получить / Положенное нам по праву!» [Там же: 428–429].

Намеченное здесь противопоставление Москвы и нестолличной (в данном случае — несущей тяготы войны) России в дальнейшем не получает развития. Единство страны (и в конечном счете — человечества) для Самойлова обусловлено существованием центрирующего великого города: «Был первый Рим, второй и третий, / И все они в пыли простерты, / И на крутом краю столетий / Уже качается четвертый. // Но лунный рог взойдет над веком / И близнецы, под стать волчатам, / Насытятся материнским млеком, / Мечтать начнут о Риме пятом <...> Пойдут <...> Поняв, что единеньем слабых / Побьют разъединенье сильных. // И стенами им станут кущи, / И кровлей придорожный явор. / Но Рим построят, потому что / Без Рима торжествует варвар <...> А впереди их — путь пустынный. / Но на устах — язык вселенский» («Рем и Ромул», 1969). Отсутствовавшие в прижизненных (подцензурных) публикациях строки о «качающемся» четвертом Риме свидетельствуют о владевшем поэтом ожидании распада (гибели) премника «третьего Рима» — СССР.

Чаяния Самойлова, однако, связаны не с областнической вольностью (новой Смутой или пугачевщиной) или сепаратизмом, но со вселенской империей, становление которой должно произойти без привычно повторяющегося братоубийства.

И в заглавии, и в тексте («Какие-нибудь Рем и Ромул») имя жертвы предшествует имени его брата, убийцы-градоизжидателя; возникший в 6-й строфе мотив «единенья слабых» вновь звучит в коде: «И лягут, и смежив ресницы, / Заснут, счастливые, как боги, / И сон *один* двоим приснится / На *середине их дороги*» [Самойлов 2006: 177–178]. Выделенные мной курсивом слова указывают на отличие самоейловского сюжета от исходного мифа: общие у близнецов не только сон (видимо, о прекрасном будущем), но и дорога, по которой Рему и Ромулу и дальше суждено идти вместе. Не касаясь здесь подробно как сюжета «пугачевского»<sup>2</sup>, так и попыток апологии сложившейся империи<sup>3</sup>, укажу на одно из последних стихотворений Самойлова о «Третьем Риме» и его гадательном будущем: «От византийской мощи / Остался только прах / Или святые мощи / В глуши, в монастырях. // О мощи византийской / Остался только слух, / А на земле российской / Ее державный дух. // Пусть наша завируха / Безумствует, чтоб впредь / Российской мощью духа / Дух мощи одолеть» [Там же: 412–413].

В скрытом единоборстве трагически взаимосвязанных «духа мощи» и «мощи духа» (осознание этой коллизии давалось

---

<sup>2</sup> Поэт с ужасом размышлял о бунтах, вырастающих из ненависти и зависти к «сытому» и «извратившемуся» имперскому центру, результатом которых становится либо катастрофа, либо торжество деспотии. Современная трагифарсовая версия этой «вечной» истории развернута в поэме «Канделябры» (1978). С ней тесно связан оставшийся неовплощенным замысел фантастической поэмы о Пугачеве, взявшем Москву. Об этой идее Самойлов сообщал Л. К. Чуковской в письме от 1 августа 1978 [Самойлов – Чуковская: 91]; ср. также дневниковые записи от 12 и 15 августа 1978 и план намеченных работ, зафиксированный 9 января 1982 [Самойлов 2002: II, 114, 166].

<sup>3</sup> Наиболее выразительный пример — посвященное литовскому поэту Альфонасу Малдонису стихотворение «Люблю тебя, Литва! Старинная вражда...» (1984): «Литва молись за нас! Я за тебя молюсь. / Мы вдруг соединим Царьград с великим Римом. / И слезы потекут из глаз / Разъедены отчизны общим дымом» [Самойлов 2006: 329].



поэту медленно и трудно) родной город (точнее его идеальный и идеализированный довоенный образ, изменившийся с ходом времени в реальности, но сохраненный памятью и обретший инобытие в поэтическом слове) предстает одним из воплощений духовного начала. Не случайно в итоговой поэме «Возвращение» (1988), где Самойлов воскрешает едва ли не все свои ключевые темы, сюжеты, символические мотивы, герой (alter ego автора) переживает *единый* «приступ ностальгии / По цельности, и по России, / И по Москве эпохи детства», по городу, о котором сперва говорится: «Москва была тогда Москвою» (опущено подразумеваемое ‘а не населенным потерявшими себя людьми равнодушным мегаполисом’), а затем — «Москва, которую размыла / Река Железная дорога» [Самойлов 2005: 173–174].

Отождествление былой Москвы с Россией и «цельностью» (тоже утраченными и страстно взыскуемыми) объясняет, почему последняя подготовленная поэтом книга соименна его «самой московской» поэме — «Снегопад»<sup>4</sup> — и снабжена подзаголовком «Московские стихи», хотя далеко не все вошедшие в нее опусы прямо посвящены российской столице. Внешне Самойлов таким образом благодарно подыгрывал столичному (не «союзного» или «республиканского» подчинения) издательству «Московский рабочий», предложившему выпустить «избранное», по сути же, утверждал (словно перифразируя Блока): *У меня все о Москве*.

Действительно, «московская тема» у Самойлова, во-первых, полисемантична (что, как правило, предполагает со- и противоположения ее разных смысловых и/или мотивных ком-

---

<sup>4</sup> «Ближние страны» завершаются прибытием солдат-победителей в Москву. Рассказанная в «Юлии Кломпусе» московская история подсвечена и осложнена рядом петербургских мотивов, как движущих сюжет (роковая страсть обрушивается на героя в вагоне «Красной стрелы»), так и символических (противопоставление поэтических традиций двух столиц, ироническая проекция несостоявшейся смерти Кломпуса на кончину Пушкина); подробнее см.: [Немзер 2005: 450–456].



понентов), а во-вторых, поливалентна, то есть может органично сочетаться (иногда присутствуя в тексте скрыто) с иными сквозными самоейловскими темами — историософской (судьба России, с отроческих лет рассматриваемая поэтом во вселенском масштабе), темой русской поэзии (ее назначения и устройства, рождения, бытия в современности и возможного конца), интимно личной, в конечном счете завязанной на вопросе о (не)возможности собственного существования (в ипостасях поэта, гражданина и частного человека)<sup>5</sup>. Существенно, нако-

---

<sup>5</sup> Следует отметить, что здесь Самойлов решительно расходится с магистральной — петербургской — линией новой русской словесности. Петербургский миф в его поэтическом мире отсутствует. Кажется, единственное исключение — отголосок «Медного всадника» в восьмистишие поэта-солдата о вражеской столице (1945), где картина потерпевшей поражение империи наводит на пугающую мысль (в духе «Торжества победителей» Шиллера) о возможности сходной катастрофы в империи своей: «Берлин в просвете стен без стекол / Опять преследует меня / Осколом сползшего на цоколь, / Как труп, зеленого коня. // Продукты смертным сквозняком / Кривые пальцы мертвых сучьев. / Над чем смеешься, страшный конь, / По уши тучи нахлобучив» [Самойлов 2006: 63.] Позднее бывшая российская столица вызывает у Самойлова либо этикетное (туристическое) восхищение («И все дворцы, ограды, зданья, / И эти львы, и этот конь / Видны, как бы для любованья / Поставленные на ладонь» — «Над Невой», 1961 [Там же: 107]), либо иронию: в «Юлии Кломпусе» оценочная антитеза двух поэтических школ подразумевает соответствующее отношение к граду Петра («Поэты с берегов Невы! / В вас больше собранности точной. А мы пестрей, а мы “восточней” / И беспорядочней, чем вы. / Да! Ваши звучные труды / Стройны, как строгие сады / И царскосельские аллеи. / Но мы, пожалуй, веселее...» [Самойлов 2005: 160]. Показательно, что при глубоком интересе к русскому XVIII веку Самойлов избирает сюжеты, связанные не со славными днями Петра или триумфами екатерининской эпохи, но с последовавшими за кончиной первого императора разнообразными нестроениями (драматическая поэма «Сухое пламя», 1959–1963; «Конец Пугачева», 1965; «Сон о Ганнибале», 1977; «Смотрины», 1986). Не менее показательно,

нец, что «московская тема» равно важна как для той части самойловской поэзии, что рассчитана на читателя (более или менее широкую аудиторию), так и для потаенной, создающейся для себя и очень узкого круга (зачастую сводящегося к единственному адресату — жене поэта)<sup>6</sup>. Все эти «правила» точно работают в двух — вопреки внешней простоте и игровой «спонтанности» — многоплановых и чрезвычайно весомых лирических миниатюрах.

Первая — «Я учился языку у нянек...» (1976) — была опубликована, учитывая тогдашние издательско-типографские темпы (от передачи текста в журнал до его появления проходило примерно полгода), очень быстро («Дружба народов», 1977, № 5) и включена в ближайшую книгу Самойлова — «Весть» (М., 1978), что в данном случае указывает на «программный» характер текста. Обратив внимание на тревожный ночной колорит и мотив ностальгии по родному языку, внимательный читатель мог соотнести восьмистишье с другими вошедшими в «Весть» лирическими пьесами, написанными вскоре по переезде в Пярну («Не увижу уже Красногорских лесов...», «И вот однажды ночью...», «Рассвет в Пярну»), где прежняя счастливая сказочно-каникулярная Эстония обретала черты страны смутных сновидений, блаженно-безнадежного покоя, выступала неточным, но подобием обители смерти (подробнее: [Немзер 2010]). Самойлов, однако, не был склонен резко акцентировать свой новый — эстонский — контекст. Показательно, что в «Весть» не вошел ряд стихотворений 1976–77 гг., развивающих тему обреченности заливу: из будущих шестнадцати «Пярнуских элегий» сюда попали толь-

---

что строки «Стихов и прозы» (программного «слова» о существовании и истории русской словесности) «Был петербургский, был граненый стих, / Где страсть и гнев, и звон, и вой метелей. / Кипел в строках, до края налитых, / И был загублен в дыме двух дуэлей» остались в черновике [Самойлов 2006: 600].

<sup>6</sup> О двусоставности поэтической системы зрелого Самойлова и проблеме преодоления границы, разделяющей «поэзию для себя» и «поэзию для публики», см.: [Немзер 2006в].

ко три, полностью трагический цикл будет представлен лишь в «Заливе» (1981); там же, правда, после публикации в «Московском комсомольце» (1978, № 224, 29 сентября), появилось и давнее название этому сборнику стихотворение о свершенном выборе — написанное еще в 1977 г.

Инициальное местоимение первого лица предлагает читать текст в автобиографическом ключе. Действительно, первое четверостишие напоминает фрагмент написанного ранее (еще в Опалихе) мемуарного очерка «Квартира»:

Поставщики раскладывают свой товар в передней и входят в кухню <...> Приходит Настя, откуда-то с неведомого болота принося битую дичь. Фруктовщик <этот персонаж возникал в черновике стихотворения, дабы в окончательной редакции уступить свое место «зеленщику». — А. Н.> <...> носит на голове огромный лоток с овощами и фруктами <...> Стучится булочник <...> Через день приходит молочница, принося особый запах молока с холстом <...> Сметанница осторожно разворачивает суровое полотно, где завернут белейший творог, и деревянной ложкой наливает из бидончика сметану. Но масло покупают уже у другой женщины, то ли дешевле, то ли лучше [Самойлов 2000: 40].

Ср.: «Я учился языку у няnek, / У молочниц, у зеленщика, / У купчихи, приносившей пряник / Из арбатского особняка» [Самойлов 2006: 236]. В отличие от нас, первые читатели восьмистишья не знали остававшихся в столе самойловских мемуаров (опубликованы посмертно), а потому автобиографический код ощущался ими ослабленно, что соответствовало цели поэта. В стихах вовсе нет столь важной для мемуаров «вещности» (цвета, вкусы, запахи), главной здесь становится *речь* московских торговцев, специально в «Квартире» не отмеченная. При этом в очерке присутствуют лингвистические мотивы, но связаны они отнюдь не с русским языком.

Дед, по моим позднейшим наблюдениям, в бога верует, но не очень <...> А молитвы нравятся ему по содержанию и еще потому, что он знает к ним комментарии и толкования, и потому, что хорошо выучил древнееврейский. И потому, что можно громко попеть, ибо все у деда давно в полном порядке.



Он великолепно знает французский, английский, немецкий, древнееврейский. И еще итальянский, арамейский и немного испанский. И, помолившись, читает грамматики и словари, вероятно, с таким же чувством, с каким молится — получая удовольствие от знания.

Знания же ему нужны для самоуважения и для того, чтобы передавать их другим и получать за это деньги [Самойлов 2000: 33].

Язык (всякий, кроме русского, обучаться и обучать которому дед не может) сакрален (чтение словарей равно молитвам, в обоих случаях необходимо тайное знание, требующее серьезных усилий), но сакральность эта просвечена авторской иронией. Будущий поэт интересуется деда исключительно как объект обучения чужим языкам<sup>7</sup> — русский (язык поэзии) усваивается от людей сторонних (не родственников, не евреев, не интеллигентов), но этого сюжета в прозаических мемуарах нет. Как нет там появившейся в стихах арбатской купчихи. В нее превратилась ученица деда «сорокалетней давности» мадам Горфинкель: дед регулярно наносил визиты этой даме, квартировавшей на Остоженке (улице, находящейся в той же части города, что и Арбат, но еще дальше отстоящей от Александровской, откуда дед пешком ходил в гости), и «всегда возвращался <...> с кульком гостинцев» [Там же: 34]<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Сорвавшаяся попытка приобщить ребенка к древнееврейскому дурно отзовется через несколько лет, когда приглашенный дедом незадачливый наставник мосье Грабарский встретится с выросшим мальчиком в качестве школьного учителя немецкого: «Мы узнали друг друга. Но делали вид, что познакомились впервые <...> Я скрыл от класса, что Грабарский — “мосье” или “ребё”». А он никогда не вызывал меня к доске» [Самойлов 2000: 34]. «Некоторая симпатия» к внуку у деда возникла, когда мальчик начал учить французский.

<sup>8</sup> Другой источник этого образа — видимо, некрасовский «Школьник», значимая реминисценция которого возникает в написанном об эту же пору «эстонском» стихотворении: «И снова все светло и бренно — / Вода, и небо, и песок» [Самойлов 2006: 236]. Не лишне напомнить о специфических отношениях Самойлова со словом «купец», немецкий аналог которого (Кауфман) был полу-



Столь же резкую метаморфозу претерпевает вся мемуарная зарисовка: родной язык заменяет иностранные, появляются отсутствующие в «Квартире» (и других воспоминаниях о детстве) «няньки», соседство которых с мотивом освоения языка рождает обязательную у русского читателя пушкинскую ассоциацию. Самойлову, однако, было важно напомнить не столько об Арине Родионовне, сколько о пушкинской лингвистической заметке:

Разговор простого народа <...> достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским прозвирям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком.

Московский выговор чрезвычайно изнежен и прихотлив. Звучные буквы *ц* и *ч* перед другими согласными в нем изменчивы. Мы даже говорим *женщины*, *нослег* [Пушкин: 122].

Самойлов учился у няnek и прочих московских простолюдинов тому же языку, что некогда был освоен Пушкиным и стал пушкинским. Фоника этого языка господствует в первой строфе с ударными «а» в обеих рифмопарах и четвертой строке (думается, потому особняк и стал «арбатским»). Самойлов, вообще уделявший игре гласными (менее приметной, чем правящие торжество в модернистской поэзии аллитерации) пристальное внимание, испытывал к звуку «а» особые чувства: это был опорный звук сакрального в его поэтическом мире

---

ченной им при рождении фамилий. Отвечая на вопросы о появлении псевдонима (который для *Давида Самуиловича* ни в коей мере не мог служить защитной — скрывающей еврейство — маской), Самойлов обычно говорил, что поэту не подходит прозвище «купец». О русском варианте своей природной фамилии Самойлов напомнил в «Памфлете» (1988): «Публицист Сыгоняев, / Критикесса Слепцова / Написали памфлет / Про поэта Купцова. // Дескать, можно и нужно / По многим резонам / Стихотворца сего / Считать фармазоном...» [Самойлов 2006: 408]. Посвящение «Памфлета» Булату Окуджаве (тоже изрядно поносившемуся прототипами Сыгоняева и Слепцовой) и строки «А Купцов в это время / Играл на гитаре» не отменяют тождественности героя и автора «Памфлета».

имени *Анна* и характерный (распознаваемый) звук московской речи<sup>9</sup>. Двенадцатью годами позже, в упоминавшейся выше поэме «Возвращение», поэт, разворачивая апологию идеальной (исчезнувшей) Москвы, напишет: «Еще полно было московской / Роскошной акающей речи» [Самойлов 2005: 173], что — как и все отступление о довоенной Москве — несомненно должно читаться без редукции «а» в начальных и первых предударных слогах, например: \*...*нАлно было мАсковской / рАскошной АкАющей речи*... Важен как звук, так и соответствующая ему буква: на воссоздание ушедшей Москвы работает и анафорический (повторен десять раз) союз «а» (здесь не противительный, а соединительный, кроме того, несущий функцию усилительной частицы). Появляющаяся в «Возвращении» рифмовка («Не по большой и суматошной, / А по Садово-Самотешной» [Там же]) указывает, что «московская окраска» распространяется не только на вокализм, но и на консонантизм (ср. соображения Пушкина), уверенно можно предположить, что в нашем восьмистишье должно читать: «у мо-*Ш*ниц» и «у зелен*Ш*ика».

Звуковой — «московский» и «пушкинский» — облик первой строфы контрастирует с ее метром: пятистопный хорей Пушкиным не употреблялся вовсе, а был канонизирован, как показано в классической работе К. Ф. Тарановского, в русской поэзии после лермонтовского «Выхожу один я на дорогу...» [Тарановский: 378, 380–403]. Таким образом светлые воспоминания (детство, приобщение к родному языку, подразумеваемое начало поэзии) втягиваются в ночное пространство (столь значимое для синхронно писавшихся «эстонских» стихов). Лермонтовский размер заставляет вспомнить об усталости, отказе от истомившего прошлого, безнадёжности, чаянии двусмысленной освобождающей гармонии (бытие между жизнью и смертью), но и (благодаря инициальному «Выхо-

<sup>9</sup> Об игре со звуком «а» и именем «Анна» в стихотворении «Названья зим», положившем начало строительству самойловского «мифа об Анне» см.: [Немзер 2006б: 40–46], об авторской рефлексии над «аканьем» см.: [Немзер 2011].

жу», оказавшему мощное воздействие на формирование семантического ореола метра) о движении сквозь неизвестность, возможном обретении нового пути<sup>10</sup>.

Отсюда сложный характер второй строфы, где вновь (но далеко не так наглядно, как в первом четверостишье) цитируется Пушкин. Эпитеты «ночная» и «бессонная» отсылают к заглавию «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы», а связывающий два четверостишия глагол (сменив прошедшее время на инфинитив — «учиться» у тоски поэту предстоит и сейчас, и в будущем, в равной мере противопоставленным прошлому) — к одной из его концовок. Самойлов варьирует едва ли не самое «темное» (во всех смыслах) стихотворение Пушкина, что было написано пороговой болдинской осенью и не попало в печать при жизни поэта (впрочем, обдумывавшего такую возможность). Балансирующие на грани эксперимента и исповеди «Стихи...», генетически связанные с не слишком близкой Пушкину традицией (европейское барокко, немецкий преромантизм и романтизм, их русские отражения), словно помимо авторской воли, оказались важной составляющей русского поэтического «ночного» текста, в котором сложно сплетаются мотивы бессонницы (иногда неотличимой от сна), страха, вины, соприкосновения с иным миром, смерти (или ее ожидания).

Для Самойлова в ряду «ночных поэтов» важен, в первую очередь, Тютчев. Не развивая здесь чрезвычайно многомерной темы «Тютчев в поэтическом мире Самойлова», обращу внимание на два факта. Во-первых, к числу самых мрачных стихотворений Самойлова относится «Старый Тютчев», текст

---

<sup>10</sup> Пятистопным хореем написана поэма «Блудный сын», начинающаяся («По пустому темному проселку / Шел солдат из города домой...») и завершающаяся («И пошел солдат к одноколейке — / Восемь верст не страшно налегке») мотивом пути, реального и метафизического [Самойлов 2005: 59, 63]. Вне зависимости от того, знал ли Самойлов в пору работы над поэмой (1966–1973) статью Тарановского (первая публикация — 1963), ясно, что семантика и традиция размера им учитывались.



бесспорно и эзотеричный, и интимно личный (подразумевающий проекцию героя на автора), но заголовком своим читателя не обманывающий. Во-вторых, эпиграфом к «Возвращению» Самойлов ставит тютчевскую строфу с оборванной кодой: «И бездна нам обнажена / С своими страхами и мглами, / И нет преград меж ней и нами...» [Самойлов 2005: 168]. Однако в «Я учился языку у нянек...» поэт предпочел не сталкивать свое «пушкинское прошлое» с «тютчевским (лермонтовским, символистским) настоящим», но представить это самое настоящее (и будущее) отсылкой к наиболее «тютчевскому» из пушкинских сочинений и — в то же время — наиболее «светлому и ясному» из ночных стихов<sup>11</sup>.

Пушкин сумел не испугаться ночи и не раствориться в ней. Его примеру и должно следовать, памятуя о том даре, что был получен в московском детстве. Самойлов выбирает для цитирования отвергаемый большинством текстологов вариант концовки «Стихов...» («Темный твой язык учу», восходящий к посмертной публикации Жуковского, а не «Смысла я в тебе ищу»), в первую очередь, для того, чтобы представить освоение двух языков — родного и «ночного» — как единый духовный процесс. Но, кажется, важна для него и московская фонетика варианта, который нередко трактовался как «темный» и «романтический»: рифма «хочу» – «ищу» (\*исчу) возможна лишь при петербургском выговоре.

Воспитавшая поэта (как некогда — Пушкина) Москва сильно изменилась (порой кажется — исчезла вовсе), но сохранилась в поэтической речи, даже если ее объектом становится наступающий со всех сторон мрак (о «темном» говорится «ясно»).

Парадоксальным образом Москва присутствует не только в первой, но и в отрицающей ее второй строфе. За два года до

---

<sup>11</sup> Пушкинскую формулу «темно и вяло» Самойлов использует как исчерпывающую характеристику любого несостоятельного поэтического феномена. Соответственно ее «обращенный» вариант («светло и ясно») указывает на поэзию истинную.



«Я учился языку у няnek...» с рифмой «учиться – птица»<sup>12</sup> было написано стихотворение «Город ночью прост и вечен...» с рифмой «птица – столица», простота (грамматичность) которой (ср. изысканный аграмматизм позднейшей рифмопары) любопытно смотрится в нарочито авангардном контексте: «Спит столица, / В снег укрывшись головой, / Окольцована, как птица, / Автострадой кольцевой» [Самойлов 2006: 221]. Чуткий критик не зря углядел в этих строках сходство с Вознесенским [Чупринин: 80], но важна Самойлову не зримая новизна Москвы (она акцентирована трижды — кроме процитированной концовки, значимы строки «Светит трепетный неон» и «Где-то новые районы»), но ее неизменность (простота и вечность). Окольцованные город и птица остаются живыми. «Непочатые снега», безлюдье новостроек, воцарившийся повсюду урочный сон предполагают не сгущение кошмаров, а правильность и устойчивость миропорядка, на что, как во многих иных текстах Самойлова, указывает присутствие «месяца наклоненного» (Божьего ока). Переключка рифмопар актуализировала в читательской памяти картину спокойно спящей столицы, что ослабляло темную составляющую самоейловского ностальгического сна о родном городе.

Примерно пять лет спустя, накануне Нового года (30 декабря 1981), Самойлов пишет другое «московское» стихотворение, по всем внешним параметрам (кроме малого объема) расходящееся с рассмотренным выше восьмистишьем. В отличие от «Я учился языку у няnek...» оно снабжено названием, что предполагает большую «обдуманность» текста (не простая фиксация, но «концептуализация» впечатления и/или эмоции). Наличие заголовка входит в противоречие с интимным (тай-

---

<sup>12</sup> Олицетворяющая «тоску» «ночная птица» может (и, наверно, даже должна) напоминать и о носителях таинственных звуков в пушкинских «Стихах...» (в том числе — в их черновых вариантах), и о вдруг запевшем в ночи тютчевском жаворонке, и о вороне Эдгара По, тень которого мелькает в самоейловском «Ночном госте».

ным) характером стихотворения<sup>13</sup>: ни адресат, ни автор не нуждаются в предваряющем истолковании текста и/или привнесении в него дополнительных семантических оттенков, ибо обретаются они в ситуации, ставшей стимулом и темой лирического высказывания. Между тем название — «Старомодное» — несет большую смысловую нагрузку. Субстантивированное прилагательное среднего рода выступает негативом другого (образованного по той же модели и эквиметричного), подразумеваемого временем появления текста — «новогоднее». «Ненужный» заголовок задает иронично-печальную тональность: поэту чужд близящийся праздник, он устремлен не к «новому», а к «старому» (и, как покажет текст, не ко времени, а к пространству). Кажется весьма вероятным (хотя и едва ли доказуемым), что Самойлов намекал здесь на «Новогоднее» Цветаевой — стихи на смерть Рильке, преодолевающие (отменяющие) эту смерть.

Близящейся смерти (сперва не названной) посвящены два первых четверостишья. Короткие предложения (в основном укладывающихся в пяти- или шестисложную строку; первое — «Разгорелась печка, / Щелкают дрова» — формально захватывает две, но поставленная Самойловым в бессоюзной конструкции запятая воспринимается почти как точка, синтаксическое членение и здесь совпадает с метрическим) бегло указывают на главные приметы локуса (инициальные двустишья) и передают внутреннюю речь поэта, оценивающего свое положение (двустишья финальные; второе занимает две строки). Повтор в «рефлексивных» фрагментах, второй из которых конкретизирует намек первого («Может, ты права <...> Может, мне до гроба / Жить здесь суждено»), заставляет счесть мнимой оппозицию фрагментов описательных. «Славное местеч-

---

<sup>13</sup> При жизни Самойлова стихотворение не публиковалось — несомненно, по воле поэта: ничего «крамольного» в тексте нет, а потому предположить противодействие цензурно-идеологических инстанций здесь невозможно. Ср. судьбу «программного» восьмистишья 1976 г., которое Самойлов считал необходимым опубликовать как можно скорее.

ко» — это и теплый, освещенный дом с печкой (традиционный — диккенсовский — символ уюта), и окружающее его холодное и мрачное пространство («За окном сугробы. / На дворе темно») [Самойлов 2006: 524]. Жизнь, пока еще длящаяся, но обессиленная, конвульсивно трепещущая (что передает пульсация коротких и слабо друг с другом связанных фраз, прерывистый поток замирающего сознания) здесь устремлена к смерти.

Поэт то ли примирился с уже пришедшей смертью, то ли ждет ее как избавления от заваленной сугробами и мнимо согретой печкой инерционной и надоевшей жизни. Это амбивалентное чувство (жизнь воспринимается как смерть, а смерть как жизнь) поддержано метром — трехстопным хореем с чередованием женских и мужских клаузул: в русской традиции, как правило, стихи, писанные этим размером, в большей или меньшей мере учитывают мотивы лермонтовского переложения Гете «Горные вершины...» (усталость; желание покоя; ночь; прохлада; предчувствие смерти, которая может восприниматься как новая — и лучшая — жизнь)<sup>14</sup>. Несомненно помня о Лермонтове, Самойлов, однако, отсылает к полемической реплике на его шедевр — восьмистишью (как и с горькой иронией переосмысливаемый образец) Георгия Иванова: «Голубая речка, / Зябкая волна, / Времени утечка / Явственно слышна. // Голубая речка / Предлагает мне / Теплое местечко / На холодном дне» [Иванов: 309].

Помня о властности семантического ореола метра, должно отметить повторение маркированного рифменной позицией «бытового» (сбивающего высокий поэтический настрой) словца «местечко». Поздние стихотворения Георгия Иванова в СССР не издавались, но в 1970-е гг. очень широко распространялись самиздатом. Еще более вероятно, что Самойлов прочел их в статье К. Ф. Тарановского «Зеленые звезды и поющие воды в лирике Блока» (первая публикация — *Russian Literature* VIII, 4 (1980) — была в 1981 г. привлекательной новинкой). Самойлов вообще заинтересованно относился к но-

<sup>14</sup> О семантическом ореоле этого размера см.: [Гаспаров: 50–74].



вым (условно говоря — «структуралистским») работам по поэтике, но статья Тарановского должна была привлечь его и основным — блоковским — сюжетом: работа открывается анализом стихотворения «Свирель запела на мосту...» (цикл «Арфы и скрипки») [Тарановский: 330–332], реминисценцию которого Самойлов ввел в зачин «Рождества Александра Блока» (1967): «Он вновь увидел на мосту / И ангела, и высоту. / Он вновь услышал чистоту / Свирели» [Самойлов 2006: 166]. В статье Тарановского миниатюра Иванова связывается с рядом блоковских стихотворений о соблазне «поющей» прохлады, сулящей освобождающий покой и ввергающей в небытие. И Блок, и Иванов развивают и варьируют общеевропейский поэтический «русалочий» сюжет, восходящий к «Рыбаку» Гете (в России — к переводу Жуковского), а во второй половине XIX в. и позднее почти непременно учитывающий стихотворение Гейне о Лорелее (в русской поэзии, в частности — в восьмиистишье Иванова, — эпизод с золотой рыбкой из «Мцыри»).

Отсылая в первых строфах «Старомодного» к Иванову, Самойлов актуализировал общий смысловой контур «русалочьего» мифа. Прельстительная (и страшная) смерть может равным образом таиться в прохладной речке, жаркой дышащей печке, громоздящихся сугробах, уютном доме. Правота собеседницы поэта (хозяйки дома с жарко горящей печкой) — правота русалки, чье пение уводит от изматывающей земной жизни<sup>15</sup>.

К жизни этой (не новой, а старой!) поэт и хочет вернуться, о чем свидетельствует дважды прерывающее умиротворенное констатирующее бормотание в первой части «Старомодного» двоящееся «может». «Может, ты права» подразумевает не произнесенное вслух *\*а может — нет, а может — нет*. Так же обстоит дело и с «Может, мне до гроба / Жить здесь суждено». Более того, здесь не предусмотренный прежним ходом стиха

<sup>15</sup> Ср. в «Пярунских элегиях» (V): «Но томителен сон про обманы, / Он болит, как старые раны, / От него проснуться нельзя. / А проснешься — еще больнее, / Словно слышал зов Лорелеи / И навек распалась стезя» [Самойлов 2006: 239].



анжамбеман сигнализирует о возможном броске из привычного — тянувшегося под щелканье поленьев — поджидания смерти.

Вторая (тоже из двух строф состоящая) часть «Старомодного» открывается глаголом, занимающим особое место в словаре слепнувшего (почти слепого) поэта, не раз упоминавшего в стихах свой недуг. «Вижу я московских / Зданий высоту. / Площадей московских / Шум и суету». Слепец видит даже то, что обычные люди могут только слышать (шум). Это особое — внутреннее — зрение, открывающее идеальный город. То, что обычно почитается дурными свойствами столиц («шум», «суета»), здесь встает в один ряд с «высотой», которой (как и «шума» с «суетой») нет в «идиллическом» (и/или проклятом) приюте поэта. «Высота» это не только физические вертикали мегаполиса (хоть возникающего далее Кремля, хоть родного дома на Александровской площади, хоть новостроек), но и высота духовная. Еще в 1974 г. о «ветрах пятнадцатых этажей» было сказано: «Они дуют ровно и сильно, / И кажутся гулом вселенной, / Особенно ночью» [Самойлов 2006: 222]. По-настоящему причастным большому миру может быть только великий город.

Предстоящий взору поэта город бесснежен, хотя для поэзии Самойлова очень важен позитивно окрашенный мотив связи Москвы (Подмосковья) и снега<sup>16</sup>. К разгадке этого не-

---

<sup>16</sup> Приведу лишь три очень выразительных примера. Первая (1947) апология неназванной, но легко угадываемой Москвы строится как опровержение хрестоматийных претекстов — печального пушкинского признания в нелюбви Петербургу и многословной здравницы Федора Глинки первопрестольной: «Город зимний, / Город дивный, / Снег, как с яблонь, / Лепестками. / Словно крыльев / Лебединых / Осторожное дыханье» [Самойлов 2006: 66]. В финале «Ближних стран» читаем: «Рано утром почуялся снег. / Он не падал, он лишь намечался. / А потом полетел, заметался. / Было чувство, что вдруг повстречался / По дороге родной человек. / А ведь это был попросту снег — / Первый снег и пейзаж Подмосковья» [Самойлов 2005: 58]. Именно заглавный герой (деперсонифицированный волшебник) московской поэмы «Снегопад»

ожиданного хода (как и другой странности — явного одобрения «шума» и «суеты») подводит стихотворение, написанное немного раньше (и тоже не отданное в печать): «Вот опять для зимних птиц / Гнезда вьет зима-старуха. / В отдаленье от столиц / Я живу темно и глухо. // Тянет, милые друзья, / В суету и разговоры. / Кажется, что бытия / Там откроются просторы. // В отдаленье от зимы, / От деревьев и от снега / За столом засядем мы, / И затянется беседа // Заполночь...» [Самойлов 2006: 523].

В Москве нет зимы, снега и даже деревьев, потому что все это атрибуты уютного (наколдованного) пространства сна, покоя, смерти. Суета — это жизнь, восторженное приятие которой передают и синтаксический сумбур (второе полустийше третьей строфы отделено от первого не запятой, а точкой), и анжамбеман («московских / зданий»), и тавтологическая (нарушающая элементарные стихотворческие приличия!) рифма («московских — московских»). В суете (дружеском кругу) говоришь — как говорится, почти захлебываясь, — что продолжается и в финальной строфе, первое двустийше которой («И порыв единый / Всех путей к Кремлю...»<sup>17</sup>) продолжа-

---

одаривает солдата-отпускника коротким, но беспримесно чистым счастьем.

<sup>17</sup> Здесь речь идет не только о кольцевой структуре столицы (исторически Москва росла вокруг Кремля). Как Москва (вне зависимости от географической реальности) — центр России, так Кремль — центр Москвы. Поэтому стремление поэта к Москве оборачивается общим (всех путей, самого города) порывом к Кремлю. Не точный (но достойный внимания!) аналог этого общего порыва видится в финальной части «Ближних стран», где сперва дается перечень песен, что поют возвращающиеся с войны солдаты (разноголосица, не сводящаяся к единству), затем — подмосковных станций, которые минует эшелон (пестрота, но знакомая всем и предсказывающая общую для всех цель), и наконец — звучащих вроде бы вразнобой строк общей песни об объединяющей всех высокой ценности: «Пели в третьем вагоне: “Страна моя!” / И в четвертом вагоне: “Москва моя!” / И в девятом вагоне: “Ты самая!” / И в десятом вагоне: “Любимая!” / И во всем эшелоне: “Любимая!”» [Самойлов 2005: 58].

ет (все с теми же пунктуационными кульбитами) репортаж о видениях поэта-слепца, который после многоточия (вдруг остановился — большего не увидеть) сменяется простодушно детским (старомодным, со всех точек зрения «неправильным», но не смущенным, а победительно громким) признанием-выкриком: «Город мой родимый, / Я тебя люблю!» [Самойлов 2006: 524].

Начавшись скорбным бормотанием, «старомодное» стихотворение одинокого поэта все же становится «новогодним» и «всеобщим». (Как в восьмистишье об «обучении языкам» темная тональность финала лишь оттеняет неизбежное пушкинское начало.) Текст, не предполагающий читателя, оказывается, по сути своей, публичным и даже гражданским. Можно уверенно предположить, что Самойлов имел в виду, что рано или поздно (возможно — после смерти автора) «Старомодное» будет напечатано — его обманчивые «темнота» и «сумбур» выстроены с изысканно точным расчетом. Державное начало гармонирует с интимным: поэта спасает память о городе, в равной мере родимом и всеобщем.

Самойлов переселился из Москвы в Пярну не случайно и не по чужой воле. (Как не случайно до переезда несколько лет провел в Опалихе, расположенной гораздо ближе к Москве, чем приморский эстонский городок, но подчиненной отнюдь не столичным укладу и ритму.) Дневники поэта четко свидетельствуют о постоянных колебаниях его отношения к Москве, наезды в которую не раз отзывались раздражением, досадой и тоской по Пярну. Эти настроения проникали и в стихи — ср., например, «Я был в Москве и понял...» (1977) [Там же: 514]. Отмечая «эстонский» контекст самойловской тоски по Москве, следует помнить, что балтийское пространство мыслилось им не только как эквивалент чужбины (а потому — обитель печали, смутных снов, умирания), но и как идиллическая страна поэзии и сопряженной с ней внутренней свободы. Самойлов был наделен счастливым и горьким даром видеть в самых разных феноменах две стороны — светлую и темную. Так двоятся в мире Самойлова русская история, военная молодость, выпавшее поэту «проклятое столетье», любовные



страсти, семейная жизнь, собственное стихотворство, Эстония, Москва (исключениями были, кажется, только поэзия как таковая и — не без оговорок — Пушкин). Но двоение не отменяет конечного выбора, и понятно, каким был он для поэта, который сказал: «Не по крови и не по гною / Я судил о нашей эпохе. / Все, что было, — было со мною, / А иным доставались крохи! // Я судил по людям, по душам, / И по правде, и по замachu. / Мы хотели, чтоб было лучше, / Потому что не знали страху» [Самойлов 2006: 111]. В «московском сюжете» сходную роль играют строки: «Город мой родимый, / Я тебя люблю!»

#### ЛИТЕРАТУРА

- Гаспаров: *Гаспаров М. Л.* Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999.
- Иванов: *Иванов Георгий.* Стихотворения. СПб., 2005.
- Немзер 2005: *Немзер Андрей.* Поэмы Давида Самойлова // Самойлов Д. Поэмы. М., 2005. С. 355–463.
- Немзер 2006а: *Немзер Андрей.* Как начинают жить стихом: Версия Давида Самойлова // Собрание сочинений. К шестидесятилетию Льва Иосифовича Соболева. М., 2006. С. 379–391.
- Немзер 2006б: *Немзер Андрей.* Лирика Давида Самойлова // Самойлов Д. Стихотворения. СПб., 2006. С. 5–53.
- Немзер 2006в: *Немзер Андрей.* Поэт после поэзии: самоидентификация Давида Самойлова // Блоковский сборник. XII: Русский модернизм и литература XX века. Тарту, 2006. С. 150–174.
- Немзер 2010: *Немзер Андрей.* Две Эстонии Давида Самойлова // Блоковский сборник. XVIII: Россия и Эстония в XX веке: диалог культур. Тарту, 2010. С. 162–184.
- Немзер 2011: *Немзер А. С.* Автопародия как поэтическое credo: «Собачий вальс» Давида Самойлова // От Кибирова до Пушкина. Сборник в честь 60-летия Н. А. Богомолова. М., 2011. С. 268–283.
- Пушкин: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 7.
- Рассадин: *Рассадин Ст. Б.* Самойлов // Русские писатели 20 века: Биографический словарь. М., 2000. С. 611–612.
- Самойлов 2000: *Самойлов Давид.* Перебирая наши даты. М., 2000.
- Самойлов 2002: *Самойлов Давид.* Поденные записи: В 2 т. М., 2002.
- Самойлов 2005: *Самойлов Давид.* Поэмы. М., 2005.
- Самойлов 2006: *Самойлов Давид.* Стихотворения. СПб., 2006.



Самойлов — Чуковская: *Самойлов Давид, Чуковская Лидия. Переписка. 1971–1990.* М., 2004.

Тарановский: *Тарановский Кирилл. О поэзии и поэтике.* М., 2000.

Чупринин: *Чупринин Сергей. Крупным планом. Поэзия наших дней: проблемы, характеристики.* М., 1983.

# РОССИЯ КАК МИФОЛОГИЗИРОВАННОЕ ПРОСТРАНСТВО В СОВРЕМЕННОЙ ФИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ПЕККА ПЕСОНЕН

«Финский текст» в русской литературе — хорошо исследованная тема и в русской, и в финской науке. К изучению «северного текста» в русской литературе уже обращались ученые из других стран.

Но как обстоит дело с «русским текстом» в финской литературе? Такое понятие практически неизвестно, пока нет такого термина со своей традицией использования, несмотря на то, что финско-русские культурные связи, вне всякого сомнения, существуют. Во многих своих аспектах они исследованы, в первую очередь — богатые контакты во всех видах искусства на рубеже XIX–XX вв. На этом фоне особенно заметно отсутствие работ о взаимодействии в литературной сфере. Идея написать статью на эту тему возникла в процессе чтения тех финских романов последних десятилетий, в которых Россия является одним из мест действия, а в некоторых из них — даже единственным. И хотя там могут фигурировать реальные Петербург, Москва, Елабуга, Мурманск или Магадан, это пространство глубоко мифологизировано. С точки зрения мифологии пространства открывается интересный ракурс для понимания современных культурных связей.

В начале — несколько слов о контексте этих романов, т.е. о традициях использования России как мифологизированного пространства в финской литературе вообще.

Финляндия стала частью Российской империи в 1809 г.<sup>1</sup> Одним из первых певцов этого нового периода существования

---

<sup>1</sup> Недавно двухсотлетие этого события было отмечено в Финляндии. Наверное, его стоит отмечать хотя бы потому, чтобы затем

нашей страны в финской литературе является священник и поэт Якко Ютейни, который уже в 1816 г. сочинил поэму «Александру Первому. Царю и Великому Князю от Финского народа» (“Aleksanderille I. Keisarille ja Suurelle Ruhtinaalle Suomen kansalda”)<sup>2</sup>, посвященную светлому будущему Финляндии в составе Российской империи и положению финнов как подданных царя. Эта поэма плохо изучена в истории финской литературы, но зато каждый финский школьник до сих пор знает песенку Якко Ютейни «Мы все достойны цены» (“Arvon mekin ansaitsemme”). Достойны именно мудрые жители бедной и униженной страны. Песню Ютейни сочинил через 20 лет после хвалы русскому царю. Начиная с этого эпизода, Россия в финской литературе всегда имела два лика — и друга, и врага. Причем этот изначально двойственный образ России был глубоко мифологизирован.

Корни более многостороннего образа России в финской литературе можно найти в путевых заметках, а также в романах представителей молодой финской интеллигенции, которые, начиная с середины 1850-х гг., отправлялись в Россию на учебу, чтобы потом вернуться на родину специалистами по русскому языку и культуре [Ketola]. Так, один из ведущих классиков финской прозы Илмари Кианто (1874–1970), особенно известный своими описаниями положения бедного финского крестьянства, озаглавил свой роман-путешествие о России «Московский магистр» [Kianto]. Это заглавие подразумевает проекцию на автора: Кианто провел много времени в России. Его наблюдения над ежедневной русской жизнью смешны и остроумны, они одновременно своеобразны и очень клишированы. В своем романе Кианто описывает Москву как город соборов, а религию — как основу русскости, в которой скрыта одновременно ее слабость (русская религиозность поверхностна). Петербург представлен иначе: он является центром внешней европеизации, в нем истинно русское приобретает вид

---

праздновать выход из состава империи, который произошел более ста лет спустя.

<sup>2</sup> См.: [Juteini]. О жизни и творчестве Ютейни см.: [Teperi].

чуждого. Такое представление о России сближает финского романиста с русскими.

Другой известный писатель рубежа веков, Арвид Ярнефельдт, был верным учеником Толстого, и его образ России в значительной степени обусловлен критическими воззрениями его учителя. Известные в истории финской культуры братья Ярнефельдты (писатель Арвид, художник Эеро и композитор Армас) в своем творчестве находились под сильным русским влиянием. Хорошо известно, как их мать Элизабет, урожденная Клодт-фон Юргенсбург, первой познакомила группу финских писателей с творчеством ведущих русских писателей XIX в.<sup>3</sup> После перевода на финский язык их творчество вызвало бурные дискуссии. Спор шел, например, о том, как могут финны понимать ключевые типы русского реализма — убийц (как Раскольников) и лентяев (как Обломов). Для многих они были полной противоположностью тем честным и чистым финнам, характер которых русские писатели, в особенности Горький и Куприн, хвалили. Эти представления неоднократно исследовались в финских и русских литературоведческих трудах, и они до сих пор существуют в виде мифов и легенд в русском восприятии<sup>4</sup>.

Гораздо менее известен тот факт, что русский модернизм знали в Финляндии в свое время очень плохо, а, например, в соседней Эстонии — гораздо лучше. Некоторые русские модернисты неоднократно бывали в Финляндии, например, посещая Иматру, но их финские контакты сводились к общению с местной прислугой<sup>5</sup>. Зато Горького знали все ведущие представители интеллигенции. В 1920-х гг. некоторые финны, а также финские шведы с восторгом писали о Блоке, Есенине

---

<sup>3</sup> О семье Ярнефельдта см. известный роман Арвида Ярнефельдта [Järnefeldt 1928; Järnefeldt 1929], о его творчестве см.: [Niemi]; о месте в финской литературе Е. Ярнефельдта см.: [Sarajas].

<sup>4</sup> См. особенно: [Hellman: 118–160]. О русско-финских литературных отношениях в нач. XX в. см. фундаментальное исследование [Карху].

<sup>5</sup> См.: [Pesonen 1977; Pesonen 2008; Сойни].



и Маяковском. Олави Пааволайнен (1903–1964) старался найти в их творчестве новую, величественную Россию, в которой соединяются Европа и Азия. Русская дискуссия на эту тему была мало известна [Paavolainen]. В 1920–30-е гг. у Пааволайнена была дача на карельском перешейке, где встречался весь финский художественный авангард того времени. До войны Пааволайнен не бывал в Советском Союзе, во время войны он стал известен своими корреспонденциями с фронта.

Карельский перешеек и его связи с русской культурой представляют особую тему в финской литературе<sup>6</sup>. Многие аспекты этих связей до сих пор недостаточно исследованы. Например, еще не изучено, в какой мере известная финская поэтесса Эдит Седергран знала русских модернистов и можно ли ее творчество анализировать на фоне творчества Ахматовой, Северянина и др. Культурные контакты довольно легко исследовать, литературные влияния — гораздо более сложная тема. Россия как мифологическое пространство в творчестве Седергран — интересная, но очень сложная, пока не затронутая проблема<sup>7</sup>.

Для понимания контекста заявленной в нашем исследовании темы необходимо обратиться и к другим формам контактов финнов с Россией, с «русским пространством». Многие финны переезжали в Советский Союз по политическим причинам, начиная с 1918 г., со времени гражданской войны. Как следствие этих, зачастую трагических, переездов появилась финская, но написанная в России, прежде всего в Карелии, литература. Эта финская литература в своей простоте была очень мифологична, и русское пространство в ней представлено очень своеобразно. Россия, т.е. Советский Союз, была описана как новый рай, по образцам и правилам советской литературы, а позднее — соцреализма. Традиция такой литературы бытовала вплоть до 1980-х гг., но оставалась известна только в узких местных границах, в Финляндии ее знают плохо.

<sup>6</sup> См., напр., сборник “Dacha Kingdom” (2009).

<sup>7</sup> О жизни и творчестве Седергран см. шведские исследования [Brunner; Hackman].

Гораздо лучше известен противоположный образ Советского Союза как ада. Он настолько же прост и мифологичен, как и рай. Как уже хорошо известно, большая часть финских иммигрантов попала во время большого террора, если не раньше, в лагерь. Для многих «ворота ада» открылись сразу после входа в «советский рай». Кроме иммигрантов, такая же судьба ждала многих представителей малых финно-угорских народов, особенно ингерманландцев. Их истории описаны во многих мемуарах и художественных произведениях мемуарного характера. Интересно, что эта тема появляется и в творчестве писателей, не имевших личного опыта такого рода или знавших о нем от других. Личные истории пережитого ужаса редко воплощаются в художественно значительной форме. Они во многом похожи на так называемую литературу перестройки, которой свойствен своего рода соцреализм вверх ногами, где плюсы и минусы просто поменялись местами.

В литературе военного времени образы врага были стереотипны для обеих сторон, советской и финской. Стремление разрушить национально-героические мифы выразилось, прежде всего, в гротескном описании абсурда войны, в финской литературе раньше, чем в русской. Даже в тех финских произведениях, в которых отношение к войне было с какой-то точки зрения критическим, не был открыт новый образ России.

Но следует отметить одну черту финской литературы военного времени, малоисследованную, но явно достойную большего внимания. Это необычная дихотомия «своего» и «чужого» в образе России. В ходе войны Финляндия возвращала земли, ранее отчужденные — например, в Карелии. Места эти описывались как «свои», но после пересечения старой границы, после возвращения этих земель, все изображаемое как «свое», финское, финно-угорское, все равно воспринималось как «чужое», русское. При этом враждебное и ужасное «чужое» было одновременно экзотически заманчивым. В самом известном произведении финской военной литературы, романе Вяйно Линны (1920–1992) «Неизвестный солдат» [Linna], войска завоевывают Петрозаводск, по-фински Аанислинна (Äänislinna). Но рядовым солдатам все-таки ясно, что они

пришли в чужие места, в Россию. Солдаты встречаются с русскими девушками, которые на своей родине ведут себя по-своему: угощают водкой, поют и танцуют. Однажды отчужденное, пространство уже не становится своим, поэтому солдаты хотят вернуться домой.

Один из известных сюжетов в военной литературе — это встреча финского и русского поэтов у одной и той же реки Taipaleenjoki (Тайпалеенйоки) в 1940 г., когда оба защищали «свое», но каждый понимал и положение «другого». Это чувство описано в стихах Е. Долматовского (1915–1994) и Ю. Йюля (Yrjö Jylhä, 1903–1956)<sup>8</sup>.

В 1930-е гг. и в военное время антирусская/антисоветская точка зрения превалирует в детективах, прежде всего, в разных историях о шпионах. Хорошие и плохие представители обеих сторон совершают подвиги во имя славы своей родины. Россия является местом действия и во многих современных финских детективах. В них мафиози, наркоторговцы, сутенеры разных уровней, проститутки и другие криминальные элементы представляют стереотипный образ России и русских. Новым в этих новых детективах является то, что добро и зло не соответствуют однозначно «своему» и «чужому». Хорошую, красивую Россию в современных финских детективах искать напрасно, но зато они переполнены страдающими и чувствительными русскими.

Остановимся более детально на творчестве одного из ведущих представителей финской послевоенной литературы — Пааво Ринтала (1920–1999). Его творческое наследие, охватывающее период с конца 1950-х и до конца 1990-х гг., огромно. Некоторые произведения Ринталы могут дать материал для отдельной главы в исследовании русской тематики и русского пространства в финской литературе конца прошлого века. Мы рассмотрим здесь четыре романа.

Ранним произведениям Ринталы, как и вообще его творчеству, свойствен острый интерес к религиозной тематике (он

<sup>8</sup> См.: [Долматовский] и [Jylhä]. См. первую финскую биографию Юля [Karonen–Rajala].



должен был стать лютеранским священником) и к общечеловеческим нравственным ценностям. Ринтала еще юношей пережил войну, война и ее отзвуки присутствуют почти во всех его романах, независимо от главной темы. И часто его романы провоцировали резкую полемику.

Вышедший в свет в начале 1960-х гг. роман «Лейтенант-партизан» [Rintala 1963] стал даже поводом для судебного процесса<sup>9</sup>. Причиной для разбирательства в суде стал один эпизод из этого романа о войне, в котором описывается ветреное поведение женщины, служащей на фронте и входящей в женскую военную организацию. На этом основании Ринталу обвинили в оскорблении всех финских женщин, участвовавших в войне. Протесты писали генералы, депутаты парламента, епископы и сотни простых читателей. В ходе полемики были забыты основное содержание и глубоко моральная идея романа. Имя Ринталы стало ненавистным для большинства представителей военного поколения.

В основу романа Ринталы «Ленинградская симфония судьбы» [Rintala 1968] положены многочисленные интервью писателя с русскими людьми, пережившими ленинградскую блокаду. Целью автора было описать блокаду с точки зрения русских, ленинградцев, и сопоставить представление о ней с разными эпизодами военной памяти финнов. Он хотел выразить чувства русских и их ужас. Исходной точкой романа является любовь и интерес повествователя (*alter ego* писателя) к городу Петербургу / Ленинграду. Вся его культурная история мифологизирована, его пространство наполнено мифами, обработанными и завершенными в русской литературе («петербургский текст»). Люди являются частью этой истории, хотя их точки зрения субъективны и интимны. В этом романе о войне военные события являются только фоном. Финны представлены как часть этого фона. Их образы двойственны: финны защищают свою родину, но одновременно они участвуют в нападении, в разрушении культурного города. Это стремление романиста представить чувства обеих сторон вызвало бурную

---

<sup>9</sup> Об этом романе и процессе вокруг него см.: [Tarkka].



реакцию финских читателей. И впоследствии роман рассматривали как пример «финляндизации». Ринтала стремился к документальности, но красивые цели и чистый идеализм не работают и получают слишком сладкое выражение. С точки зрения нашего подхода к нему важно, что блокадный Ленинград для Ринталы — это прежде всего Петербург.

С 1960-х до 1980-х гг. Ринтала, помимо литературной деятельности, сотрудничал с общественными организациями, которые развивали культурные и общественные связи между Финляндией и Советским Союзом. Много лет он был финским председателем «Защитников мира» — организации, работавшей под патронажем Советского Союза. Находясь на этом посту, Ринтала объездил в составе официальных делегаций все страны социалистического лагеря.

Ринтала был большим идеалистом, он, кажется, действительно верил в возможность мира и международной дружбы. Путешествуя по всему миру, он закрывал глаза на то, чего не хотел видеть, но так вело себя в то время большинство представителей западной интеллигенции.

Позднее, в течение 1980-х гг., Ринтала потерял веру в «социализм с человеческим лицом». Документом этого процесса является его роман «Контрабанда из Санкт-Петербурга» [Rintala: 1987]. В его сюжете мифологизация города Петербурга играет существенную роль. О крушении идеалистической веры свидетельствует эпиграф из Достоевского, из «Записок из мертвого дома»: «Все, что я пишу здесь о наказаниях и казнях, было в мое время. Теперь, я слышал, все это изменилось и изменяется» [Достоевский: 152].

В романе приводится рукопись, которую нельзя опубликовать в Советском Союзе и которая должна быть переправлена на Запад. Для этого она попадает в руки повествователя, финского писателя (герой — опять alter ego Ринталы). Дойдет ли рукопись когда-нибудь на Запад или нет, остается в романе неясным. Неизвестно, есть у этого эпизода биографическая основа, провозил ли сам Ринтала какую-нибудь рукопись когда-либо через границу. В романе герой получает рукопись от знакомого еврейского литературоведа Бориса Эпштейна, про-

фессора Герценовского института, специалиста по переводу и многим европейским литературам. С героем романа он беседует по-немецки. Профессора уволили из института, лишили всех научных степеней, его произведения изымают из библиотек. Профессор представлен как человек чрезвычайно образованный, острый, веселый, чуть циничный. Он везет финского писателя на дачу на Карельском перешейке, они вместе посещают могилу Ахматовой, Эпштейн рассказывает о Бродском и о своем присутствии на суде над молодым поэтом. Кто такой Эпштейн? Бесспорным его прототипом является Е. Г. Эткинд. Ринтала был с ним знаком, они встречались много раз, начиная с 1960-х гг. Очевидно, что его образ будет центральным в романе. Эпштейн становится гидом повествователя по Петербургу и его культуре. Именно он уничтожил веру финского идеалиста в социализм с человеческим лицом, в финско-русские культурно-политические отношения. Ринтала неоднократно говорил и писал о роли Эткинда в изменении его взглядов на мир. Эткинд показал ему настоящее лицо советского общества, которое не показывали официальным делегациям. Нужен был человеческий контакт для того, чтобы показать и доказать то, о чем писали на Западе, но во что — особенно в Финляндии того времени — не хотели верить.

Писателя-рассказчика из романа (как и самого Ринтала после «Ленинградской симфонии судьбы») постоянно приглашают на разные литературные встречи и семинары. Ему известно, что за каждым его шагом следят. К нему обращается хитрый и образованный офицер КГБ, разговоры героя с ним во многом напоминают беседы Раскольников и Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании». Сюжет романа получает детективное продолжение.

В том романе, который финский писатель должен отвезти на Запад, на материале истории Веры Засулич и народников рассказывается об абсолютном идеализме, о вере в свое святое дело и об абсолютной жестокости и слепоте общества.

В образе автора рукописи и в его истории угадываются черты Солженицына, Синявского, Зиновьева, Бродского, но, с другой стороны, все они присутствуют на страницах романа под

своими собственными именами. Тематика произведения отчетливо намекает и на Юрия Трифонова и его роман «Нетерпение» (1973). Роман, кстати, не был переведен на финский язык. Мы можем предположить, что Ринтала прочитал его в немецком переводе. Таким образом, на страницах романа рассказчик повествует о двух знакомых, которые открыли ему на глаза на происходящее в Советском Союзе: Борис Эпштейн (Эткин) и Трифонов (Ринтала тоже знал его лично). Они были первыми, кто «не молчал». К сожалению, пишет автор романа, Трифонов умер до того, как финский писатель разочаровался в социализме.

Рассказчик у Ринталы не понимает и хочет узнать, почему в Советском Союзе 1980-х гг. не одобряют романа о радикалах XIX в., почему и в 80-х гг. власти боятся писателей. Все это представляется ему «петербургской загадкой», которую может разгадать только художественная литература, и для Ринталы это именно та литература, которая известна как «петербургский текст». Роман об Эпштейне-Эткинде и финском писателе является прежде всего романом о Петербурге. Образ города мифологизирован. В мифологизацию города, однако, «вторгаются» некоторые ошибки и неточности.

Надо и теперь надеяться на истолкование классиков прошлого века, из них самое темное, рассказывающее о безумии и эпилепсии, оказалось самым ясным. Эта была литература, созданная в неестественной атмосфере этого города, и, принимая к ней как к источнику, он хотел объяснить себе загадку этого города [Rintala 1987: 40]<sup>10</sup>.

Загадка нигде не объясняется, если не считать объяснением открытие сущности советского общества.

Русская литература, особенно творчество Достоевского, была большой страстью Ринталы, он постоянно возвращается к нему в своем творчестве: и в художественных произведениях, и в эссеистике. Один из его романов называется «Галерея

<sup>10</sup> В дальнейшем цитаты из этого романа сопровождаются в тексте только номерами страниц финского оригинала. Переводы на русский язык мои. — П. П.



Достоевского» [Rintala: 1981], и построен он на прямых и косвенных цитатах из Достоевского.

В «Контрабанде из Санкт-Петербурга» история Б. Эпштейна и приключения рассказчика тоже обрамлены цитатами из русской литературы. С художественной точки зрения сделано это не всегда удачно, но свидетельствует о любви рассказчика к русской литературе.

История Б. Эпштейна в романе во многом опирается на «Записки незаговорщика» Е. Г. Эткинда (1977). Порой повествование оказывается почти прямой цитатой. Может быть, самая интересная взята из речи циничного офицера КГБ, ведшего допросы Эткинда в 1973–74 гг. Его словами говорит в романе следователь, который появляется в гостиничном номере финского писателя в Ленинграде и еще раз в конце романа в Выборге.

Этому следователю, полковнику Белкову, известны все детали знакомства Эпштейна и финского писателя. Он образованный, но до крайности циничный человек. Их беседы с Эпштейном интеллигентны, остры и затрагивают самые глубокие вопросы об искренности человека, общества и литературы. Эти разговоры касаются насущных для рассказчика вопросов: перелома его мировоззрения и осмысления этого перелома.

Временное пространство романа дает возможность для возникновения разных парадоксов и пророчеств. Некоторые из них приобретают особенное значение теперь, но в 1987 г., когда роман вышел, все еще было по-другому. Рассказчик предсказывает своему будущему исследователю, что в 2010-е гг. город, в котором они встретились, опять будет называться Санкт-Петербург. Он говорит:

В 2010-х годах никто больше не будет интересоваться вашими Лениными, Сталиными, Брежневыми, Андроповыми. Но и тогда в человеческом сознании будут царить Чайковский, Шнитке, Чехов и Трифонов [279].

В конце романа рассказчик приглашает своего собеседника посетить те места, которые соединяют его с Эпштейном, т.е. педагогический институт им. Герцена. «Имя Герцена соединя-



ет внутреннюю и внешнюю эмиграцию», — говорит он. Следующая точка — «Аврора», на которую Эпштейн и рассказчик смотрели из окон гостиницы «Ленинград» во время их последнего разговора на русской земле перед эмиграцией Эпштейна. Экскурсия заканчивается на московском вокзале, оттуда рассказчик уехал как официальный делегат съезда, приуроченного к 40-летию Союза писателей СССР, сразу после встречи с Эпштейном.

Исповедь рассказчика начинается с признания, что он принадлежит к двум мирам. Он был в то время писателем, которого приглашали на официальные советские мероприятия, он был свидетелем и живым подтверждением официальной дружбы. Своим молчанием он признавал все это. Это горькая исповедь, полная самоиронии. Писатель чувствовал, что в Москве он «несет на своих плечах весь груз мира и дружбы народов». Он понимал, что принадлежит к «делегационному поголовью», которое нужно только для массовости.

Для рассказчика отношение к России, ее литературе, но одновременно и к Советскому Союзу, его действительности и идеологии является вопросом всей жизни. Справедливые начала советской идеологии рассказчик соединяет с основными вопросами своего мировоззрения, сущностью Христа и христианства.

Нельзя, конечно, соединить большевиков октябрьской революции и Ленина с христианами и с Христом, но я говорю об этом, чтобы все поняли. В самые зрелые годы своей жизни я читал много произведений Ленина, даже больше десяти лет хотел писать о нем, о его жизни в Финляндии. Но я был в шоке, когда вдруг понял, насколько устаревшими были основные идеи Ленина. С тех пор я считал его клиническим случаем [309].

Соединение веры в Христа и в Ленина — признание, наполненное самоиронией, но одновременно и очень горькое объяснение мировоззренческого кризиса писателя. Соединение всего этого с образом Эпштейна-Эткинда выглядит парадоксально. По характеру и манере поведения Ринтала и Эткинд были решительно не похожи друг на друга. Ринтала был умным, образованным, но в своих выступлениях очень эмоциональ-

ным, фанатичным, громким, хотя в то же время ироничным и смешным. Е. Эткинд в своей элегантно образованности был человеком совсем другого стиля. Но все-таки между ними было общее, и это, прежде всего, русская литература. С ее помощью Ринтала до конца своей жизни объяснял себя себе самому. Рассказчик в его романе говорит:

Больше двадцати лет он старался понять Россию, русскость, Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, но рассудок был бессилен понять эту загадку. Может быть, длинный жизненный путь научил его видеть разницу между снами и действительностью; не пора ли прекратить это ожидание, смириться с действительностью, отказаться от попыток понять. Все, что он может, — лишь понимать город как вымысел, но как реальность — нет [332].

Темы этого произведения повторяются и в романе Ринталы «Время и сон» [Rintala 1993]<sup>11</sup>. Он является попыткой проникнуть во внутренний мир писателя, оценить его ответственность, проследить судьбы разных визионеров и пионеров. Ринтала изображает путь, наряду с маленькими (в числе которых он сам), и больших мучеников европейской истории духа. Путь через разные эпохи является путем через ад. Данте — первый гид. Самых мужественных мучеников Ринтала находит «в роще одиноких женщин»: Ахматову и Цветаеву. С их судьбами связаны темы и пророчества романа. Гидами являются не стихи, а биографии-легенды поэтов и их главные места. Цветаева называется «женским Христом». Елабуга является ее Голгофой. Повествователь романа вызывает читателя на путь «голоса, который звучит из глубины моря твоего Выборга». Там находится «королевна Лир» Териок и Куоккалы — Ахматова. Королевна ведет разговоры с молодым поэтом В. Кривулиным (с которым сам Ринтала встречался много раз и стихи которого перевел вместе с финским переводчиком; см.: [Krivulin]). И глаза Кривулина напоминают повествователю глаза Цветаевой. Ринтала хочет быть пророком. Он не избегает пафоса, одновременно стараясь быть ироничным. Це-

---

<sup>11</sup> Роман послужил основой для либретто одноименной оперы (1998) финского композитора Калеви Ахо (Kalevi Aho, род. 1949).

лью Ринталы было стать финским Достоевским. Это видно в романе — в его достоинствах и недостатках. Россия является в романе Святой Землей, матерью женщин, чья жертвенность напоминает о Христе. Мифологизация культурного пространства доведена здесь до самого предела.

В современной финской литературе русское пространство играет также важную роль в романах-бестселлерах самой популярной (если судить по продаже ее книг) финской писательницы Лайлы Хирвисаари (Laila Hirvisaari, урожд. Hietamies, род. 1938). Творчество ее огромно, она написала более 40 романов. Действие в них разворачивается в финской и русской Карелии, а также в России и в прибалтийских странах. Среди персонажей фигурируют деятели русской культуры конца XIX — нач. XX вв. Известная пьеса этой писательницы и самый последний ее роман посвящены Екатерине II.

Очень оригинален и глубоко русский, даже скорее советский мир в творчестве Росы Ликсом (Rosa Liksom, род. 1958; настоящее имя Anni Ylävaara). Она жила и училась в Советском Союзе, много путешествовала по стране и отлично знает ее ежедневную реальность, которая показана в текстах Ликсом одновременно абсурдной, жестокой и вызывающей глубокую симпатию. Особенно мастерски удается Ликсом изображение ежедневных мелочей.

Наконец, постараюсь осветить проблематику изображения «русского пространства» в трех новейших финских романах. Все они вышли в свет в 2009 г.

Автор романа «Тот, кто видит» [Aronen] Эва-Каарина Аронен является известной журналисткой. В начале романа героиня, редактор культурных программ на радио, приезжает в дом своего детства в финском пригороде. С этим домом связано первое «русское пространство» романа. В 1930 г. молодая родственница рассказчицы уехала из этого дома за «светлым будущим» в Советский Союз. Осенней ночью она переправляется через границу на лодке вместе с перевозчиками контрабандного спирта, попадает на территорию СССР, где ее сразу арестовывают. «И так начался ее краткий курс сталинизма», — говорится в романе. Как финскую коммунистку ее



освобождают, и она начинает учиться в пединституте в Петро-заводске. Но после убийства Кирова на волне арестов ее снова арестовывают. Остальную жизнь финская коммунистка проводит в сталинских лагерях, в основном, в Воркуте. Она пишет письма, текст которых приводится в романе, но они доходят до семьи только после смерти Сталина. История героини, которую зовут Марта, становится семейной тайной, в детстве главная героиня знает о ней только по слухам. По ходу романа она начинает узнавать историю Марты и делает о ней радио-передачу. Выясняется, что Марта провела долгие годы в лагере вместе с Айно Куусинен, первой женой О. В. Куусинена. А. Куусинен отпустили в Финляндию в конце 50-х гг., и она опубликовала свои мемуары на финском языке [Kuusinen], которые в Советском Союзе считали, разумеется, антисоветской пропагандой. В романе герои узнают о судьбе Марты через А. Куусинен. Благодаря истории Марты Россия становится судьбой рассказчицы. Вторая важная сюжетная линия в романе — это история соседа, сына бывшего дежурного из дома финской компартии. Он дарит соседке важный пакет с историями многих финских коммунистов, отсидевших в сталинских лагерях.

В конце 1950-х гг. среди финских коммунистов шла большая дискуссия о том, надо ли начинать публичный разговор о трагических судьбах сотен финских коммунистов и требовать от Советского Союза, где началась эпоха «оттепели», документальные сведения о тех людях, о которых до сих пор ничего не было известно. Вожди компартии после голосования решили промолчать. Но неожиданно из СССР пришли тайные бумаги с требуемыми данными. Председатель компартии спрятал пакет в подвале здания партии. Дежурный перед смертью передал пакет сыну, а тот, 40 лет спустя, — своей соседке. Факты и вымысел в романе смешиваются прихотливым образом. В действительности такого пакета, кажется, никогда не существовало, но, само собой разумеется, что желанные сведения были посланы и спрятаны. Получив пакет, героиня романа начинает мало-помалу рассказывать о третьей своей связи с Россией, свою русскую историю.



В молодости она влюбилась в русский язык, поехала в Ленинград, провела там много лет, начала работать переводчицей и одновременно писать диссертацию о поэтическом языке Ахматовой. Потом она вышла замуж за альтиста Камерного оркестра Петербургской филармонии, жила с ним в квартире на Мойке. После драматического семейного спора героиня убила своего мужа и потом долго отбывала заключение в питерской тюрьме. Досидев свой срок, она переехала в Хельсинки и начала заниматься своими бывшими русскими контактами. Какое мифологизированное «русское пространство» рождается из всего этого пестрого материала?

В России все возможно, там всякое может случиться, о чем умалчивают очевидцы, находясь в «спокойной Финляндии», или рассказывают о случившемся только, когда предаются «туманным» воспоминаниям, украшая свои рассказы «русскими клише». Так поступает и сама Эва-Каарина Аронен, когда пишет роман журналистки. И все-таки: для нашей темы ее роман очень важен.

Близким по смыслу только что рассмотренному произведению является роман «Земная тяжесть» [Viljanen] молодого писателя Мика Вильянена (род. 1976). События романа происходят в Хельсинки, в Ленинграде/Петербурге и Магадане (но не в лагере, а в самом городе). Автор очень хорошо знает Россию и ее культуру, он включает в повествование самые актуальные детали ежедневной жизни. События освещаются с многих точек зрения: с позиции как русских, так и финских героев. Начало событий относится к концу 1980-х гг., отец русского юноши работает в Хельсинки, в то время еще в советском посольстве. Он очевидно является шпионом, который связан с каким-то не очень ясным бизнесом.

Отец-шпион дает уроки фортепианной игры детям и исследует мотивы русских фольклорных песен. Неожиданно семье приходится переехать на Восток, то есть в Магадан. Почему именно туда — так и остается неясным. В Магадане русский герой романа, Олег, попадает в драку, ранит противника ножом, его судят и позволяют выбрать между сумасшедшим домом и тюрьмой, он выбирает первое. Его испытания там

очень тяжелы. Его единственный друг из Магадана станет позднее в Петербурге и Хельсинки проводником по теневому нелегальному бизнесу. Петербург, как он описан в романе, представляет собой мифологическое пространство, в котором, например, сосуществуют старые и новые мифологемы, связанные с Сенной площадью. Хельсинки начинает напоминать Олегу Петербург, узкие улицы за Хельсинкским университетом — петербургские переулки Достоевского.

Брат финской подруги Олега, фотограф, исследует при помощи своих фотографий обнаженных иностранцев, их своеобразие и цитирует Вальтера Беньямина: «иное невозможно изобразить». Но именно *иное* в романе и изображается, *иное* в нем рождается в поисках *своего*. Россия и русскость для Олега одновременно и «свое», и «чужое». Одновременно это и доброе, и злое, но чаще — злое, возможности добра ограничены. «Русские в будущем будут такими же одинокими, как и финны», — таковы последние слова в романе.

Роман финской писательницы Катри Липсон (род. 1965) несколько отличается от сочинения М. Вильянена: события в нем происходят только в России, и все его герои — русские.

Место действия — Мурманск, время — конец 1980-х гг. Заглавие романа («Космонавт») [Lipson] обозначает род занятий главного героя. В школе он написал сочинение «Мои планы на будущее», где сообщил о своей мечте стать космонавтом, чтобы увидеть Землю. В описании позднесоветской прессы герой превращается в идеального молодого человека, — одного из тех, которые сейчас уже не встречаются. Он становится героем телепрограммы. Мечты разрушаются тем, что он не способен различать цвета. Он дальтоник и космонавтом не будет. Герой умирает в больнице, и авторы телепрограммы не могут его разыскать для съемок второй части. Автор романа демонстрирует столкновение грубой ежедневной действительности и мечты. Это, конечно, далеко не оригинальная тема. Но оригинальность романа состоит в богатстве деталей и наличии мифологизированного пространства. Холод и унылость города Мурманска, его коммуналки и маленькие квартиры пригородных домов противопоставляются пространству

космоса и звездного неба. Заглавие романа («Космонавт») обретает в тексте множество толкований. Удивительно мастерство финского писателя в описании России: ее образ рождается из мелких деталей, включенных в индивидуальные пространства героев, которые разрастаются во вселенские.

В заключение можно сказать, что Россия как культурное пространство в финской литературе имеет свою специфику. Она является одновременно знакомым и незнакомым, своим и чужим. Писатели, отталкиваясь от традиционно дуалистического образа России, осваивают «чужое» и познают «свое».

## ЛИТЕРАТУРА

- Долматовский: *Долматовский Е.* Воспоминание о Тайпалеейюки // Я должен вам сказать. М., 1984.
- Достоевский: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1972. Т. 4.
- Карху: *Карху Е. Г.* История литературы Финляндии: XX век. Л., 1990.
- Сойни: *Сойни Е. Г.* Русско-финские литературные связи начала века. Петрозаводск, 1998.
- Эткинд: *Эткинд Е. Г.* Записки незаговорщика. Лондон, 1977.
- Alhoniemi: *Alhoniemi, Pirkko.* Minuuden liitupiiri: Tutkimus Paavo Rintalan myöhäisvaiheen proosatuotannosta. Helsinki, 2007.
- Aronen: *Aronen, Eeva-Kaarina.* Hän joka näkee. Helsinki, 2008.
- Brunner: *Brunner, Ernst.* Till fots genom solsystemen: En studie i Edith Södergrans expressionism. Stockholm, 1985.
- Dacha Kingdom: *The Dachau Kingdom: Summer Dwellers and Dwellings in the Baltic Area / Ed. by N. Baschmakoff and M. Ristolainen.* Helsinki, 2009 (=Aleksanteri Series 3/2009).
- Hackman: *Hackman, Boel.* Jag kan sjunga hur jag vill: Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning. Helsingfors, 2000.
- Hellman: *Hellman, Ben.* Aleksandr Kuprin and Finland // Встречи и столкновения / Meetings and clashes. Helsinki, 2009 (=Slavica Helsingiensia, 36).
- Juteini: *Juteini, Jaak.* Waikutuksia Suomalaisen sydämessä. Wiipuri, 1816.
- Jylhä: *Jylhä, Yrjö.* Kiirastuli. Runoja sodan ja rauhan ajoilta. Helsinki, 1941.
- Järnefeldt 1928: *Järnefeldt, Arvid.* Vanhempieni romaani 1. Elisabet ja Aleksander. Helsinki, 1928.



- Järnefeldt 1929: *Järnefeldt, Arvid*. Vanhempieni romaani 2. Aleksander ja Elisabet Suomessa. Helsinki, 1929.
- Karonen–Rajala: *Karonen, Vesa; Rajala, Panu*. Yrjö Jylhä, talvisodan runoilija. Helsinki, 2009.
- Ketola: *Ketola, Kari*. Ryssän koulussa. Suomalaiset Venäjän stipendiaatit autonomian aikana 1812–1917. Helsinki, 2007.
- Kianto: *Kianto, Ilmari*. Moskovian maisteri. Nuoren kielenopiskelijan elämyksiä tsaarinvallan aikaisessa Moskovassa 1901–1903. Helsinki, 1946.
- Krivulin: *Krivulin, Viktor*. Runoja. Suom, Paavo Rintala, Aleksandr Volodin ja Jukka Mallinen. Oulu, 1994.
- Kuusinen: *Kuusinen, Aino*. Jumala syöksee enkelinsä. Aino Kuusisen muistelmat. Helsinki, 1972.
- Linna: *Linna, Väinö*. Tuntematon sotilas. Helsinki, 1954.
- Lipson: *Lipson, Katri*. Kosmonautti. Helsinki, 2009.
- Niemi 2005: *Niemi, Juhani*. Arvid Järnefeldt: Kirjailija ajassa ja ikuisuudessa. Helsinki, 2005.
- Paavolainen: *Paavolainen, Olavi*. Venäläisiä vallankumousrunoilijoita. Block – Majakovski – Jessenin // Nykyaikaa etsimässä. Esseitä ja pakinoita. Helsinki, 1929.
- Pesonen 1977: *Pesonen, Pekka*. Venäläiset symbolistit ja Suomi // Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja 30. Vaasa, 1977.
- Pesonen 2008: *Pesonen, Pekka*. Does Imatra Represent All of Finland? On the Imatra text of Russian Modernism // A Sounding of Signs. Modalities and Moments in Music, Culture and Philosophy. Essays in Honor of Eero Tarasti on his 60th Anniversary. Imatra, 2008 (=Acta Semiotica Fennica, XXX).
- Rintala 1963: *Rintala, Paavo*. Sissiluutnantti. Helsinki, 1963.
- Rintala 1968: *Rintala, Paavo*. Leningradin kohtalonsinfonia: Saksalaisten ja suomalaisten vuosina 1941–1943 piirittämän kaupungin ja sen asukkaiden tarina. Helsinki, 1968.
- Rintala 1981: *Rintala, Paavo*. Dostojevskin galleriat. Kirjanen Dostojevskin romaanihenkilöistä ja heidän ongelmistaan. Helsinki, 1981.
- Rintala 1987: *Rintala, Paavo*. St. Petersburgin salakuljetus. Helsinki, 1987.
- Rintala 1993: *Rintala, Paavo*. Aika ja uni. Helsinki, 1993.
- Sarajas: *Sarajas, Annamari*. Tunnuskuvia. Suomen ja Venäjän realismin kosketuskohtia. Porvoo–Helsinki, 1968.
- Tarkka: *Tarkka, Pekka*. Paavo Rintalan saarna ja seurakunta. Helsinki, 1966.
- Teperi: *Teperi, Jouko*. Arvon mekin ansaitsemme. Jaakko Juteinin aate-maailman eräät päälinjat. Helsinki, 1972.
- Viljanen: *Viljanen, Mika*. Maan paino. Helsinki, 2009.



# ОТ «ДИКОСТИ» К «ДРУГОМУ»: К ЭВОЛЮЦИИ ОБРАЗА СИБИРИ И СЕВЕРА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

НИКОЛАЙ ВАХТИН

Исследователи, занимающиеся «североведением» (оно же Arctic Social Sciences), с некоторым опозданием по сравнению с антропологами, работающими на других широтах, осознали, что их объектом являются далеко не только «дикие», «нецивилизованные» и «удаленные от центра» народы — все слова в жирных кавычках! — но люди вообще. Применительно к Сибири и Северу мы все чаще слышим, что следует изучать не только классический этнографический объект — коренные народы, но и остальное население.

Семь лет назад один из ведущих британских антропологов профессор Тим Инголд выступил с докладом под названием «Манифест антропологии Севера», в котором призвал коллег не ограничивать свой объект только коренным населением региона, а изучать все население в его отношении к окружающей среде, территории и формированию коллективных и индивидуальных идентичностей [Ingold].

За год до этого в журнале “Sibirica” вышел обзор результатов международного круглого стола в Институте Макса Планка в Халле (Германия), авторы которого писали следующее:

Эта мысль — что социальная антропология Сибири не должна ограничиваться коренным населением, что и другие категории населения должны стать объектом исследования, что и городское население Сибири должно стать объектом социально-антропологического исследования не в меньшей степени, чем сельское или кочевое оленеводческое население — эта мысль проходила красной нитью через большинство дискуссий [Gray, Vakhtin, Schweitzer: 204].

Эта мысль может показаться самоочевидной, однако, как пишет автор одного из недавно вышедших социально-антропологических исследований о современной Чукотке, в социальных исследованиях постсоветского Севера, это не так: некоренному населению антропологи все еще уделяют недостаточно внимания [Thompson: 8].

Посмотрим с этой точки зрения на Сибирь, точнее — на образ Сибири и сибиряков, на те представления и ассоциации, которые эти понятия вызывают в сознании носителей современного русского языка.

Эта тема не нова. О семантике образа Сибири писали многие — см. прежде всего одну из первых работ на эту тему [Азадовский]; из более новых публикаций см. предисловие к сборнику “Between Heaven and Hell: The myth of Siberia in Russian culture” [Diment, Slezkine], а также некоторые статьи этого сборника, прежде всего [Gibson]. Этой теме посвящена диссертация Н. Н. Родигиной (см.: [Родигина 2006]; см. также [Родигина б.д.]). Ср. также недавнюю работу [Гудкова], написанную на материале классической русской литературы; статью Олега Николаева [Николаев], материалом которой послужили «народные» песни; а также несколько Интернет-публикаций [Эртнер; Фукс] и др.

Большинство работ на эту тему опирается на анализ литературных текстов. Однако с появлением Национального корпуса русского языка исследования по исторической семантике, по истории понятий на русском материале получили огромный легкодоступный круг источников. Объем Корпуса постоянно растет — сегодня он охватывает более 175 миллионов слов. Корпус сделан очень удобно для пользователя и позволяет в короткий срок собрать и проанализировать самые разные контексты употребления любого слова русского языка. Все мои дальнейшие рассуждения о семантике слов *Сибирь*, *сибирский*, *сибиряки* основываются на материалах этого Корпуса.

Начнем со словоупотреблений, современных описанной выше научной парадигме, т.е. материалов конца XVIII — начала XX вв.

Здесь необходимо сделать одно предварительное замечание. При анализе развития значений слова через Корпус исследователь замечает интересную особенность — не знаю, характерна ли она только для рассматриваемых слов, или это свойственно некоторым словам, или — что вероятнее — это вообще универсальная характеристика языка как хранилища знания. С течением времени у слова могут довольно быстро появляться новые значения, новые ассоциации, которые фиксируются в Корпусе в новых контекстах, однако старые значения и ассоциации либо не пропадают вовсе, либо пропадают существенно медленнее. Слово не меняет значение, а добавляет, *наслаивает* новые значения на старые, становясь все более нагруженным различными ассоциациями. Если в конце XVIII в. у слов *Сибирь*, *сибирский*, *сибиряки* мы находим некий определенный набор ассоциаций, то в конце XX в. их будут окружать не только те новые ассоциации, которые «наросли» на протяжении двухсот лет, но и прежние значения и ассоциации. С течением времени некоторые «старые» значения могут, конечно, исчезнуть, однако это процесс явно нелинейный: старые значения и ассоциации сохраняются у слова довольно долгое время, образуя наряду с новыми сложный и далеко не всегда логичный клубок семантических ассоциаций. Этим объясняется некоторая нестрогость хронологии приводимых ниже цитат.

В XVI в. словом **сибиряк** обозначали сибирских туземцев, тех противников, с которыми приходилось воевать. Этих материалов в Корпусе нет, однако об этом можно судить по словоупотреблению в исторических текстах: так, историк Костомаров (1862), описывая завоевание Сибири, пишет: «...казаки выстрелами разогнали другую толпу **сибиряков** и взяли в плен предводителя их...»; и далее: «Казаки увидели против себя такое множество врагов, что приходилось тридцать **сибиряков** на одного казака...». (Однако у него же, в 1852 г., уже встречается и сочетание **русские сибиряки** — см. ниже.)

Самые первые упоминания слов *Сибирь*, *сибирский*, *сибиряки* в Корпусе — это цитаты из указов Петра I и из авторов XVIII в. Слово *Сибирь* употребляется здесь в основном как



географическое название, просто как название «страны»; слово *сибирский* сочетается со словами *хан, царство, народы, губернатор, история, география, деревня*. К концу XVIII в. появляются предметы, происходящие из этой новой страны — *сибирская яшма, сибирские самоцветы, сибирские меха, сибирская язва*.

В этот период Сибирь — это сравнительно новая территория, присоединенная другая страна, со своей географией, флорой и фауной, со своим населением. Страна, состоящая из «...неосвоенных в когнитивном, цивилизационном и образном отношениях пространств» [Замятин]. Страна дикая, нуждающаяся в цивилизаторских усилиях новых хозяев, населенная в основном дикарями. Страна с тяжелыми условиями жизни, пребывание в которой может быть либо вынужденным, либо, если оно добровольное, то причина этого — возможность быстро сделать себе состояние, разбогатеть.

Сибирь устойчиво ассоциируется со словом «ссылка»<sup>1</sup>:

... кабы я был большим боярином, так **управил** бы его в **Сибирь**... (Новиков, 1775)<sup>2</sup>;

...спешу отправить его в **ссылку** на вечное житье в дальнейший **Сибири** край и весьма в худое место... (Шаховской, 1766);

Он пал при начале войны прусской, лишен был всех чинов и достоинств и сослан в **ссылку в Сибирь**... (Болотов, 1800).

Эти ассоциации устойчивы до сих пор, и фиксируются в словарях и лексикографических статьях, ср.:

...отметим нежелательность использования для называния коммерческих предприятий собственных имен с *пейоративной коннотацией* <курсив мой. — Н. В.>. Так, неудачно название магазина косметики Сибирь, поскольку лексема «Сибирь» сохраняет значение «тяжелая работа, каторжный труд» [Долганова].

<sup>1</sup> Во всех цитатах из Корпуса выделено мною.

<sup>2</sup> Фамилия автора и год в круглых скобках — это не ссылки на конкретные издания, а отсылки к Корпусу: цитата принадлежит данному автору и ориентировочно датируется указанным годом.



При этом в Сибирь, повторяю, можно поехать и добровольно, но обычно — ненадолго и с целью разбогатеть. В пьесе Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781) один из персонажей (Стародум) говорит о Сибири: «...решил я удалиться на несколько лет в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечества; где требуют денег от самой земли, которая <...> платит одни труды верно и щедро» (д. 3, явл. 2).

Вообще,

...сибиряки-старожилы, вообще, как народ свободный, **богатый** и независимый... (Беляев, 1880);

...сибиряки народ богатый... (Шишков, 1932).

Сочетаний со словами *дикий*, *дикость* — тоже довольно много: в Сибири *дикая природа*, она населена *диким народом*, живущим на ее *диких пространствах*, исполненных *дикой красоты*, ср.:

...Вы только что из **дикой Сибири**. Ах, расскажите, как вы провели там прошлое Рождество? (Коллекция анекдотов: апокрифы о различных персонажах [1970–2000]);

Характеристическое достоинство этого уложения состоит в том, что в нем не забыты нужды и отношения всех сословий народа — от **диких инородцев**, коренных жителей **Сибири**, до богатых граждан и чиновников (Ф. В. Булгарин. Воспоминания [1846–1849]);

Их ждут Олекминск, Верхоянск, Нижнеколымск и улусы, заброшенные в самые **дикие** и непригодные для жизни **места Сибири**. (Народная воля. Социально-революционное обозрение. №№ 8–9 // Народная воля. № 8–9, 1882);

В последние десятилетия он <русский мужик. — Н. В.> усиленно принялся заселять **дикие пространства Сибири** (Ф. Сологуб. Публицистика разных лет [1904–1918]);

...**дикие красоты** Сибири (Павел Нилин. Интересная жизнь [1969–1980]);

...экстремальные приключения эстонского любителя **дикой природы** в **сибирской** тайге (Н. Сиривя. Мухи отдельно, котлеты отдельно (2003) // «Искусство кино», 2003.06.30).

Более или менее к тем же выводам приходят все авторы, анализовавшие слова *Сибирь*, *сибирский*. Так, Олег Николаев в известной статье [Николаев] пишет о текстах «сибирских» песен («По диким степям Забайкалья...», «Бродяга Байкал переехал...»), что они «(вернее, исполнительский подбор вспомнившихся куплетов) воплощают *семантический комплекс Сибири: дикость, первозданность природы — бродяжничество (бегство с каторги) — несметные богатства (золотоискательство) — сиротство — проклятье судьбы*» <курсив мой. — Н. В.>.

Очевидно, что, как только в России появилась этнография, она сразу обратила внимание на Сибирь: население Сибири оказалось для этнографии идеальным объектом. Народы Сибири были непохожи на «нас», никогда не контактировали с европейской цивилизацией, жили очень далеко, в диких и труднодоступных местах, да и сами были достаточно дикими, чтобы быть достойными описания...

Закончу этот раздел цитатой из знаменитой книги Юрия Слезкина, который пишет, говоря о «циркумпольных охотниках и собирателях»:

From the birth of the irrational *savage* in the early eighteenth century to the repeated resurrection of *the natural man* at the end of the twentieth, they have been the most consistent antipodes of whatever is meant to be Russian. Seen as an extreme case of backwardness-as-beastliness or backwardness-as-innocence, they have provided a remote but crucial point of reference for speculations on human and Russian identity... [Slezkine: IX; курсив мой. — Н. В.].

\* \* \*

Параллельно в семантике слов, связанных с Сибирью, начинают происходить изменения. В конце XVIII — начале XIX в. слово **сибиряк** начинает использоваться применительно к русским, в значении **сибирский уроженец**: если верить Корпусу,

первое такое употребление — автобиография Долгорукова (1788).

Тогда же, видимо, начинает формироваться и стереотип этого «сибирского племени»:

Вообще сибирское племя **здоровое, рослое, умное** и чрезвычайно **положительное** (Герцен, 1854).

Уже у Радищева находим контексты, свидетельствующие о том, что сибирские жители, сибиряки (уже не коренное население, а русские, родившиеся в Сибири) в сознании жителей Европейской России — это некое особое племя, со своими обычаями, особым характером и манерой поведения, со своим особым языком. Им, как и другим жителям империи, присущи некоторые черты, быстро становящиеся стереотипными, и «сибиряки» перечисляются через запятую с жителями других частей Империи, ср.:

Европейское просвещение Петербурга; не вовсе чуждое тщеславия хлебосольство наших великороссийских дворян; **простодушное гостеприимство добрых сибиряков**; ловкость и досужество удалых ярославцев, костромитян и володимирцев... (Загоскин, 1842);

Все мужики великой и малой Руси, суровые олончане и архангельцы, **крепкие сибиряки**, пылкие кавказцы, расчетливая Литва... (Яковлев, 1922).

Какие это черты?

Примечания достойно, что ныне сибиряки не столь становятся **гостеприимны** (Радищев, 1797);

Он принял от кучера две бутылки, поставил их на стулья и вошел в комнату **своеобразно, свободно, с шиком, свойственным сибирякам** (Гончаров 1855);

Хозяева, **простые крестьяне-сибиряки**, очень **радушно** нас приняли...; ...сибиряки-старожилы, вообще, как народ **свободный, богатый и независимый**, весьма **горды**, и малейшая обида и угроза их возмущает... (Беляев, 1880).

Откуда эти черты взялись — современникам понятно. Современники знали, что каждый народ имеет свой характер или народный дух и что характер народа формирует история, география и климат, а все это в Сибири — особое. Сочетания **сибирские холода, сибирская глушь, сибирская скука** появляются как устойчивые и всем понятные в середине XIX в., и это не может не накладывать особого отпечатка на «сибирский характер»<sup>3</sup>. Кроме того, в Сибири никогда не было крепостного права, всегда была вожденная свобода:

...благоденствию [Сибири] много способствовали страшный простор, девственная почва, огромные леса, бесчисленные стада крупного и мелкого скота, табуны лошадей, но все же **свобода** сибиряков, никогда не знавших крепостного права, **свободный труд** более всего способствовали их процветанию (Беляев, 1880);

Это был высокий, худощавый, крепкого сложения господин с самым простым выражением в лице, на котором, однако ж, нельзя было не заметить свойства **умных** сибиряков — некоторой дозы **хитрости** (Беляев, 1880);

За одним столиком сидели сибиряки, перед ними стояло с полдюжины порожних белоголовых бутылок, а на других столах более виднелись скромные бутылки с пивом... (Мельников-Печерский, 1875);

Недаром славятся сибиряки своей **смышленостью** и **промышленным характером** (Мельников-Печерский, 1875);

...типичный русский склад, хотя и с заметным оттенком той **храбрости** и «себе на уме», чем особенно отличаются все коренные **сибиряки-промышленники** (Мамин-Сибиряк, 1884);

Известно, сибиряки **отчаянные**, удержу в них нет (Мамин-Сибиряк, 1896);

---

<sup>3</sup> Это словосочетание — расхожий журналистский штамп, который используется сегодня в отношении всяких героев: военных, спортсменов, вообще людей, чего-то достигших, и даже в отношении породистых «сибирских» кошек — [cp. http://zoolife.com.ua/reviews50.html](http://zoolife.com.ua/reviews50.html).



...многие сибиряки, как я не разубеждался горьким опытом, **немножко гасконцы** <то есть безоглядные патриоты. — *Н. В.*>, чуть дело идет об их родине... (Станюкович, 1886).

Иными словами, сибиряки богаты, умны, хитроваты, предприимчивы, свободны и независимы, радушны, гостеприимны, просты и открыты, патриоты своей страны — то есть всем, ну, буквально всем отличаются от русских. Даже их язык отличается от привычного нам:

**Сибиряки** подметили некоторые общие черты в различных наречиях инородцев и из них составили особый сибирский жаргон (Ювачев, 1900);

Серое утро, небо в слоистых облаках, **сибиряки** говорят «морошно»! (Козлов, 1926).

После революции 1917 г. образ сибиряка медленно меняется. Теперь сибиряки — уже не **предприимчивые и хитроватые**, а скорее **солидные, крепкие, молчаливые, медлительные**, но **вспыльчивые** и по-прежнему **свободолюбивые**:

...Какие крепкие **сибиряки**! Главе семьи 61 год, и он хоть бы что... (Ильф и Петров, 1927);

...огромная **физическая** сила сибиряка была большим достоинством, — он свободно мог сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже двоих (Казакевич, 1946);

По возвращении в Петербург мы заметили, что стали «**сибиряками**», многое повидали и переросли своих сверстников-петербуржцев (Игнатьев, 1947);

...**сибиряки** к нежностям не приучены... (Астафьев, 1974);

И молчал он так, как могут молчать только **сибиряки**, — привычно, длинно, отчужденно... (Липатов, 1967);

Оба, по-видимому, **сибиряки**, крайне медлительные и крайне молчаливые... (Маканин, 1988);

...**сибиряки** — спокойные люди со здоровыми нервами... (Львов, 1981);

...яростные характером **сибиряки** с досады хряпали ценную посудину оземь... (Астафьев, 1999);

Пожалуй, так, как тюрьмы ненавидят **сибиряки**, их не ненавидит никто (Евтушенко, 1999).

Очевидно, этими изменениями образ сибиряка обязан войне, в частности — известному мифу о сибиряках, которые спасли Москву. Корпус полон цитатами, прославляющими военные доблести сибиряков: они — идеальные солдаты, мужественные и стойкие, рослые и сильные, их невозможно обратить в бегство, потому что у себя в Сибири они и не такое видали. Вот характерная цитата — интересная еще и потому, что автор передает разговор детей:

— А под Москвой **сибиряки** немцев причесали, — говорит Сашка. — **Сибиряки** все одного роста, — говорю я, — метр восемьдесят. И когда шли **сибиряки**, немцы катились на запад без остановки. Я знаю. Потому что **сибиряки** стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники (Окуджава, 1960).

Об этом же говорил и бывший президент России, вообще чрезвычайно чуткий ко всякого рода стереотипам:

Владимир Путин на вопрос: «Какие у Вас вызывает ассоциации Сибирь?» — сказал следующее: «Был старый фильм, к сожалению, я уже не помню его названия, где немецкий генерал рассказывает своему коллеге о причинах поражения под Москвой. Как мы помним из истории, в самый критический момент обороны Москвы подошли сибирские части. Так вот этот генерал говорит своему товарищу: “Представляешь: на улице минус 40 градусов, а они — без перчаток”. Дело, конечно, не в **морозостойкости** людей, которые живут на этой территории. Дело в том, что мы называем “сибирским характером”. Ведь есть устойчивое выражение в России — “сибирский характер”, с **положительным зарядом**. Когда мы говорим “сибирский характер”, мы подразумеваем явно позитивное. Это человек, который **имеет свои убеждения, не боится открыто их высказывать** и бороться за них, причем не агрессивным образом. Человек, который руководствуется в жизни **неиспорченными, на мой взгляд, представлениями о добре, зле, о честности, порядочности**. Поэтому для меня Сибирь — это прежде всего сибиряки» (Путин В. В. Эксклюзив-

ное интервью корреспондентам сибирских телекоммуникаций. 29 августа 2002 г., г. Междуреченск, Кемеровская область).

Они, сибиряки, вообще не совсем люди — например, они способны выпить огромное количество алкоголя:

...дикое [состояние], какое принимают **сибиряки** после 12–20 рюмок водки, стольких же рюмок разных вин и в придачу бутылку целиком шампанского... (Ильф и Петров, 1927).

У них несколько странные обычаи:

У **сибиряков** баня — первое средство от всех болезней, даже от тоски (Нилин, 1940).

И вообще они, несомненно, другие («Другие»): это, собственно, отдельный, непохожий на русских народ:

...москвичи, ленинградцы, киевляне, **сибиряки** и одесситы... (Ильф и Петров, 1927);

Хотя калмыки, башкирцы и казаки сразу же передались Хлопуше, **сибиряки и поляки** сражались стойко, почему и второй штурм оказался безуспешным (Шишков, 1939).

А вот современная цитата:

Он весь оттуда — из Сибири, этой уникальной смеси захолустья и мессианства, удаленности и остро понимаемой самости (Пашутин, 2008).

Даже живя в русских городах, они остаются сибиряками:

Неизменными посетителями этого трактира были все **московские сибиряки** (Гиляровский, 1934).

При этом нормальный человек в Сибири жить не может:

Знаю, что и в **Сибири** можно быть счастливым, когда сердце довольно и радостно, но веселый климат делает нас веселее, а в грусти и в меланхолии здесь скорее, нежели где-нибудь, захочется застрелиться (Карамзин, 1793);

Она увяла, как должен был увянуть цветок полуденных стран на **сибирском** снегу (Герцен, 1853).

Иными словами, сибиряки, несомненно, не русские — о чем современные исследователи пишут совершенно четко:

Со второй половины XVII в. и в течение всего XVIII века в сознании потомственных <сибирских. — *Н. В.*> старожилов... Родиной становится суровая «Матушка-Сибирь». Поэтому «сибиряк»... отражал и степень принадлежности к сибирской земле, и одновременно степень приспособления к сибирским факторам. В сознании сибиряков появилось два пространства — Россия и Сибирь<sup>4</sup>.

\* \* \*

Происходит, таким образом, два параллельных процесса. С одной стороны, меняется представление сибирской социальной антропологии о своем объекте. С другой стороны, меняется и сам образ «сибиряков». Антропология уже не занимается «дикими и наивными сибирскими дикарями» — но и сибиряки нынче не те «симпатичные туземцы», которыми они были когда-то в русском языке. Антропология, в отличие от социологии, по-прежнему подчеркнуто занимается «другими», но и сибиряки — по-прежнему «другие», хотя и не в том смысле, в каком они были «другими» 100 или 200 лет назад.

Не думаю, что следует пытаться установить между этими двумя процессами причинно-следственные связи, однако сам этот параллелизм мне кажется интересным: как бы ни воспринимались жители Сибири, какой бы стереотипный образ их ни возникал в русском языке и в сознании его носителей — они все равно остаются «идеальным объектом» для социально-антропологических исследований.

---

<sup>4</sup> Дроздов Н. В. Письмо автору статьи от 12 апреля 2010 г.



## ЛИТЕРАТУРА

- Азадовский: *Азадовский М. К.* Поэтика «гиблого места» // Очерки литературы и культуры Сибири. Иркутск, 1947. Вып. 1.
- Гудкова: *Гудкова Е. Ф.* Хронотоп Сибири в русской классической литературе XVII–XIX вв. [Иркутск, ГОУ ВПО «ИГПУ»]  
[http:// guuu7.narod.ru/HS.htm](http://guuu7.narod.ru/HS.htm)
- Долганова: *Долганова А. Ю.* Процессы трансонимизации в эргонимии (на материале названий магазинов Ижевска) // Вестник Удмуртского университета. Филологич. науки. 2006. № 5 (2).
- Елачич: *Елачич Е.* Крайний Север как родина человечества. СПб., 1910.
- Замятин: *Замятин Д. Н.* Геократия. Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // Политические исследования. 2009. № 1. С. 71–90. [http://www.intelros.ru/intelros/reiting/rejting\\_09/material\\_sofi/4966-dmitrij-zamyatin-geokratiya-evraziya-kak-obraz-simvol-i-proekt-rossijskoj-civilizacii.html](http://www.intelros.ru/intelros/reiting/rejting_09/material_sofi/4966-dmitrij-zamyatin-geokratiya-evraziya-kak-obraz-simvol-i-proekt-rossijskoj-civilizacii.html)
- Николаев: *Николаев О.* Новый год: праздник или ожидание праздника? // Отечественные записки. 2003. № 1.
- Потебня: *Потебня А. А.* Язык и народность // Эстетика и поэтика. М., 1976 [1862].
- Родигина 2006: *Родигина Н. Н.* Образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX в.: Дис. докт. ист. наук. Новосибирск, 2006.
- Родигина б.д.: *Родигина Н. Н.* Образ Сибири в массовом сознании россиян во второй половине XIX в.: К постановке проблемы. Интернет-публикация. <http://history.nsc.ru/kapital/project/modern/006.html#tn3>
- Трубецкой: *Трубецкой Н. С.* Вавилонская башня и смешение языков // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995 [1923].
- Фукс: *Фукс Л. П.* Образ Сибири и российский культурный ландшафт // [http://old.nsaem.ru/Science/Publications/Science\\_notes/Archive/2008/3/471.pdf](http://old.nsaem.ru/Science/Publications/Science_notes/Archive/2008/3/471.pdf)
- Штернберг: *Штернберг Л. Я.* Этнография и социальная этика. [Рукопись лекции, прочитанной при открытии Института народов Севера. Около 1921 года] // Архив Российской Академии наук, СПб Филиал. Фонд 282. Опись 1. Ед. хр. 28.
- Эртнер: *Эртнер Е. Н.* Образ Сибири в русской литературе XIX века // <http://frgf.utmn.ru/last/No6/text16.htm>

- Burke: *Burke Peter*. Languages and Communities in Early Modern Europe. Cambridge, 2004.
- Diment, Slezkine: *Diment G., Slezkine Yu., eds*. Between Heaven and Hell: The myth of Siberia in Russian culture. New York, 1993.
- Gal: *Gal Susan*. Lexical innovation and loss: The use and value of restricted Hungarian // Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death / Ed. by Nancy Dorian. Cambridge, 1989.
- Gibson: *Gibson James R*. Paradoxical Perception of Siberia: Patrician and Plebeian Images up to the mid-1800s // Between Heaven and Hell: The myth of Siberia in Russian culture / Ed. G. Diment, Yu. Slezkine. New York, 1993.
- Gray, Vakhtin, Schweitzer: *Gray P., Vakhtin N., Schweitzer P*. Who owns Siberian ethnography? A critical assessment of a re-internationalized field // *Sibirica*. 2003. Vol. 3. № 2.
- Ingold: *Ingold Tim*. A Manifesto for the Anthropology of the North. Plenary Paper presented at 5<sup>th</sup> International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS V). Fairbanks, Alaska, 2004.
- Slezkine: *Slezkin Yu*. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Cornell University Press: Ithaca and London. 1994.
- Thompson: *Thompson N*. Settlers on the Edge: Identity and modernization on Russia's Arctic frontier. Vancouver; Toronto, 2008.
- Vakhtin: *Vakhtin Nikolai*. Franz Boas and the Shaping of the Jesup Research in Siberia // Gateways: Exploring the Legacy of the Jesup North Pacific Expedition, 1897–1902 / Ed. by Igor Krupnik & Bill Fitzhugh. Arctic Studies Center, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution: Washington, 2001.

# ЛИТЕРАТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ИМПЕРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ\*

ЛЮБОВЬ КИСЕЛЕВА

Нации — это сравнительно поздний вид групповой самоидентификации. В его создании участвуют культурные элиты данного сообщества, формирующие тот «национальный миф», который выполняет консолидирующую функцию и лежит в основе любой национальной самоидентификации<sup>1</sup>. Б. Андерсон подчеркивал роль «печатного капитализма» в этом процессе, сделав основной упор на газеты. С нашей точки зрения, не менее существенна художественная литература, которая является одним из важнейших средств строительства «национального мифа». Писатель — это одновременно и носитель мифа, и его создатель. Художественная литература — не этнографическое описание, и национальные образы строятся, конструируются в ней не столько на основании бытовых впечатлений о том или ином народе, сколько исходя из общих мировоззренческих установок, из литературной традиции и, наконец, из поэтики конкретного текста. Писатель отталкивается от стереотипов, созданных до него, и вносит в них свои изменения. Он конструирует образы, которые воспринимаются читателем как нечто органичное, почти что реально существующее или, по крайней мере, возможное в реальности<sup>2</sup>. Так,

---

\* Статья написана в рамках гранта ЭНФ № 7901 «“Идеологическая география” западных окраин Российской империи в литературе».

<sup>1</sup> О роли «национального мифа» в формировании нации и о средствах его создания см.: [Андерсон].

<sup>2</sup> Зачастую именно писатели становятся в глазах общества «отцами нации». На раннем этапе национального пробуждения эстонцев бесспорными лидерами нации были писатели Ф. Р. Фельман, Ф. Р. Крейцвальд, Л. Койдула, К. Р. Якобсон и др. Здесь и далее в центре нашего внимания будет эстонская культура.

на формирование национального самосознания эстонцев и даже на появление самоназвания *Eestlane* (эстонец), вместо прежнего *maamees* (мужик), или *Undeutsche*<sup>3</sup> огромное влияние оказала поэма Ф. Р. Крейцвальда «Калевипоэг» (1857–1861), которая стала восприниматься как исконный национальный эпос:

Эпос этот долгое время считался народным эпосом, наравне с Гомером, финским «Калевала» и пр., но это было недоразумение. Крейцвальд заимствовал материал из эстонских песен, сказок, преданий, «но сам Калевипоэг, каким он является в поэме, есть создание Крейцвальда <...> Народные предания знают о Калевипоэге только, что он отличался необыкновенною физическою силою и вел борьбу с нечистыми духами», автор присоединил идею возмездия [Отечество: 83].

Не менее важна и репрезентирующая функция национальной литературы, представляющей свой народ, так сказать, внешнему наблюдателю, поэтому степень ее доступности на иных языках, кроме родного, также становится важным фактором национального строительства. В условиях империи, когда национальным меньшинствам необходимо отстаивать свои позиции и доказывать свою культурную самостоятельность<sup>4</sup>, литература того или иного народа становится мерилom его зрелости, а его будущее во многом зависит от презентации его культурных достижений на общегосударственном уровне и на государственном языке.

Кроме того, поскольку в литературе в целом каждый народ существует как бы в нескольких «конкурирующих» зеркалах: в зеркале собственной национальной литературы (которая создает «портрет» нации) и одновременно в литературах других (в первую очередь, соседних) народов, от того, какой образ окажется более влиятельным, также зависят перспективы национального строительства.

---

<sup>3</sup> Так именовали эстонцев прибалтийские немцы (остзейцы).

<sup>4</sup> Что, в свою очередь, является первым шагом в борьбе за национальное самоопределение и собственную государственность.



Как известно, в Российской империи и в правительственной политике, и в общественном сознании с середины XIX в. постоянно боролись две (по сути своей — взаимоисключающие) концепции: идея многоэтничности (подчеркивание обилия наций и народностей, населяющих страну<sup>5</sup>) и идея моноэтничности (доминирования единственно полноценной титульной нации, с которой другие, в конечном итоге, должны слиться). Выход в свет такого научно-популярного труда, как «Живописная Россия...» [Живописная], содержавшего богатые сведения не только об этнографии, фольклоре, но и о современной литературе и культуре описываемых народов<sup>6</sup>, а также появление множества других изданий, прямо нацеленных на знакомство с национальными литературами, должны были закрепить в сознании русского общества мысль о существовании достойной внимания словесности национальных меньшинств и о возможности вписывания их в понятие всемирной литературы<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Этим имперским, в точном смысле слова, принципом руководствовалась еще Екатерина II, поощряя научные экспедиции для изучения окраинных народов России, а также издание трудов, вроде знаменитой книги И. Г. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей» (1776–1777). В научном отношении эти труды были продолжены Русским Географическим Обществом (основано в 1845 г.). Вряд ли следует оговаривать, что они также часто стимулировались политическим заказом и использовались в идеологических целях. К научным прибавились и краеведческие проекты. Издавалось и множество тенденциозных псевдонаучных брошюр (см., в частности: [Брюггеманн; Лескинен; Вишленкова]).

<sup>6</sup> Сказанное не исключает тенденциозности изложения — описываемые культурные достижения национального меньшинства часто служат доказательством мысли о благотворной роли имперского центра и титульной нации в этом процессе.

<sup>7</sup> См. характерный проект библиографа и переводчика Н. И. Бахтина (1866–1940), задумавшего серию «Маленькая антология» из 25 книг, из которых девять вышли в свет в 1895–1905 гг.: «Китай и Япония в их поэзии», «С чужих полей», «Мадьярские поэты»,

По мере углубления официальной политики русификации, идея того, что в России *много* национальных языков и литератур, становилась политически все более острой. Поэтому для идеологов, оппозиционных официальному курсу, было важно привлечь художественную литературу к своим построениям. Далее речь и пойдет о двух таких проектах, возникших на закате Российской империи.

Один из них — одновременно национальный и имперский — был представлен в 1916 г. в сборнике «Отечество. Пути и достижения национальных литератур России. Национальный вопрос», вышедшем в Петрограде (цензурное разрешение 11.03.1916) [Отечество]. Инициаторами и редакторами этого издания были знаковые фигуры: академик-лингвист И. А. Бодуэн де Куртене, лидер кадетской партии князь П. Д. Долгоруков, профессора-юристы — Н. А. Гредескул и В. Н. Сперанский, а также литератор и борец за права евреев Б. А. Гуревич. Трое из редакторов (Бодуэн, Гредескул и Гуревич) и еще знаменитый невропатолог акад. В. М. Бехтерев написали программные статьи<sup>8</sup>, составившие первую часть сборника.

Российская империя в том виде, в каком она существовала на протяжении своей истории, вызывала у авторов серьезную критику. Однако они не полагали, что выход из социальных и политических проблем мог быть найден в развале и ликвидации *империи*, их идея заключалась в преобразовании ее в новое демократическое государство, которое станет «отечеством» для всех живущих в ней народов. Соответственно, на

---

«Поэты Финляндии и Эстляндии», «Поэты Швеции», «Французские поэты», «Словацкие поэты», «Словинские поэты», «Песни ста поэтов. Японская антология». Для нас важно, что эстонская и финская поэзия [Поэты] соседствуют здесь с восточной и французской.

<sup>8</sup> Перечислим их заглавия, которые дадут некоторое представление об идеях книги: «Россия — творимая нация» (Гуревич), «Русский национализм и славянство» (Бехтерев), «Возможно ли мирное сожительство разных народностей в России» (Бодуэн), «Россия и ее народы» (Гредескул). Об этой части сборника см.: [Киселева 2011].

свободной основе будет создана и новая имперская идентичность. Эпиграфом к книге послужили слова Бодуэна де Куртене из другого сборника 1916 г. — «Эсты и латыши, их история и быт»<sup>9</sup>: «Как в голове одного человека, точно так же в любой стране могло бы ужиться рядом несколько языков, спокойно и дружно, и относиться друг к другу с полной терпимостью». Собственно, здесь и выражен основной программный тезис сборника «Отечество».

Авторы считали многонациональность Российской империи ее великим преимуществом перед мононациональными государствами. Однако, с их точки зрения, преимущество это до сих пор не использовалось властями. Более того, по мнению инициаторов издания, национальная политика правительства, основанная на подавлении национального достоинства, насильственной ассимиляции (русификации) населяющих страну народов, была контрпродуктивна и опасна. Авторы полагали, что если отказаться от силового давления, то можно будет мобилизовать имеющийся богатый культурный потенциал всех наций для их мирного и счастливого содружества — именно так они понимали новую имперскую идентичность.

Исторический контекст никак не способствовал подобному ходу мыслей. В период Первой мировой войны страна была охвачена антинемецкой истерией, ксенофобией и шпиономанией<sup>10</sup>. К массовому психозу «разоблачения» внешнего и внутреннего врага в обществе подключились антисемитские настроения, а также подозрения в адрес беженцев из западных регионов — поляков, литовцев, латышей, эстонцев. Подогреваемая прессой, близорукими действиями властей, плохо просчитывавшими последствия собственных пропагандистских шагов по мобилизации нации, эта атмосфера стала благодатной почвой для всеобщей подозрительности, отчуждения от власти и, в конечном итоге, — для развала империи и победы

---

<sup>9</sup> О нем см.: [Киселева 2009].

<sup>10</sup> См. замечательные исследования Б. И. Колоницкого [Колоницкий] и Уильяма Фуллера [Фуллер], которые на большом фактическом материале описали эту атмосферу.



большевиков<sup>11</sup>. Немногие политики и общественные деятели смогли тогда противостоять этим настроениям. Именно в таком контексте и появился интересующий нас сборник, каждой своей строкой противостоящий подобному дискурсу.

Основа концепции издания, как уже было сказано, — конструкция новой имперской идентичности. С точки зрения авторов, преимущество империи как многонационального государства, в отличие от унитарного, — в ее самодостаточности, и это обеспечивается разнообразием наций, языков и культур. Однако не только государство, но и народы, его населяющие, могут выиграть от этого многообразия региональных особенностей (природных и культурных) — путем взаимного обмена и обогащения. Вместе с тем, это окажется возможным лишь в том случае, если удастся решить национальный вопрос. Лейт-мотивом издания является мысль о том, что имперское строительство должно стать строительством национальным. Для решения национального вопроса, для сближения живущих в России народов и было предпринято издание сборника «Отечество».

К первой — теоретической — части примыкает вторая, как бы «иллюстративная», своего рода практическое доказательство верности исходных принципов. Это 500-страничная антология произведений из разных национальных литератур (литератур меньшинств). В обращении редакторов говорилось о необходимости «ознакомить широкие круги русского общества с теми бесчисленными культурными ценностями, которые накоплены вековой работой национальностей России».

В антологии представлены в русских переводах образцы финской, эстонской, латышской, литовской, польской, малорусской <sic> или украинской (знаково употреблены оба наименования!), еврейской (на иврите и на идише), польской и грузинской литератур. Каждый раздел снабжен квалифицированной вступительной статьей. Планировался и второй том, где должны были появиться образцы белорусской, мусульманской (так!), караимской, армянской, новейшей грузинской

---

<sup>11</sup> См. подробнее о последствиях «негативной интеграции общества»: [Колоницкий: 574].



и дополнительные обзоры и переводы польской, еврейской, «малорусской», литовской и др. литератур. Издатели надеялись выпустить и английское издание сборника, но этим планам уже не суждено было осуществиться.

Таким образом, по мысли инициаторов «Отечества», литература и культура могли и должны были стать противовесом политике русификации, разрушающей многонациональное государство и ставящей русский язык и культуру в ложное положение. Как писал Бодуэн де Куртене, в новом отечестве «нет господствующего русского народа; нет подчиненных ему неполноправных народов» [Отечество: 23]. «Поляк, литовец, еврей, татарин, армянин, грузин — может любить русский язык в такой же мере, как и свой родной», а «ненависть по отношению к какому-нибудь языку является пережитком дикого состояния, является перенесением своеобразного религиозного фанатизма в область нововекового общежития» [Там же: 25].

Итак, задача антологии, как будто бы, прикладная: наглядно проиллюстрировать культурные преимущества многонациональной страны. Однако — что знаменательно — решение задачи было связано с признанием *эстетической ценности* литератур других российских народов. Таким образом, литература выступает в антологии как искусство, а не как публицистика.

Есть и еще одна сторона, или третья составляющая проекта. Именно антология была призвана продемонстрировать, что в России существует не только великая русская литература, но и значительные, развитые, богатые *другие* литературы, без знания которых так же невозможно составить представление о культуре своей страны, как и без русской. Закладывались основы новой культурной парадигмы, новой системы эстетических ценностей, оппозиция «свое» — «чужое» получала (точнее — должна была получить) новое наполнение.

Однако у этого проекта, исходившего от конституционно-демократической партии, имелся «конкурент». В это же самое время, в том же городе Петрограде, развивался параллельный проект издания сочинений национальных меньшинств России. Он был задуман и воплощен М. Горьким, основавшим весной 1915 г. на собственные средства издательство «Парус». Про-

грамма его была очень широкой (Горький давно лелеял мечту об организации универсального издательства). В качестве девиза был выбран стих Некрасова «Сейте разумное, доброе, вечное», и под этим девизом осуществлялось печатание и философских, и естественнонаучных, и политических сочинений, и художественной литературы, а также собственного журнала «Летопись».

Среди многих начинаний этого замечательного издательства был и проект издания антологий национальных литератур. К их составлению и редактированию был привлечен В. Я. Брюсов, выступавший и в роли переводчика (сначала эта роль была предложена И. А. Бунину, но он отказался — см.: [Голубева: 166]). Для Горького издание подобной серии было давним замыслом. Он задумал ее еще в 1900-е гг., в издательстве «Знание», где предполагал напечатать сборники еврейской, грузинской, татарской, польской, латышской, армянской литератур [Пиксанов: 110–111]. Тогда этот замысел не осуществился, да и «Парус» успел выпустить только три сборника: армянский [Армянский] (цензурное разрешение 4.03.1916), латышский [Латышский] (цензурное разрешение 21.11.1916), и финский [Финский] (1917). Планировалось охватить очень многие литературы, но этим планам (как и продолжению «Отечества») помешала революция.

Любопытно, что в горьковских документах ничего не упоминалось об эстонском сборнике, однако С. Г. Исакову удалось установить, что такой сборник все же задумывался. Его составление было поручено Густаву Суйтсу<sup>12</sup>. Б. Линде, ведущий с Горьким переговоры, даже утверждал, что сборник был готов, хотя никаких его следов не сохранилось. Однако все же в газете «Постимезс» 14.05.1916 г. появилось сообщение о планируемом «эстонском альманахе» на русском языке, к состав-

---

<sup>12</sup> Характерно, что посредником в переговорах с Г. Суйтсом, жившим тогда в Хельсинки, являлся лектор русского языка и библиотечарь Гельсингфорсского университета, член РСДРП В. М. Смирнов, который организовывал транспортировку нелегальной литературы через Финляндию в Россию [Исаков: 10–11].

лению которого были привлечены Г. Суйтс, Ф. Туглас и Б. Линде [Исаков: 14]. Горький заказывал и статью об эстонской литературе «с общественным уклоном», написание которой Суйтс собирался поручить П. Руубелю [Там же]. Были составлены и доставлены Брюсову для перевода подстрочники эстонской лирики (их тексты также не сохранились). И все же С. Г. Исаков смог реконструировать возможный состав эстонского сборника по аналогии с другой, эстоноязычной, антологией Суйтса “Eesti Lugemisraamat”, вышедшей в Хельсинки в 1916–1919 гг. [Там же: 16–18]<sup>13</sup>.

Предприятие Горького было гораздо более широкомасштабным, чем у деятелей «Отечества». Каждый из его сборников по объему приближался к их антологии, включавшей восемь литератур. «Парус» привлек к переводам лучшие силы: В. Брюсов, А. Блок, В. Иванов, С. Шервинский, В. Ходасевич, Ю. Верховский, Л. Рейснер и др. Деятели «Отечества», насколько можно судить, новых переводов для антологии не заказывали, перепечатывали то, что имелось в наличии. Для отбора текстов при горьковском «Парусе» составлялись так называемые национальные комитеты [Голубева: 166], т.е. отбор осуществлялся носителями культуры. Однако состав этих комитетов, как и выбор авторов вступительных статей, был довольно специфическим.

Постараемся более детально сопоставить два проекта — «Отечества» и «Паруса». Между ними было много общего: оба пытались противостоять ксенофобии, хотели привлечь внимание к культуре, показать эстетическую ценность литератур российских национальных меньшинств и дать представление об их развитии от истоков до современности. Тем не менее, различия были гораздо более фундаментальными, и касались они идеологических установок.

Кадеты были сторонниками войны до победного конца и надеялись на солидарность всех народов России в ее продол-

---

<sup>13</sup> В статье С. Г. Исакова восстанавливается история знакомства Горького с Эстонией и эстонской культурой, а также финские контакты деятелей эстонской культуры в 1900–1910-е гг.



жении. Они исходили из презумпции сохранения империи, хотя и на новой, демократической и свободной основе. Сепаратизм они считали непродуктивным и стремились доказать, что путь взаимного обогащения будет более выгодным для национальных культур, чем курс на отделение от общего целого. Своих сотрудников для антологии — составителей разделов и авторов историко-литературных статей — издатели «Отечества» набирали в академических кругах. Это были университетские преподаватели или ученые — лингвисты, литературоведы, этнографы, фольклористы: акад. В. Н. Перетц, Эдуард Вольтер, Яан Йыгевек, Карл Тиандер, Иван Кипшидзе, Иосеф Клаузнер, Исидор Эльяшев, Николай Державин. Конечно, они были прекрасными знатоками своего предмета, но не всегда обладали «острым пером», которое необходимо для популярных и пропагандистских изданий. Хотя в целом все они придерживались общих установок «Отечества», однако жесткого идеологического контроля внутри сборника не существовало, и авторы были достаточно автономны в своих суждениях. Например, Карл Тиандер в статье о финской литературе дает ясно понять, что ее будущее зависит от европейского (а не от русского) контекста, от того, насколько удастся сохранить «шведский элемент», обеспечивающий Финляндии положение «старинного северного моста между Востоком и Западом» [Отечество: 26]. Цензура недаром вымарала финал его статьи. В начале Тиандер с сожалением говорит о родичах финнов — мордве, черемисах, — которые остались внутри России, вдали от европейской культуры, в первобытной дикости, и это вполне прозрачно указывает на отношение автора к российскому контексту.

Вступительные статьи в горьковских сборниках гораздо более радикальны. Их авторами, как и членами так называемых национальных комитетов были, в основном, марксисты или околomarксистские деятели, проводившие *антиимперские* идеи. Само издательство «Парус» имело репутацию крайне левого и оппозиционного, в основном, из-за последовательного антивоенного и антимилитаристского курса. Горький был решительно настроен против войны, поэтому в большевист-



ских кругах он воспринимался как «свой», а его издательство — как большевистское. Большевики и другие радикалы часто подвергали «Парус» и журнал «Летопись» критике за «отступления» от «единственно верного» курса, однако как раз «ошибки» («просветительство», увлеченность культурой) обеспечивали Горькому широкие литературные контакты, а его издательству — успех.

Все же в «национальном проекте» «Паруса» идеология давала о себе знать весьма ощутимо. В результате образовался зазор между группой переводчиков (которых приглашал, в основном, Брюсов) и теми, кто формировал список текстов для переводов и идеологию раздела. Например, как показала О. Д. Голубева, латышский национальный комитет вообще не включил в антологию стихов модернистов. Брюсов выступил со встречным предложением перевести произведения литераторов «нового искусства» — Эглитса, Фалия. С кандидатурой В. Эглитса комитет так и не согласился (выбрав Я. Акуратера), Фалия принял, зато добавил двух рабочих поэтов. Брюсов настаивал на том, что «у латышей-поэтов есть произведения более сильные, более яркие, более ценные, чем те, которые переведены или переводятся»<sup>14</sup>. Он выбирал тексты, исходя не из общественно-политической их значимости, а художественной ценности. Получился «конфуз» со стихами Райниса: национальный комитет хотел представить его как революционера, а Брюсов, который его переводил, отобрал лирические стихотворения [Голубева: 168]. В результате переговоров вместо изначально предложенных комитетом восьми поэтов в «Сборнике латышской поэзии» оказалось представлено 16 (от «младолатышей» до современности).

Надо отдать должное вступительной статье социал-демократа Яниса Янсонса-Брауна «Латышское общественно-культурное развитие и латышская литература». Она, несмотря на всю тенденциозность и «марксистскость», написана ярко и концептуально. Думается, не случайно А. Упит в 1930 г. вспомнил о ее положительной роли в популяризации латышской

---

<sup>14</sup> Письмо Брюсова в издательство цит. по: [Голубева: 168].

культуры [Голубева: 170]. Статья Янсонса давала читателю большой (но разумно дозированный) фактический материал о развитии латышской культуры от фольклора до современности. Автор не идеализировал ее достижений. «Правда, — писал он, — латышская культура еще молода и бедна, литература не может сравняться с литературой родины Ибсена», и все же как «латышский край уже не представляет собой глухого, снегом занесенного провинциального угла» [Латышский: 31], так и литература «переросла рамки этнографического рассказа» [Там же: 1].

Э. А. Вольтер, писавший о латышской литературе в антологии «Отечества», был поставлен в совсем иные условия — видимо, он был очень ограничен в объеме (его очерк в четыре раза меньше, чем у Янсонса), поэтому он отослал читателей к своей статье на ту же тему в энциклопедии Брокгауза-Ефрона и обещал продолжение во втором томе «Отечества». На малом пространстве текста Вольтер пытается упомянуть о многом, но связного запоминающегося рассказа у него не получилось. Тексты также представлены довольно однобоко: два рассказа Яна Порука, два его стихотворения, 10 стихотворений Райниса (в том числе, в переводах В. Эглитса и Э. Вирзы) и несколько народных «четверостиший» в переводе того же Эглитса.

Эстонская литература представлена в антологии «Отечества» гораздо более ярко. Составитель раздела и автор вступительной статьи Яан Йыгеве (Jaап Jõgeve, 1860–1924), или, как называли его по-русски, Иван Егеве — лектор эстонского языка (1909–1918) Юрьевского университета, один из основателей эстонского Тартуского университета и первый его профессор эстонского языка<sup>15</sup>. Как и многие православные эстонцы, он получил образование в Рижском духовном училище и семинарии, потом окончил Тартуский университет как сла-

---

<sup>15</sup> П. Аристе в обзорной статье о преподавании эстонского языка и о развитии финно-угроведения в Тартуском университете дает в целом положительную, хотя и сдержанную оценку его деятельности на посту лектора, а затем профессора эстонского языка (см.: [Ariste: 97–98]).

вист. В 1907 г. стал одним из основателей «Общества эстонской литературы», а в 1906 — инициатором и первым издателем журнала «Эстонская литература». Он, как и Вольтер, являлся автором соответствующей энциклопедической статьи в словаре Брокгауза-Ефрона, но со своей задачей в «Отечестве» справился, на наш взгляд, гораздо лучше.

Статья Ййегвера называется «Краткий очерк истории эстонской литературы», и название это концептуально<sup>16</sup>. Она подразделяется на параграфы, имеющие выделенные шрифтом названия: «эстонский народ», «время владычества немецкого ордена в Лифляндии», «народная словесность» и т.д., вплоть до последнего — «XX-е столетие». Структурированность текста, безусловно, облегчает восприятие и диктует определенный ритм чтения. Кроме того, статья написана живо, с личным одушевлением, но без полемических выпадов, свойственных статье Я. Янсона, о которой шла речь выше.

Концепция Ййегвера во многом близка к той, что была выражена в эстонской части сборника «Эсты и латыши, их история и быт»: весь путь эстонского народа изложен как путь к успеху, к европейской цивилизации, через противостояние немецкому господству. Правда, это не мешает Ййегверу отмечать заслуги немецких пасторов в развитии эстонского языка и письменности.

Для нашей темы ценно то, что Ййегвер четко описывает те способы, которыми создавалась неомифология и новый национальный эстонский миф. Назвав Ф. Р. Фельмана «отцом новой эстонской литературы», он пишет:

Вполне добросовестно отыскивая в эстонских народных верованиях то, что он хотел в них находить, но чего на самом деле не было, дополняя это заимствованиями из финских источников, Фельман создал стройную, но не выдерживающую ныне никакой критики эстонскую космогонию и эстонский Олимп, представив все это в очень живых образах и оказал этим громадное влияние на всю последующую эстонскую литературу. Наиболее популяр-

---

<sup>16</sup> В отличие от несколько аморфного заглавия статьи Э. Вольтера — «Латышская литература».



ный из этих созданий есть бог поэзии и музыки Ванемуине, общий любимец эстонцев, образованных и еле грамотных, на тысячи ладов воспетый, и как-то с трудом верится, что из-за этого симпатичного образа выглядит не тысячелетняя древность, а богатая фантазия Фельмана [Отечество: 82–83].

Как показывает Йыгевек на примере Фельмана и Крейцвальда, именно личное творческое начало, конкретный автор стоят за национальным мифом и тем самым формируют идею нации, национальное самосознание.

Подборка литературных текстов в эстонском разделе ориентирована на современную литературу: рассказы А. Х. Таммсааре («Значительный день»), Э. Вильде («Аттестация старосты Карла»), Ю. Лийва («Обыденная история»), отрывок из драмы А. Кицберга «В вихре», лирические стихотворения Л. Койдула, А. Хаава, Г. Суйтса, К. Сеэта и Ю. Лийва<sup>17</sup>. Она призвана продемонстрировать художественную полноценность, жанровое и стилистическое разнообразие молодой национальной литературы. Вместе с тем, подборка, по мысли составителя, должна раскрыть эстонский характер (стойкость, твердость перед жизненными невзгодами, чувство собственного достоинства, способность к глубоким любовным переживаниям), а также вскрыть социальные проблемы эстонского общества (отношение с господами-немцами, расслоение внутри самого крестьянства).

Однако литературе, по мысли Йыгевека, свойственна, говоря современным языком, не только консолидирующая функция в национальном строительстве, но и репрезентирующая. Литература становится проводником нации в мир большой европейской и мировой культуры. Недаром о «Калевипозге» говорится: «единственное произведение эстонской литературы, перешедшее в мировую литературу» [Отечество: 83]<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Подбор лирики отчасти совпадает с изданием [Поэты], однако переводы публикуются уже более совершенные.

<sup>18</sup> Мысль о том, что именно развитие культуры обеспечит будущее нации, является продолжением теоретического раздела сборника



П. Олеск в статье, посвященной 150-летию со дня рождения Я. Йыгевера, назвал его национальным деятелем с чувством миссии [Olesk] и напомнил о его резком противостоянии социал-демократическим идеям. Йыгевек, действительно, служил национальной идее, но во всяком случае на момент написания статьи в августе 1915 г. был вполне солидарен с либеральной кадетской идеей преобразования империи. Свою статью он завершает рассуждением о будущем. Автор выражает уверенность, что когда «русский народ <...> свои права себе отвоюет», тогда эстонцы, «не выпрашивая подаяний из милости», будут «в праве рассчитывать на получение того и в той мере, чего и в какой мере они заслужили, соответственно вкладу, внесенному им в общую сокровищницу всех народов единой Российской Империи» [Отечество: 89]. То, что вскоре, когда ситуация резко изменилась, Я. Йыгевек, как и другие деятели эстонского национального движения, стали действовать по иному сценарию, вряд ли можно поставить им в вину. Именно негибкость и неумение идти навстречу меняющимся обстоятельствам привели русских либералов к поражению.

Имперский национальный проект потерпел неудачу. И дело не только в военных обстоятельствах, в вечной косности и самоубийственности российской правительственной политики, даже не в том, что «поздно спохватились» — протесты против русификации, как и издания разного рода сборников и антологий национальных литератур с 1880-х гг. имели место постоянно. Национальная идея обладает огромной консолидирующей силой, когда надо собрать воедино один этнос и создать из него нацию. Но в многонациональном государстве, как показывает история не только Российской империи, рано или поздно рождается много национальных идей. Проект кадетов, проект «Отечества», был утопическим и заранее обреченным на провал. Национальное и имперское строительство — это, как мы однажды уже подчеркивали [Киселева 2009: 337], *contradictio in adjecto*.

---

«Отечества» и проходит через многие литературные статьи — Тиандера о финской, Вольтера о латышской и др.

## ЛИТЕРАТУРА

- Андерсон: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2002.
- Армянский: Сборник армянской литературы / Под ред. В. Брюсова, М. Горького. Пг., 1916.
- Брюггеманн: *Брюггеманн К.* Эстонцы в русских этнографических описаниях конца XIX века // *Acta et commentationes collegii Narovensis*: Межкультурные контакты: история, методология, прагматика. Нарва, 2006.
- Вишленкова: *Вишленкова Е.* Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011.
- Голубева: *Голубева О. Д.* Книгоиздательство «Парус» (1915–1918) // Книга. Исследования и материалы. М., 1966. Сб. 12.
- Живописная: Живописная Россия — отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. В 19-ти кн. СПб., 1881–1901.
- Исаков: *Исаков С. Г.* О попытке М. Горького и В. Брюсова издать в 1916–1917 гг. сборник эстонской литературы // Труды по русской и славянской филологии. XIII: Горьковский сборник. К столетию со дня рождения (1868–1968). Тарту, 1968. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 217).
- Киселева 2009: *Киселева Л.* Империя как пространство для национального строительства (на примере одного издания) // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VII. Новая серия. Тарту, 2009. С. 337–360. *Humaniora: Litterae Russicae*.
- Киселева 2011: *Киселева Л.* Сборник «Отечество» как проект национального строительства империи (в печати).
- Колоницкий: *Колоницкий Б.* «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой Мировой войны. М., 2010.
- Латышский: Сборник латышской литературы / Под ред. В. Брюсова, М. Горького. Пг., 1916.
- Лескинен: *Лескинен М. В.* Образ финна в российских популярных этнографических очерках последней трети XIX в. // Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Новгород, 2004.
- Отечество: Отечество. Пути и достижения национальных литератур России. Национальный вопрос / Под ред. проф. И. А. Бодузна де Куртенэ, проф. Н. А. Гредескула, Б. А. Гуревича, кн. П. Д. Долгорукова, проф. В. Н. Сперанского. СПб., 1916. Т. 1.

- Пиксанов: *Пиксанов Н. К.* Горький и национальные литературы. М., 1946.
- Поэты: Поэты Финляндии и Эстляндии / Под ред. Н. Новича [Бахтин Н. И]. СПб., 1898. 160 с. Серия: Маленькая антология. № 13.
- Финский: Сборник финляндской литературы / Под ред. В. Брюсова, М. Горького. Пг., 1917. 490 с.
- Фуллер: *Фуллер У.* Внутренний враг: Шпиономания и закат императорской России. М., 2009.
- Ariste: *Ariste, P.* Eesti keele ja soome-ugri keelte õpetamisest ja uurimisest Tartu ülikoolis (1802–1952) // Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Tallinn, 1954. Vihik 35 (Ajaloos-Keelteaduskonna töid).
- Olesk: *Olesk, P.* Asjadest ajalooliselt // Meie maa. Saare maakonna ajaleht. 2010. 5.07  
<http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=2&artid=37131>

# ТРАКТОВКА ФИНСКОГО ЭТНОСА В ТРИЛОГИИ А. А. ШАХОВСКОГО «ФИН» И ЕЕ ИСТОЧНИК

ДМИТРИЙ ИВАНОВ

Трилогия А. А. Шаховского «Фин» не раз попадала в поле зрения исследователей, благодаря источнику своего сюжета — исповеди Финна из 1-ой песни поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (см.: [Дурылин: 9–13; Горобцова: 96–97; Реппо-Шабарова 1998; Kiseleva: 38–39; Денисенко]). Естественно, что изучение пьесы первоначально сводилось к выявлению в ней пушкинской составляющей, но в последнее время интерес стала вызывать и концепция самого драматурга, в том числе изображение Шаховским финских обрядов, финского этноса и главного героя — финна. К этой проблематике независимо друг от друга обращались Л. А. Федоровская [Федоровская] и М. В. Реппо-Шабарова [Реппо-Шабарова 2001]. В их работах были намечены 3 основных направления изучения пьесы: 1) анализ трансформации пушкинского сюжета; 2) рассмотрение «Фина» в контексте идеологии и творчества Шаховского; 3) выявление возможных этнографических источников создания финского колорита. Уточнить некоторые наблюдения предшественников — цель нашей статьи.

Как не раз отмечалось, исповедь Финна послужила лишь сюжетной канвой для трилогии Шаховского. Он конкретизировал время и место действия — «на Финском берегу, в начале X века» [Шаховской 1824: 1] — и разделил свою пьесу на три части, события которых соответствовали трем попыткам пушкинского героя завоевать сердце гордой Наины.

Первая часть, «Пастух»: финн Тавальс — пастушок, играет на свирели и страдает от любви. Он изъясняет свое чувство идилическими штампами: «Давно ль овец моих уносят злые



волки?»; «Зачем не слышится мой голос за дубравой?» [Шаховской 1824: 9] и проч., но взаимности Наины этим он не добивается и решает попытать счастья в воинских подвигах.

Вторая часть, «Герой»: финн возвращается со славой и добычей, но вновь находит холодный прием красавицы, которую успели прельстить своими рассказами о европейской жизни ганзейцы. Потерпев очередную неудачу, Тавальс решает испытать силу колдовства.

Третья часть, «Колдун»: 40 лет спустя престарелый Тавальс, овладев искусством магии, влюбляет в себя Наину, но вместо красавицы духи приносят ему «старушку дряхлую, седую» [Пушкин: 27; Шаховской 1824: 48]. Финал, в отличие от пушкинского, Шаховской меняет на счастливый — покровитель финна кудесник Будунтай возвращает влюбленным молодость.

Все остальное в пьесе — изобретения самого Шаховского. По сути, из «Руслана и Людмилы» он заимствует лишь «анекдот», восходивший у самого Пушкина к Вольтеру [Проскурин: 103–104]. «Фин» строится по модели «исторической» или «анекдотической» комедии. В 1824 г. Шаховской активно эксплуатировал эту разновидность жанра [Иванов: 117–124]: для бенефиса Валберховой 23 января он написал «анекдотическую комедию» «Ты и Вы. Послание Вольтера, или Шестьдесят лет антракта», сюжет которой также завершался встречей престарелых влюбленных, спустя 60 лет после расставания — с аналогичным испугом:

*Вольтер встает с кресел, Аглая подымает вуаль, и они, взглянув друг на друга, вскрикивают и отодвигаются.*

**Вольтер.** Неужели эта дряхлость — Аглая?

**Аглая.** Как! Эта мумия — Арует?

[Шаховской 1999: 174]

В этой комедии автор воспроизводил подробности биографии Вольтера, а стихи давал в своем переводе [Арапов: 353–354].

Для того же январского бенефиса драматург написал еще одну пьесу — «Фингал и Розкрана, или Каледонские обычаи», как и «Фин» — в трех частях, с пением, хорами, поединками,

морвенскими обычаями и великолепным спектаклем, взятую из «Песен Оссиановых». Эта «драматическая поэма» была написана такими же, что и «Фин», разностопными стихами, а спектакль был оформлен в «оссианическом» колорите с костюмами Бабини и музыкой Кавоса и Кателя [Арапов: 353]. В основе сюжета лежал любовный треугольник и борьба «диких» жителей Морвены против нашествия римлян (с прямыми аллюзиями на войну 1812 г.) [Макферсон: 403–409, 573–574]. Северная экзотика «Поэм Оссиана» после трагедий В. А. Озерова была уже привычной на русской сцене, как и метонимия «жители Севера — русские».

Еще одной пьесой Шаховского, требующей упоминания в данном контексте, является «Аристофан, или Представление комедии “Всадники”». Комедия в трех действиях, «в древнем роде», «в разностопных стихах» — она должна была воспроизводить на сцене жизнь древних афинян [Шаховской 1828: IV]. К 1824 г. работа над этим эпохальным для драматурга текстом уже подходила к финалу. Первые отрывки комедии были им опубликованы в начале года на страницах популярных альманахов [Шаховской 1961: 786]. В «Мнемозину» автор отдал несколько хоровых сцен и пролог — изображение вакхических обрядов. Позднее в примечаниях к отдельному изданию пьесы он пояснял:

Действие Пролога составлено из древних обрядов, Амфистерии, дароприношения Вакху и освящения чаш. В сем последнем Жрец показывает народу пустые чаши, которые он осушает над огнем, запечатывает священным перстнем и уносит в святилище; а на другой день выносит сии чаши полные вином, приписывая сие чудо Вакху. См. *Les fêtes et Court<isanes> de la Grece*, и ссылки, находящиеся в сем сочинении. Слова хоров взяты из Эврипидовой трагедии: Вакханки, откуда Ж. Б. Руссо заимствовал свою кантату *Bacchus* [Шаховской 1828: 160].

Пролог и междудействия, прямо не связанные с фабулой пьесы, Шаховской использовал в качестве важного элемента для создания древнегреческого колорита. Он пояснял: «Желая как можно быстрее перенести воображение зрителей в Афины, я тотчас представил их взору греческие древние обряды, занял

междудействия Вакхическими играми, которых изображение мы привыкли видеть в картинах, барельефах и эстампах» [Шаховской 1828: VIII]. В качестве источников драматург использовал вполне достоверные для своего времени издания — «Театр Греков» Брюмуа, «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» Бартеlemi и приложение к нему «Празднества и Куртизанки Греции». Последнее, например, содержало описания религиозных обрядов, танцев, одежд, частной и общественной жизни древних греков, а также «анакреотических песен» с музыкой Мегюля [Fêtes et courtisanes]. Подавляющее большинство терминов (напр., ликофоры, кенефоры, архонты, иоифаллы, филофоры, сикофанты) и имена героев — были взяты Шаховским из тех же источников. Растраченный исторический анекдот о том, как Аристофан из-за трусости актеров должен был сам играть роль могущественного Клеона в комедии «Всадники», у русского автора наполнялся этнографическими деталями, создавая нужный эффект достоверности [Иванов: 121–123].

О такой функции прологов и междудействий, а также об ориентации Шаховского на источники важно помнить, переходя к анализу «Фина». Однако именно этнографическая трактовка финского народа вызывала у исследователей недоумение, т.к. почти все имена героев, богов и формы представляемых обрядов имели не финское, а литовское и балто-славянское происхождение [Реппо-Шабарова 2001: 27–31; Федоровская: 75–76]. В современной науке они известны по труду Яна Ласицкого «De diis samogitarum» (1615). Исключение составляли пушкинская Наина и самые общие — распространенные даже среди населения Петербурга — слова Юмелла/Юмалла и Курат. При этом оформление спектакля должно было воспроизводить именно финский колорит. «Московские ведомости» так писали о представлении трилогии в 1831 г. на московской сцене:

Вся музыка пения, общих танцев, мелодрам и пантомимы г-на Кавоса; балеты, полеты, финские обряды и игры Глушковского, декорации Иванова, машины и полеты машиниста Шрейдера, *финские костюмы* по рисункам Локуэса. *Пастух*, часть 1 <...>



с Прологом, вмещающем в себе: Поклонение Вайжигинтосу (чудскому божеству растений) и праздник Лады (соответствующий русскому Семику), составленный из народных обрядов, песен, плясок и игр с венками, представляющих выбор невест. *Герой*, часть вторая, <...> с Интермедией, изображающей жертвоприношение Гортоайтису (покровителю кораблей), составленный их хоров и плясок около возженного корабля и прыганья по финскому обычаю через огонь. *Колдун*, часть третья, с окончательным праздником в волшебном ветрограде и дивертисманом. Балеты постановки Шарля Дидло (цит. по: [Федоровская: 73]).

Возникает естественный вопрос — зачем при таком внимании к «финскости» монтировки Шаховскому нужно было превращать финнов в литовцев? Было ли это сделано сознательно? и какой несло в себе смысл? Очевидно, чтобы решить эту проблему, нужно найти источник, которым пользовался драматург.

К 1820-м гг. сведения о финнах, их происхождении и быте можно было почерпнуть во всех описаниях Российской империи. При этом о верованиях и языческих обычаях, как правило, сообщалось мало. Например, И. Г. Георги в «Описании всех обитающих в Российском государстве народов» (1776–80) сообщал:

*Древние Финны были <...> ревностные Идолопоклонники <...> Под именем Юмара и Юмалы почитали они общаго Бога, да и во обще слово, Юмар, знаменует Бога. Некоторые изображали его в виде великаго, с золотым ожерельем, истукана. Торе было, подобное сему, божество, и может быть тот же самый Юмар, под другим только именем. У них было много и низшей степени Богов, которым они всем вообще приносили жертвы. Некоторые из Идолов их стояли в пещерах каменных гор. — Они веровали так же в диавола, и обще с Лопарями называли его Перкелом и Пейком (адским Богом); простой же степени Богов нарицали Маагинами, сиречь не чистыми духами [Георги: 18].*

На русском языке подробные исторические сведения о происхождении финнов можно было найти в статье академика А. Х. Лерберга «О жилищах Еми. Дополнение к истории новой Финляндии», опубликованной в переводе с немецкого



Д. Языковым в 1819 г. [Лерберг], где подробности языческих верований финнов также не приводились.

Наиболее естественным для драматурга было бы обратиться к основополагающему труду К. Т. Ганандера *“Mythologia Fennica”*, изданному в 1789 г. в Або. Хотя изначально он появился по-шведски, в 1821 г. в Ревеле был напечатан его перевод на немецкий язык К. Я. Петерсеном. К тому же это издание было снабжено словарем-указателем всех богов, богинь, героев, духов и проч., упоминавшихся в книге [Ganander: 115–128]. Несмотря на это, кроме растиражированного имени *“Jumala”* — «высшего Бога» [Там же: 119], более ни одного пересечения «Фина» с книгой Ганандера не обнаруживается.

Л. А. Федоровская высказала интересную версию о том, что Шаховского мог познакомить с какими-то этнографическими материалами прибывший в 1820 г. в Петербург молодой лингвист и собиратель финского фольклора А. Й. Шёгрэн. Он принимал участие в работе т.н. «румянцевского кружка», где активно занимались именно финской темой и куда входили некоторые знакомые драматурга (напр., П. И. Кеппен [Иванов: 105]). В 1821 г. он опубликовал в типографии Н. И. Греча на немецком языке работу «О финском языке и литературе». Все это, как полагает Федоровская, делает Шёгрена потенциальным «научным консультантом» для сочинителя «Фина» [Федоровская: 80]. Хотя никакими свидетельствами, подтверждающими факт этого знакомства, мы не располагаем, следует согласиться, что Шёгрэн мог подсказать нужные драматургу специальные книги. Как правило, даже при наличии живого консультанта (такого напр., как И. А. Дмитриевский) Шаховской предпочитал опираться на печатные источники [Иванов: 138].

Такой вероятный источник Федоровская упомянула в своей работе. В прологе к первой части Шаховской, по точному наблюдению исследователя, воспроизвел литовский обряд поклонения Вайжгинтосу — богу «конопли и льна» — совпадающий с описанием из труда Фридриха Крейцера «Символика и Мифология древних народов, в особенности греков»:

Три дня в Литве проводится начинаемый девушками праздник бога Вайжгантоса (Waizganthos). Самая высокая девушка напол-

няет свой фартук пирогами, называемыми «сике», лепешками, становится одной ногой на стул, в левой руке имеет длинные ветки липы <...>, которые она еще поднимает вверх, и в правой руке — кружку пива. В этой позе она просит: <...> «Вайжгантос, дай нам высокую коноплю, как я, и не оставь нас ходить наги-ми!» <...> При этом она выпивает пиво, вторично наполняет кружку, льет ее на землю для бога и его духов. Если при этом девушка крепко стоит на ноге, то это хороший знак, шатание и переступание на другую ногу говорит о нехорошей конопле на следующий год [Creuzer-Mone 1819–1823: V, 89]<sup>1</sup>.

Именно этот обряд совершает в начале пьесы Наина в окружении жрецов и хора финских пастушек.

*В цветочном венке, с поднятою вверх кружкой, стоит на одной ноге и говорит:*

Ростений Бог! Роди на нашем поле  
И Конопель и Лен такой же высоты,  
Как я теперь; спаси от наготы  
Наш Финский край; в твоей все воле,  
Все можешь ты.

Ей вторит хор, после чего Наина отпивает из кружки мед и «В хвалу Перкуну и Юмелле» проливает его «на землю», а затем «в честь и Лаиме, и Декле» раздает пастушкам «аладьи» — «дары земеника». За удачное выполнение обряда Наину хвалит главный жрец Вейделот<sup>2</sup>:

Ты к нам смягчила Небеса,  
Держась твердо над землёю  
Твоею легкою ногою.  
Так, будет урожай и Конопель и Льна  
[Шаховской 1824: 2 об.].

Такое точное воспроизведение далеко не самого известного обряда, очевидно, указывает, что Шаховской пользовался указанным изданием Крейцера. Однако это наблюдение исследователя требует уточнения.

<sup>1</sup> Перевод по [Федоровская: 77].

<sup>2</sup> Написание «Вейделет/Вейделот» в цензурной рукописи варьируется на всем протяжении текста.

Прежде всего следует отметить, что 6-томный труд «Символика и мифология», выходявший с 1819 по 1823 гг. в Лейпциге и Дармштадте, состоял не только из работ гейдельбергского профессора Крейцера по мифологии древних греков. Последние 5–6 тома представляли собой отдельное сочинение Франца Йозефа Моне под названием «История язычества в северной Европе». Оно имело дополнительный титул и свою нумерацию томов (1–2), и могло распространяться отдельно от издания Крейцера (напр., в библиотеке В. Скотта были только эти два тома [Abbotsford: 48]). Кроме того, еще до выхода двухтомника в 1822 г. вместе с сокращенным вариантом «Символики и мифологии» был опубликован сжатый «Обзор истории язычества в северной Европе» [Creuzer-Mone 1822], излагавший основную концепцию Моне. Сами по себе труды молодого ученого оказались не менее популярны, чем издание его учителя. Как писал в 1827 г. «Московский телеграф», реферируя краткий «Обзор»: «Крейцер признал его <Моне> достойным продолжателем своих трудов, и кажется, это сочинение его может навести исследователя Истории древних Северных народов на многия истины» [МТ: 168]. Романтический северный и немецкий колорит, экзотические имена богов и духов пришлись точно ко времени.

Интересующий нас 5-й том «Символики и мифологии» имел подзаголовок «Религии финских, славянских и скандинавских народов». В первой части книги подробно говорилось о мифологии, обрядах и магии «Финского племени», к европейским представителям которого Моне относил финнов, эстов, лапландцев, ижорцев, пермяков, венгров, леттов (латышей), литовцев, ливов, курляндцев, пруссаков, а также народы Сибири [Creuzer-Mone 1819–1823: V, 7–12]. Характерно, что использованный Шаховским обряд поклонения Вайжгintosу был описан в 4 главе о религии Литовцев и Пруссиков. Из подробного же описания собственно финнов (глава 2) драматург не взял ничего. По какой-то причине его внимание сосредоточилось на литовцах и на описаниях религий славян — но, что характерно, не русских, а жителей Польши и Силезии. Именно



из этих частей [Creuzer-Mone 1819–1823: V, 82–98, 131–155] было взято большинство имен героев «Фина»:

Тавальс (Tawals) и Дотанус (Datan) — боги процветания и богатства.

Ауско (Ausca) и Белзеа (Belzea) — богини утра и зари (из окружения Перуна).

Алгес (Algis) — существо посредник между богами и людьми.

Модейна (Modeina) — лесное божество.

Будунтай (Budintaia) — мифологический персонаж, разбудивший людей ото сна.

Креморо (Kremara) — покровитель свиней.

Бабилос/Болбилос (Babilos) — пчел.

Кернис (Kirnis) — вишен.

Айтварос (Aitwaros) — горный дух.

Хрив (Criwe/Criweito) — верховный жрец у пруссаков<sup>3</sup>.

Шаховской использовал экзотические имена богов и божеств исключительно с целью создания колорита, вне их исконной семантики и происхождения. Причин для такого не вполне очевидного выбора, по нашему мнению, могло быть несколько.

Во-первых, чисто техническая. Вряд ли нашелся бы в пушкинскую эпоху русский драматург, способный использовать в стихотворном тексте пьесы исконно-финские имена божеств в том виде, как их приводил Моне: Wäinämöinen, Ilmarinen, Joukkawainen, Ukko, Säppä, Herhiläinen, Pellonpeko, Wieracannos, Hissi, Veden Emä, Pohjolan Emendä и проч. [Creuzer-Mone 1819–1823: V, 53–65]. Балто-славянская мифология лучше ложилась в стихотворный размер и, возможно, более походила на привычные оссианические созвучия<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> К труду Моне восходят также: *Гандо* (Gondou), *Валгинос* (Walgino), *Вейделом/Вейделет* (Waidelott), *Вайгинтос/Вайжгинтос* (Waizganthos), *Лада/Ладос* (Lado), *Пекрун* (Perkunos). Нам, однако, не удалось обнаружить следующие имена: *Гордоайтис/Гордоайнис*, *Декла*, *Лайма*, *Кауне*, *Келу-Девос*, *Аилос*, *Перголос* — что говорит о возможном использовании Шаховским и других источников, пока не установленных.

<sup>4</sup> Действующие лица «Фингала и Розкраны» имели двух-трехсложные имена (Фингал, Ламор, Гидоллан, Розкрана, Люгар, Дарго),



Во-вторых, Моне и другие современные ему этнографы опирались на устойчивую научную традицию относить все прибалтийские народы к финнам — точнее, описывать их как пограничные народы, находившиеся под влиянием финнов и славян. Так, Левек в своей «Истории России» писал о «латышах или леттах» (*Les Latiches ou Létons*): «Четверть слов их языка составляет финский говор, а почти все остальное славянское: они — Славяне, в старину смешавшиеся с Финнами» [Levesque: 439]. То же смешение упоминал в 1-м томе «Истории» Карамзин, говоря о народе латышском: «В языке его находится множество Славянских, довольно Готфских и Финских слов: из чего основательно заключают Историки, что Латыши происходят от сих народов» [Карамзин: 23].

В пьесе Шаховского мы узнаем о Наине, что ее отцом был «литвин», что объясняет ее чрезмерную гордость: «В ней с нашею смешалась кровь чужая; / В нее отец вселил такую спесь, / Что сам Курат не скоро сладит с нею» [Шаховской 1824: 7 об.]. При этом, хотя влияние отца-литвина оценивается изначально негативно, во второй части Наина, поддавшись еще более тлетворному влиянию ганзейцев, возражает матери: «Литва, как мы, и верит, и живет, / И пьет и ест; а Немцы все другое» [Там же: 24]. В традиционном для Шаховского противопоставлении архаической народной культуры — развращенной европейской цивилизации («Ганза» в X веке — явно сознательный анахронизм), литовцы и финны оказываются в одном лагере.

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. В прологе после поклонения Вайжгинтосу финские пастухи и пастушки чествуют богиню «любви, красоты и цветов» Ладу — песнями (с припевом «Ай Ладю, ай Ладю, ай Ладю моя!») и хороводами — «в пляске круговой» [Там же: 3–3 об.]. Как указывали все современные Шаховскому источники, Ладю/Лада считалась богиней любви у восточных славян и фигуриро-

вала в ряду с Перуном, Волосом, Дажьбогом, Колядой и др. [Creuzer-Mone 1819–1823: V, 131, 139].

Если подытожить вышесказанное, то финны у Шаховского оказывались носителями общей финско-балто-славянской культуры. Заметим, что в 1829 г. Н. И. Надеждин назовет государство Рюрика с братьями «Славяно-Финской конфедерацией» [Надеждин: 97].

По нашему мнению, эту концепцию Шаховской почерпнул из сочинений Моне. Немецкий этнограф указывал на сношения новгородских жрецов со жрецами Курляндии, а финских — с новгородскими, западнославянскими и немецкими [МТ: 170; Creuzer-Mone 1822: 886]. Кроме того, Моне проводил прямые аналогии между античным Средиземноморьем и Балтийским морем, ставшим для северных народов такой же «большой дорогой» для культурных контактов:

Подобно, как Средиземное море соединяло между собою три старые части света, для многообразных сношений, подобно как сия большая дорога облегчала и споспешествовала народам в смешении, образовании и порче Мифологий их, так точно и Балтийское море соединяло прилежащие к нему народы в мифологических и торговых сношениях [МТ: 169]<sup>5</sup>.

В «Фине» подобная связь между балтийскими народами выражена в постоянных упоминаниях соседей. Тавальс во второй части думает изначально идти «служить, к Варягам, иль в Литву, / Или в Порусь, иль в Новгород великой» [Шаховской 1824: 14], а собрав соратников на подвиги, готовится доказать «Урманам <Норвежцам>, Свеем и Литве, / Что наши Фины в удалстве / Не уступают им» [Там же: 16]. Основной объект их грабежа — тоже соседи: «Ганзы богатый край, / Порусь, и Ливы, / и Поморье» [Там же: 17 об.]. Такие упоминания подчеркивают в пьесе Шаховского, опиравшегося на кон-

<sup>5</sup> Cp.: “Wie das Mittelmeer die drei alten Welttheile zu dem mannigfaltigsten Verkehr verband, wie diese Heerstrasse der Völker die Vermischung, Bildung und Verschlimmerung der Religionen erleichtert und befördert; grade so verband die Ostsee die anwohnenden Völker zum religiösen und Handelsverkehr” [Creuzer-Mone 1822: 886].

цепцию немецкого этнографа, наличие культурных контактов финнов с соседями — через воинскую службу, рассказы о подвигах или набеги.

У Моне, продолжавшего труд Крейцера об античной мифологии, аналогия северных народов со средиземноморскими получила достаточно изящную форму. Немцев он уподоблял «геройствующим» грекам, славян — «всепринимающим Римлянам», финнов — «волшебствующим» колхийцам, а кельтов — называл «богатыми таинствами» «Египтянами Севера» [МТ: 173]<sup>6</sup>. Как он далее пояснял, отличительным признаком финской мифологии было «волхование» (т.е. колдовство — см. 3-ю часть «Фина»), а славяне, имевшие веру «менее других образованную», были склонны «к многобожию, к присвоению чуждаго и к величайшей терпимости вер»<sup>7</sup> [Там же: 175, 251].

Последнее должно было особенно импонировать Шаховскому. В том же 1824 г. он призывал соединить в театральном зрелище «пиитические красоты всех времен и народов» под эгидой «Русского гения» и обратиться к истокам русской культуры — языку, «духу», «преданиям», «святой Вере» — к наследию, полученному от древних Греков, «от которых просветилась и еще просвещается Европа» [Шаховской 1825: 109, 112]. Традиционный упрек в склонности русских к заимствованию Шаховской считал несомненным преимуществом своего

---

<sup>6</sup> Cp.: “Da die priesterlichen und religiösen Verhältnisse dieser vier Stämme hier nicht bis ins Einzelne angegeben werden können, so darf ich sie wol durch eine in ihren allgemeinen Zügen wol nicht unrichtige Vergleichung näher bezeichnen. Die Teutschen sind in priesterlicher und religiöser Hinsicht die episirenden Griechen, die Slawen die allaufnehmenden Römer, die Finnen die zauberhaften Kolchier und die Celten die geheimnifsreicheu Aegypter im Nordland” [Creuzer-Mone 1822: 888].

<sup>7</sup> Cp.: “Als das jüngste Volk hatten die Slawen die wenigst ausgebildete Religion, daher der ungemeine Hang zur Vielgötterei, zur Aneignung des Fremden und zur grössten Glaubensduldung” [Creuzer-Mone 1822: 890].



народа, и в этом контексте конструирование в «Фине» общепольского единства было для драматурга вполне логичным.

Финны, как любой «северный» народ на русской сцене, конечно, были метонимией народа русского — в свою очередь, наследника греков. Знакомство с концепцией Моне, по нашему мнению, открыло для Шаховского новый набор подобных аналогий и стало главным стимулом к написанию трилогии «Фин».

Косвенным подтверждением этому является запоздалое появление пьесы. Если допустить, что драматургу было важно использовать успех «Руслана и Людмилы», то 4-летнее обдумывание тут явно было нехотати. Прямым театральным откликом на поэму Пушкина была постановка в декабре 1821 г. балета А. П. Глушковского «Руслан и Людмила» [Дурылин: 5–6]. «Фин» же прошел цензуру только 2 октября 1824 г. В этом случае законно было бы предположить такую последовательность: в поисках материалов о вакхических обрядах для комедии «Аристофан» Шаховской обратился к только что вышедшему труду Крейцера по мифологии древних греков, а в ходе работы заинтересовался последними томами и концепцией Моне, в результате чего и возник замысел «Фина». Выход из печати в марте 1824 г. «Бахчисарайского фонтана» способствовал новой волне интереса к Пушкину, что дало Шаховскому повод позаимствовать анекдотическую основу трилогии из «Руслана и Людмилы», аранжировав ее этнографическим материалом Моне.

Кроме того, в рамках бенефисного спектакля 3 ноября 1824 г. на петербургской сцене вслед за «Фином» появлялись и древние греки<sup>8</sup>, т.к. после трилогии представлялась анекдо-

---

<sup>8</sup> Характерно, что соположение греков с финнами также встречается в негативной рецензии В. А. Ушакова на комедию Шаховского «Аристофан»: «Балеты, декорации, и все наружные принадлежности сей пьесы — превосходны! Жаль только, что костюмы не сообразны с историческими преданиями. Так, например, жители Афин являются на сцене с жидовскими бородами и с волосами, распущенными по плечам, как у Чухонцев. <...> На счет Греческих



тическая комедия Шаховского «Притчи, или Эзоп у Ксанфа» — концепция Моне, тем самым, обрела сценическое воплощение.

## ЛИТЕРАТУРА

- Арапов: *Арапов П. Н.* Летопись русского театра. СПб., 1861.
- Георги: *Георги И. Г.* Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 1799. Ч. 1: О народах финского племени, известных по Истории Российской под общим именем руссов.
- Горобцова: *Горобцова Л. Г.* Русско-финские литературные связи первой трети XIX века и образ Финна в поэме А. С. Пушкина и в опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила» // Русско-финские театральные связи: Сб. науч. трудов. Л., 1989.
- Денисенко: *Денисенко С. В.* Пушкинский текст в театральном дискурсе XIX века. Автореферат дисс. докт. филол. наук. Тверь, 2008.
- Дурылин: *Дурылин С. Н.* Пушкин на сцене. М., 1951.
- Иванов: *Иванов Д.* Творчество А. А. Шаховского-комедиографа: теория и практика национального театра. Тарту, 2009.
- Карамзин: *Карамзин Н. М.* История государства Российского: Репринтное воспр. 5-го изд. (1842–1844): В 3 кн. М., 1988. Кн. 1. Т. 1.
- Левин: *Левин Ю. Д.* Оссиан в России // Макферсон, Дж. Поэмы Оссиана. Л., 1983.
- Лерберг: *Лерберг А. Х.* О жилищах Еми. Дополнение к истории новой Финляндии // Лерберг А. Х. Исследования, служащие к объяснению древней русской истории / Пер. с нем. Д. Языков. СПб., 1819.
- Макферсон: *Макферсон Дж.* Поэмы Оссиана / Изд. подг. Ю. Д. Левин. Л., 1983.
- МТ: Историческое обозрение мифологии северных народов Европы // Московский телеграф. 1827. Ч. 14. № 7–8.

---

бород есть по крайней мере ссылка на бюсты. Но какие памятники свидетельствуют о том, что бы Афиняне причесывались по-Чухонски? Ей, ей не знаем! Авось либо когда нибудь разведем» [Ушаков: 128–129].

- Надеждин: *Надеждин Н. И.* Предначертание исторически-критического исследования древне-русской системы уделов // Труды и летописи Общества истории и древностей Российских, учрежденного при Императорском Московском Университете. М., 1830. Ч. 5. Кн. 1.
- Проскурин: *Проскурин О. А. (при участии Н. Г. Охотина).* «Руслан и Людмила». Построчный комментарий // Пушкин А. С. Сочинения. Коммент. изд. под ред. Д. М. Бетеа. Вып. 1: Поэмы и повести. Ч. 1. М., 2007.
- Пушкин: *Пушкин А. С.* Сочинения. Коммент. изд. под ред. Д. М. Бетеа. М., 2007. Вып. 1: Поэмы и повести. Ч. 1.
- Реппо-Шабарова 1998: *Реппо-Шабарова М. В.* Комедия А. А. Шаховского «Фин» как переложение поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» // Русская филология. 9. Тарту, 1998.
- Реппо-Шабарова 2001: *Реппо-Шабарова М. В. А. С. Пушкин в интерпретации А. А. Шаховского 1820-х годов.* Выпуск. работа на степень бакалавра по рус. лит. Тарту, 2001.
- Федоровская: *Федоровская Л. А.* Финские обрядовые мотивы на русской сцене (первая четверть XIX века) // Россия и Финляндия в XIX–XX вв.: Историко-культурный контекст и личность. СПб., 1998.
- Шаховской 1824: *Шаховской А.* Фин. Волшебная Трилогия соч. Кн. А. А. Шаховскаго, заимствованная из эпизода поэмы Руслан и Людмила Пушкина в трех частях с Прологом, и Интермедиєю // СПбГТБ ОР, шифр I-III-2-115. Авторизованная рукопись. Ценз. разр. 2 октября 1824.
- Шаховской 1825: *Шаховской А. А.* Нечто о театральной Музыке: Отрывок из теории Драматического Искусства // Русская Талия... на 1825 год. СПб., 1825.
- Шаховской 1828: *Шаховской А. А.* Аристофан, или Представление комедии «Всадники». М., 1828.
- Шаховской 1961: *Шаховской А. А.* Комедии. Стихотворения / Подг. текста и комм. А. А. Гозенпуда. Л., 1961.
- Шаховской 1999: *Шаховской А. А.* Ты и Вы. Послание Вольтера, или Шестьдесят лет антракта... // Мясоедова Н. Е. Русская пьеса о Вольтере «Ты и Вы» (к вопросу об авторстве А. А. Шаховского) // Русская литература. 1999. № 1.
- Ушаков: [*Ушаков В. А.*] *В. У.* Русский театр // Московский телеграф. 1830. Ч. 33. № 9.

Abbotsford: Catalogue of the library at Abbotsford. Edinburgh, 1838.

Creuzer-Mone 1819–1823: *Mone F. J.* Geschichte des Heidenthums im nördlichen Europa // Creuzer G. F. Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen: 6 vol. / Fortgesetzt von F. J. Mone. Leipzig und Darmstadt, 1819–1823. Vol. 5–6.

Creuzer-Mone 1822: *Mone F. J.* Übersicht der Geschichte des nordischen Heidenthums // Creuzer G. F. Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen / Im Auszuge von G. H. Moser. Leipzig und Darmstadt, 1822.

Fêtes et courtisanes: Fêtes et courtisanes de la Grèce. Supplément aux Voyages d'Anacharsis et d'Antenor: 4 tt. Paris, 1821. Vol. 1.

Ganander: *Ganander Ch. T.* Finnische Mythologie / Übersetzt, umgearb. und mit Anmerkungen versehen von Ch. J. Peterson. Reval, 1821.

Kiseleva: *Kiseleva L.* Pushkin in the Mirror of Shakhovskoi // Two Hundred Years of Pushkin. Vol. I: 'Pushkin's Secret': Russian Writers Reread and Rewrite Pushkin. Amsterdam; NY, 2003. (= Studies in Slavic Literature and Poetics. 37).

Levesque: *Levesque P.-Ch.* Histoire de Russie et des principales nations de l'empire russe / 4-ème Edition. Paris, 1812. Vol. 7.

## «ИЗВЕСТНАЯ ФАМИЛЬЯ»: ПОЛЬСКИЙ ПАТРИОТ ГРАФ ФАДДЕЙ ЧАЦКИЙ\*

ИННА БУЛКИНА

Герой этой статьи — не персонаж комедии Грибоедова, а реальный человек, польский общественный деятель, ученый, библиофил и просветитель граф Фаддей (Тадеуш) Чацкий (1765–1813). Его роль в истории польского и украинского просвещения неоспорима, хотя сейчас о нем чаще вспоминают библиофилы и историки «украинской идеи»<sup>1</sup>. Его репутация в

---

\* Статья написана при поддержке гранта ЭНФ № 7901 «“Идеологическая география” западных окраин Российской империи в литературе».

<sup>1</sup> См.: [Меламед 1976; Меламед 1978], а также <http://www.lechaim.ru/ARHIV/176/melamed.htm>. В работах по истории «украинской идеи», как правило, фигурирует статья Чацкого “O naswisku Ukraińy i poczatku kosakov” и, собственно, теория Фаддея Чацкого и Яна Потоцкого об украинцах как отдельном народе, не связанном с русским и происходившем от неких «укров», пришедших на Днепр из Заволжья. Корни этой теории связаны с рефлексиями польских патриотов по поводу риторики, которой «закреплялись» в российском сознании разделы Польши: присоединение к России бывших территорий Речи Посполитой декларировалось как «возвращение исконно русских земель». На медали, отлитой в память разделов, было вычеканено: «отторженная возвратих». Не исключено, что именно Чацкого имел в виду автор «Истории русов» в полемическом пассаже: «...В одной ученой историйке выводится на сцену из древней Руси или нынешней Малой России новая некая земля при Днепре, называемая тут Украиной, а в ней заводятся польскими королями украинские казаки, а до того будто бы сия земля была пуста и необитаема, и казаков в Руси не бывало. Но видно г. писатель такой робкой историйки не бывал нигде из своей школы и не видал в той стране, называемой им Украиной, русских городов, самых древних и по крайней мере



российских литературных и политических кругах первой трети XIX в. едва ли становилась предметом отдельного исследования. Связь графа Чацкого с одноименным героем грибоедовской комедии кажется нам вероятной, хотя мы ни в коем случае не предполагаем в нем реального прототипа Александра Андреевича Чацкого. Наша задача — восстановить тот исторический и культурный контекст, который так или иначе мог ассоциироваться с этим именем в России 1810–1820-х гг.

Граф Фаддей (Тадеуш, Игнатий Цезарий Августин Иосиф Иоанн Непомук Онуфрий) Чацкий родился в 1765 г. на Волыни, в своем родовом имении, в Порыцке, умер в 1813-м в Дубне и был похоронен в Кременце. В польской, украинской и русской традициях его имя, как правило, вспоминают в разных контекстах. В украинских источниках, как мы покажем ниже, кроме политических ассоциаций «на злобу дня», сохранился контекст легендарный. В Польше о графе Чацком говорят в одном ряду с Гуго Коллонтаем. В российских же источниках имя Фаддея Чацкого, как правило, соседствует с именем Адама Чарторыйского.

Гуго Коллонтай, выдающийся педагог-теоретик и политический мыслитель, автор т.н. «Конституции 3 мая» — главного итога деятельности патриотической партии между первым и вторым разделами Польши. В России Коллонтая больше знали в его политической ипостаси. После поражения восстания Костюшко Коллонтай оказался в тюрьме и был освобожден хлопотами все того же Адама Чарторыйского в 1802 г. Коллонтай поселяется на Волыни и пишет программу для самого известного из просветительских проектов Чацкого — Волынской Гимназии (Кременецкого Лицея). Коллонтай и в просветительской, и в политической деятельности был по большей части теоретиком. Чацкий воплощал его просветительские идеи в практические проекты. В отличие от Коллонтая, он не принадлежал к партии патриотов, но после поражения восстания сотрудничать с торговицкой конфедерацией отказался и

---

гораздо старейших от его королей Польских» [История Русов: III–IV].

на время отошел от дел. Но он был в большей степени практик и проектант в буквальном смысле, нежели политик и идеолог. Он без конца порождал десятки проектов, некоторые из них воплощались в жизнь. Чацкий «был неукротим в своих проектах, дерзок и энергичен в их исполнении» (*“bujnym był w tworzeniu przedsięwzięć a nagłym i dzielnym w ich dokonaniu”*) [Osiński: 200]. Один из первых польских биографов Чацкого и создатель его посмертной апологии — ксендз Алоизий Осинский — приводит длинный перечень его проектов. Мы приведем лишь некоторые — те, которыми Чацкий, будучи членом Финансовой комиссии сейма, занимался до восстания 3 мая:

- за свой счет издал гидрографическую карту Польши и Литвы, с указанием течения почти 5000 рек и речек; по его же инициативе была издана на 13 таблицах гидрографическая карта Днестра с промером глубины от Ушицы до Бендер;
- разработал программу ограничения порубок леса;
- изучал и описывал месторождения соли и рынки соли, составлял отчеты об истории торговли Польши и Порты (*“Uwagi o handlu polskim”*);
- составил проекты о строительстве дорог, о приведении в порядок генеральной кассы и т.д.
- принимал участие в проведении реформ, облегчающих положение евреев в Польше, и в 1807-м издал отдельную книгу *“Rozprawa o Żydach i Karaidach”* (эту книгу запрашивал Н. М. Карамзин — сначала через А. И. Тургенева, а затем напрямую у самого Чацкого — см.: [Меламед 1976]).

Кроме того, он работал вместе с Коллонтаем в Эдукационной комиссии, основал «Товарищество Друзей Науки» (*“Towarzystwo przyjaciół nauk”*, 1800) и «Коммерческое товарищество» (*“Towarzystwo handlowe”*, 1802).

С Адамом Чарторыйским он сближается после поражения восстания (они вместе хлопочут в Петербурге о возвращении имений), и далее его имя фигурирует в контексте деятельности «польских друзей императора Александра». В 1803-м Адам Чарторыйский становится попечителем Виленского учебного

округа, Чацкий — его товарищем (заместителем), фактически — вторым лицом в округе.

На Волыни и шире — в округе Чацкий был фигурой чрезвычайно известной и, безусловно, харизматичной. Он исполнял должность визитатора учебных заведений. Когда его назначили в должность, в трех входивших в округ губерниях было 5 учебных заведений, когда же в 1813 г. он умер, их насчитывалось уже 126.

Фактически, он собирал деньги на учреждение школ у местного дворянства:

Чацкий обратился к патриотическому чувству дворян. Киевское дворянство пожертвовало одновременно по одному рублю ассигнациями с каждой ревизской души, что составило капитал 46,2 тыс. рублей для устройства в Киеве гимназии [Сбитнев: 462].

То же он проделал затем в Виннице:

Чацкий, держа в руках книгу, приготовленную для записывания пожертвований на задуманный им кременецкий лицей, явился во дворянское собрание, произнес экзальтированную речь, которою воспламенил своих земляков, и хотя думал маскироваться распространением просвещения вообще, но невольно проговорился, что все это предпринимается им “*dla ocalenia droższego dziedzictwa — mowy rodaków*” — для сохранения родового наследства, — языка своих единоплеменников. Вскоре потом (20 Окт. 1803.) был устроен в г. Луцке съезд латинского духовенства, куда также явился Чацкий с восторженной речью и с приглашением к пожертвованиям. И от дворян, и от духовенства пожертвования посыпались щедрою рукою, так что в самое короткое время из таких пожертвований составилось 415,720 польских злотых, или 62,358 рублей серебром [Кулжинский: 457–458].

Впрочем, кроме частных пожертвований Чацкий нашел еще один источник средств:

Еще до уничтожения Польши сейм 1775 года определил: все имения и капиталы, оставшиеся в королевстве польском после изгнанных иезуитов, обратить в пользу училищ, — для управления каковыми делами была учреждена в Польше так называемая «Эдукационная Комиссия». После окончательного раздела Поль-



ши дела этой комиссии относительно русских частей Польши, возвратившейся в состав Российской Империи, находились в чрезвычайной запущенности. Чацкий подал мысль и сам же помог привести ее в исполнение, чтобы для управления делами иезуитских имений и капиталов были учреждены в России две эдукационные комиссии — одна для губерний Киевской, Волынской и Подольской, а другая для пяти губерний белорусских и литовских. Будучи назначен президентом первой комиссии, он распутал дела самые многосложные и открыл в пользу училищ, из доходов и процентов поиезуитских имений и капиталов, фундуш в 2,350,000 злотых польских, или в 352,500 рублей серебряном [Кулжинский: 457–458].

Главным проектом Чацкого и делом его жизни стал Кременецкий лицей, открытый в 1805-м и ликвидированный, как и большинство польских училищ на Волыни, в 1831-м, после поражения польского восстания. Кабинеты, остатки библиотеки, коллекции, ботанический сад, — все было перевезено из Кременца в Киев; туда же отправилась часть преподавателей, и на базе Лицея был создан Киевский университет св. Владимира. Подробнее об этом — см.: [Rolle; Булкина].

Предмет этой статьи — не столько биография, сколько репутация графа Чацкого. Первые польские апологии Чацкого появляются почти сразу после его смерти (в 1813–1817 гг.). Биограф и «пропагандист» наследия Чацкого ксендз Алоизий Осинский преподавал в Лицее польскую, латинскую литературу и римские древности. Именно к его книге [Osiniński] и к его живым рассказам восходят — напрямую или опосредованно — большинство поздних свидетельств, как апологетических (Сбитнев, Брадке), так и откровенно антипольских (Кулжинский<sup>2</sup>).

---

<sup>2</sup> Характерно, что Гоголь, ученик И. Кулжинского по Нежинской гимназии, в целом относившийся к нему скептически, разделяет этот характерный для малороссиян антипольский пафос и «кремenceцкое наследство» характеризует еще резче. Отчасти его характеристики («кремenceцкая плесень») продиктованы ревностью: Брадке приглашает в Киев польских профессоров из Кременца и игнорирует настойчивое желание Гоголя получить место профес-



Кульť Чацкого в большей степени распространяется после уничтожения Лицея — отчасти бывшими учащимися и преподавателями, но в немалой степени и людьми, которые по долгу службы вынуждены были Лицей уничтожить, т.е. реквизи́ровать и перевезти основные фонды его в Киев. Приведем характерное свидетельство одного воспитанника. Это строки из мемуаров Густава Олизара, киевского маршалка, поэта и несостоявшегося жениха Марии Раевской:

Я не могу не преклониться перед тенью человека, которого не дозволяю себе назвать святым лишь потому, что римско-католическая церковь таковым его не признала. Но если нынешнее поколение наше, столь много претерпевшее ради дорогого отечества, не может забыть, сколь обязано оно Чацкому, укрепившему в сердцах неугасимое чувство долга, то что же должен чувствовать я? Ведь для меня Чацкий был вторым отцом [Олизар: 11].

Чиновники российского Министерства народного просвещения писали не столько о роли Чацкого в воспитании польских патриотов, сколько о его «преданности учебному делу», пропагандистских талантах и невероятной энергии. Благодарным поклонником Чацкого и в определенном смысле продолжателем его дела стал попечитель Киевского округа и учредитель Киевского университета Е. Ф. фон Брадке. Он посетил Лицей сразу по назначению в должность, в 1832 г.:

Лицей <...> был устроен знаменитым Чацким, человеком знатным, богатым, всеми уважаемым, чрезвычайно образованным и до фанатизма преданным учебному делу, для успехов которого он готов был на всякую жертву. <...> Чацкий воспользовался <...> своим сильным значением, которое основывалось отчас-

---

сора истории. Ср. письмо В. В. Тарновскому от 7.08.1834: «Ну, какой сволочи набрали в ваш киевский университет! Мне даже жаль бедного Максимовича, что он попался между них. Можно ли это? Новый университет! тут бы нужно стараться, пользуясь этою выгодою, набрать новых профессоров, а вместо этого набрали старой плесени из глупого кременецкого лицея. Я сам было думал в киевский университет, да, к счастью, не сошелся с вашим Б.<радке>...» [Гоголь: X, 335–336].

ти на особой милости к нему императора Александра, и старался как можно выше поднять Лицей и доставлять ему все нужные материальные средства. Это и удалось ему: Кременец явно соперничал с Вильною, и многие профессора были лучше Виленских. Суетность знати удовлетворялась, добровольные пожертвования умножались, собран был капитал в несколько сот тысяч, и распространялось убеждение, что частный человек обязан жертвовать своими собраниями на умножение собраний Лицея. Таким образом, число книг в библиотеке превысило 100 тысяч томов, и кабинеты видимо умножались. Многие ревностные патриоты стали проводить в Кременце зимние месяцы; маленький дотоле городок оживился безпрестанными балами и другими увеселениями. <...> Дошло до того, что на масленицу многие знатнейшие семейства переселялись в Кременец из Парижа [Брадке: 273–274].

Другой характерный «культовый» документ — «Записки» И. М. Сбитнева, чиновника уваровского министерства, командированного в Кременец для того, чтобы принять дела упраздненного польского Лицея. Сбитнев записывает рассказы кременецких профессоров. Отчасти это живое предание, в основе которого лежит апология А. Осинского.

Кременецкое предание выстраивается как житие. Сбитнев пересказывает историю о том, как

малым ребенком получаемые на свои детские расходы карманные деньги отдавал он <...> учителю за обучение сирот чтению, письму и Закону Божию. Для этой цели он выпросил у отца своего домик в Порыцке, поместил в нем школу и учителя и содержал их на своем иждивении [Сбитнев: 462].

Автор минует собственно польскую историю — то, о чем в первую очередь пишут польские биографы: работу в комиссиях сейма и соответствующие проекты и книги, и непосредственно переходит к появлению Чацкого в Петербурге после поражения восстания. Здесь следует любопытная версия отношений Чацкого с Павлом I и тех многочисленных предпочтений, которые поляки получили в 1796–1801 гг. Согласно этой апологетической версии, Чацкий был в чрезвычайной милости у Павла, получал все, что ни попросит, а попросил он реформу судов, губернские выборы на Волыни, освобождения

Костюшко и ссыльных. Иными словами, именно Чацкому поляки обязаны всеми милостями павловского царствования.

Однако И. М. Сбитнев и его кременецкие собеседники «расходятся в показаниях» с другим чрезвычайно информированным мемуаристом — Адамом Чарторыйским. В «Мемуарах» Чарторыйского представлена совсем другая версия: Павел был чрезвычайно увлечен Костюшко, и тот, как мог, использовал это влияние.

Что же до реальных заслуг Чацкого, то он, несомненно, имел отношение к судебной реформе на Волыни и изменению порядка выборов. Во время коронации Павла Чацкий находился в Москве в качестве делегата от Киевской губернии, он подал на имя государя прошение через кн. Куракина, где, в частности, речь шла и о реформах. Прощение было в основном удовлетворено.

Затем в записках И. М. Сбитнева следует знакомая по польским источникам информация об устройстве учебных заведений в Виленском округе и о том, как Чацкий сумел пробудить энтузиазм в местном дворянстве. Сбитнев, никогда не видевший Чацкого, использует характеристики людей, его помнивших: «бойкий, мудрый, величавый Чацкий». Он ссылается на бывшего министра просвещения гр. П. В. Завадовского, который «уподоблял Чацкого в красноречии Геродоту». Тут имеется в виду речь Чацкого на открытии Волынской гимназии (Кременецкого лицея) 1 октября 1805 г. Речь эту Чацкий прислал Завадовскому, и тот, по собственному признанию, «читая <...>, так упоялся подобною сладостью, какова действовала на душу древних греков, рукоплескавших Геродоту, когда сей предлагал им свою историю» [Завадовский: 430]<sup>3</sup>.

Эта «кременецкая апология» во многом выстроена по агиографической схеме, и за перечнем заслуг следует перечень преследований с одним и тем же сюжетом: на Чацкого пишут

---

<sup>3</sup> Завадовский сам учился у иезуитов, овладел навыками латинского красноречия и любил блеснуть ими при удобном случае. В этом письме Чацкому он нарочито демонстрирует перед знаменитым оратором собственные риторические умения.



донос, он красноречиво оправдывается, убеждает всех в своей правоте и добивается продвижения нового проекта. Преследования начинаются в 1807-м и связаны с общим сочувствием поляков Наполеону. Тогда же, в 1807 г., появляется первый проект перенесения Кременецкого лицея в Киев — подальше от западных границ. Тогда же (по доносу) Чацкий отправлен под надзор в Харьков. Сбитнев, транслирующий кременецкую версию, пишет, что Чацкий сумел расположить к себе профессоров Харьковского университета и направил жалобу императору. Но, вероятно, не обошлось без заступничества попечителя Харьковского учебного округа графа Северина Потоцкого. Из Петербурга прислали комиссию, Чацкий «геродотовским» красноречием убедил всех в своей невиновности, и... закрепил свой успех: представил в Петербурге проект об учреждении в Кременце школы землемеров. Проект этот тогда же был высочайше утвержден.

В 1810 г. происходит похожее разбирательство в Житомире:

Чацкий объяснялся сильно, убедительно и отчетливо перед этой комиссией, и она совершенно его оправдала от ложных доносов и нашла необходимой потребностью оставить лицей в Кременце [Сбитнев: 468].

Последний донос был написан в 1812-м, автором его был кн. П. И. Багратион, который жаловался, что Кременецкий лицей и его воспитанники игнорируют русскую службу и не желают сражаться против Наполеона (см.: [Олизар: 11]). Чацкий опять принимается хлопотать, в начале 1813-го едет в Житомир, оттуда — в Дубну, навстречу кн. А. Чарторыйскому, но простужается и там же в феврале умирает от нервной горячки.

В Польше и на Волыни, в Виленском округе и Киевской губернии Чацкий, безусловно, культовый персонаж. Он оставался таковым на протяжении многих десятилетий после смерти. Любопытна в этом смысле русская повесть Т. Г. Шевченко «Варнак». Повесть написана в середине 1850-х, ее герой — раскаявшийся разбойник — по ходу действия оказывается в Кременце:



Возвращаясь из Почаева, я зашел в Кременец посмотреть на королеву Бону и на воздвигавшиеся в то время палаты или кляштор для кременецкого лица. Мир праху твоему, благородный Чацкий! Ты любил мир и просвещение! Ты любил человека, как нам Христос его любить заповедал! [Шевченко: 167].

Наконец, в ряду «культовых свидетельств» упомянем т.н. «природный памятник»: скалу под названием «Голова Чацкого», которая по сей день является одним из символов Житомира [Трипольский; Магнер: 209–210].

В российских столицах о Чацком знали меньше, хотя имя его, так или иначе, было на слуху. Кроме упомянутого выше интереса Карамзина, вспомним «польские связи» рылеевского круга, популярность «просветительских проектов» Немцевича и моду на польских литераторов в Петербурге 1820-х (отчасти самими этими литераторами спровоцированную). Булгарин находился в центре этого процесса. В 1820 г. в «Сыне Отечества» он дебютирует пространным обзором польской литературы, где отдельно останавливается на виленском круге и просветительской деятельности Чацкого. То, что он пишет, находится в соответствии с общим пафосом местного предания:

Фаддей Чацкий учеными своими сочинениями о Законодательстве, Правоведении и Истории <...> открыл неисчерпаемый источник для намеревающихся подвизаться на сем пути. <...> Попечению и ревности сего ученого мужа обязана Кременецкая Гимназия, что ныне Лицей, своим существованием. Воспламененный любовью к наукам, он умел перелить чувства свои в сердца своих соотечественников, помещиков Волынской и Подольской губерний, кои значительными пожертвованиями соорудили сие полезное заведение, удостоившееся покровительства Императора Александра [СО: 207–208].

Булгарин отдельно упоминает о собранной Чацким библиотеке, которую после его смерти Адам Чарторийский выкупил для Виленского университета. Вероятно, этот жест Чарторийского был продиктован заботой не столько о книжных собраниях университета, сколько о наследниках Чацкого: после

смерти основателя лицея выяснилось, что имения его заложены и фактически все свое состояние он потратил на лицей.

В своих мемуарах Булгарин вспоминает о Чацком как о блестящем и остроумном молодом человеке:

В числе холостяков помню родственника князя Доминика Радзивилла, Фаддея Чацкого, и двух братьев Антона и Матвея Водзьбунов. — Фаддей Чацкий и Матвей Водзьбун почитались первыми остряками между тогдашнею литовскою благовоспитанною молодежью, хотя Чацкий был выше<sup>4</sup> [Булгарин: 355].

Естественно предположить, что имя Чацкого могло быть на слуху у людей, интересующихся Польшей и польскими делами. Имя это возникало в известном ряду (Коллонтай, Чарторыйский, Северин Потоцкий) и ассоциировалось с польскими просветительскими сюжетами. Коль скоро имя было связано с известным человеком, мы попытаемся ответить на вопрос: какое отношение реальный граф Фаддей Чацкий мог иметь к своему литературному однофамильцу.

У этого вопроса есть некоторая история: наиболее подробно им занимался житомирский исследователь Генрих Магнер [Магнер]. Ему принадлежит остроумная, но во всех отношениях авантюристическая версия, суть которой заключается в том, что в известном анекдоте Гиляровского о «некоем Чатском», забаллотированном в Английском клубе, фигурирует сам автор «Горя от ума», инкогнито явившийся 17 марта 1815 г. в московском Английском клубе под именем Чацкого и разыгрывавший там известного своим красноречием польского просветителя. Так будто бы выглядело «первое представление» будущей комедии. В этой версии не вызывает сомнений лишь одно: брест-литовская дислокация Московского гусарского полка. Об этом пишет также И. Л. Багратион-Мухранели, однозначно утверждающая, что фамилия «Чацкий» — поль-

---

<sup>4</sup> Здесь, вероятно, имеет место абберрация памяти: в этой главе речь идет о Тильзите и событиях после 1807 г. Но если Булгарин помнит Чацкого молодым холостяком, следовательно, он встречался с ним гораздо раньше.

ская, что Грибоедов и сам был польского рода, из смоленской шляхты, что польские сюжеты были ему не безразличны и о графе Фаддее Чацком он, скорее всего, знал.

Это представляется нам весьма правдоподобным. В первой редакции фамилия героя — «Чадский», затем Грибоедов меняет ее на «Чацкий» и вставляет реплику Загорецкого:

Который Чацкий тут? — Известная фамилья.

С каким-то Чацким я когда-то был знаком. —

Вы слышали об нем? (д. III, явл. 17)

Фамилия «Чацкий» не вполне «персонажная», она выделяется в общем ономастическом ряду «Горя от ума». Первый ее вариант естественно вписывается в череду «значимых» имен, что заставляет одних исследователей производить «Чадский» от «чада» [Анциферов: 168–169], других — предполагать за грибоедовским героем реального прототипа — Чаадаева. В пользу первой версии, кроме многократно упомянутой исследователями значимой цитаты про «чад и дым», свидетельствует и «говорящая» фамилия одного из двойников-антиподов — Загорецкий<sup>5</sup>. Вторую, главным образом, поддерживает авторитет Ю. Н. Тынянова [Тынянов]. Тыняновское предположение держится, в первую очередь, на ошибке Пушкина<sup>6</sup>. Тынянов вспоминает также известные биографические обстоятельства Чаадаева, но, очевидно, его более всего увлекает поздняя «биографическая рифма».

Одна из последних «прототипических» версий принадлежит Е. Н. Цимбаевой. Представив подробные биографические

<sup>5</sup> Упомянем об еще одном «говорящем» прочтении: Чадский от «чадо», т.е. явившийся «с корабля на бал» герой — один из череды наследников Чайльд-Гарольда.

<sup>6</sup> Пушкин, еще не читая комедии, но прослышав о ней, предположил, что это очередная «комедия на лица»: «Что такое Грибоедов? Мне сказали, что он написал комедию на Чаадаева; в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны» [Пушкин: X, 176]. Письмо написано в 1823 г., прочитав комедию и убедившись, что она «не совсем то», что он думал, Пушкин более к этой аналогии не возвращался.



реконструкции всех персонажей «Горя от ума», исследовательница приходит к выводу, что Чацкий, по всей вероятности, прибыл в Москву из Петербурга, что служил он в Польше (именно там имела место «с министрами связь» и последовавший затем «разрыв»), что служба в Польше происходила в конце 1810-х, что «разрыв» произошел в 1821-м и что Грибоедов просто воспроизводит биографию П. А. Вяземского [Цимбаева]. В этих замечательных «реконструкциях» есть лишь один недостаток: вся хронология выстраивается от даты окончания последней редакции, т.е. от весны 1824 г.

Но мы все же будем исходить из того, что грибоедовская комедия создавалась на протяжении многих лет, что замысел ее последовательно менялся и, в конечном счете, это не «комедия на лица». Мы попытаемся задуматься над тем, почему в последней редакции этот герой носит не вполне «персонажную», но «известную» польскую фамилию, почему его имя выведено из ряда традиционных «литературных» имен. Поскольку в центре внимания нашей статьи — репутация реального Чацкого, мы все же поставим вопрос: какие ассоциации при звуке этого имени могли возникать у автора и у первых слушателей комедии.

Безусловно, Грибоедов не пытался вывести на сцену реального графа Чацкого, и мы можем лишь догадываться, что именно он о нем знал. Однако он имел представление о людях одного с Чацким круга: о кн. Чарторыйском, о Северине Потоцком, о том же Немцевиче. «Горе от ума» — это история о патриоте и энтузиасте, который без конца апеллирует к обществу, но все его красноречие пропадает впустую, «разбивается, что об стенку горох». Он выглядит глупцом — он обращается не к тем, он «мечет бисер перед репетиловыми». И финал известен: его объявляют безумцем. Но, оглядываясь на историю реального графа Фаддея Чацкого, мы знаем, как такой сюжет выглядел в польском обществе: красноречивый просветитель взывал к патриотическому чувству сограждан, «воспламененный любовью к наукам, он умел перелить чувства свои в сердца своих соотечественников», и он добивался результата, увеличив число учебных заведений до 126!



В этом контексте имеет смысл вспомнить и о характерных в начале 1820-х гг. «идеологических» кальках с польского: Вяземский переводит «народность» (*nationalité*) по образцу польской “*narodność*”. Польский опыт просвещенного патриотизма в кругу людей, близких к Грибоедову, тоже пытались «перевести на русский». Именно такой смысл имела рылеевская попытка переложения «Дум» Немцевича: по жанру это именно патриотический и просветительский проект. Патриот, в польской огласовке, — просветитель народа, и он пользуется необычайным сочувствием и поддержкой общества. Русская комедия представляет московское общество и красноречиво проповедующего патриота, который выглядит нелепым говоруном и провозглашен безумцем.

## ЛИТЕРАТУРА

- Анциферов: *Анциферов Н.* Грибоедовская Москва // А. С. Грибоедов, 1795–1829: Сб. ст. М., 1946. С. 150–183.
- Багратион-Мухранели: *Багратион-Мухранели И.* Грибоедовский западно-восточный диван // Современная драматургия. 1994. № 4.
- Брадке: Автобиографические записки сенатора Е. Ф. фон Брадке // Русский архив. 1875. № 3.
- Булгарин: *Булгарин Ф. В.* Воспоминания. М., 2001.
- Булкина: *Булкина И.* Политика Николая I в Юго-Западном крае и учреждение Университета Св. Владимира // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VII (Новая серия): К 80-летию со дня рождения Зары Григорьевны Минц; К 85-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана. Тарту, 2009.
- Гоголь: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: [В 14 т.]. М.; Л., 1937–1952.
- Завадовский: Граф Завадовский и Фаддей Чацкий // Русская старина. 1898. Т. 93. С. 428–430.
- История Русов: *Кониский Г.* История Русов, или Малой России. М., 1846.
- Кулжинский: *Кулжинский И.* Воспоминания о Волыни // Волинський музей: історія і сучасність: Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. Луцьк, 2009.

- Магнер: *Магнер Г.* Три Чацьких // Українська полоністика. Випуск 3–4. URL: [http://eprints.zu.edu.ua/3193/1/Magner\\_Genrich.pdf](http://eprints.zu.edu.ua/3193/1/Magner_Genrich.pdf)
- Меламед 1976: *Меламед Е.* Забытое письмо Н. М. Карамзина // Русская литература. 1976. № 3.
- Меламед 1978: *Меламед Е.* Порицкий библиофил // Альманах библиофила. Вып. 5. 1978.
- Олизар: Мемуары графа Олизара // Русский вестник. 1893. № 8.
- Пушкин: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1951.
- Сбитнев: Записки И. М. Сбитнева // Киевская старина. 1887. Т. 17. № 2.
- СО: Сын Отечества. 1820. № 31.
- Трипольский: *Трипольский Н. Н.* Исторические сведения о городе Житомире Волынской губернии. Житомир, 1900.
- Тынянов: *Тынянов Ю. Н.* Сюжет «Горя от ума» // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969.
- Цимбаева: *Цимбаева Е.* Художественный образ в историческом контексте (Анализ биографий персонажей «Горя от ума») // Вопросы литературы. 2003. № 4.
- Чарторыйский: Мемуары князя Адама Чарторыйского. М., 1912.
- Шевченко: *Шевченко Т. Г.* Повне зібрання творів: У 6 т. Т. 3. Київ, 1963.
- Osiński: *Aloizy Osiński.* O życiu i pismach Tadeusza Czackiego, Krzemieniec, 1816.
- Rolle: *Rolle Michał.* Ateny Wolynskie. W II. Lwow; Warszawa; Krakow, 1923. Репр. Киев, 2007.

# БРУТ, МАЗЕПА, ВАЛЛЕНРОД: О СПЕЦИФИКЕ УКРАИНСКОЙ ТЕМАТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ К. Ф. РЫЛЕЕВА

ГЕНРИХ КИРШБАУМ

В начале XIX в. в русской литературе происходит своего рода поэтическое освоение (или покорение, изобретение) Украины. При этом Украина конструируется и как *иное, другое* России, и как своего рода *близкое, родное* или даже *исконное* России. Тематизации Украины как «лучшей» метонимии России попадают при этом в топику самоэкзотизации, обслуживающую, с одной стороны, нарождающиеся дискурсы народности, а с другой — актуальные имперские темы. При этом парадоксальная полисемия Украины усиливается за счет того, что украинские казаки как исторические жертвы империи выполняют роль форпоста российской колониальной политики: Украина оказывается местом и участником борьбы России как с Востоком (или Югом: Крымское ханство), так и противоборства с Западом (Польша).

В свою очередь, в литературе эта поэтическая «русификация» Украины<sup>1</sup> происходит по модели изобретения Ирландии и (или) Шотландии в английской литературе (Оссиан). Такой поэтической колонией, Шотландией России, оказывается Украина, на которую, однако, претендует и польская литература того же времени. Польская и русская поэтические культуры по-своему осмысляют сложный исторический и внешне- и внутреннеполитический статус Польши (в размерах до и после разделов). К тому же они ускоренно адаптируют различные течения европейской литературы, которые во многом идут вразрез с импортированным требованием создать собственную

---

<sup>1</sup> Своей кульминации данная концепция Украины достигнет в конечной версии гоголевского «Тараса Бульбы».

национальную литературу. Украинский сюжет становится частью нового национального сюжета, предполагающего дистанцирование от национальных сюжетов стран-соседей. Одной из важнейших вех в поэтическом освоении Украины в русской поэзии начала XIX в. оказываются «украинские» тексты К. Ф. Рылеева. В нашей заметке нам бы хотелось показать некоторые особенности украинского сюжета в творчестве поэта-декабриста вообще и мазепинского комплекса в частности.

Большую часть рылеевских «Дум» составляют тексты с украинской исторической темой, подразумевающей (анти)польский компонент<sup>2</sup>. Украина конструируется как идиллическое пространство, а также, уже по американской модели, — своего рода дикий Юг или Запад. Украина и украинские казаки становятся носителями идей вольности и символами непокорности и бунта (ср. образ Украины в «Думах» или в поэме «Наливайко»). Украинская и связанная с ней антипольская тема — и в этом особенность украинского сюжета в творчестве Рылева — становятся эзоповым языком преддекабристской лирики. Парадоксальным образом имперская, великорусская тема, включающая антипольские сюжеты, трансформируется в риторическое пространство заговора и протеста против самодержавия.

Так, как и в случае «русских Брутов» Глинского и Курбского — героев дум Рылеева, — бунт Хмельницкого в одноименной думе направлен против деспотизма [Рылеев 1975: 73]. Произвол тирана приводит героев рылеевских дум к желанию отмщения. Характерны при этом рылеевские смещения подтекстов думы о Хмельницком. Так, по мнению В. Маслова [Маслов: 221–223], текст Рылеева представляет собой местами дословный перевод польской «Украинской песни о Богдане Хмельницком, переложенной на польский стих» (*Piosenka ukraińska o Bohdanie Chmielnickiem, przelożona na wiersz polski*, 1820) Леона Рогальского (Leon Rogalski), перевод кото-

<sup>2</sup> О польском компоненте в творчестве Рылеева вообще и в контексте дискуссии о происхождении жанра дум нам уже приходилось писать: [Киршбаум].



рой год спустя был сделан О. М. Сомовым (см.: [Galster: 96]). Возникает характерная для жизни украинских сюжетов в русской и польской литературах интертекстуальная ситуация: украинская дума перелагается на польский язык, в свою очередь, польский вариант прочитывается и переводится в России, при этом антипольская компонента дополнительно обнажается. Эта особенность, иллюстрирующая плотность русско-польско-украинской интертекстуальности в интересующую нас эпоху, показывает, как работает «испорченный телефон» русско-польских литературных связей в 1820-е гг.

Рылеев в своей обработке думы о Хмельницком усиливает бротовскую, тираноборческую линию. Мотив измены тирану становится лейтмотивом: Хмельницкий «отмстит убийства и хищенья», «отмщение ждет», «за мной, чью грудь волнует месть», «ангел мщенья» (ср. [Рылеев 1975: 74, 76]). Частично заимствованная из польских источников мотивация мести и возмездия, усиленная Рылеевым, появляется и в других «украинских» текстах поэта. Так, герой поэмы «Наливайко» дает клятву отомстить полякам, в тексте поэмы доминирует мотив справедливого отмщения. При этом Наливайко мстит уже за весь свой народ, мотив (и мотивация) личной обиды отступает на второй план [Рылеев 1971: 228–229]. Пафос тираноборческого возмездия, выраженный на языке эзоповой агитационной поэзии, поэтически программирует и интенсифицирует радикализм той непримиримой политической программы, которая в конце концов будет стоять Рылееву жизни.

Во фрагменте незаконченной поэмы «Гайдамак» мотивообразующей также является тема мести [Там же: 238–242]: герой поэмы яро мстит крымцам и полякам. Беспощадность мести гайдамака предвосхищает жажду мести гоголевского Бульбы после казни Остапа. Тема гайдамаков отчасти переходит и в поэму «Войнаровский», в которой гайдамаки контрастно рифмуются с поляками («поляков» – «гайдамаков» [Там же: 199]).

Важнейшим сюжетным полем в связи с темой предательства оказывается история мазепиной «измены» Петру. История Мазепы приобретает актуальность в русской литературе после выхода в 1818 г. одноименной поэмы Байрона. Для нас важен

сам факт ре-адаптации «своего» сюжета из чужой литературы, т.е. двойной самоэкзотизации, но существенно и то, что автором парадигмообразующей поэмы был именно Байрон: момент байронизма и сопровождающего его «байроноборчества» является для Рылеева и других поэтов второй половины 1820-х гг. чрезвычайно важным.

Сама поэма Байрона уже содержит «автодеконструктивный» потенциал. По мнению Бабинского [Babinski: 21], английский поэт смешивает в образе Мазепы два типа своих героев: «старомодных» Конрада, Манфреда и Гарольда — с новым, ироническим, воплощенным в Дон Жуане. Если учитывать хронологию создания байроновских поэм, то нам представляется более точным говорить о Мазепе не как о гибридном, а как о переходном герое. Возникновение этой переходной позиции от романтического типа Гарольда к «самоиронизирующему» типу, как нам представляется, имело некоторые последствия для дальнейшей судьбы образа гетмана в литературе. Фигура Мазепы стала основой для позднеромантической «деконструкции» героя.

Многие поэтические решения Байрона в «Мазепе» связаны именно с этой деконструкцией романтической топики. Так, свою романтическую историю Мазепа рассказывает на привале во время бегства гетмана и Карла XII после Полтавской битвы. Историческое и романтическое вступают в конфликт. Романтической самоиронией Байрон возвращает читателя в рамочную конструкцию: пока Мазепа рассказывал свою историю, шведский король заснул [Byron: 178]. Отдельного исследования заслуживает вопрос, как столь любимые романтиками рамочные конструкции становятся мета- и паратекстуальным орудием автодеконструкции<sup>3</sup>.

У Байрона Мазепа рассказывает о том, как его в молодости в наказание привязали к хвосту скачущего по степи коня [Babinski: 33], рассказ об этой скачке занимает больше места,

---

<sup>3</sup> Обращает на себя внимание сходная деконструирующая функция рамочной истории в «Герое нашего времени» Лермонтова, этого позднего ученика и адепта Байрона.

нежели описание самого Мазепы. В позднеромантических текстах происходит маргинализация героя, дискредитирующая одну из главных черт поэтики романтизма — помещение героя в центр изображаемого мира.

При трансплантации мазепинского сюжета на русскую литературную почву он попал в «родной» поэтический и политико-историософский контекст. Образ Мазепы, в котором можно было сочетать черты революционера-бунтовщика и изменника-заговорщика, интересовал Рылеева уже в период создания «Дум» (1822–1823). Мотивировке измены посвящен фрагмент-набросок Рылеева:

Для Мазепы, кажется, ничего не было священным, кроме цели, к которой стремился <...> ни [дружество], ни уважение <...> оказываемое ему Петром, ни самые благодеяния, излитые на него сим великим монархом, ничто не могло отвратить его от измены. Хитрость в высочайшей степени, даже самое коварство почитал он средством дозволенным на пути к оной [Рылеев 1934: 416].

Рылеев не замалчивает аморальной решимости и радикализма Мазепы, но и ничего не говорит о его целях. В других «мазепинских» набросках гетман характеризуется как «человек властолюбивый и хитрый; великий лицемер, скрывающий свои злые намерения под желанием блага родине» [Там же: 413].

Петровско-мазепинский сюжет ложится также в основу последней думы Рылеева — «Петр Великий в Острогжске»<sup>4</sup>, в которой описывается встреча Мазепы и Петра в 1696 г. Вот как выглядит описание этой встречи в преамбуле П. Строева, авторизованной Рылевым: «В то время Мазепа был еще невинен. Как бы то ни было, но уклончивый, хитрый гетман умел вкрасться в милость Петра. Монарх почтил его посещением, обласкал, изъявил особое благоволение и с честью отпустил в Украину» [Рылеев 1971: 162]. Рылеева интересует, как гетман вкрадывается в доверие Петра [Там же].

Кульминацией мазепинских штудий Рылеева бесспорно является поэма «Войнаровский», в которой сосланный в Якутск

<sup>4</sup> См. хронологию возникновения дум у Цейтлина: [Цейтлин: 573–574, 845].



племянник и соратник Мазепы Войнаровский рассказывает свою версию полтавской истории. Сибирь выступает при этом не просто как «фон» или рамочная конструкция. Количественно сибирская часть в поэме доминирует [Jekutsch: 349]. В поэме происходит противопоставление двух типов казаков — украинских, которых Рылеев подает как носителей революционного духа, и сибирских, «одомашненных», интегрированных в государственные структуры империи и тем самым обслуживающих самодержавие. «Прирученный» «сибирский строевой казак» [Рылеев 1971: 193] контрастирует с украинским казаком, повстанцем и тираноборцем. Сибирь в поэме изображается как место изгнания, в котором жертвы внутренней колонизации становятся адептами своих гонителей.

По мере эволюции творчества Рылеева образ Мазепы в его произведениях все больше усложняется; поэт пытается оправдывать его «измену»<sup>5</sup>. Если в думе «Петр Великий в Острогжске» Рылеев показал, когда и как в душе интригана начинает зреть коварный замысел, то в «Войнаровском» цели и смысл деятельности Мазепы остаются открытыми для дальнейших интерпретаций:

Не знаю я, хотел ли он  
Спасти от бед народ Украйны  
Иль в ней себе воздвигнуть трон.  
Мне гетман не открыл сей тайны [Там же: 209].

Рылеев начинает толковать и оправдывать Мазепу как политика, действовавшего в интересах вольнолюбивой Украины.

---

<sup>5</sup> Поскольку и русские, и украинские историки, от Прокоповича до Бантыш-Каменского, как, впрочем, и украинская народная поэзия негативно отзываясь о Мазепе, причины симпатий Рылеева к Мазепе Василий Маслов [Маслов: 302–303] видит в знакомстве Рылеева с позитивной оценкой гетмана в польских националистических кругах и даже не исключает знакомства поэта с лириком Тимко (Фомой) Падурой, автором думы о Мазепе. Падура, имевший связи с декабристами и впоследствии принявший участие в восстании 1830–1831 гг., был, кстати, переводчиком «Конрада Валленрода» на украинский язык.



Такова, по крайней мере, точка зрения Войнаровского, который в поэме изображен позитивно. Характерно, однако, что поэма прямо не называет противников Мазепы — Россию и Петра [Jekutsch: 343]<sup>6</sup>: мотивировка измены и бунта подчинена центральной для Рылеева антисамодержавной тематике. Тираноборческие мотивы усиливаются за счет упоминания Брута [Рылеев 1971: 217]. Украинцы выступают как отечественные носители республиканских идей.

Рылеевский пафос мести достигает кульминации в сцене, когда Мазепа открывается Войнаровскому и спрашивает своего соратника и племянника, чем бы он пожертвовал для свободы родины. Вот ответ Войнаровского:

Готов все жертвы я принести, —  
Воскликнул я, — стране родимой;  
Отдам детей с женой любимой;  
Себе одну оставляю честь [Там же: 204].

Отвечая Войнаровскому, Мазепа радикализирует этот жертвенно-мученический патриотический пафос еще больше:

Но чувств твоих я не унижу,  
Сказав, что родину мою  
Я более, чем ты, люблю.  
Как должно юному герою,  
Любя страну своих отцов,  
Женой, детьми и собою  
Ты ей пожертвовать готов...  
Но я, но я, пылая мстью,  
Ее спасая от оков,  
Я жертвовать готов ей честью [Там же].

Особенную остроту и драматизм получает признание Мазепы на фоне параллелизма «Войнаровского» с вышеупомянутой думой «Богдан Хмельницкий». Ее герой обращается к казакам:

Друзья! — он к храбрым восклицает, —  
За мной, чью грудь волнует месть.

<sup>6</sup> Ср. также: [O'Meara: 186–188].

Кто рабству смерть предпочитает,  
Кому всего дороже честь! [Рылеев 1975: 76]

В «Богдане Хмельницком» защита чести еще является мерой и оправданием мести (см. рифмовку). В «Войнаровском» же Мазепа жертвует личной честью во имя народного блага. Внимание Рылеева обращено к мотиву готовности к самопожертвованию — движущей силе политического радикализма. В деле борьбы за свободу для Мазепы хороши все средства:

Так, Войнаровский, испытаю  
Покуда длится жизнь моя,  
Все способы, все средства я [Рылеев 1971: 208].

Переосмысление образа Мазепы было замечено современниками. Так, П. А. Катенин признавался: «Всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном. Диво и то, что цензура пропустила...» [Маслов: 319; Рылеев 1934: 616].

Воспетая Рылевым готовность Мазепы пожертвовать честью станет основным пафосом «валленродизма» [Gomolicki: 65], идеология которого изложена — на эзоповом языке польского романтического макиавеллизма — в поэме Мицкевича «Конрад Валленрод». В этом произведении Мицкевич в духе трагического демонизма воспел измену как единственное оружие раба. Заглавный герой «Валленрода», будучи литовцем, становится рыцарем тевтонского ордена. Притворяясь его ревностным служителем, Валленрод доходит до поста магистра и сознательно приводит орден к поражению<sup>7</sup>. «Конрад Валленрод»

<sup>7</sup> Мазепинский сюжет был Мицкевичу не чужд. Он был известен ему как из сочинений Байрона и Рылеева, так и из польской литературы — например, из стихотворения «Думка Мазепы» (“*Dumka Mazepy*”) Богдана Залеского. По возвращении из крымского путешествия в Москву Мицкевич писал в письме своему другу А. Одынцу в марте 1826 г. (т.е. непосредственно перед началом работы над «Конрадом Валленродом»): “*Czytałem niedawno dumkę Zaleskiego Mazepa. Śliczna, wyborna. Te dwie dumki: o Kosińskim i Mazepie, sprawiły mnie największą poetycką przyjemność, ja-*

был написан, судя по всему, с учетом поэмы Рылеева «Войнаровский» и судьбы самого Рылеева [Gomolicki: 65]. Мицкевич начинает работу над «Валленродом» во второй половине 1826 г., т.е. после получения известия о казни декабристов<sup>8</sup>. Если учесть это хронологическое совпадение и возможную смысловую переключку, еще большую весомость получает предположение, что в имени Конрад содержится аллюзия к имени Кондратия Рылеева<sup>9</sup>. В связи с этим вновь [Blüth] напрашивается вопрос, не был ли скорее Рылеев, нежели Пушкин прототипом русского поэта, с которым разговаривает о самодержавии его польский друг в стихотворении “Pomnik Pietra Wielkiego” («Памятник Петра Великого»).

В заключение хотелось бы отметить, что особую остроту приобретает в данном контексте и пушкинская разработка «казацко-украинской» и мазепинской тематики, если вспомнить, что «Полтава» является полемическим откликом Пушкина как на

---

kiej dawno w czytaniu wierszy polskich nie doznałem. Co za nadzieje na przyszłość! Zaleski bez wątpienia potrafi napisać romans historyczny godny Waltera Skotta» [Mickiewicz: XIV, 289] [«Читал недавно думку Залеского “Мазепа”. Прелестна, превосходна. Эти две думки — о Косинском и о Мазепе — доставили мне величайшее поэтическое наслаждение, какого я давно не испытывал, читая польские стихи. Какие надежды на будущее! Залеский, без сомнений должен написать исторический роман, достойный Вальтера Скотта»] [Мицкевич: 361].

<sup>8</sup> Напомним, что с упоминания о казни Рылеева Мицкевич начинает свою ностальгическую инвективу “Do pszyjaciół moskali” («Друзьям-москалям»), направленную против русских писателей, (бывших) друзей поэта (и в их числе — Пушкина), занявших, по его мнению, соглашательскую позицию по отношению к Николаю I. Как нам представляется, именно получение известия о казни Рылеева форсировало риторический рывок Мицкевича от «Крымских сонетов» к «Конраду Валленроду».

<sup>9</sup> См. характерную ошибку в названии статьи К. М. Куева [Kujew] “Wie Adam Mickiewicz und Konrad Rylejew miteinander bekannt wurden” («Как познакомились Адам Мицкевич и Конрад Рылеев»). Ср. также [Lednicki 1956: 88 (прим. 1)].

«Войнаровского», так и на поэму Мицкевича «Конрад Валленрод»<sup>10</sup>. Версию о полемичности «Полтавы» по отношению к «Конраду Валленроду» выдвинули почти одновременно М. Аронсон [Аронсон] и В. Ледницкий [Lednicki: 247]. Против гипотезы М. Аронсона высказалась Я. Л. Левкович, аргументируя тем, что «аскетический образ Конрада, его умение отказаться от личных целей и стремлений, пожертвовать личным во имя общего, национального никак не соотносится со старым сластолюбцем гетманом» [Левкович: 152–153]. Левкович косвенно возражает Н. В. Измайлов: «Идеологически Мазепа был отрицательным ответом на проблему, поставленную и разрешенную положительно в поэме Мицкевича, — проблему ренегатства как возможной политической тактики» [Измайлов: 116]. Д. П. Ивинский полагает, что «тот факт, что пушкинский Мазепа не похож на героя поэмы Мицкевича, не означает еще» отсутствия полемики между «Полтавой» и «Конрадом Валленродом»:

В этих произведениях сопоставлены не герои, а сюжеты. Мазепа и Конрад совершают один и тот же поступок, и полемичность «Полтавы» по отношению к «Конраду Валленроду» подчеркнута тем обстоятельством, что если у Мицкевича путь предательства как способ борьбы с врагами отечества избирает человек благородный и самоотверженный, то у Пушкина на это оказывается способным лишь честолюбец и ренегат, действующий к тому же из соображений личной мести [Ивинский: 189–190]<sup>11</sup>.

Постановка вопроса об этосе власти и сопротивления ей прослеживается у Пушкина со времен «Бориса Годунова». Все герои драмы, от царя Бориса и самозванца до Курбского, боярина Пушкина и «народа», оказываются вовлечены в интере-

---

<sup>10</sup> Напомним, что Пушкин намеревался перевести драму Мицкевича целиком, но в конце концов перевел лишь ее зачин («Сто лет минуло, как тевтон...»).

<sup>11</sup> Д. П. Ивинский предлагает рассматривать пушкинские отклонения от оригинала при переводе зачина поэмы Мицкевича именно на фоне полемики «Полтавы» с «Конрадом Валленродом» — ср. [Ивинский: 190–193].



сующую Пушкина этико-историософскую проблематику бремени и соблазна власти, измены и права на бунт. Проблема русской смуты ассоциативно связывается с темой внешнего — польского — завоевания. Для нас важно, что сам вопрос о государственной измене оказывается связан с проблематикой русско-польских связей. В «Годунове» характерна не только фигура самозванца, заручающегося поддержкой Литвы, но и «изменников»-эмигрантов, присоединяющихся к нему в Кракове. Среди этих политических эмигрантов сын Курбского — «Брута» Ивана Грозного: он становится на сторону Отрепьева, участвует в войне и погибает в походе на Москву. Для нас важно и то, что как «Полтава» перекликается с «Войнаровским», так и в «Борисе Годунове» проблема Курбского разрабатывается на фоне рылеевского текста — думы «Курбский».

В «Полтаве», по-своему развивающей проблематику «Бориса Годунова», Пушкин как бы нивелирует политический мотив предательства Мазепы — причиной предательства становится личная обида [Гузаиров]. Политическая тематика и этическая проблематика бунта, чести и измены будут продолжены Пушкиным в «Капитанской дочке», где безусловно отрицательному, хотя и трагическому образу украинского Брута-Валленрода — Мазепы из «Полтавы» — противопоставляется загадочный, амбивалентный Пугачев<sup>12</sup>. При переносе мазепинской проблематики во внутренне-русский исторический контекст сюжет, первоначально зародившийся и развивавшийся в рамках русско-польского интертекстуального освоения (присвоения) Украины, украинская компонента хотя и стусевывается, но продолжает действовать на сюжетно-

---

<sup>12</sup> «Наследником» Мазепы (и Валленрода) оказывается не самозванец Пугачев, а Швабрин, движимый корыстью. Он, как и Мазепа — перебежчик из одной социальной группы в другую. Как и в случае Мазепы, смена лагеря сопровождается подлостью и клеветой. При этом перебежчика Швабрина наказывает справедливый Пугачев. Ср. также страшную участь другого перебежчика — Юлая; выражение мести мятежников, тема расправы и самосуда: в своих произведениях Пушкин карает изменников любого рода.

идеологическом уровне, развивая противоречивые и мультифункциональные коннотации и перипетии украинской темы в русской литературе 1820-х гг. вообще и поэзии Рылеева, в частности.

## ЛИТЕРАТУРА

- Аронсон: *Аронсон М.* «Конрад Валленрод» и «Полтава»: К вопросу о Пушкине и московских любомудрах 20-х – 30-х годов // Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 2. С. 43–56.
- Гузаиров: *Гузаиров Т.* «Клок бороды»: исторические события и художественный образ в «Истории Пугачевского бунта» // Соп атоге. Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой / Сост. Р. Г. Лейбов и др. М., 2010. С. 137–146.
- Ивинский: *Ивинский Д.* Пушкин и Мицкевич. М., 2003.
- Измайлов: *Измайлов Н. В.* Пушкин в работе над «Полтавой» // Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975.
- Киршбаум: *Киршбаум Г. Э.* Дискуссия о происхождении дум: польская компонента // Тыняновский сборник. Материалы пятнадцатых Тыняновских чтений / Под ред. Е. А. Тоддеса и М. О. Чудаковой. М., 2011 (в печати).
- Левкович: *Левкович Я. Л.* Переводы Пушкина из Мицкевича // Пушкин: исследования и материалы. Л., 1974. С. 151–166.
- Маслов: *Маслов В. И.* Литературная деятельность Рылеева. Киев, 1912.
- Мицкевич: *Мицкевич А.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1954. Т. 5.
- Рылеев 1934: *Рылеев К. Ф.* Полн. собр. соч. / Сост. и ред. А. Цейтлина. М.; Л., 1934.
- Рылеев 1971: *Рылеев К. Ф.* Полн. собр. стихотворений / Под ред. А. В. Архиповой, В. Г. Базанова и А. Е. Ходорова. Л., 1971.
- Рылеев 1975: *Рылеев К. Ф.* Думы. М., 1975.
- Цейтлин: *Цейтлин А. Г.* Творчество Рылеева. М., 1955.
- Babinski: *Babinski H.* The Mazepa Legend in European Romanticism. N.Y., 1974.
- Blüth: *Blüth R.* Mickiewicz i Rylejew pod pomnikiem Piotra Wielkiego // Rocznik koła polonistów, słuchczów uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 1927. S. 43–59.
- Byron: *Byron G. G.* The Works. In 14 Vol. Vol. XI. London, 1834.

- Galster: *Galster B.* Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie. Warszawa, 1987.
- Gomolicki: *Gomolicki L.* Wojnarowski – Wallenrod – Połtawa // *Twórczość*. 1949. № 6. S. 63–83.
- Jekutsch: *Jekutsch U.* Ryleevs Vojnarovskij und Puškins Poltava // *Gattungen in den slavischen Literaturen. Festschrift für A. Rammelmeyer / Hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe.* Köln; Wien, 1988. S. 337–360.
- Kujew: *Kujew K. M.* Wie Adam Mickiewicz und Konrad Rylejew miteinander bekannt wurden // *Zeitschrift für Slawistik*. 1956. Bd. 1. H. 1. S. 69–72.
- Lednicki: *Lednicki W.* Mój puszkiniowski Table-talk (Dla puszkiniistów) // *Puszkini 1837–1937. T. I.* Kraków, 1939. S. 227–455.
- Lednicki 1956: *Lednicki W.* Mickiewicz's Stay in Russia and his Friendship with Pushkin // *Mickiewicz in World literature / Ed. by W. Lednicki.* Berkeley et al., 1956. P. 13–104.
- Mickiewicz: *Mickiewicz A.* Dzieła. Warszawa, 1955.
- O'Meara: *O'Meara P. K. F.* Ryleev. A Political Biography of the Decembrist Poet. Princeton, 1984.

# ЭТНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАК ПРОБЛЕМА ПОЭТИКИ (немецкие персонажи в творчестве И. С. Тургенева)\*

ЕЛИЗАВЕТА ФОМИНА

Тургеневские немцы — часть многонационального художественного мира писателя, в котором, помимо русских, присутствуют итальянцы, французы, малороссы, евреи и др. Обилие инонациональных персонажей у Тургенева свидетельствует о том, что этничность (наряду с социальной, культурной, гендерной и др. принадлежностью) была для него одним из ключевых средств характеристики героев<sup>1</sup>. Однако, несмотря на культурное и этническое многообразие типажей, уже современники в тех или иных формах высказывали мысль о постоянстве тем, героев и сюжетов у Тургенева. Так, Н. Г. Чернышевский, упрекая героя «Аси» в нерешительности, отмечал, что эта же черта встречается и у других персонажей Тургенева — у П. А. Б. из «Фауста», Рудина и др. Критик трактовал такую «однотипность» как симптом обмельчания современного человека, тем самым переходя от проблем художественных к социальным. Вместе с тем такой угол зрения не отменял самого наблюдения о сюжетных перекличках и близости куль-

---

\* Работа выполнена при поддержке гранта ЭНФ № 7901 «“Идеологическая география” западных окраин Российской империи в литературе».

<sup>1</sup> Многонациональность художественного мира Тургенева основательно не исследовалась, хотя обращение к творчеству писателя убеждает в том, что русские герои почти всегда подаются на фоне инонациональных образов. Существующие работы по этой проблеме, как правило, описательны. См.: [Славгородская; Чугунов; Зельдхейи-Деак].



турно-психологического облика тургеневских героев<sup>2</sup>. Хотя эти наблюдения касались, прежде всего, центральных героев — русских, впечатление «повторов» возникало впоследствии у других критиков и по отношению к второстепенным персонажам.

Спустя несколько месяцев после выхода статьи Чернышевского, Ап. Григорьев, ставя перед собой совершенно иные задачи и говоря о другом типе тургеневских персонажей в совершенно ином контексте, подчеркнул ту же особенность. Мысль о сходстве героев прозвучала тут еще более отчетливо:

Борьба Тургеневская <с ложными идеалами. — Е. Ф.> оставила свой осадок во множестве чисто-отрицательных образов, более или менее всех похожих один на другой. Один и тот же господин является и в «Дневнике лишнего человека», и в «Бретере», и отчасти в «Двух приятелях» и, наконец, взятый в самой обыденной среде жизни, в «Петушкове» [Григорьев: 23–24].

С другой точки зрения и в свете иных задач на «повторы» взглянули исследователи, хотя и в научной литературе эта особенность не всегда осознавалась как проблема тургеневской поэтики. Л. Пумпянский отмечал обилие автореференций в «Дыме» и возводил генеалогию сюжета и героев романа к тургеневским повестям 1860-х гг. [Пумпянский: 479–480]. Тем не менее, Пумпянский считал, что «повторяемость» здесь не сознательный ход, а признак кризиса тургеневского романа как жанра. В поисках новой формы Тургенев (безуспешно, как считал исследователь) попытался выстроить роман по образцу своих повестей, позаимствовав оттуда не только художественный метод, но и отдельные образы, характеристики героев и даже детали. Ученый сравнивал гранатовый крестик из «Вешних вод» с букетом гелиотропов в «Дыме»: оба предмета, с его точки зрения, выполняют одинаковую функцию — с их помощью герой вспоминает прошлое, так происходит завязка сюжета.

<sup>2</sup> Ср. риторический вопрос, на который Чернышевский отвечает отрицательно: «может быть, эта жалкая черта в характере героев — особенность повестей г. Тургенева? Быть может, характер именно его таланта склоняет его к изображению подобных лиц?» [Чернышевский: 402].

Мысль Пумпянского о взаимозависимости тургеневских повестей и романов развил затем Г. Бялый, который, в отличие от своего предшественника, понимал «повторяемость» как поэтический принцип. Бялый попытался с ее помощью объяснить творческий путь Тургенева: в повестях и рассказах, считал ученый, намечаются и разрабатываются образы, сюжеты и темы для будущей крупной формы; после написания романа Тургенев вновь возвращается к тому же тематическому материалу в своих новеллах [Бялый]. Концепция Бялого подразумевает подход к тургеневскому творчеству как к «единому тексту», где все элементы сцеплены между собой, а их повторяемость обеспечивает конструкции дополнительную связность. Именно с этой точки зрения мы бы хотели подойти к интересующей нас проблеме и остановиться на частном аспекте — принципах конструирования персонажей-немцев. Это тем более интересно, что немецкие образы у Тургенева, как правило, неоднотипны, следовательно, выдвинутый нами тезис о «повторяемости» следует прояснить.

О неоднотипности свидетельствует уже спектр профессий героев-немцев, представленных в тургеневских текстах. В них встречаются *немцы-«наставники»* — профессора, учителя и гувернеры: профессор из «Андрея Колосова» (1844), профессор в «Гамлете Щигровского уезда» (1849), учитель Рикман в «Дневнике лишнего человека» (1850), содержатель пансиона Винтеркеллер в «Якове Пасынкове» (1855), Шimmel в «Фаусте» (1856), Лемм в «Дворянском гнезде» (1859); *врачи*: «Переписка» (1856), «Отцы и дети» (1862); *управляющие*: Карло Карлыч Линдамандол в «Конторе» (1847)<sup>3</sup>, Готлиб фон-дер Кок в рассказе «Смерть» (1848), немец-управляющий в «Нови» (1877); *ученые*: провинциальный ученый, опознавший гиену «по причине особенного устройства ее хвоста» — «Зати-

---

<sup>3</sup> Искраженное имя, которым называют управляющего крестьяне, отсылает к другому тургеневскому герою, помещику из русских немцев — Макарату Ивановичу Швохтелю. На самом деле он — Леберехт Фохтлендер (см. неопубликованный при жизни Тургенева рассказ «Русский немец», писался в 1847).

шь» (1854); *военные*: генерал в «Жиде» (1847), офицер Кистер в «Бретере» (1847); *чиновники*: Родион Карлович фон Фонк в пьесе «Холостяк» (1849), Ростислав Адамович Штоппель в «Чертопханове и Недопюскине» (1849), граф Рейзенбах в «Дыме» (1867) и др.

Более того, даже герои, принадлежащие к одной профессии, не повторяют друг друга, хотя в ряде случаев можно установить некоторое тождество. Например, немцы-чиновники всегда изображаются негативно. Тургенев подчеркивает их сухость, бездушность, эгоизм. Чаще всего эти характеристики дополняются речевыми — они говорят «нестерпимо правильным» русским языком. Персонажи-«наставники» сложнее, но и здесь можно проследить взаимосвязь. Прежде всего, эти образы конструируются на столкновении двух составляющих — с одной стороны, низкого социального статуса и связанного с ним облика, привычек и т.п., с другой — большей или меньшей приобщенности к высокой культуре. Наиболее ярко эта противоречивость проявится в образе Лемма (см.: [Фомина 2010а: 30–35]), в котором будут учтены и характеристики предшествующих ему наставников-немцев. Так, эпизодический герой Рикман в «Дневнике лишнего человека» описывается как «необыкновенно печальное и судьбою пришибленное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине» [Тургенев: IV, 169]. Его специализация не уточняется, но косвенным указанием на нее служит песня, в которой немец поет о своем желании вернуться в Германию. Мотив ностальгии в связи с профессией музыканта, несмотря на качественное отличие, несомненно, предвосхищает образ Лемма в «Дворянском гнезде».

Функционально Лемм сопоставим и с Шиммелем, который, однако, гораздо более снижен. Его «филистерские» черты проявляются в отношении к природе и искусству — искреннее восхищение «Фаустом» не выводит его из круга бытовых забот: сразу же после чтения он говорит о пользе сна и выпивает «рюмочку водки», что особенно контрастирует с реакцией на трагедию Гете всегда спокойной и рассудительной Веры. Природа тоже не вызывает у Шиммеля сильных эмоций:



«Сколько звезд! — медленно проговорил он, понюхав табак, — и это все миры, — прибавил он и понюхал в другой раз» [Тургенев: V, 107]. Дополнительно снижает этот образ описание внешности Шиммеля: «какой-то старый немец, в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый, потертый, с самым смиренным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе... все старые немцы так пахнут»<sup>4</sup> [Там же: 105]. Вместе с тем именно Шиммелю благоволит главная героиня, а он, как бы высказывая мысль главного героя — Павла Александровича, называет ее дом «обителью мира», тем самым характеризуя героиню. Он, как и Лемм, «подсвечивает» любовную линию — с помощью этого образа дополнительно характеризуются герои и возникающее между ними чувство. Кроме того, через этот образ в повесть вводится музыкальное «сопровождение» (или «оркестровка», если привлечь термин Пумпянского): в сцене речной прогулки Шиммель поет студенческую песню, которую на следующий день напевает Вера. П. А. замечает, что у нее сильный, звучный сопрано, тогда как ранее говорилось, что голос у нее был «как у семилетней девочки». Так Тургенев не только оттеняет изменения, происходящие в душе героини в результате ее знакомства с искусством, но и намекает на зарождение любви к П. А. Вряд ли нужно напоминать, что намеченный здесь прием наложения музыкальных образов на любовный сюжет достигнет своей кульминации в «Дворянском гнезде».

Связь «немецкости» с музыкальностью имеет как бытовые, так и культурные коннотации. Во-первых, в России в середине XIX в. музыкальное образование еще не было достаточно распространено (первая российская консерватория открылась лишь в 1862 г.), поэтому дворяне выписывали иностранных музыкантов (как правило, немцев) для обучения своих детей

---

<sup>4</sup> Ср. с описанием жены немецкого профессора в «Андрее Колосове», «от которой вечно несло дымом и огуречным рассолом; она была еще довольно молода, но уже не имела ни одного переднего зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого украшения человеческого тела» [Тургенев: IV, 8].



или для участия в домашнем оркестре<sup>5</sup>. Во-вторых, сближение «немецкости» с исключительной одаренностью стало возможным благодаря концепту «романтического гения», который был создан еще йенскими романтиками, а затем усвоен и в России, благодаря творчеству В. Одоевского, В. Соллогуба и др. О переключках между образом Лемма и героем «Истории двух калош» Соллогуба нам уже приходилось писать [Фомина 2010b: 205].

Вообще, Тургенев, изображая немецких героев, активно использовал отсылки к творчеству своих предшественников. Однако, как правило, обращение к претекстам происходит в тех случаях, когда герои сюжетно значимы. «Фоновые» персонажи чаще всего не связаны с определенным подтекстом, но и их появление в произведении концептуально. Так, образ некомпетентного доктора из «Переписки» вводится с целью характеристики главного героя и выявления его «бытового романтизма». Умиравший Алексей Петрович скучает в духе Печорина. Но его презрение к смерти подается на сниженном фоне — оно проявляется исключительно в насмешках над недалеким доктором и выглядит, скорее, незначительным капризом больного, чем вызовом судьбе.

Образ другого тургеневского врача-немца — в финале «Отцов и детей» — подается как полная противоположность некомпетентному доктору из «Переписки». В нем акцентируются серьезность и профессионализм, главным образом потому, что Тургеневу с помощью этого героя было важно оттенить отношение Одинцовой к умирающему Базарову и подчеркнуть трагизм его гибели. Несмотря на то, что Одинцова не только посещает смертельно больного, но и привозит к нему квалифицированного врача, а после того, как Базаров предупреждает ее о риске заразиться, «великодушно» садится с ним рядом, проявление заботы здесь не предполагает любви. На самом деле, Одинцова «внутренне содрогается» и приближается к Базарову, «не снимая перчаток и боязливо дыша». Ху-

<sup>5</sup> Ср. в этой связи бегло очерченный образ немца-капельмейстера в рассказе «Малиновая вода» (1848).

дожественный замысел Тургенева предопределяет здесь то, что врач изображается в полном соответствии с распространенными в середине XIX в. представлениями о профессионализме немецких докторов.

В обусловленности героя контекстом — одна из причин той неопределенности, с которой мы можем говорить о персонажах-немцах как о некоторой целостной группе героев в тургеневском творчестве. Зависимость героя от художественной концепции произведения является и причиной того, что выстроить удовлетворительную классификацию этих персонажей по «внешним» признакам — профессии, социальному статусу, культурному уровню — скорее всего, невозможно. Разделение персонажей-немцев по профессиональному признаку хоть и проясняет сходство и «генеалогию» в отдельных случаях (напр., с немцами-наставниками), все же работает не всегда. Так, оно не позволяет в полной мере учесть женские образы, которых у Тургенева немало<sup>6</sup>. Кроме того, за пределами такой классификации оказываются герои с неопределенной профессиональной принадлежностью — напр., Купфер в «Кларе Милич» (1883). Очевидно, что героини-немцы у Тургенева «индивидуальны» и, как правило, не повторяют друг друга, поэтому функция обобщающей их характеристики — национальной принадлежности — остается неясной. Попытаемся прояснить ее на примере группы персонажей, отобранных нами по «поэтическому» принципу — мы остановимся на текстах со сходной персонажной структурой: «Бретер», «Несчастливая», «История лейтенанта Ергунова», «Стук... Стук... Стук!...», «Клара Милич». В центре сюжета здесь — антагани-

---

<sup>6</sup> Жена немца-профессора в «Андрее Колосове», профессорские дочери Линхен и Минхен в «Гамлете Щигровского уезда», помещица Кунце в рассказе «Постоялый двор» (1855), фрейлейн Фридерике в «Якове Пасынкове» (1855), фрау Луизе и служанка Ганхен в «Асе» (1858), Каллиопа Карловна — мать В. П. Лаврецкой в «Дворянском гнезде», любовница Стахова Августина Христиановна, Зоя Никитична Мюллер в «Накануне» (1861), немка Эмилия в «Истории лейтенанта Ергунова» (1868), жена Ратча в «Несчастной» (1869).

сты, русский и «русский немец». Особенности конструирования немецких образов в этих произведениях тем более интересны, что эти герои наделяются как бы «двойной этничностью», что привносит дополнительную неопределенность в их характеристику. Однако немецкая составляющая на фоне их обруселости проявляется особенно отчетливо.

Первой в цепочке произведений о русском и немце стала ранняя повесть «Бретер» (1847), пафос которой современники увидели в разоблачении «печоринского» типа. В повести изображается полковое общество, на фоне которого выделяется Авдей Лучков — офицер, за которым закрепилась слава «фатального» и необыкновенного человека. Однако в ходе повествования выясняется, что за внешней авторитетностью Лучкова скрываются невежество и грубость. Когда в полк прибывает офицер немецкого происхождения Кистер, обладающий противоположными качествами (Тургенев подчеркивает его начитанность и деликатность) Лучков неожиданно с ним сближается после происшедшей между ними дуэли. Оба героя знакомятся с дочерью соседнего помещика Машей, которую поначалу интересует загадочный бретер Лучков, но в итоге она отдает предпочтение Кистеру. Кистер собирается жениться на Маше, однако бретер не может смириться со своим поражением, вызывает Кистера на дуэль и убивает его.

Повесть во многом строится на нарушении читательских ожиданий: необыкновенный герой изображается сатирически, а русский немец становится трагической фигурой, что в целом противоречило предшествующей традиции в изображении немцев (напр., у Пушкина и Гоголя<sup>7</sup>). Тургенев, несомненно, имел ее в виду, но во многом сгладил «типично немецкие» черты в образе Кистера. Сословная принадлежность (он русский дворянин) свидетельствует о его обруселости, которая косвенно подтверждается в описании его семейства, где не

<sup>7</sup> Ср., напр., с уже упомянутым доктором из «Станционного смотрителя» [Пушкин: VI, 94] или с «жестяных дел мастером» Шиллером и сапожником Гофманом из «Невского проспекта» [Гоголь: 7–46].



подчеркивается никаких этнических характеристик. Вместе с тем Кистер владеет немецким — он переводит Шиллера и Клейста, что, однако, может объясняться его образованностью, поэтому акцент на происхождении Кистера оказывается, на первый взгляд, немотивированным.

Интерпретаторы повести, сделав акцент на Лучкове-Печорине, уделили немцу гораздо меньше внимания. На его очевидное сходство с другим знаковым для русской литературы персонажем — Ленским, — указал лишь Пумпянский [Пумпянский: 443] (подробнее о параллелизме образов Кистера и Ленского см. также: [Киселева, Фомина: 245–247]).

Переосмысляя пушкинский образ, Тургенев ослабил иронию в описании своего героя, хотя и не отказался от нее совсем, тем самым настраивая читателя на двойное прочтение образа Кистера. И хотя аллюзии на Ленского свидетельствуют о том, что для Тургенева был важен не столько этнический, сколько культурный тип, отсылка к устойчивым бытовым представлениям о немцах была для писателя не менее значима. В тексте неоднократно подчеркиваются аккуратность и скромность Кистера, которые одновременно и привлекают, и вызывают легкие насмешки его сослуживцев:

Федор Федорович понравился своим новым товарищам. Они его полюбили за добродушие, скромность, сердечную теплоту и природную склонность ко «всему прекрасному» — словом, за всё то, что в другом офицере нашли бы, может быть, неуместным. Кистера прозвали красной девушкой [Тургенев: IV, 36].

Красноречивой деталью, подчеркивающей амбивалентность этого персонажа, становится и упоминание о его увлечении Клейстом. Он читает «Идиллию», причем не уточняется, какому именно Клейсту она принадлежит: поэту-романтику и драматургу Генриху Клейсту, у которого было стихотворение с таким подзаголовком (“*Der Schrecken im Bade*”), или же поэту XVIII в. и автору многочисленных идиллий Эвальду-Христиану. И хотя трагический финал повести как бы подтверждает, что Кистеру был ближе все же Клейст-романтик, его идиллические мечты о семейной жизни в деревне подчеркнута



антиромантичны. Это, с одной стороны, снижает образ Кистера, с другой — благодаря подключению пушкинского подтекста, — утверждает естественность «обычного» героя и его большую ценность по сравнению с бытовым романтиком.

Проблема бытового романтизма интересовала Тургенева и в зрелый период творчества, несмотря на то, что в конце 60-х гг. критика печоринского типа уже не могла быть актуальной. Возврат Тургенева в 60-е гг. к проблемам 40-х неоднократно отмечался исследователями, но его причины прояснены недостаточно.

Важно отметить, что Тургенев в 1860-е гг. «возвращается» к прежним темам и героям уже на новом уровне. Произведения этого периода всегда имеют несколько «измерений». Даже, если действие происходит в 30–40-е гг., подспудно здесь всегда присутствует и современный пласт. Например, в повести «Несчастлиная», отчасти восходящей к произведениями 1830–40-х гг., трагическая история любви Сусанны и Фустова, как предположила Л. М. Лотман, может проецироваться и на эпизод из биографии Фета, а именно — на его отношения с Марией Лазич [Лотман: 43–44]. С учетом того, что в конце 60-х личное общение между Тургеневым и Фетом стало крайне напряженным, а в 1867 г. между ними произошла крупная ссора (спустя несколько месяцев после нее Тургенев начал работу над «Несчастной»), предположение Л. М. Лотман о том, что Тургенев «неоднократно возвращался к мысли о характере Фета, оценивая и объясняя его», в том числе, и в своем художественном творчестве, кажется нам убедительным [Там же: 43]. Тем более, что Тургенев добавил в характеристику центрального героя «Несчастной» — Фустова мимолетную, но довольно красноречивую деталь — его немецкие корни<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Тему происхождения Фета можно назвать одним из лейтмотивов их переписки с Тургеневым. Писатель относился к «немецкости» своего корреспондента с неизменной добродушной иронией. Можно найти ряд интересных аналогий между оценками, которые Тургенев давал Фету и своим вымышленным героям. В этой связи нам кажется необходимым дальнейшее рассмотрение

Вообще, национальность играет в «Несчастной» особую роль. Повесть начинается с описания встречи рассказчика с Фустовым — одаренным молодым человеком немецкого происхождения. Через него повествователь знакомится с Ратчем — немецкоязычным чехом и русским патриотом, женатым на немке. Вместе с ними живет падчерица Ратча, еврейка Сусанна, в которую влюблен Фустов. На фоне многонационального антуража этническая принадлежность Фустова упоминается как будто бы вскользь. О его немецких корнях говорится лишь единожды, а русифицированная фамилия и его дистанцированное отношение к русским немцам заставляют воспринимать его как русского. Однако в описании Фустова Тургенев настойчиво повторяет стереотипные качества русских немцев — умеренность и аккуратность. Но здесь его аккуратность, в отличие от того же свойства у Кистера, проявляется не только на бытовом, но и на психологическом уровне. Он стремится избежать сильных порывов, способных привести дисгармонию в его размеренную жизнь: «Он никогда не задумывался, всегда был всем доволен; зато ни от чего не приходил в восторг <...> Всякое излишество, даже в хорошем чувстве, его оскорбляло: “Это дико, дико”, — говаривал он в таком случае» [Тургенев: VIII, 64]. В первоначальном варианте повести умеренному Фустову противопоставлялся разночинец Цилиндров, который впоследствии был автором устранин и частично слит с рассказчиком. Он должен был заступиться за умершую Сусанну и отомстить Ратчу. Его необразованность и скандальный способ мести (он устраивает драку) перекликаются с характеристикой Лучкова, к ней отсылает и определение «фатальный». Но тут «фатальный» герой призван восстановить справедливость и вызывает большее сочувствие автора по сравнению с русским немцем Фустовым, в котором «природа <...> была так устроена, что не могла долго выносить пе-

---

тургеневских немцев, появляющихся в произведениях 50–60-х гг., сквозь призму его биографических контактов, прежде всего, его дружбы с Фетом.

чальные ощущения... Уж больно нормальная была природа!» [Тургенев: VIII, 130].

Как и в «Бретере», значение национальности здесь амбивалентно, и это вновь достигается благодаря литературным подтекстам. Но если мечтательный Кистер проецировался на Ленского, то умеренный Фустов — сниженная вариация образа Германна: «Излишних забот о здоровье тела он не допускал, но не забывал необходимых <...> («Не забывай себя, не волнуйся, умеренно трудись!» — было его девизом)» [Там же: 65]. Ср. слова Германна: «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее <...> расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!» [Пушкин: VI, 219]). Измененная цитата из «Пиковой дамы», помещенная на первых страницах повести, настраивает на то, что речь далее пойдет о «русском немце», прежде уже изображавшемся в русской литературе, но Тургенев переосмысляет пушкинский образ.

Введение пушкинского претекста намекает на поверхностность чувств Фустова-Германна к воспитаннице Ратча. Эти чувства хотя и не связаны с меркантильными интересами (Сусанна получает пенсию от помещика Колтовского, брата ее незаконного отца, и Фустов, узнав о деньгах, подозревает Сусанну в безнравственности и уезжает в деревню), но демонстрируют, что Фустовым руководит не столько искреннее увлечение, сколько иные интересы (товарищи называют его «скромным Дон-Жуаном»). Однако, в отличие от Германна, он лишен способности к сильным чувствам, которыми Тургенев наделяет Сусанну и отчасти рассказчика. Тургенев отказывает ему и в тонкости восприятия — он не способен понять Сусанну, а перед ее смертью, хотя Петр и говорит ему о своих подозрениях, не теряет спокойствия: «У ней восторженная голова <...> Все молодые девушки так... на первых порах» [Тургенев: VIII, 122]. Рассказчик же предчувствует беду и даже видит на окне «бледную женскую фигуру», что привносит дополнительную сложность в определение немецкой составляю-



щей в «Несчастной», т.к. качества Германна (способность к видениям) переходят тут не только к немцу, но и к русскому<sup>9</sup>.

Тургенев не только снижает своего героя, по сравнению с Германном, но и избегает полного повторения уже выведенных Пушкиным качеств. Образ Фустова включает в себя и отсылки к не-немецким героям — прежде всего, к Молчалину из «Горя от ума» Грибоедова, с его «главными достоинствами» — «умеренностью и аккуратностью». И этот намек на Молчалина в сочетании с устойчивыми этническими характеристиками «русских немцев» как бы размывает границы национальности героя.

Не менее примечательна неопределенность этнических черт у персонажей рассказа «История лейтенанта Ергунова» (1868), где, как и в опубликованной годом позже «Несчастной», пестрота национальных характеристик играет особую роль (см.: [Фомина 2011]). Этот рассказ с детективным сюжетом, на первый взгляд, не связан с предшествующими произведениями о парных героях. Тем более что вместо героя-немца появляется героиня — немка Эмилия, девушка сомнительной нравственности, с которой знакомится простодушный офицер Ергунов. Он становится частым гостем в ее доме (как оказывается впоследствии, притоне, в котором остановились преступники Луиджи и Колибри).

Изображение обитателей воровского притона, попытки убийства, а также место действия (причерноморский город) во многом пересекаются с образами и сюжетом лермонтовской «Тамани», что уже отмечалось исследователями [Новикова: 194; Фомина 2011: 49–52]. Важно, что многонациональный антураж и неопределенность этнических характеристик, как и у Лермонтова, соотносятся с криминальностью героев. Ср. восточное происхождение Колибри, которая говорит с польским акцентом и отказывается надеть крест, что позволяет предположить ее еврейство, либо приверженность исламу;

---

<sup>9</sup> К русскому рассказчику отчасти переходят и характеристики Кистера: университетские товарищи за его скромность прозвали его «институткой».



цыгана Луиджи (итальянское имя), прибывшего из Бухареста; старую еврейку Фритче, которая, однако, говорит по-немецки, с подчеркнуто двойственными образами «честных контрабандистов»: «В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется» [Лермонтов: 227]; «слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски» [Там же: 228]; «Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глухая, не слышит <...> Старуха на этот раз услышала и стала ворчать» [Там же: 229–230]; у Янко, которого слепой называет крымским татаринном, славянское имя, а рассказчик замечает в его облике малороссийские черты: «человек в татарской шапке, но стрижен он был по-казаки, и за ременным поясом его торчал большой нож».

Более того, неопределенной оказывается и характеристика самого Ергунова. Несмотря на то, что на этом многонациональном фоне его «русскость» должна проявляться особенно ярко, Тургенев наделяет его устойчивыми характеристиками «русских немцев», неоднократно подчеркивая его скромность и аккуратность. К ним же прямо отсылает и встречавшееся в «Бретере» определение, которое дают герою сослуживцы: «красная девица». Однако, в отличие от немца Кистера, русский Ергунов необразован: «книг он не читал, ибо боялся приливов в голове» [Тургенев: VIII, 8]. Этим он отличается и от Лучкова, все же имеющего некоторый культурный багаж, т.к. Лучков подражает героям Марлинского и Лермонтова. В «Истории» культурные модели стремится воплотить в своем поведении немка: она называет себя Эмилией (впоследствии выясняется, что ее зовут Фредерика Бенгель), а «поэтичное» имя Флорестан, которое она дает Ергунову, свидетельствует о ее бытовом сентиментализме.

Прием «переадресации» национальных качеств будет применен Тургеневым и в рассказе «Стук... Стук... Стук!» (1871), где вновь актуализируется сюжет и образы центральных героев из ранней повести «Бретер». В рассказе изображается полковое общество, «фатальный», необразованный герой Теглев и

русский немец Ридель<sup>10</sup>. Как и Кистер, Ридель скромен и молод и поэтому чуждается общества остальных офицеров, но сближается с одиноким Теглевым. Теглев обладает репутацией необыкновенного человека и выстраивает свое поведение, как и Лучков, по моделям героев Марлинского и Лермонтова. Он суеверен и не умен, но не боится показать свое истинное лицо Риделю, который, хотя и замечает недостатки своего товарища, относится к ним снисходительно. Однако, в отличие от «Бретера», Тургенев, изображая тут бытового романтика, смещает акценты, во многом благодаря тому, что Ридель выступает в функции рассказчика. Он почти не занимается самописанием, а концентрируется на характеристике «фатально-го» Теглева и передаче основных событий.

Рассказ имеет и более близкие по времени параллели в тургеневском творчестве. Так, толчком к самоубийству Теглева служит шутка Риделя — стук, который тот истолковывает как известие о смерти своей возлюбленной. Незадолго до этого у Теглева был роман с воспитанницей его тетки. Узнав об их связи, та прогнала девушку, покинул ее и Теглев, до этого обещавший на ней жениться. В момент расставания Маша угрожает покончить с собой. После ночного стука Риделя Теглев узнает, что Маша умерла. Впоследствии оказывается, что причиной ее смерти была холера, но в представлении Теглева события развивались по иному сценарию, повторяющему сюжет «Несчастной»: «Она лишила себя жизни, — торопливо и как бы со злостью подхватил Теглев. — Третьего дня ее похоронили <...> Она не оставила мне даже записки. Она отравилась» [Тургенев: VIII, 245]. Более того, «Стук...» и «Несчастная» имеют общий претекст — «Пиковую даму», однако если

---

<sup>10</sup> Ридель назван в рассказе «коренным русаком». Немецкая фамилия, данная «коренному русаку», свидетельствует об авторской иронии и, возможно, в этом оксюморонном сопоставлении также проскальзывает намек на Фета, считавшего себя русским. Тем более, что любовная линия рассказа варьирует сюжет «Несчастной», одним из источников которого послужил роман Фета с Лазич.

в повести на Германна проецировался русский немец, то здесь с пушкинским героем сближается «бытовой романтик».

К «Пиковой даме» отсылают как образ обманутой воспитанницы, так и прямые интертекстуальные отсылки. Ср. описание сцены с угадыванием трех карт подряд:

Теглев сидел в углу и не участвовал в игре: «Эх, кабы мне, как в пушкинской “Пиковой даме”, бабушка наперед сказала, какие карты должны выиграть!» — воскликнул один прапорщик, спускавший свою третью тысячу. Теглев молча приблизился к столу, взял колоду, снял и, проговорив: «Шестерка бубен!» — перевернул колоду: внизу была шестерка бубен. «Туз трэф!» — провозгласил он и снял опять: снизу оказался туз трэф. «Король бубен!» — промолвил он в третий раз сердитым шепотом, сквозь стиснутые зубы — отгадал в третий раз... и вдруг весь покраснел. Вероятно, он сам этого не ожидал [Тургенев: VIII, 231].

Пушкинская повесть будет важна и для позднего произведения Тургенева «Клара Милич. После смерти» (1883), в которой на «Пиковую даму» будет отчасти проецироваться линия взаимоотношений Купфера с грузинской княгиней. И хотя Купфера нельзя однозначно сопоставить с Германном, между ними есть некоторый параллелизм. Так, он становится любовником княгини, руководствуясь меркантильными интересами, т.е. здесь мы имеем дело с буквальной реализацией полуфантастических планов пушкинского героя.

Однако круг литературных источников последней тургеневской повести гораздо шире — в рамках творчества писателя она учитывает всю рассмотренную цепочку произведений с парными героями. Причем и здесь происходит «переадресация» национальных качеств героев. Так, имя Купфера отсылает к герою «Бретера» — он, как и Кистер, — Федор Федорович. Но эта автореференция себя «не оправдывает»: мечтательным и наивным здесь оказывается русский, а немец изображается прагматиком и эгоистом. Поэтому, несмотря на некоторое сходство с Кистером (Купфер выводит Аратова в «свет», а Кистер уговаривает Лучкова пойти на бал; как и в Кистере, в Купфере подчеркивается простота и открытость), он представляет собой совершенно иной характер. Контраст парных



героев в «Кларе Милич» так же, как и в предыдущих произведениях о русском и немце, выстраивается на основе национальных характеристик, но рассмотрение всей цепочки текстов убеждает в неопределенности немецких характеров у Тургенева. Писатель постоянно переадресовывает национальные качества разным типажам.

Этот же принцип прослеживается и в изображении других национальностей. В «Несчастной» подчеркивается еврейское происхождение Сусанны, однако национальная принадлежность ее сводного брата по матери-еврейке не акцентируется, более того, их характеры противопоставляются. Страстность и трагизм сближают ее с другими еврейскими героинями — Сарой из раннего рассказа «Жид» и с Кларой Милич, во внешности которой Аратов замечает цыганские или еврейские черты. Напомним, что отец Клары сомневается в том, что она его дочь. Но по уровню одаренности гораздо ближе к Сусанне стоит немец Лемм, образ которого так же, как и в случае с этой героиней, строится на столкновении двух составляющих — художественной одаренности и неудачливости. На их типологическое родство намекает почти дословное совпадение впечатлений Лаврецкого и рассказчика от игры Лемма и Сусанны:

Лемм «гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотой, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолодевший и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только

Игра Сусанны меня поразила несказанно: я не ожидал такой силы, такого огня, такого смелого размаха. С самых первых тактов стремительно-страстного *allegro*, начала сонаты, я почувствовал то оцепенение, тот холод и сладкий ужас восторга, которые мгновенно охватывают душу, когда в нее неожиданным налетом вторгается красота. Я не пошевелился ни одним членом до самого конца; я всё хотел и не смел вздохнуть. Мне пришлось сидеть сзади Сусанны, ее лица я не мог видеть; я видел только, как ее темные длинные волосы изредка прыгали и бились по плечам, как порывисто покачивался ее



что потрясенную счастьем стан и как ее тонкие руки и обнаженные локти двигались быстро и не-  
любви; они сами пылали лю- ные локти двигались быстро и не-  
бовью [Тургенев: VI, 106]. сколько угловато [Тургенев: VIII, 79].

Отчасти параллелью к Лемму становится и образ Клары Милич, хотя Аратов все же отказывает ей в таланте, а похвалы ей высказываются публикой, не отличающейся тонким вкусом. Однако сама структура образа Клары совпадает с тем, как выстраивается образ Лемма, объединяющий в себе стереотипные характеристики русских немцев и одновременно — высокий талант. В ней так же сочетаются сниженные черты, обусловленные стереотипами, окружавшими в то время профессию актрисы, со страстностью натуры, которая выделяет ее среди окружения.

«Взаимопроницаемость» национальных типажей в случае с героями-артистами, как кажется, легко объясняется необходимостью выделить их из среды. Национальность становится средством к такому выделению. Напр., Катя Миловидова, став актрисой, берет себе южнославянский по форме псевдоним — Клара Милич. Но это, с одной стороны, не объясняет до конца выбора автором конкретной национальности. С другой — было бы неоправданно соотносить этот тургеневский принцип в изображении национальности лишь с героями-артистами, поскольку обращение к творчеству Тургенева убеждает, что принцип «взаимопроницаемости» характерен почти для всех его инациональных героев.

Лемм сопоставляется не только с Сусанной и Klarой, ему находится и более близкая параллель в самом романе «Дворянское гнездо» — образ малоросса Михалевича, с которым его объединяет не только сходство судеб и характеров, но и общий «источник» — тип Дон-Кихота, охарактеризованный Тургеневым в его знаменитой статье. Типологическое родство типажей с разной национальной принадлежностью вскрывает другую особенность тургеневского творчества — неопределенность характеров, которых, даже несмотря на их национальную дифференциацию, не всегда можно однозначно классифицировать.

Эта же особенность характеризует и Фустова в «Несчастной». С одной стороны, он соотносится с типом «русского человека на rendez-vous» и в этом смысле родственен не только герою «Аси», но и Аратову из «Клары Милич», т.к. все они проявляют нерешительность с влюбленной в них героиней, а затем раскаиваются. С другой — его характеристика во многом повторяет описание Паншина, за счет чего создаются предпосылки к его сниженной трактовке:

— Он <Паншин> был *очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на всё готов*; где нужно — почтителен, где можно — дерзок, отличный товарищ, *un charmant garçon*... В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге.

— Он *привык нравиться всем* <...> к чести его должно сказать, что он никогда *не хвастался своими победами* [Тургенев: VI, 15]. — *Образцовый, можно сказать, юноша*, — заметил Гедеоновский [Там же: 128].

В жизни моей я еще не встречал молодого человека более *«симпатичного»*. Всё в нем было *миловидно и привлекательно* <...> Нрав Фустова отличался чрезвычайною ровностью и какою-то приятною, сдержанною приветливостью [Тургенев: VIII, 62–64].

— *Женскому полу Фустов нравился безусловно*, но об этом, для молодых людей весьма важном, вопросе *не любил распространяться* и вполне заслуживал данное ему товарищами прозвище *«скромного Дон-Жуана»*.

— В моих глазах Фустов был самым счастливым человеком на свете. Жизнь его текла именно по маслу. *Мать, братья, сестры, тетки, дядья — все его обожали, он жил с ними со всеми в ладах необыкновенных и пользовался репутацией образцового родственника* [Там же: 64].

Сходным оказывается и их отношение к искусству и, хотя спокойствие Фустова на первый взгляд противопоставляется восторженности Паншина, ироничное перечисление якобы необходимых для человека искусства «атрибутов» — жара и даже восторга, вскрывает несерьезность увлечения Паншина и его равнодушие, перекликающихся с невозмутимостью Фустова:

<Паншин> был также очень <Фустов> никогда не задумывался, *даровит. Всё ему далось: он* всегда был всем доволен; зато ни от *мило пел, бойко рисовал, пи-* чего не приходил в восторг <...> *При-*

сал стихи, весьма недурно рода наделила его разнообразными играл на сцене. Ему всего пошел двадцать восьмой год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность <...> Как человек не чуждый художеству, он чувствовал в себе жар, и некоторое увлечение, и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил: кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался вольно и просто <...> [Тургенев: VI, 15]. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж: на первом плане большие растрепанные деревья, в отдаленье поляну и зубчатые горы на небосклоне [Там же: 23].

рода наделила его разнообразными способностями. Он отлично танцевал, щегольски ездил верхом и плавал превосходно, столярничал, точил, клеил, переплетал, вырезывал силуэтки, рисовал акварелью букет цветов или Наполеона в профиль в лазоревом мундире, с чувством играл на цитре, знал множество фокусов, карточных и иных, и сведения имел порядочные в механике, физике и химии, но всё в меру <...> [Тургенев: VIII, 64]. Он поступил в министерство финансов, но я виделся с ним редко и не находил уже в нем ничего особенного. Чиновник как и все, да и баста! Если он еще жив и не женат, то, вероятно, и доселе не изменился: точит и клеит, и гимнастикой занимается, и сердца пожирает по-прежнему, и Наполеона в лазоревом мундире рисует в альбомы приятельниц [Там же: 136].

Тургенев подчеркивает дилетантизм Фустова, и к этому добавляются сходство в отношении Фустова и Паншина к немцам и немецкому языку. Паншин — франкофил и относится к русским немцам с пренебрежением, а по-немецки говорит плохо, так как считает, что этот язык не заслуживает изучения. Фустов, несмотря на свои немецкие корни, тоже не говорит по-немецки, хотя это объясняется не пренебрежением, а неспособностью к языкам. Но оттенок пренебрежения проскальзывает в реплике о Ратче: «А выражается он по-русски, точно, бойко. — Так залихватски, с такими вывертами и закрутасами, — вмешался я. — Ну да. Только очень уж ненатурально. Они все так, **эти обрусевшие немцы**. — Да ведь он чех. — Не знаю; может быть. С женой он беседует по-немецки» [Тургенев: VIII, 67].



В «Дворянском гнезде» предметом насмешек Паншина была «немецкость» Лемма (подробнее об этом см.: [Фомина 2010а]). В «Несчастной» национальность персонажей меняется, объектом насмешек и скрытой горечи самой героини становится еврейство Сусанны. Напоминает о ее происхождении ее отчим Ратч. В этом образе реализуется другой прием изображения национальности у Тургенева — скрещивание разных национальных черт в одном персонаже, что и позволяет говорить о частичном сближении Ратча с Паншиным. Но качествами Паншина наделяется, главным образом, посредственный Фустов, противопоставленный талантливой Сусанне, которая по уровню одаренности сближается с Леммом. Любимый сюжет «Несчастной» представляет собой вариацию линии «Лемм — Паншин», и ключом к ее раскрытию становится инонациональное происхождение героев.

Сложные корреляции тургеневских инонациональных типажей между собой выявляют, на наш взгляд, характерную особенность тургеневской поэтики — он оперирует ограниченным набором сюжетов, тем, характеров и при этом в каждом новом тексте создает на их основе новый «узор». Одним из средств для такого варьирования становится, как мы попытались показать на примере парных героев, переадресация национальных характеристик персонажей. Однако для более полного понимания роли конкретной национальности в тургеневском творчестве необходимо привлечение широкого биографического и исторического контекста. В особенности это касается тургеневских немцев, т.к. они, по сравнению с другими этническими типажам у Тургенева, количественно доминируют, что, несомненно, связано как с обстоятельствами тургеневской биографии, так и с историко-политическим контекстом. Изучение этого аспекта значительно дополнит наше понимание тургеневских немцев и, возможно, расширит представления о принципах его поэтики.



ЛИТЕРАТУРА

- Бялый: *Бялый Г. А.* Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962.
- Григорьев: *Григорьев А. И. С.* Тургенев и его деятельность (по поводу романа «Дворянское гнездо») // Григорьев А. Собр. соч.: В 14 вып. М., 1915. Вып. 10.
- Гоголь: *Гоголь Н. В.* Невский проспект // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1937–1952. Т. 3.
- Зельдхейи-Деак: *Зельдхейи-Деак Ж.* Западная Европа и русские — глазами Тургенева // *Studia Slavica – Academiae scientiarum hungaricae.* Budapest, 1995. Т. 40. С. 69–82.
- Кантор: *Кантор В.* Россия сквозь «магический кристалл» Германии // *Вопр. лит.* 1996. № 1. С. 120–158.
- Киселева, Фомина: *Киселева Л., Фомина Е.* Роль И. С. Тургенева в формировании пушкинского литературного канона (на материале прозы 1840-х гг.) // *Пушкинские чтения в Тарту. Вып. 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон.* Тарту, 2011. Ч. 1. С. 224–249.
- Лермонтов: *Лермонтов М. Ю.* Тамань // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1979–1981. Т. 4. С. 225–235.
- Лотман: *Лотман Л. М.* Тургенев и Фет // *Тургенев и его современники.* Л., 1977. С. 25–47.
- Новикова: *Новикова Е. Г.* Рассказ И. С. Тургенева «История лейтенанта Ергунова» (Тип личности и специфика жанра) // *Проблемы метода и жанра.* Томск, 1983. Вып. 9.
- Пумпянский: *Пумпянский Л. В.* Статьи о Тургеневе // *Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собр. тр. по истории русской литературы.* М., 2000. С. 381–505.
- Пушкин: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977–1979.
- Славгородская: *Славгородская Л. В.* От «геттингенской души» до Андрея Штольца: к эволюции представлений о Германии и немцах в русской литературе XIX в. // *Немцы в России.* СПб., 1998. С. 129–135.
- Тургенев: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.: Соч.: В 12 т. М., 1978–1986.
- Фомина 2010a: *Фомина Е.* Мотив национальности в «Дворянском гнезде» (образ Лемма и его функции в романе) // *Русская филология.* 21: Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 2010. С. 30–35.
- Фомина 2010b: *Фомина Е.* Проблема интеркультурной коммуникации в романе И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» // *Littera Scrip-*

та: Сб. науч. работ молодых филологов. Рига, 2010. Вып. 7. С. 201–207.

Фомина 2011: *Фомина Е.* Принципы изображения национальности в «Истории лейтенанта Ергунова» // Русская филология. 22: Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 2011. С. 48–55.

Чернышевский: *Чернышевский Н. Г.* Русский человек на rendez-vous // Чернышевский Н. Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1974. Т. 3. С. 398–421.

Чугунов: *Чугунов Д.* Образ немца в русской литературе // Русское и немецкое коммуникативное поведение. Воронеж, 2002. С. 60–70.

## РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР КАК «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБМАН» (рассказ А. Ф. Писемского «Леший»)\*

АЛЕКСЕЙ ВДОВИН

Рассказы из простонародного быта, наводнившие русскую прозу в конце 1840-х – нач. 1850-х гг., остро поставили перед авторами и их критиками проблему русского народного характера. В первую очередь, речь шла о национальном типе, о лучших и худших качествах «русского мужика». Полемика славянофилов и западников (К. Кавелина с Ю. Самариным) 1847 г. об общинном быте и личности является здесь тем идеологическим фоном, на котором традиционно рассматривается изображение национального характера в текстах этого времени, начиная с «Деревни» Д. Григоровича и «Записок охотника» И. Тургенева (см., например: [Ковалев: 5–19]).

Нас, однако, интересует другой аспект проблемы, связанный с повествовательными возможностями изображать (просто)народный характер<sup>1</sup>. Теория и практика «молодой редакции» «Москвитянина» и, в частности, ее главного прозаика А. Ф. Писемского дает прекрасную возможность проследить, как непросто нащупывались в русской прозе национальные типы, канонизированные и вошедшие позднее в школьные хрестоматии.

Знаменательно, что критика 1850-х гг. считала поставленную проблему едва ли не самой главной, поскольку в ее восприятии изображение характера не мыслилось в отрыве от ли-

---

\* Статья написана при поддержке гранта ЭНФ № 7901 «Идеологическая география» западных окраин Российской империи в литературе.

<sup>1</sup> В самом общем виде эта проблема впервые была поставлена в [Журавлева].

тературной формы. При всей разности своих литературно-эстетических и тем более социально-философских программ и славянофильская, и западническая критика (К. Аксаков, А. Григорьев, Б. Алмазов, В. Боткин, П. Анненков) рекомендовала отказаться от литературных моделей, выработанных дворянской культурой для самоописания и непригодных для изображения народа.

В качестве примера приведем мнения П. Анненкова и К. Аксакова, которые отражают два способа решения этой художественной задачи — формальный у Анненкова и, так сказать, «познавательно-метафизический» у Аксакова.

Анненков в статье «Романы и рассказы из простонародного быта в 1853 году» заявил, что простонародный, «естественный быт вряд ли может быть воспроизведен чисто, верно и с поэзией, ему присущей, в установленных формах нынешнего искусства, выработанных с другой целью и при других поводах» [Анненков: 98]. Авторы, по мнению критика, механически переносят повествовательные приемы и психологические мотивировки из прозы о высших сословиях на образы крестьян и мещан, воспроизводя не жизнь, а литературную традицию. Эта «борьба между литературной манерой и бытом» чаще оканчивается, по выражению Анненкова, победой «литературного обмана» [Там же: 69]. Хорошо известно при этом, как сдержанно отнесся критик к, казалось бы, лучшим простонародным вещам Тургенева — «Певцам», «Муму» и «Постоялому двору», называя их «сочинительством» (см. комментарии к полн. собр. соч.: [Тургенев: III, 491; IV, 613, 615]).

К. Аксаков, назвавший «Записки охотника» «только одн[им] мерцание[м] какого-то света, не больше» [РО: 1894. № 8. С. 481], в начале 1850-х гг. еще более прохладно относился к жанру рассказов из простонародного быта, потому что писатели в них не «перестали <...> быть писателями», в них не «пробудилась народность», «они не исполнились е[е] духа» [Аксаков: 226]. Как видно, решение проблемы Аксаков лишь отчасти связывал с формальной стороной дела (установка на отказ от «писательства»).



В этом призыве встать на народную точку зрения позиция Аксакова перекликалась с литературно-эстетической программой «молодой редакции» «Москвитянина», на страницах которого также печатались рассказы из простонародного быта. Обновление этого жанра было для критиков журнала (А. Григорьева, Е. Эдельсона, Б. Алмазова) частью реформы русской прозы. Ее суть сводилась к отрицанию старых форм литературности — лермонтовского и гоголевского направлений в их эпигонском изводе. При этом, с точки зрения критиков, писателям следовало отказаться как от изображения болезненных и уродливых проявлений личности («печоринство», «школа фальшивой образованности»), так и от субъективных и неестественных форм повествования о ней. По А. Григорьеву, к ним относились и исповедальный рассказ от первого лица, и сказ Достоевского<sup>2</sup> (подробнее о теории «молодой редакции» см. новейшую работу: [Зубков 2011a]).

В русле таких требований располагалась и критика «молодой редакцией» крестьянских рассказов Тургенева и Григоровича. Формально-стилистические претензии к ним можно свести к трем основным. Во-первых, Григорьев усматривал «ложность» и «искусственность» в попытках названных авторов изыскивать «в крестьянской жизни такие черты, которые напоминали бы собою жизнь цивилизованную и <...> возвышали бы простолюдина до образованного человека» [Григорьев: 51]. Очевидно, именно поэтому Григорьеву казались особенно неадекватными действительности и фальшивыми «байронический мальчик» Павлуша в «Бежином луге» [М: 1855. Т. 4. № 15–16. С. 193], идеализированная и напоминающая Гретхен и Офелию Акулина в «Свидании» [М: 1851. Т. 1. № 3. С. 390],

---

<sup>2</sup> Григорьев писал даже о двух «натуральных школах» — бытописатели и направление Достоевского. См. статью «Русская литература в 1851 году» [М: 1852. Т. 1. № 2. Отд. V. С. 28.].

а состязание в «Певцах» неправдоподобным [М: 1851. Т. 1. № 3. С. 388]<sup>3</sup>.

Во-вторых, неприемлемой была для Григорьева и фигура повествователя, чуждого у Тургенева и Григоровича изображаемому народному миру и напомнившая критику «заезжего гостя-путешественника», который несвободно распоряжается «типами и языком» [М: 1855. Т. 1. № 4. С. 107–108]. Иными словами, критик, согласно своей теории, выступал против повествователя-литератора — посредника между народом и образованными читателями. Отсюда ясно, почему Григорьев был так недоволен постоянным вмешательством автора в рассказы мальчиков из «Бежина луга» [М: 1851. Т. 2. № 6. С. 283] и отчего находил неудовлетворительной картину состязания певцов, в которой «отражается односторонность чисто личного впечатления» [М: 1851. Т. 1. № 3. С. 389].

Наконец, раздражало Григорьева и «несвободное» владение народным языком [Григорьев: 51], передача которого во всем разнообразии местных оттенков мыслилась неотъемлемым компонентом народных типов. Поэтому приближенная к литературной норме речь крестьян в «Записках охотника» (см. об этом: [Шаталов: 75–78]) неизменно вызвала упреки Григорьева<sup>4</sup>.

«Псевдонародному» направлению Тургенева и Григоровича «молодая редакция» противопоставила творчество А. Островского, А. Писемского, А. Потехина, И. Кокорева, у которых низовые слои русского общества (крестьянство, мещанство, купечество) описывались «изнутри» и в то же время «ма-

---

<sup>3</sup> Б. Алмазов был еще более радикален, объявив «Муму» «пряной французской мелодрамой», в которой нет ничего от русской жизни [М: 1854. Т. 3. № 9. Отд. IV. С. 32–35].

<sup>4</sup> Ср. с критикой языка героев в «Певцах», в котором «нет свободы, нет настоящих местных оттенков» [М: 1851. Т. 1. № 3. С. 387]. С другой стороны, колоритная и опозитизированная речь Касьяна в рассказе «Касьян с Красивой Мечи» вызвала восторженную оценку Григорьева [М: 1851. Т. 2. № 7. С. 420–423].

тематически верно действительности» (Б. Алмазов), с точки зрения «знатока», «бывалого человека» [Журавлева: 13].

Наиболее известным и значительным циклом рассказов о простонародье, вышедшим из круга «молодой редакции», считается сборник Писемского «Очерки из крестьянского быта» (1856), составленный из «Питерщика», «Лешего» и «Плотничьей артели». С точки зрения нашей проблемы («обнаженности приема»), наибольший интерес представляет рассказ «Леший. Рассказ исправника» («Современник», 1853)<sup>5</sup>.

Сюжет «Лешего» — настоящий «деревенский детектив». Рассказчик<sup>6</sup> — следователь по уголовным делам — узнает от своего коллеги исправника о таинственной истории на отдаленном хуторе. Здесь леший якобы утаскивал в лес девушку Марфу, которая, вернувшись от него немой, стала кликушей. В ходе следствия опытный исправник Иван Семеныч выясняет, что лешим оказывается не кто иной, как Егор Парменыч — женатый сорокалетний бурмистр, который совратил невинную девушку, сначала сбежавшую к нему по любви, а потом удерживаемую им силой. В конце концов, бурмистру пришлось отпустить Марфу, но с одним условием: она должна все списать на происки лешего и молчать. В финале рассказа исправник добивается у помещика снятия Егора Парменыча с должности.

Схематично пересказанный сюжет выбивается из типичного репертуара рассказов на крестьянскую тему. Писемский нарушает «ожидания жанра» сразу в нескольких направлениях.

Прежде всего, рассказ о бурмистре разворачивается не по обличительному сценарию, заданному «Бурмистром» Тургенева, и не по противоположной схеме из одноименного рас-

---

<sup>5</sup> Мы не касаемся вопроса о причинах публикации «Лешего» в «Современнике», равно как и об отношениях Писемского с «молодой редакцией» в 1852–1855 гг.

<sup>6</sup> Мы придерживаемся традиционного именования повествовательных инстанций: «повествователь» понимается как более или менее «объективная», безлика инстанция, стоящая близко к автору; «рассказчик» — как «более субъективная, личная, совпадающая с одним из персонажей» [Шмид: 64].



сказа 1853 г. приятеля Писемского А. Потехина, у которого бурмистр становится идеальным героем, каких, по заверению автора, «много на святой Руси» [Потехин: 268]. Писемского интересует то, как барская культура развращает простолюдинов. Поэтому в центр выдвигается любовный сюжет<sup>7</sup>, а с ним — отсылка к другому рассказу тургеневского цикла — «Свидание». Проблема нравственной гнилости барского «избалованного камердинера» Виктора Александрыча, бросающего влюбившуюся в него крестьянскую девушку, непосредственно отразилась в образе «бывшего камердинера господина» Егора Парменыча, который всеми силами стремится жить побарски, с помещичьим размахом «водя шашни» с девушками из подвластных ему деревень.

Любовная коллизия на фоне предшествующей традиции тоже решена неожиданно. Используя ситуацию «Свидания», Писемский «состарил» камердинера, сделал его женатым и внешне крайне отталкивающим, а любовь героини Марфы усилил до страсти, которая заставила недоумевать исправника Ивана Семеныча. В самый напряженный момент допроса Марфуши он, спрашивая, чем же «скверная рожа» бурмистра соблазнила ее, с удивлением узнает, что «ничем» — девушка будто бы чувствовала к нему сильную «пристрастку». Далее в журнальной редакции рассказа следовал такой комментарий исправника:

Я только, знаете, пожал плечами, впрочем, тут же вспомнил сочинение Пушкина... вероятно, и вы знаете... «Полтава» — прекрасное сочинение: там тоже молодая девушка влюбилась в старика Мазепу. Когда я еще читал это, так думал: «Правда ли это, не фантазия ли одна, и бывает ли на белом свете?» — А тут и сам на практике вижу. Овладело мной большое любопытство [Писемский 1853: 110–111].

При переиздании рассказа в 1856 г. Писемский снял эту реплику, поскольку Анненков в статье «Романы и рассказы из

<sup>7</sup> По мнению исследователя Писемского, сюжет его простонародных рассказов всегда строится на любовной интриге [Оганян: 29].



простонародного быта в 1853 году» категорически возражал против такой, с его точки зрения, неправомерной аналогии:

Мазепа имел за себя величие сана, таинственность своих замыслов, волнение суровых мыслей, отражавшееся на внешнем его существе, что все и объяснено сочинением Пушкина, а здесь действует прижимистый и не совсем симпатичный общине приказчик. «Полтавой» никак нельзя объяснить Марфушу [Анненков: 84].

Анненков полагал, что страсть молодой девушки к старику, не встречающаяся в фольклоре, нарушает правдоподобие и заимствована Писемским из светских романов. Более того, финал рассказа, в котором Марфуша уходила в пустынь отмаливать свой грех, в глазах Анненкова также был эффектным «романическим приспособлением» [Там же: 86]. По мнению критика, девушке, не обремененной рефлексией и сильным нравственным и религиозным чувством, более пристало оставаться на хуторе и воспитывать плод своей преступной страсти. Писемский внял и этому совету Анненкова: во второй редакции 1856 г. рассказ заканчивается именно так.

Однако согласие Писемского не было однозначным. Сохранилось его письмо А. Майкову, полное возмущения статьей Анненкова:

<...> статья Анненкова <...> очень остроумная, <...> но разве она критическая? Вместо того чтобы вдуматься в то, что разбирает, он приступил с наперед заданной себе мыслию, что простонародный быт не может быть возведен в перл создания, по выражению Гоголя <...>. На его разбор моего «Питершика» я бы мог его зарезать, потому что он совершенно не понял того, что писал я [Писемский: IX, 573].

Из контекста письма следует, что Писемский имеет в виду какой-то веский аргумент, который бы мог «зарезать» противника в споре. Попробуем понять, в чем он заключается.

Упрек Анненкова в том, что народный характер Марфуши есть «литературный обман», монтаж эффектных ходов романтической прозы, вплотную подводит нас к проблеме литературности рассказов о народе, их повествовательной организации. В этой сфере, как кажется, и следует искать возможный

контраргумент Писемского. Каким бы чутким критиком ни был Анненков, в данном случае он не обратил внимания на сложную структуру рассказчиков в «Лешем». Рассмотрим ее подробнее.

Во многом разделяя литературные взгляды «молодой редакции», Писемский экспериментирует с жанром рассказа о народе<sup>8</sup>. Писатель отказывается от «объективной» манеры Григоровича<sup>9</sup>, в которой повествователю, близкому к «всеведущему автору», доступны малейшие движения души «сермяжных героев» (оценка из финала романа «Рыбаки»). В сочетании с элементами романа, к которому тяготели повести Григоровича [Журавлева: 12], это приводило к сентиментализации повествования (см. об этом, например: [Ковалев: 76–78]). На нее указывал Дружинин, говоря об отказе Писемского от «простонародного сентиментализма» [Дружинин: 272], когда автор пытался «мыслить мыслью простого человека, говорить его словом, встать с ним в нераздельные отношения» [Там же: 269].

Сложнее оказывается соотношение повествования в «Лешем» и манеры «Записок охотника». В целом, Писемский заимствует их нарративный каркас — двойную повествовательную рамку, где основной рассказчик («я», охотник) разными способами дает возможность героям рассказать свои истории (ср. рассказ «Уездный лекарь»). Однако далее начинаются эксперименты. Прежде всего, Писемский отказывается от мас-

---

<sup>8</sup> Новые исследования показывают, что москвитянинская теория прозы слагалась под влиянием поэтики дебютной повести Писемского «Тюфяк» (см.: [Зубков 2011b]).

<sup>9</sup> Анненков в письме к Тургеневу 28 февраля 1857 г. зафиксировал неприязнь Писемского к манере Григоровича: «В пьяном виде, все более и более возвращающемся к нему, Писемский делается ненавистником Григоровича. На днях поймал его в книжной лавке, прижал его в угол и публично стал говорить: “Зачем вы не пишете по-французски своих простонародных романов, пишите по-французски — больше успеха будет”. Тот сжался и искал спасения в отчаянной лести, но не умилостивил его» [Анненков 2005: I, 57].

ки рассказчика-литератора<sup>10</sup> (охотник), взамен которого появляется чиновник по судебным делам, знакомый с провинциальной жизнью (о «допросе» и «следственных показаниях» героев см. подробнее: [Лотман: 213–214]). Вследствие этого минимизируется оценочность точки зрения рассказчика, что приводит к утрате лиризма, присущего «Запискам охотника». Наконец, писатель индивидуализирует и стилизует речь персонажей из народа (ср. речь матери Марфуши, Ивана Семеныча).

Рассказ состоит из четырех главок. В первой в повествовании рассказчика-следователя, автобиографически соотнесенного с автором, но не равного ему, дается описание исправника Ивана Семеныча и бурмистра Парменыча. Однако, в отличие от охотника у Тургенева, рассказчик позволяет себе лишь оценку их внешности<sup>11</sup>. От косвенной же передачи речи и образа мыслей героев он уклоняется, передавая им слово. При этом диалог лишь изредка перебивается безоценочными ремарками рассказчика («ответил», «повернулся», «заговорил» и т.п.). В результате такой «драматизации» формулирование центральной проблемы «Лешего» (нравственное состояние крестьян и бурмистров, его детерминанты) вложено в уста Ивана Семеныча.

Вторая глава представляет собой его рассказ, в котором излагается вся история с лешим и Марфой, произошедшая некоторое время назад. В своем монологе исправник старается как можно точнее передать речь персонажей (Парменыча, Марфы, ее матери). Специально для этого рассказчик-следователь подчеркивает, что исправник — «большой говорун и великий мастер представлять, как мужики и бабы гово-

---

<sup>10</sup> Ср. маркеры: «для нашего брата писателя все кстати» («Два помещика» [Тургенев: III, 163]), «мои любезные читатели» («Лебедянь» [Там же: 172]).

<sup>11</sup> Ср. портрет Парменыча, который «с первого же взгляда давал в себе узнать растолстевшего лакея: лицо сальное, охваченное бакенбардами, глаза маленькие, черные и беспрестанно бегающие, над которыми шли густые брови, сросшиеся на переносье. Одет он был очень презентабельно» [Писемский: II, 248].



рят»<sup>12</sup> [Писемский: II, 244]. Так, описание самых загадочных событий, связанных с исчезновением Марфы и с лешим, не случайно дано в речи ее матери, уверенной в сверхъестественном объяснении событий. Рассказ старухи, воспроизведенный Иваном Семенычем, и служит кульминацией, после которой начинается распутывание этого дела.

Его развязка наступает в третьей главке, где бурмистр на сходке крестьян лишается своей должности. Эту сцену рассказчик-следователь снова видит своими глазами и даже позволяет себе прямую несколько сентиментальную оценку происходящего<sup>13</sup>, которая настолько противоречила отстраненному тону повествования, что в поздней редакции была снята Писемским.

В эпилоге рассказа (четвертая главка) действие происходит спустя год. Она могла бы начинаться по-тургеновски — словами о том, что автор опять по службе посетил ту деревню. Однако Писемский и тут вкладывает рассказ в уста мужичка, да еще и пьяного, рассказывающего о дальнейшей судьбе Марфы и Парменыча.

В результате многоступенчатого опосредования повествования создается драматический эффект «народного» многоголосия. Фигура рассказчика — носителя литературной нормы — отстраняется на периферию, его точка зрения перестает определять оценку персонажей, сознание, мысли и чувства которых, в отличие от повествователей Тургенева и Григоровича, оказываются ему недоступными. Гораздо более компетентным в деле «познания» народа в «Лешем» становится исправник Иван Семеныч, выступающий посредником между

---

<sup>12</sup> В первой редакции исправник еще раз обращал на это внимание: «Я уж нарочно представляю вам все в лицах, как они, знаете, по-своему говорят» [Писемский 1853: 26].

<sup>13</sup> «Два совершенно противоположные чувствования овладели мною: я и рад был унижению, которым наказан был Егор Парменов и вместе с тем, как человека, жаль его было. Иван Семеныч был тоже мрачен. Я откровенно высказал ему свои мысли» [Писемский 1853: 51].



дворянской культурой (в лице рассказчика-следователя), миром простонародья и читателем. При этом точка зрения исправника, конечно же, не совпадает с авторской. Именно поэтому Писемский мог бы парировать упреки Анненкова указанием на то, что проекция судьбы Марфы на сюжет «Полтавы» принадлежит сознанию Ивана Семеновича — хотя и дворянина<sup>14</sup>, но близкого к народу (что постоянно подчеркивается) и не искушенного высокой культурой.

В то же время наличие аналогии с «Полтавой» в сознании исправника не исключает ее присутствия в литературном сознании Писемского. Более того, она позволяет пойти еще дальше в интерпретации рассказа.

Проекция коллизии «Лешего» на поэму Пушкина возникает не только при описании страсти молодой девушки к пожилому мужчине. Сходны некоторые черты в судьбе обеих героинь. Состояние безумной Марии может быть сопоставлено с кликушеством Марфы, ее изоляцией от людей: «Такая дикая теперь девка стала, слова с народом не промолвит», — говорит о ней народ [Писемский: II, 286]. Обе несчастные описаны в финале как грешницы: «Желание теперь ее — ходить по монастырям — я ей не поперечу: грехи ее большие» [Писемский 1853: 42]. Ср. у Пушкина:

Лишь порою  
Слепой украинский певец,  
Когда в селе перед народом  
Он песни гетмана бренчит,  
О грешной деве мимоходом  
Казачкам юным говорит [Пушкин: V, 64].

Соположение двух грешниц в сознании Ивана Семеныча — прямолинейное, в сознании Писемского — гораздо более сложное. Во-первых, оно наверняка подкреплялось в его памяти известным ответом Пушкина критикам «Полтавы», опубликованным в 1831 и приведенным в собрании сочинений 1841 г.:

---

<sup>14</sup> Это явствует из другого рассказа с его участием — «Фанфарон» (1854) [Писемский: II, 342, 348, 373].

Любовь есть самая своенравная страсть. Не говорю уже о безобразии и глупости, ежедневно предпочитаемых молодости, уму и красоте. Вспомните предания мифологические, превращения Овидиевы, Леду, Филлиру, Пазифаю, Пигмалиона — и признайтесь, что все сии вымыслы не чужды поэзии. А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах?<sup>15</sup> [Пушкин: XI, 158].

Во-вторых, сама возможность спроецировать известный сюжет на новый материал из простонародного быта была принципиальна для Писемского. Речь шла о способах возведения народного характера в «перл создания». Размышления Анненкова в его статье свидетельствуют о том, что этот вопрос для поколения Тургенева и Писемского был значим именно своей эстетической стороной. Важно было не просто показать, что «и крестьянки любить умеют», но ввести героев из русской жизни в сферу высокого искусства, сделать их равноправными с классическими типами, подобно тому, как Гамлеты и Дон Кихоты могут встретиться среди мелких дворян и в русских уездах. Не случайно, конечно же, в первой редакции «Хоря и Калиныча» Хорь сравнивался с Гете, а Калиныч — с Шиллером. Проекция на известные романтические коллизии и типы чрезвычайно важны в структуре «Записок охотника» (сюжет состязания певцов [Потапова], Гамлет, байронизм в «Бежином луге» и т.д.) и не являются лишь плодом воображения таких критиков, как А. Григорьев.

Писемский вслед за Тургеневым также пытался разглядеть в крестьянской жизни не просто исключительные личности<sup>16</sup>, но и характеры, типы высокой литературы. В результате писатель выводит в «Очерках...» не обычного крестьянина, а, как

<sup>15</sup> Не менее значима и параллель со строками, вложенными в уста итальянского импровизатора из «Египетских ночей»: «Зачем арапа своего / Младая любит Дездемона, / Как месяц любит ночи мглу? / Затем, что ветру и орлу / И сердцу девы нет закона» («Современник», 1837), первоначально входившие в текст «Езерского». Знаменательно, что в «Египетских ночах» характер «девы» и ее любовь составляют параллель к характеру поэта: «Таков поэт».

<sup>16</sup> На это одним из первых указал Г. А. Бялый [Бялый: 37].

заметил Дружинин, «простолюдина, щедро одаренного природою, развитого значительно, хорошо говорящего и знающего про то» [Дружинин: 272]. Марфа из «Лешего», однако, не попадает в их число, отчего проекция на Марию из «Полтавы» и вызвала нарекания Анненкова отсутствием мотивировки. В других же рассказах «Очерков...» герои из крестьян, действительно, необычны, и тонкость их чувств объяснена.

В «Питершике» и «Плотничьей артели» главные герои сами рассказывают о своей жизни, это сознание не только себя описывающее, но и анализирующее. В «Питершике» разбогатевший маляр Кlementий анализирует причины того, почему его, ушедшего на заработки в Питер, «охмурила» содержанка сомнительного поведения и вытянула все деньги. В «Артели» плотник Петр, своеобразный философ-скептик, страдающий от какой-то смертельной болезни и говорящий правду в глаза собеседникам, размышляет над превратностями своей судьбы и сам предсказывает себе убийство, которое и совершает в финале при фатальном стечении обстоятельств.

Таким образом, по Писемскому, наиболее адекватным способом изображения русского крестьянского характера — неважно, положительного или отрицательного — становится речь героя о себе самом и отказ от инородной точки зрения на него. Отсюда — важность стилизации под индивидуализированную народную речь и требование исключительности героя из народа, «душе <которого> <...> доступны нежные и почти тонкие ощущения» [Писемский: II, 242], как характеризует рассказчик Кlementия в «Питершике». Это становится необходимым условием правдоподобия и предпосылкой для аналогий с известными литературными сюжетами. Коллизии в прозе Писемского 1850-х гг. имеют проекции: «Леший» — на «Полтаву», а через нее — на «Отелло». В сюжете о роковой страсти молодой мачехи к своему пасынку из «Плотничьей артели» явно прочитывается коллизия «Федры» Расина, на что обратил внимание Чернышевский<sup>17</sup>. В романе «Тысяча душ»

<sup>17</sup> «Неужели история Федры свойственна нравам наших простолюдинов?» [Чернышевский: 72].



в русской губернии разворачивается сюжет пушкинской поэмы «Анджело» и, соответственно, трагикомедии Шекспира (см.: [Зубков 2010b]). Дальнейшее изучение прозы Писемского наверняка позволит продолжить этот ряд.

«Сгущенная» литературность текстов, их укорененность в отечественной и европейской традиции контрастирует у Писемского с «бытовизмом», даже натурализмом и приземленным взглядом на мир, казалось бы, никак не связанным с литературой. На самом же деле, такой эффект создается за счет устранения прямой оценки рассказчика, ведущей к объективизации повествования. Нарративная структура подобного типа должна была сигнализировать о невозможности до конца познать народную душу или как-либо однозначно истолковать ее с точки зрения образованного сословия. В «Лешем» этот скепсис доведен до предела в силу намеренного «обнажения» приема. И рассказчик-следователь, и исправник Иван Семеныч отказываются от психологических мотивировок страсти, охватившей Марфу<sup>18</sup>, замещая их литературной проекцией на сюжет «Полтавы», как если бы она могла исчерпывающе объяснить логику поведения забитой крестьянки. В этом смысле рассказ «Леший» оказался не совсем удачным литературным экспериментом. В «Питерщике» же и «Плотничьей артели» Писемский озаботился более тонкой прорисовкой психологических перипетий сюжета.

Таким образом, «Очерки из крестьянского быта» стали вторым после «Записок охотника» циклом, стремящимся к обновлению повествовательной техники жанра. Отмеченные нами нарративные особенности задавали ту линию его развития, в русле которой оказались позже и «Губернские очерки» Салтыкова, и большой массив произведений «обличительной литературы», и проза Лескова.

История жанра в целом показала, что как бы критики ни призывали отрешиться от литературности и создать новую

---

<sup>18</sup> Ср. в последней редакции: «Я только, знаете, пожал плечами, — вот, думаю, по пословице, понравится сатана лучше ясного сокола» [Писемский: II, 274].



форму, адекватную простонародному быту, такая программа оказалась в середине XIX в. едва ли выполнимой. Когда экспериментатор Н. Успенский в 1860-е гг. попытался резко порвать с литературной традицией, отказавшись от выработанных способов отображения народной психологии, от привычной сюжетности, от взгляда на крестьянина как носителя народной нравственности, в конце концов, от самого понятия «народ», то выяснилось, что никто из литераторов, кроме Чернышевского, не готов поддержать его в этих радикальных повествовательных новациях (см. подробнее: [Зубков 2010a]). Особенно возмутилась народным характерам Успенского (а точнее — их примитивности) народническая критика, объявившая их клеветой на русского мужика.

Все это свидетельствует о том, что «литературный обман» вовсе не исключал правдоподобия, к которому стремилась критика. Так, тургеневский Герасим, казавшийся «молодой редакции» «Москвитянина» порождением французской неистовой словесности, прочно вошел в канон русских национальных типов, а тургеневский извод жанра, равно как и его концепция народа, оказались наиболее продуктивными. Тем самым, вопреки установкам критиков, в литературе о народе складывалась собственная система литературности, свой жанровый канон рассказа из простонародного быта. Часто писатели верифицировали образ не через обращение к действительности, а через апелляцию к влиятельным литературным типам, несмотря на их принадлежность к чужеродной дворянской культуре. В качестве аналогии этому процессу можно указать на обнаруженное Ю. Тыняновым переосмысление высоких балладных сюжетов в прозаизированных стихах Некрасова.

В применении к описанному материалу этот процесс можно было бы назвать «окультуриванием» и даже «олитературиванием» простонародья. Именно по такому сценарию в 1840–50-е гг. происходило «введение» русских крестьянских характеров в галерею национальных типов.

## ЛИТЕРАТУРА

- Аксаков: *Аксаков К. С.* Эстетика и литературная критика. М., 1995.
- Анненков: *Анненков П. В.* Критические очерки. СПб., 2000.
- Анненков 2005: *Анненков П. В.* Письма к И. С. Тургеневу. СПб., 2005. Кн. 1–2.
- Бялый: *Бялый Г. А.* Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962.
- Григорьев: *Григорьев А. А.* Литературная критика. М., 1967.
- Дружинин: *Дружинин А. В.* «Очерки из крестьянского быта». Соч. А. Ф. Писемского // Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. 7.
- Журавлева: *Журавлева А. И.* Проблема народа и художественные искания русской литературы 1850–60-х гг. // Вестник Моск. гос. ун-та. Серия «Филология». 1993. № 5. С. 10–16.
- Зубков 2010а: *Зубков К.* История одного сюжета: к проблеме литературной репутации Н. В. Успенского // Лесная школа: Труды VI Международной летней школы на Карельском перешейке по русской литературе. Поселок Поляны (Уусикирко) Ленинградской области, 2010. С. 186–195.
- Зубков 2010b: *Зубков К. Ю.* Пушкинская традиция в романе А. Ф. Писемского «Тысяча душ» // Русская литература. 2010. № 3. С. 95–105.
- Зубков 2011а: *Зубков К. Ю.* Эстетические установки «молодой редакции» журнала «Москвитянин» // Русская литература. 2011. № 3 (в печати).
- Зубков 2011b: *Зубков К. Ю.* Повести и романы А. Ф. Писемского 1850-х годов: повествование, контекст, традиция. Дисс. на соиск. учен. степ. к. ф. н. СПб., 2011.
- Ковалев: *Ковалев В. А.* «Записки охотника» Тургенева. Вопросы генезиса. Л., 1980.
- Лотман: *Лотман Л. М.* А. Ф. Писемский // История русской литературы: В 4 т. Л., 1980–1983. Т. 3. 1982. С. 203–231. М.: Москвитянин.
- Оганян: *Оганян Н. С.* Художественное своеобразие очерков и рассказов А. Ф. Писемского // Филологические науки. 1976. № 6. 25–32.
- Писемский: *Писемский А. Ф.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1959.
- Писемский 1853: *Писемский А. Ф.* Леший. Рассказ исправника // Современник. 1853. Т. 42. № 11. Отд. I. С. 7–52.
- Потапова: *Потапова Г. Е.* Состязание певцов: к истории одного литературного мотива из «Записок охотника» // Пушкин и Тургенев. Тезисы докладов международной конференции. 6–11 сентября 1998. СПб.; Орел, 1998. С. 59–61.

Потехин: *Потехин А. А.* Собр. соч.: В 7 т. СПб., 1873–74. Т. 2.

Пушкин: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937–1959.

РО: Русское обозрение.

Тургенев: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. в 30 т.: Соч.: В 12 т. М., 1978–1985.

Чернышевский: *Чернышевский Н. Г.* Литературная критика: В 2 т. Л., 1981. Т. 2.

Шаталов: *Шаталов С. Е.* Проблемы поэтики И. С. Тургенева. М., 1969.

Шмид: *Шмид В.* Нарратология. М., 2003.

# ПРИБАЛТИЙСКИЕ НЕМЦЫ О СЕБЕ И О ДРУГИХ

АННЕЛОРЕ ЭНГЕЛЬ-БРАУНШМИДТ

Освобождение от чужого владычества привело в балтийских государствах и к освобожденному взгляду на собственную историю, а также к раннее почти невозможной кооперации между западноевропейскими и балтийскими учеными. Научному обмену особенно способствовал состоявшийся в 1990 г. по инициативе Клауса Гарбера конгресс в нижнесаксонском Оснабрюке, где были подведены первые итоги научного сотрудничества между немецкими исследователями и их коллегами из Таллинна, Тарту, Риги и Вильнюса [Garber, Klöcker]. Наряду с трудами историков постепенно появились публикации литературоведов [Undusk; Grudule; Saagpak] и лингвистов [Trupa; Aabrams; Bender], в которых освещаются взаимоотношения прибалтийских немцев с эстонцами и латышами, реже с русскими.

Моя статья исходит из вопроса: как различные нации в балтийских провинциях второй половины XIX в. видят себя и других? Что определяет их оценку? Что вытесняется из сознания и из памяти? Ответы обнаруживаются в мемуарах — литературном жанре, по определению ретроспективном. Мемуары схожи с автобиографией наличием «автобиографического пакта», т.е. автор и рассказчик (или протагонист) тождественны друг другу [Lejeune: 14], но, в отличие от автобиографии, в них нет особого акцента на личной жизни и истории личности. Мемуары больше ориентированы на события в окружающем мире, они «беззаботней, болтливей в передаче деталей и необязательней», чем автобиография [Wilpert: 565]. По сравнению с абстрактным подходом историка-наблюдателя, излагающего научно подтвержденные сведения, мемуары освещают судьбу и будни отдельного человека, отражают жизненные процессы. В них встречаются пропуски, субъективные сужде-



ния, неопределенность; историку следует с осторожностью использовать их как материал, но как разновидность «основного фундамента жизни» они проливают свет на историю общества и менталитет [Garleff: 534]. Особенно ценными мемуары оказываются при изучении взаимоотношений между этническими группами.

Моим материалом являются два опубликованных в Германии сборника мемуаров: *Baltische Lebenserinnerungen*, изданные Александром Эггерсом в 1926 г. [Eggers], и *Zwischen Reval und St. Petersburg*, изданные Хенningом фон Вистингхаузенем в 1993 г. [Wistinghausen]. На их примере удобно проследить, как прибалтийские немцы идентифицировали себя и как воспринимали своих ближайших соседей — эстонцев и латышей.

Обе книги содержат ранее не публиковавшиеся или же печатавшиеся в труднодоступном издании отрывки из воспоминаний преимущественно XIX в. Публикации разительно отличаются друг от друга, во-первых, в отношении социальной принадлежности их составителей, а также по временному диапазону. Эггерс перемещается в пространстве балтийских провинций, как правило, вращается в кругах «литераторов», т.е. в пасторских и дворянско-академических семьях, иногда и в торговых домах и предлагает мемуары о XIX в., созданные на основе личных впечатлений и чувств. Вистингхаузен, занимавший пост немецкого посла в Эстонии после достижения ею независимости и вернувшийся таким образом на родину своих предков, собирал статьи по заказу Эстляндского Рыцарства. За малым исключением это тексты дворян (владельцев богатых имений), игравших роль в политической и общественной жизни Прибалтики до Второй мировой войны. Их записки, дополненные издателем содержательными биографическими вступлениями, состоят в основном из воспоминаний о собственной деятельности, содержат замечания о провинциальной и имперской идеологии, о вопросах экономики, сельского хозяйства, права и церкви, о балтийском и петербургском обществе. С одной стороны, в этих частных записях, как в зеркале, отражается общая история прибалтийских немцев, а с другой стороны, они сами дополняют эту историю, привнося

в нее элемент личного. Всем этим текстам свойственно стремление объяснить минувшее, вызвать сочувственное понимание и сохранить «балтийскость» (*Baltentum*) для потомков.

В дополнение к указанным мемуарным книгам я использовала находящуюся в частном владении рукопись с семейными воспоминаниями Антуанет Рачински, урожденной Будберг-Бенингхаузен (1870–1952) [*Raczynski*], не подвергавшимися обработке и поэтому поразительно свежими и непосредственными.

## І. Прибалтийские немцы: отношения между собой

### 1. Термин «Родина»

Без представления о самосознании остзейцев может остаться непонятным их отношение к народностям, среди которых они жили. Вопрос о нации неразрывно связан с вопросом о родине. Хотя уже имелась Германская империя, и остзейцы говорили на ее языке, они принадлежали к Российской империи. Отдельной остзейской «нации» не существовало, какими бы самостоятельными остзейцы с их специфическим общественным устройством себя ни считали. Читая «Воспоминания» прибалтийских немцев, невозможно усомниться в одном: авторы считают, что жили «на исконной родине», «чужаками» были все остальные: латыши, эстонцы, русские, в совокупности называемые «ненемцами» (*Undeutsche*). Обозначение *прибалт* (*Balte*) родилось позднее; до самой вспышки русского национализма немецкие жители страны называли себя *лифляндцами*, *эстляндцами* или *курляндцами*. Слово и термин *прибалт* возникло лишь из сопротивления русификации [*Pantenius* 1915: 109]. Как будто соглашаясь со своим курляндским коллегой Теодором Пантениусом (1843–1915), родившийся в Лифляндии писатель Вернер Бергенгрюн (1892–1964) утверждает, что для прибалтийского населения Эстляндии, Лифляндии и Курляндии было совершенно естественно называть три остзейских провинции своим *отечеством* (*Vaterland*); Германия воспринималась (хотя так не называлась) как *родина* (*Mutterland*). Россия была *отечеством* только по праздникам. Лишь позднее, после объединения Германии (1871), про-

винции стали называться *родиной* (Heimat): речь зашла о «нас, прибалтах» (“über uns Balten”), и *отечеством* звалась лишь Германия [Bergengruen: 261].

Но отношения с немецкой родиной были амбивалентными. В своих «Воспоминаниях» Пантениус описывает восторг, который охватил людей «родом из немецкой диаспоры» при переходе русско-немецкой границы в г. Эйткунене, где уже «все говорили по-немецки», «даже рабочие»: «Итак, мы теперь действительно находились среди народа, к которому принадлежали по своему происхождению, и чья духовная жизнь порождала нашу во всех отношениях, чьи книги мы читали, чьи песни пели» [Pantenius 1915: 167]. Хотя литератор Пантениус хвалил немецкую культуру, она не удовлетворяла его как прибалта. Он ведет двойную жизнь, жалуется на то, что в присылавшихся из Германии учебниках и романах адресатами, при выборе изображаемых проблем и порядков, были не балты, а немцы в Германской империи. Свое вдохновение Пантениус, по собственным словам, черпал исключительно из балтийской земли, лишь прибалтийские мотивы и люди оказывали на него влияние [Pantenius 1926: 120]. Разумеется, что подобный «культурный национализм» у Пантениуса [Trupa: 82] не мог удовлетворить критике строго национального направления.

## 2. Город и деревня

Вопреки тому факту, что этническая группа прибалтийских немцев к началу XX в. составляла в Эстонии и Латвии не более десяти процентов населения, в ее владении находилась почти половина всей земли. Воплощением прибалтийского немца является немецкий дворянин-помещик в своих владениях, немецкий барон на эстонской или латвийской земле, жизнь которого текла в спокойствии, наслаждениях и в согласии с заветами отцов [Ramm: 98]. В общественной жизни каждый социальный слой был строго отделен от остальных: дворянство, «литераторы» (т.е. люди с высшим образованием), торговцы и ремесленники образовывали собственные круги, которые не имели друг с другом практически ничего общего. Социальную пропасть было сложнее преодолеть, чем этническую [Witt-



gam 1949: 151]. Для торговых верхов в Риге, в чьих руках находился капитал, не имело значения это характерное для помещиков постоянство; они могли быстро разбогатеть, но также быстро впасть в нищету. Бывало, что оптовый торговец, гонимый лихорадкой спекуляций, до такой степени доверялся мошенникам, что во время «Большого Краха» 1873 г. его «орловские скакуны» и «даже его ньюфаундленд» шли с молотка [Pantenius 1926: 93f.].

У горожан было принято проводить лето у родственников в деревне. Нередко предметом воспоминаний становится гостеприимная жизнь в балтийских домах вообще (Антуанет Рачински описывает ее французским словом *large*) или у зажиточных балтов в Петербурге. «По-настоящему балтийская жизнь» [Bremen: 204] в дворянских имениях отличалась большим количеством гостей со своими лошадьми, с охотами, богатыми обедами, балами, летними прогулками на лодках, зимними на санях. Это были дома, где люди свободно приходили и уходили. Кто вырос в более скромных обстоятельствах и провел, как «деревенские дети» (*landsche Kinder*) [Oettingen: 169, 177; Schroeder: 192], свое детство в одинокой усадьбе среди полей, тот, хотя и привыкал к городскому образу жизни, все-таки мечтал о возвращении на природу и покупал себе дачу. Для одних олицетворением «города» являлся Дерпт, для других — столица Петербург. Случалось, что одно и то же лицо свободно вращалось в первых кругах европейского общества, а потом отдавалось хлопотам в уединенной балтийской усадьбе [Wistinghausen: Предисловие, 9]. В июне 1912 г. баронессу Изабеллу фон Унгерн-Штернберг в ее имении Лец под Балтишпортом (Палдиски) обрадовал своим визитом к чаю царь Николай II. Ее комментарий показывает особое отношение ее рода к русским царям в России и в Прибалтике: «Видимо, это тот редкий случай, когда люди сердечно рады присутствию императора и при этом ничего от него не хотят» [Ungern-Sternberg: 137].



### 3. Особый случай: Дерпт

Дерпт, немецкая высшая школа в Прибалтике, автономия которой признавалась российским правительством до конца 1880-х гг., являлся уникальным этническим и социальным феноменом, связывая все прибалтийские провинции и объединяя потомственных аристократов с аристократами духа [Ramm: 106]. Поскольку почти все литераторы получали высшее образование в Дерпте, воспоминания об университете и возникшие на месте личные связи, поддерживаемые принадлежностью к братствам и корпорациям [Eckardt: 387], играли свою роль и позднее [Eckardt: 386, Pantenius 1915: 45]. Для лифляндского журналиста и историка Юлиуса Экардта, внимательно следившего за политическими и общественными изменениями в Прибалтике, Дерпт означал «прямое и новое признание немецкого характера этого ландшафта». Еще в 1868 г., когда появился трактат Ю. Самарина «Окраины России»<sup>1</sup>, Экардт был убежден в том, что национальный университет, в большей степени, чем привилегии и древние документы, был гарантией сохранения «немецкого характера».

Особое значение университета не могло не влиять на самосознание дерптского общества. Исключительность профессуры, граничившая с заносчивостью, подробно изображается Еленой Хершельманн, дочерью юриста Карла Эрдмана [Hoerschelmann, Dorpat: 234]. На упрек во властолюбии дерптский профессор богословия Александр фон Эттинген (1827–1905) ответил анекдотом. Так как «деревенские дети» кроме школьного образования нашли в Дерпте и трудоустройство, их дома располагались по соседству, на Соборной горе. Клан Эттингенов (богослов Александр, хирург и позднейший бургомистр Георг/Гори, братья Артур, Николай, Эдурд и Август, кроме того, шурин Мориц фон Энгельхардт и, наконец, мать с дочерью Мари) образовывал там своего рода колонию. Одна московская газета с насмешкой указала на то,

<sup>1</sup> О полемике по поводу остзейского вопроса в русской печати см.: [Исаков].

что двое из братьев построили себе два замка на Соборной горе, один из которых назывался «Ватиканом» (место «лифляндского папы»), другой «Квириналом» (резиденция дерптского главы города). В результате «Эттингенцы» как будто распространили «сеть своего вредоносного влияния по всей Лифляндии» [Oettingen: 183].

Тон на Соборной горе, где обитал также и богослов Фердинанд Хершельманн (свекор Хелены Хершельманн-Эрдманн), задавался богословским факультетом, единственным, которому во время русификации не было отказано в праве преподавания на немецком языке. В этих кругах интеллектуальная деятельность котировалась выше, нежели материальные интересы, и компенсировала скромный образ жизни, старомодную одежду и безобразное внутреннее убранство домов. Зато гостеприимство имело всю «феодалную ширь старых традиций» [Hoerschelmann, Dorpat: 235]<sup>2</sup>.

Единственный русский среди дерптских профессоров, которому приходилось нелегко в национально-немецкой тесноте, был литературовед П. А. Висковатов (1842–1905). Если у немцев даже дома, увешанные картинами и обставленные бронзовыми статуэтками и пальмами, вызывали удивление, то тем более роскошным казался немецкой интеллигенции дом Висковатова с его «красочностью и пышностью» [Там же: 249]. Также по-великосветски жил университетский куратор Сабуrow<sup>3</sup> со своей жизнерадостной женой Лелей (Елизаветой Владимировной), дочерью гр. В. А. Соллогуба. «Слиянье всех стихий: русской высшей аристократии вплоть до князей и княгинь, местной деревенской знати, *fine fleur* профессуры и лучших представителей студенческой молодежи могло про-

---

<sup>2</sup> Хотя балтийские пасторские дома в сельской местности имели свой собственный облик, в социологическом отношении у них было много общего, и они представляли один общий тип [Wittgam 1949: 149–173].

<sup>3</sup> Андрей Александрович Сабуrow (1837–1916) был в 1875–1880 гг. попечителем Дерптского учебного округа.

изойти только в русском аристократическом доме», — восхищалась Хелена Хершельманн [Hoerschelmann, Dorpat: 253].

## II. Отношения прибалтийских немцев с другими этносами

### *Эстонцы и латыши*

В предисловии к своей книге издатель Вистингхаузен напоминает, что эстонцы, несмотря на отмену крепостного права, произведенную гораздо раньше, чем в России, и несмотря на земельные реформы XIX в., оставались до образования Эстонской Республики «в значительной степени объектом истории». Они «как отдельные лица <...> мало упоминаются в воспоминаниях — они были естественной составной частью жизни каждого эстляндца <...>». В равной мере эта характеристика касается и латышей. О том, что это положение изменилось в XX в., что теперь недоразумением кажется то, что раньше считалось нормальным, свидетельствует призыв издателя «судить о прошлом не по представлениям настоящего, но исходя из обстоятельств, характерных для того времени» [Wistinghausen: 9].

Художник и политический деятель Отто фон Курзелл (1884–1961), который вел двойную жизнь — немецко-балтийскую и имперско-немецкую — и видел обе стороны, заметил, что невозможно схематично сформулировать суть отношений между помещиком и деревенским населением. В юности, во время революции 1904–1905 гг., он наблюдал у эстонцев самый широкий диапазон этих отношений: от патриархальных связей до скрытого сопротивления, враждебности и страха [Kursell: 306]. Далее он критикует отсутствие у большинства балтийских немцев объективной оценки русских и видит причину нелюбви не только в русификации, но и в выборе антинемецки настроенных лиц в администрацию, в управление школ [Там же: 317].

Коренное население состояло из крестьян, называемых *Landvolk* (деревенский люд), во всех отношениях зависимых от помещика, имевшего над ними дисциплинарную власть. Давление сверху и покорность снизу способствовали постоянному взаимному недоверию обеих социальных групп. Панте-



ниус замечает, что крестьянин своим «рабским» поведением еще более усугублял уже без того глубокое социальное отчуждение [Pantenius 1915: 50, 100]. Помещик Беренд фон Юкскюль (1879–1963) еще в 1903 г. пытался установить свой авторитет тем, что неделями скакал верхом по эстонским деревням с целью проконтролировать качество ремонта зданий и правильное ведение хозяйства, но при этом желал создать у челяди впечатление, что им движет забота о них [Uexküll, Fickel: 150]. Надо иметь в виду, что с 1870-х гг. балтийские немцы постепенно утрачивали контроль над деревенским населением, а к революции 1905 г. ситуация стала накаляться.

Общение с крестьянами в день платы за аренду в замке Фикель (Fickel) барон считал весьма неприятным делом. Жалобы по поводу, как считали крестьяне, высокой арендной платы воспринимались им как «нытье» и казались неотъемлемой чертой эстонского характера. Тем более, что это, как Юкскюль не преминул заметить, люди в целом «очень зажиточные» и владельцы «отличных лошадей» [Там же]. Детям в семье Беннингхаузен-Будберг было строго запрещено разговаривать со слугами, хотя те жили вместе с господами уже десятки лет, любили их детей и баловали их. Когда наказание было очень строгим, вспоминает Антуанет Рачински, ребенок убегал к служившему у них уже пятьдесят лет эстонскому кучеру [Raczynski: 8, 12]. Кажется, что взрослые, убежденные в превосходстве «немецкости» (Deutschtum), думали иначе. Примером другого отношения к коренному народу служит точка зрения Зигфрида фон Бремена, который придавал большое значение существовавшим во всех балтийских городах немецким клубам, певческим и спортивным объединениям. Они, утверждает фон Бремен, препятствовали части своих членов скатиться в «эстонство» (Estentum) [Bremen: 219].

В том, что «язычески-суеверным крестьянам», «бедным, грубым и невежественным людям» [Pantenius 1915: 50], как говорится в «сочувственном дискурсе» [Trupa: 80], необходимо было дать образование, было убеждено лишь духовенство [Eckardt: 418], которое связывало с образованием в первую очередь миссионерскую идею. Усилия духовенства не везде



находили поддержку помещиков, боявшихся утечки рабочей силы (образованному крестьянину больше не захочется быть крестьянином). В результате усилий духовенства получался онемеченный латыш или эстонец, говоривший «полунемецким» языком. Он мог быть уверен в неприятии со стороны своей собственной национальной группы [Трура: 83]. Но вышло так, что в конечном счете образование внесло свой вклад в развитие национального самосознания эстонцев и латышей.

### *Русские*

Воспоминания о детстве — везде светлые, особенно о нянях, с которыми дети проводили больше времени, чем с матерью. С няней они начинали говорить сначала по-эстонски или по-русски, и только потом по-немецки, после перехода через языковую тарабарщину (Kauderwelsch), смеси из, скажем, эстонского с немецким [Wittram 1949: 223]. О своих «простых русских нянях» Антуанет Рачински вспоминает, что с ними детям было лучше всего, «потому что они делали всегда то, что было запрещено». Ее пример — поездка в Ригу, где дети, в числе прочих «развлечений», со сладким ужасом смотрели на такие экзекуции, как наказание шпицрутенами или даже повешение [Raczynski: 5 f.]. У взрослых взаимоотношения с Россией определялись, прежде всего, «злосчастной политикой русификации» [Ramm: 111], причем к концу XIX в. существуют отличия в осуждении русских на их родине и в Прибалтике. «О России мы не знали ничего, — констатирует Пантениус, — и даже совсем не знали ее литературы <...> кто дома допускал бестактность, <...> уезжал <в Россию>. Если там ему удавалось найти свое место в жизни, то он, возможно, <...> возвращался на родину в качестве императорского статского советника, <...> главного лесничего <...> владельца шахт на Урале» [Pantenius 1915: 118]. Тесные связи с Петербургом имели не только дворяне, но преимущественно семьи балтийского рыцарства Эстляндии и Лифляндии, которые служили в имперских министерствах и в российских войсках. Братья Антуанет Рачински служили в Российской империи, старший был председателем суда в Тобольске (убит большевиками

в 1919 г.), другой работал врачом в Харбине<sup>4</sup> [Raczinski: 10]. Кто решался проникнуть вглубь России, чаще всего назад не возвращался, становился обрусевшим (*verrussst*) немцем и в мемуарах уже не упоминается.

Было две России: одна, предоставлявшая военным, министерским чиновникам, медикам, преподавателям и учителям большие возможности сделать карьеру и вести блестящий образ жизни, и другая, которая посредством введения русского как единственного ведомственного языка (1867), кампании в печати 1868 г. и радикальных изменений 1880–1890-х гг., стала самым ненавистным врагом. Первым провалом в связях с Россией стал период лифляндских переходов в другую веру (1840-е гг.)<sup>5</sup> [Pantenius 1926: 123]; апогеем стало «вероломство» Александра III, которое иронически было воспринято как благодарность за прибалтийскую «неизменную верность» русской императорской фамилии. Царь — как было пафосно сформулировано — недолго думая, прибрал к рукам «обещанные монаршим словом Петра Великого права и привилегии» и отдал прибалтов на произвол русского чиновничества и «кипящего хаоса безнадежных обстоятельств насквозь прогнившей <...> гигантской империи» [Ramm: 85] — это еще один из наиболее невинных выпадов в адрес якобы нецивилизованных и ни к чему не способных русских.

Как ни странно, российского царя прибалтийские немцы называли “Kaiser” — до объединения немецких земель в 1871 г. в Германии не было кайзера. Когда началась Первая мировая война, присяга российскому знамени препятствовала проявлению патриотических чувств к Германии. В своих воспоминаниях Зигфрид фон Бремен оправдывает тех, кто сражался против Германии, заключая, что присяга стоит выше «народной обязанности». По его словам, в то время каждый чувствовал себя связанным присягой, но внутреннее чувство

---

<sup>4</sup> Roger Budberg женился на китаянке и оставил достойные внимания письма 1903–1925 гг. о своей жизни и работе на Дальнем Востоке, списанные его племянником Joseph A. Raczynski в 1986 г.

<sup>5</sup> Массовый переход латышей и эстонцев в православие.

могло быть иным: «Никто не мог запретить нам радость и восторг от каждой немецкой победы» [Bremen: 221].

Та «широкая жизнь», которой немецко-балтийский быт отличался от немецкого, развивалась под влиянием российской; русские суеверия отразились даже на представлениях католички — матери Антуанет Рачински. Ее мать, боясь несчастья, «как все русские, никогда никуда не ездила по пятницам или понедельникам, никогда не подавала руку через порог или соль через стол. При встрече с русским попом надо было поплевать три раза, потому что в трех шагах за попом следует дьявол» [Raczynski: 21].

Если в первой половине XIX в. русскому языку уделялось мало внимания — далеко не каждый барон посещал Царско-сельский лицей, как Бернхард фон Юкскюль (1819–1884) [Uexküll, Zarskoje: 27–46], не в каждом имении нанимали на лето русского учителя (Sommerrusse) для детей [Uexküll, Fickel: 147], то в 1880-е гг. отношение к русскому языку изменилось, он стал необходимым для продвижения в жизни [Bremen: 201, 218]. Что касается 1890-х гг., то Клас фон Рамм отмечает у прибалтийских немцев (в отличие от русских) владение эстонским и латышским, делавшие для них возможным занятие постов в управлении этими провинциями [Ramm: 113]. О том, что в 1880-е гг. в Дерпт начался сильный приток студентов русской и еврейской национальности, а эстонцы и латыши также начали прибывать в большом количестве, «хоть раньше они ведь даже не посещали гимназию», сообщает, не без сожаления, Зигфрид фон Бремен в своих мемуарах еще в середине XX в. [Bremen: 200]. Нужно было обладать взглядом человека искусства, дерптского художника Роланда Вальтера (1872–1919), чтобы вне всякой политики и в военное время описать в своих воспоминаниях такие чудесные картины сибирской природы, что они заставляют забыть войну, во время которой возникли [Walter].

Несмотря на восторженные описания рождественских праздников в немецком доме [Hoerschelmann, Weihnachten], балтийские немцы охотно обращали внимание и на народные деревенские праздники и обычаи латышей. Они любовались,



например, церковными похоронами, где играла музыка, много елось и пилось [Pantenius 1915: 49 f.]. Пение сопровождало также латышский праздник “Ligo jani” (сжигание бочек со смолой) и весенний выгон скота [Raczynski: 25]. Станным казался обычай обвешивать лошадь невестинной кареты шерстяными рукавицами или начинать танец с рукавицами [Pantenius 1915: 101]. Традиционными являются также описываемые блюда, особенно для рождественских праздников<sup>6</sup>.

### *Евреи*

Евреи жили преимущественно на границе с Литвой или в литовских местечках, в Эстонии их было немного. Как вспоминает Зигфрид фон Бремен, до революции «еврейского вопроса» не существовало. Он объясняет, что во время его пребывания в г. Пернау (Пярну) в качестве адвоката (1911–1917) евреи сторонились немцев, потому что имели с ними общие экономические интересы и чувствовали себя таким же угнетенным русскими этническим меньшинством, как и немцы. Они работали ремесленниками или мелочными торговцами и вряд ли играли значительную роль в балтийской экономической жизни [Bremen: 219–220]. Пантениус описывает особый тип еврейских торговцев, который Антуанет Рачински называет «торговцами-мешочниками» (Bündelkrämer), с ящиком за плечами, полным чудес — от полезных вещей до безделушек для украшения и любовных писем для передачи адресатам. За умение торговцев держать язык за зубами их особенно ценили как сватов; в качестве «ходячей газеты» они распространяли новости. В ящике скрывался даже маленький орган, и сверху на нем сидела пестрая птичка-вещунья. Для предсказания бу-

---

<sup>6</sup> В канун Рождества в каждом истинно лифляндском доме подавали “Grützwurst, süße Leberwurst und Palten”; на само Рождество подавали “Tum” и фрикадельки (Klops). Рождественская палта (Palte) была страшно невкусная, вспоминает Елена Хершельманн, но глотали ее «с искренним благоговением» [Hoerschelmann, Weihnachten: 226 f.].



душего готовились свернутые бумажки, которые птичка по заказу выдавала зрителям [Raczynski: 26–27].

На еврейские свадьбы смотрели как на театральное зрелище; тщательно наряженные по субботам женщины вызывали восхищение [Pantenius 1915: 156]. По словам фон Бремена, браки между евреями и неевреями заключались редко, а если и заключались, то это были еврей-иностранцы. Евреи, живущие на балтийской земле, как будто утратили свою связь с еврейством, и второе поколение чувствовало себя уже немцами [Bremen: 220]. Антуанет Рачински подробно описывает бракосочетание у евреев, на котором она присутствовала лично, и подчеркивает строгость, с которой они соблюдали свои законы. «Настоящие евреи», сообщает она, были преданны и верны своим хозяевам, у которых снимали кабаки и фруктовые сады, и были они честными, «как золото» [Raczynski: 26]. С удивлением вспоминает она поведение евреев на похоронах ее всеми уважаемого отца в 1906 г., когда все люди ушли на поминальную трапезу, а евреи остались на улице, со свечами в руках. На вопрос лучшего друга отца, барона Корффа, почему они так поступили, они ответили, что высочайшая честь, «которую они могли оказать дорогому барону, заключалась в том, чтобы дать свечам сгореть без остатка. Еврей, который дрожит над каждой копейкой, не пожалел сжечь целую свечу» [Там же: 14].

### *Цыгане*

Все боялись цыган из-за «красного петуха» (поджогов), которого те пускали, если считали, что с ними обошлись сурово или несправедливо. Многие боялись цыганского проклятья, из-за их ремесла предсказателей им приписывали магические способности и верили, что цыганы применяют их, чтобы кому-нибудь отомстить. Говорили также, что они были владельцами прекрасных (краденых) лошадей. Но Антуанет Рачински оправдывает их, напоминая, что ее отец, считавший своим долгом помогать цыганам во всем, разрешал им пасти своих лошадей на берегу Немана и оставаться там, сколько они могли выдержать «со своей кочевой кровью». Их благодарность, пи-

шет она, распространялась и на детей, которым они всегда приносили «что-нибудь необыкновенное, домашних голубей и тому подобное». «У нас они никогда не воровали» [Raczynski: 27].

*Прибалтика как «заповедник»  
человеческих типов и устаревших слов*

Писатель Вернер Бергенгрюн называет Прибалтику заповедником человеческих типов [Bergengruen: 1]. О справедливости его суждения про чудаков свидетельствуют воспоминания Екатерины Майер о своем дедушке и родителях [Mayer: 59, 63], а также Карла Купфера о своем отце и братьях [Kupffer: 78], собранные в сборнике Эггерса. «Заповедником» Прибалтика была и для давно вышедших из моды слов и выражений<sup>7</sup>. В эпоху, не знакомую с суетой, люди перерабатывали пережитое или прочитанное в разговорах, сами рассказы текли широко и неспешно [Mayer: 61] на стандартном немецком [Trupa: 80], пропитанном в начале XIX в. еще французскими выражениями XVIII столетия (как в воспоминаниях Елизаветы Хоффманн о ее ревельской бабушке<sup>8</sup>). Здесь иногда попадаются латышские слова<sup>9</sup> («жерлянки кричат по-латышски “кункс, кункс” (Kunks, Kunks), будто они зовут своего барина»<sup>10</sup>) и даже целые предложения на немецко-эстонско-русской языковой смеси<sup>11</sup>. Когда чудаковатый холостяк в Латвии называет

<sup>7</sup> “Das Braupaar von der Kanzel werfen” (auch “Abverkündigung”, «оглашение вступающих в брак») [Hoffmann: 20].

<sup>8</sup> “Molestieren, en famille, pressiert, convenable, ästimieren”.

<sup>9</sup> Разбогатевшего на винном акцизе заседателя барона Фитингофа (Vietinghoff), владельца огромной части Лифляндии, называли “Pus keninsch” (Halbkönig, полукороль) [Kupffer: 69]. Часто встречается “Pergel” (Kienspan, сосновая лучина).

<sup>10</sup> Латышское “kunks” означает “Herr” (барин, господин).

<sup>11</sup> Немецко-русско-эстонская реплика русскому продавцу, плохо сделавшему сальные свечи: “Schlusti, woßmi twoi Lichte, Lichte lacht, schlechte Dacht, poddi Didel” (Приблизительно: Конеч тебе, возьми твои свечи, свечи плохие, светильни плохие, поди вон) [Hoffmann: 20].

всех женщин “Titere” (индюшками), то это нельзя принимать за комплимент [Kupffer: 78].

Национальное самосознание прибалтийских немцев прежде всего выражается личным местоимением «мы»<sup>12</sup>, а «немецкий характер»<sup>13</sup> объясняется обычно перечислением тех прусских добродетелей второго порядка, которых нет у других, особенно у русских. Это чувство ответственности, добросовестность, неподкупность, порядок и дисциплина. Они противопоставляются качествам, приписываемым «чужому» народу (русскому), и его «инстинкту разрушения» [Ramm: 84 f.; Pistohlkors 1995: 90]. На «прекрасном немецком Рейне» в приступе истинной германомании Класа фон Рамма (1864–1920) охватывает чувство счастья быть немцем: «немцем до глубины души, до святого святых» чувств. «Немцем я был всегда, немцем я мог и должен был остаться навсегда». В 1890 г. автор вернулся в свой «отчий дом» (поместье Клостер Падис), «который уже всегда был настолько исконно немецким, что не воспринимался нами сознательно как таковой». В 1920 г. он ожидал помощи из Германии для «покинутых прибалтов» в «почти безнадежной борьбе, которую мы, прибалтийские немцы, вели против подавляющего превосходства разрушительного славянского варварства. Мы боролись, как немецкие мужи, упорно и постоянно, несмотря на то, что немецкие мужи из Германии нам не помогали!» [Ramm: 112 f.]. «Борьба» — это одно из наиболее расхожих обозначений для положения немцев в Прибалтике начиная с конца XIX в. [Saagpak: 154].

### Заключение

В XX в. земельная экспроприация 1920 г. и ее последствия для остзейцев, равно как и заключение немецко-советского пакта о ненападении в 1939 г. привело к значительному усилению национально-немецких и консервативных взглядов прибал-

<sup>12</sup> Подробно о группе «мы» см.: [Trupa: 80–82].

<sup>13</sup> “Das ganz aus deutscher Art entstandene Studentenleben” (студенческая жизнь, целиком развившаяся из немецкого характера) [Pantenius 1915: 118, 246].



тийских немцев, а также к тому, что они все еще надеялись на Германскую империю, когда та уже сделалась гитлеровской Германией. В 1995 г. Герт фон Пистолькорс задал вопрос, занимающий историков до сегодняшнего дня: «Когда и при каких условиях правящий слой в прибалтийских провинциях утратил силы для приспособления обстоятельств к своим собственным политическим потребностям?» [Pistohlkors 1995: 90]. С точки зрения современных эстонцев и латышей, стоит скорее спросить, когда и при каких условиях управляемый слой в прибалтийских провинциях набрался сил для приспособления обстоятельств к своим собственным политическим потребностям? Смена взглядов у прибалтийских немцев произошла лишь под влиянием глубоких разочарований и потрясений Второй мировой войны. Эти события подчеркивают ностальгический характер записок и корреспондируют с замечанием одного немецкого этнографа: «Потеря предмета становится очевидной лишь при его поиске» [Garleff: 534].

## ЛИТЕРАТУРА

- Исаков: *Исаков С. Г.* Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов / Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1961. Вып. 107.
- Aabrams: *Aabrams, V.* "Mehr nurrige Gesicht". Vier Gedichte in estnischem Halbdeutsch. Aus einer karnevalesken Umbruchszeit. Magisterarbeit Universität. Tartu, 2007.
- Bender: *Bender, R.* Oskar Masing und die Geschichte des Deutschbaltischen Wörterbuchs. Diss. Phil. Tartu, 2009.
- Bergengruen: *Bergengruen, W.* Schnaps und Sakuska. Baltisches Lesebuch. Hrsg. N. Luise Hackelsberger. München, 1992.
- Bremen: *Bremen, S. v.* Erinnerungen // Wistinghausen, S. 198–251.
- Eckardt: *Eckardt, J.* Die baltischen Provinzen Russlands. Politische und culturgeschichtliche Aufsätze. Leipzig, 1868.
- Eggers: *Eggers, A.* Hrsg. Baltische Lebenserinnerungen. Heilbronn, 1926.
- Garber, Klöker: *Garber, K., Klöker, M.* (Hrsgg.). Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen Neuzeit. Mit einem Ausblick in die Moderne. Tübingen, 2003 (= Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext; Bd. 87).



- Garleff: *Garleff, M.* Formen der Erinnerung in deutschbaltischer Literatur // Garber, Klöker. S. 533–563.
- Gottzmann: *Gottzmann, C.* Hrsg. Deutschsprachige Literatur im Baltikum und in St. Petersburg. Berlin, 2010 (= Literarische Landschaften. Hrsg. im Auftrag der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen von Frank-Lothar Kroll; Bd. 11).
- Grudule: *Grudule, M.* "... sie empfanden nur, dass sie leben..." Der Lette in deutschbaltischer Prosa um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert // Gottzmann. S. 107–126.
- Hoerschelmann, Weihnachten: *Hoerschelmann, H. geb. Erdmann.* Unsere Weihnachten // Eggers. S. 218–232.
- Hoerschelmann, Dorpat: *Hoerschelmann, H.* Aus alten Dorpater Tagen // Eggers. S. 233–262.
- Hoffmann: *Hoffmann, E.* Bilder aus Revals Vergangenheit // Eggers. S. 7–30.
- Kupffer: *Kupffer, K.* Mein Vater und seine Brüder // Eggers. S. 67–86.
- Kursell: *Kursell, O. v.* Begegnungen mit Esten und Russen // Wistinghausen. S. 302–342.
- Lejeune: *Lejeune, Ph.* Der autobiographische Pakt. Frankfurt am Main, 1994.
- Mayer: *Mayer, K. geb. Eggers.* Das Haus meines Großvaters und meiner Eltern // Eggers. S. 54–66.
- Mühlen: *Mühlen, H. von zur.* Die baltischen Lande, ihre Bewohner und ihre Geschichte // Garber, Klöker. S. 15–36.
- Oettingen: *Oettingen, A. v.* Haus und Heimat // Eggers. S. 169–182.
- Pantenius 1915: *Pantenius, Th. H.* Aus den Jugendjahren eines alten Kurländers. 2., verbesserte Auflage. Leipzig, [1915].
- Pantenius 1926: *Pantenius, Th. H.* In Riga. Aus den Erinnerungen eines baltischen Journalisten // Eggers. S. 87–128.
- Pistohlkors 1987: *Pistohlkors, G. v., Raun T., Kaegbein, P.* (Hrsg.). Die Universitäten Dorpat/Tartu, Riga und Wilna/Vilnius 1579–1979. Beiträge zur Geschichte und ihrer Wirkung im Grenzbereich zwischen West und Ost. Köln, Wien, 1987 (= Quellen und Studien zur baltischen Geschichte; 9).
- Pistohlkors 1995: *Pistohlkors, G. v.* Deutsche, Esten, Letten, Russen. Interethnische Beziehungen unter ständischem Vorzeichen. 1710–1918 // Schlau 1995. S. 80–95.
- Raczynski: *Raczynski, A. Gräfin, Freiin von Boenninghausen gen. Budberg* [1869–1952]. Lebenserinnerungen. Manuskript. 1948–1950. Abschrift von Joseph A. Raczynski. München, 1980/81.

- Ramm: *Ramm, C. v. Eine estländische Jugend* // Wistinghausen. S. 83–115.
- Saagpakk: *Saagpakk, M. Verlust und Rückgewinnung im Wort. Deutsch-baltische Autobiographien nach 1945* // Gottzmann. S. 147–156.
- Schlau 1995: *Schlau, W. (Hrsg.). Tausend Jahre Nachbarschaft. Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. München, 1995.*
- Schlau: *Schlau, W. Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen — Probleme einer “kühlen Nachbarschaft”* // Schlau 1995. S. 7–11.
- Schroeder: *Schroeder, L. v. Aus meinem Leben* // Eggers. S. 192–200.
- Trupa: *Trupa, S. Diskurse um lettische Identitätsbildung im Lichte der systematisch-funktionalen Grammatik. Frankfurt, Berlin u.a., 2010 (= Studien in Nordeuropäischer und Baltischer Linguistik; Bd. 3).*
- Uexküll, Fickel: *Uexküll, Berend. Freiherr v. Erinnerungen an Schloss Fickel und die Nachkriegszeit in Berlin und München* // Wistinghausen. S. 140–177.
- Uexküll, Zarskoje: *Uexküll, Bernhard Freiherr v. Als Schüler im Lyzeum von Zarskoje Sjelo, Staatsbeamter in St. Petersburg und Student in Berlin* // Wistinghausen. S. 27–82.
- Undusk: *Undusk, J. Verbindungen zwischen Estland und den Deutschen auf dem Gebiet der Literatur. In: Schlau 1995. S. 300–306.*
- Ungern-Sternberg: *Ungern-Sternberg, I. v. Kaiserbesuch* // Wistinghausen. S. 134–139.
- Walter: *Walter, R. Sibirische Landschaftsbilder* // Eggers. S. 309–344.
- Wilpert: *Wilpert, G. v. Sachwörterbuch der Literatur. 7., verbesserte und erweiterte Auflage. Stuttgart, 1989.*
- Wistinghausen: *Wistinghausen, H. v. (Hrsg.). im Auftrag der Estländischen Ritterschaften. Zwischen Reval und St. Petersburg. Erinnerungen von Estländern aus zwei Jahrhunderten. Weissenhorn, 1993.*
- Wittram 1949: *Wittram, R. Drei Generationen. Deutschland – Livland – Russland. 1830–1914. Gesinnungen und Lebensformen baltisch-deutscher Familien. Göttingen, 1949.*

# ОБРАЗ НЕМЦА В ЛАТЫШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ЯНИНА КУРСИТЕ-ПАКУЛЕ

**К истории вопроса.** Длительное время образ немца в латышской (как и в эстонской) литературе и публицистике чаще всего представлял «чужого». Несмотря на то, что в балтийском пространстве присутствовала довольно заметная и влиятельная русская диаспора, основное внимание эстонской и латышской литературы сосредотачивалось на балтийской немецкой диаспоре и ее представителях, а через них сложился образ типичного немца.

Как показывает ряд публикаций С. Г. Исакова, и для балтийских русских точкой фокусировки и темой постоянных сравнений также была местная немецкая культура и немцы вообще. Так, например, для студента Дерптского ветеринарного института, уроженца Петербурга, Г. Н. Рундберга (1859–1884) постоянной темой в переписке является обсуждение немецкого компонента в Дерпте: «Русские здесь во всем как-то ступшеваются. Есть русские и онемеченные с претензией на образование немцев»; «Дерпт, конечно, не нравится по слишком немецкому образу жизни, но в остальном здесь, как вообще в провинции, жить вольготнее, привольнее» [Исаков: 95, 96].

Если говорить конкретно о латышской литературе вплоть до Второй мировой войны, то образ немца был наиболее частым образом *не-латыша*. После войны как в латышской литературе в Латвии, так и в ее эмигрантском крыле, немца заместил русский: в советской Латвии представленный только как положительный образ, в эмигрантской литературе — как амбивалентный.

Своеобразие взаимоотношений между живущими рядом или по соседству народами начинает выявляться, уже начиная с того, как они друг друга называют. В наименовании дальнего соседа обычно не присутствуют каких-либо негативных



оценочных значений. По отношению к ближайшим соседям довольно часто берется географически ближайшее название и переносится на весь народ (например, эстонцев латыши называют *igauņi*, по названию некогда соседствовавшей с ними земли Ugandi), но часто в основе обозначения соседних народов был заложен отрицательный, а точнее — не совсем нейтральный смысл. Так, немец по-латышски — *vācietis*. В основе слова — индоевропейский корень \*uek — «невнятно, громко говорить» [Karulis: II, 464]. Однокоренное слово ‘*vēkšķēt*’ — «выражать недовольство голосом», но и «протяжно плакать, выть». В русском языке имеется родственное слово *вякать*, что тоже означает и «плакать, клянчить», и «болтать», и «протяжно, невнятно говорить» [Фасмер: I, 375]. По-видимому, первоначально *vācietis* — это тот, кто, с точки зрения латыша, говорит невнятно и как бы неправильно<sup>1</sup>. Трудно сказать, какое из названий предпочтительнее, «мягче» — русское *немец* (от *немой*) или латышское *вацietis* — «невнятно, неправильно говорящий», оба — по современным меркам — не отличаются политкорректностью. Что касается названия *вацietis* — почти никто из говорящих на латышском уже не осознает обидной этимологии слова, она больше не прочитывается, как, впрочем, и изначальное значение слова *немец* на русском языке.

Образы англичанина, француза или даже литовца или эстонца воспринимались и изображались в латышской литературе как представители *другого* пространства, поэтому взгляд писателя на них был более или менее отстраненным, можно даже сказать — нейтральным. Другое дело — немцы, это, в основном, жители одного с латышами пространства — остзейские или балтийские немцы. Многие из них были потомками тех, которые колонизировали Балтию в XIII или XIV вв., неся с собой христианство, а также более высокую культуру быта. Большая часть привнесенного со временем была латы-

<sup>1</sup> Иногда оценочное значение приобретает дополнительно. Так, например, от этнонима «латыш» происходит русское диалектное значение «латыш — неразборчиво говорящий человек; латышить, латышать — говорить нечисто, картавить» [Фасмер: II, 466].



шами воспринята, но сознание того, что христианство и новые возможности техники и пр. вводились силой, сохраняло у латышей если не ненависть, то во всяком случае недоброжелательное отношение латышей к немцам (как, впрочем, и немцев к латышам). Это явно прочитывается в фольклоре и в латышской литературе конца XIX – начала XX вв. (взгляд латышей на немцев), в исторических хрониках и литературных произведениях балтийских немцев, фиксирующих, в основном, нелицеприятный взгляд немцев на латышей. Так, например, немецкий литератор, пастор Христиан Ленц (1720–1798), в книге проповедей, предназначенной для латышской паствы (“*Spreidīķu grāmata*”, 1764–1767), с осуждением писал:

Некоторые из вас, землепашцев, так слепо верят, что все богатые немцы попадут после смерти в ад, а вы сами станете святыми только по бедноте своей. Другие из вас еще с усмешкой говорят, что когда богатые немцы будут в аду, тогда мы, бедные крестьяне, подвезем дрова, чтобы огонь под ними не потух [Lencs: I, 1205].

Христиану Ленцу, симпатизирующему духовному движению гернгутеров, противопоставление латышей немцам (как «хороших» и «плохих») было не по душе, и на недопустимость этого он неоднократно указывал:

Вы, нелюбезные латыши, иногда к чужестранцам бываете так жестоки и несправедливы. Только потому, что чужой является немцем, вы не показываете ему дорогу. Один врет, на вопрос, куда дорога ведет, отвечая, что не знает, другой настолько безбожен, что чужому указывает неправильную дорогу [Там же: I, 1509].

Но и со стороны балтийских немцев отношение к латышам было не лучше. Если и проскальзывала симпатия, то только к тем представителям латышей, которые постепенно «подтягивались» к более высокому стандарту жизни немцев: «О если бы милосердный Бог дал бы нам дожить до времени, когда по всей Курляндии и Лифляндии был бы один народ, один немецкий язык!» [Stenders].

Противопоставление «латыш – немец» как в коллективном сознании жителей балтийского пространства, так и в латышской литературе вплоть до начала XX в., в основном, передавалось рядом устойчивых бинарных оппозиций: *холоп – господин, землепашец – землевладелец, неграмотный – образованный* и т.п. Латышская культура долгие века сохранялась и держалась на устной традиции, немецкая, в том числе и остзейская, — на письменной традиции. Когда в 1856 г. вышла книга стихов (“*Dziesmiņas*”) латышского поэта Юриса Алуанса с национально романтическими идеями, остзейский пастор Густав Браже не без сарказма писал:

Судьба этого маленького народа такова, какова судьба других таких же народов, которые неизвестно откуда и как на севере появились, умирают уже во чреве матери. Стоит вспомнить только ливов, криевиньшев<sup>2</sup> и наиболее выносливых из них — эстонцев. У латыша нет своего национального прошлого, поэтому он не знает и не думает о национальном будущем. Он знает себя только как члена своего сословия [Blaumanis: 12].

**Образ немца в фольклоре.** Об этом важно упомянуть хотя бы вскользь, потому что именно на фольклорных стереотипах основывается латышская литература на начальных этапах своего развития. Образ немца в фольклоре более некорректен и непривлекателен, нежели сама этимология латышского слова *вацетис*. По всей вероятности, в основе данного нелестного представления лежит вера в магическую силу слова. Латыши «отыгрывались» за свое подчиненное положение, за несвободу едкими словами своих народных песен, преданий и даже бытовых сказок, в которых немец в конце концов остается в дураках. В народных песнях немец не такой, как принято у латышей, немец — антипод того, каким принято быть уважаемому человеку, соответствующему определенным физическим и умственным стандартам: у немца, на взгляд латыша, слиш-

---

<sup>2</sup> Krievīņi (криевини) — финноугорское племя вотов, которых привез в качестве военнопленных Ливонский магистр в середине XV столетия и поселил среди латышей в Земгалии.

ком длинные шея и нос, и такие же слишком длинные ноги, в общем, все «не то». Латышские крестьяне мстили словом:

За долгие века национального гнета и крепостничества местные балтийские помещики были главными врагами бесправных латышских крепостных, и против немцев в самых многообразных формах и способах проявлялась как активное, так и пассивное сопротивление и ненависть. Поэтому и в фольклоре (в народных песнях) латышка, как правило, с отвращением и презрением отвергает сватовство жениха-немца. С осуждением и с нескрываемой издевкой изображаются в песнях те из латышек, которые ожидают жениха — немца [Rozenbergs: 40].

**Образ немца в литературе на латышском языке XVIII — первой половины XIX вв.** Латышская литература до середины XIX в. находилась в руках остзейских немцев. Они в своих текстах, будь то поэзия на латышском языке Готхарда Стендера (1714–1796) или проза, скажем, Матиса Стобе (1742–1817), рисовали образ разумного немца, который посредством литературных образов учит латышского крестьянина как правильно, разумно жить. Так, в литературном приложении к периодическому изданию “*Latviska laika grāmata*” (1797–1817) в художественной форме и в дидактической манере противопоставлены «правильные» христиане, они же немцы, и «неправильные» христиане — латыши. «Неправильные» потому, что не справляют воскресенье, а придерживаются своих языческих праздников и отмечаемых дней. Действующие лица рассказа — латышская девушка и немецкий пастор. Пастор в конце разумно убеждает девушку не праздновать языческий выходной — так называемый *piektvakars* (имеется в виду вечер на исходе четверга), а праздновать христианское воскресенье. В конце диалога девица говорит: «Спасибо, уважаемый пастор! После проповеди вашей я гораздо умнее стала. Пусть Бог вас наградит за такие хорошие наставления!» [*Latviska laika grāmata*: 48]. Нигде не говорится прямо, что немцы умные, а латыши неразумные, но это и так ясно, ибо пасторы в то время — всегда немцы, а крестьяне — латыши. Так как данное периодическое издание выписывало довольно много латышей, то образ разумных немцев — помещика или пастора, которые



по отечески заботятся о своих крестьянах — просуществовал вплоть до середины XIX в., когда в литературу вошло поколение так называемых младолатышей, которые в своем творчестве поменяли местами прежние знаки плюс и минус.

В конце XVIII в. вышел сборник стихотворений Готхарда Стендера, где нет латышей или немцев, но есть пахари, которые пашут по мудрым советам помещиков, есть дети, они же латыши, и есть отцы (т.е. немцы), которые сеют разумное и доброе в умах своих детей путем просвещения и Божьего слова. Одним словом — полная идиллия, во всяком случае в поэзии Стендера.

Немногочисленные из латышей — писатели XVIII и первой половины XIX в. также следовали данной традиции. Но параллельно с литературной традицией существовал латышский фольклор с гораздо большим охватом не читателей, а именно слушателей, где не было и следа умного-разумного немца. Это были две художественные данности, которые друг с другом не соприкасались, и в них отразились два совершенно противоположных образа немца.

**Немцы в литературе эпохи национального романтизма.** Во второй половине XIX в. в латышской литературе, которую создавали в основном уже сами латыши, они посредством художественного слова сполна отыгрались на немцах. Наиболее яркие образы немцев как представителей тьмы, мрака созданы в литературном эпосе Андрея Пумпурса «Лачплесис» (1888 г.), действие которого отнесено к XII–XIII вв. — в далекое и во многом мифологизированное прошлое. В одном — негативном — ряду поставлен Черный рыцарь, персонификация всех немецких колонизаторов, предводитель рыцарей Дитрих, а также представители немецкого духовенства, силой насаждающие христианство; в противоположном ряду — культурный герой Лачплесис, его помощница Лаймдота, а также адепты языческой религии. Битва между представителями двух миров кончается тем, что и Лачплесис, и Черный рыцарь падают, сраженные друг другом, в реку Даугаву, но «придет день, когда Лачплесис победит своего врага, народ станет сво-



бодным и, конечно, счастливым». Немцы во всей литературе национального романтизма изображались — за очень редкими исключениями — в негативном ключе.

**Литература начала XX в.** После народного бунта 1905 г. и последующей жесткой реакции со стороны немецких помещиков негативный образ немцев в литературе только сгустился. Это и пьеса Яна Райниса «Огонь и ночь» (1905 г.), и многие другие произведения. О невозможности личного счастья между латышским предводителем войск и немкой — дочерью немецкого комтура пишет Райнис в пьесе «Индулис и Ария» (1911). Действие пьесы, основанной на предании, приведенном в “Älteste Livländische Reimchronik” середины XIV в., отодвинуто Райнисом в XI век, время колонизации немцами балтийских земель. Разница культур, политических намерений немцев и латышей, как показывает Райнис, приводит к невозможности продолжительного диалога и понимания. Хотя главный герой пьесы Индулис и принимает крещение, он остается чужим — волком, как его именует немецкий комтур, дочь которого Ария вышла замуж за Индулиса: «Сама видишь, что ошиблась, ты волка хотела обратить в немца» [Rainis: 218].

На общем негативном фоне образа немца в латышской литературе начала XX в. особняком стоят произведения двух писателей — драматурга Рудольфа Блауманиса (1863–1908) и прозаика, а также политического деятеля Андриева Ниедра (1871–1942). Для Блауманиса каждый (независимо — немец или латыш) таит в себе добро и зло, и человек может проявляться как светлой, так и темной стороной. Как Блауманис, так и Ниедра отрицательно относились к революционному бунту 1905 г., где проявилась стихийная, долго сдерживавшаяся ненависть латышей к немцам, особенно к немецким помещикам, а часто и к самим поместьям, которые подвергались грабежу и огню.

**Литература последующих лет.** Большое значение, в основном, отрицательное, имел массовый отъезд балтийских немцев в 1939 г. как следствие договора Молотова – Риббентропа. В Москве, якобы, ходила издевательская частушка: «Спасибо

Яшке Рибентропу, / Что он открыл окно в Европу» [Lamejs: 175]. Уехать добровольно согласились 71% балтийских немцев из Латвии и 65% немцев из Эстонии [Там же]. Карлис Улманис, президент Латвии, по этому поводу произнес речь, исполненную плохо скрываемой неприязни к немецкому началу. Суть речи Ульманиса — в ее конечной части:

Одна часть наших жителей покидает нас. Это немцы. Уезжают и такие, которым вдруг показалось, что они тоже немцы. Пусть они едут! И пусть им там хорошо живется. Но одно пусть они знают. Они уезжают безвозвратно: *Viņi brauc uz neatgriešanos!* [Janovskis: 175].

Массовый отъезд немцев поверг в шоковое состояние как латышей, так и многих прибалтийских немцев. Во-первых, предки многих немцев проживали на Балтийской земле уже не одно столетие, во-вторых, у довольно многих были личные мотивы остаться — карьера, семья, любовь. Через несколько десятилетий (поскольку сразу за событиями 1939 г. наступил черед оккупаций — советская, фашистская и опять советская) в латышской эмигрантской литературе тема отъезда немцев получила художественное отображение. Одно из наиболее ярких произведений на данную тему — это роман Гунара Яновскиса «До невозвращения» (“Uz neatgriešanos”, 1977). В романе — две оси, вокруг которых движутся события.

Первая: дилемма — какая из двух сил, какое из двух зол предпочтительнее для Латвии, немцы или русские. Для героев романа это выбор между национал-социализмом и коммунизмом, выражаемых посредством образов немца и русского: «Русские все же лучше немцев. Я еще помню карательные экспедиции 1905 года. Я своими глазами видел, как моего отца расстреляли у яблони в саду» [Яновскис: 177]. В романе представлено и противоположное мнение:

Да, в далеком прошлом наши племена были родственны. Но на наше развитие повлияли совершенно противоположные факторы. На русских повлияли монголы, Петр Великий и новая религия о рабочем рае. На нас повлияли немцы, культура Европы и борь-

ба за независимость. Мы были и остались чужаками, хотя и два столетия жили под российским царем [Яновскис: 178].

Второе — невозможность остаться вместе с добрыми, с лояльными к Латвии немцами. Роман Яновскиса вобрал в себя трагичность положения обеих сторон — и латышей, и балтийских немцев, ни у одной из сторон в данной ситуации не было выхода, а если казалось, что выход есть, то он приводил только к ухудшению общей ситуации.

Сознательно опускаем рассмотрение образа немца в латышской советской литературе 1940–1950 гг., где любой немец характеризуется путем привлечения зоологического кода, начиная от собаки, волка и кончая фантастическими чудищами. Это любопытный материал для фольклориста, и не только для фольклориста, но мало продуктивный для историка литературы, поскольку это не литература в обычном смысле слова. Здесь можно лишь упомянуть некогда переведенные на многие языки народов СССР (и в первую очередь, на русский), изданные большими тиражами романы Вилиса Лациса (например, [Lācis]) и Анны Саксе [Sakse].

Начиная с 1960 гг. и по сей день образ немца в латышской литературе, если и встречается, то эпизодически. Пожалуй, самый часто упоминаемый немец за последние годы — канцлер Ангела Меркель, но пока она не стала литературным персонажем.

Образ немца в латышской литературе в целом не обладал положительными коннотациями, хотя и не всегда был примитивно отрицательным и однозначно негативным. Латышские писатели не смогли (в силу субъективных или идеологических причин) в своих произведениях показать перспективы будущего диалога в его проекциях в прошлое или в настоящее. Доминанта этнических стереотипов по отношению к балтийским немцам, а через них — к немцам вообще так и осталась неизблемой:

Говоря об этнических стереотипах, обычно приводят строгое разделение по оппозиции *свой/чужой*: какими видим себя мы и какими видят нас *другие*. Имплицитно предполагается, что эти



представления должны быть противопоставлены. Однако опыт показывает, что противопоставлены они бывают не по основным, а по второстепенным признакам, причем это противопоставление носит оценочный и при этом идеологизированный и/или эмоционально-экспрессивный характер и может быть направлено «в обе стороны» в зависимости от ситуации [Цивьян: 11].

**Актуализация исторической памяти.** Несмотря на довольно однообразную картину в изображении немцев, в последние годы все же заметны попытки к отходу от самого устойчивого этнического стереотипа, согласно которому немец в латышской литературе — это не только чужой, но и по своей сущности враждебный человек. В последние годы в литературоведческих исследованиях латышских авторов все большее внимание уделяется пересмотру литературного наследия балтийских немцев (см.: [Cerūzis; Dribins, Spārītis; Grudule; Kļaviņš]). В какой-то мере это попытка связать воедино некогда разделенное жизненное и литературное пространство латышей и балтийских немцев, тем более что для этого уже не существует реальных преград: балтийские немцы уже более 70-ти лет не живут в Балтии, их диаспора здесь — дело прошлого. Но и прошлое необходимо пересмотреть, найдя в нем не только контрастный стереотип «черного/белого». Балтийские немцы были зачинателями литературы на латышском языке, их литературные вкусы оказали несомненное влияние на литературу, которую впоследствии развивали уже сами латыши.

После Второй мировой войны Европа хотела забыть трагический опыт XX в. и заодно — опыт культурного сосуществования на балтийском пространстве. По-видимому, настало время пересмотреть опыт прошлого: это ощущается в стремлении литературоведов актуализировать дискурс исторической памяти, внедряя толерантное отношение не только к категории *другой*, но и к категории *чужой*<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> «Мысль, по которой отношение к Другому основано на том, чтобы всегда видеть в нем Ближнего <...> Ее распространение на отношение между разными странами, культурами, религиями, этническими и социальными группами указывает на возможность



В 2005 г. в Калининграде прошла международная конференция, в которой участвовали писатели и литературоведы двенадцати государств Балтийского региона (в широком понимании этого слова). Один из организаторов, поэт и переводчик Кляус Юрген Лидке, ссылаясь на книгу Кроцкого, писал в сборнике докладов конференции:

«Можно ли с помощью вспоминания вернуть то, что утрачено», — спрашивает фон Кроцков в своей книге со специфически немецким названием *Heimat* — *Родина*. Он пишет о возможности создать искусственным путем новые традиции после того, как старые уничтожены, наподобие произведений искусства. Как по-другому совладать с таким переломом в истории? Я пришел к выводу, что балтийский компонент в немецкой литературе утрачен, но его можно восстановить как *art memoiré*. Я считаю, что именно *art memoiré* позволяет найти свое место в истории после долгого травматического периода [Liedke: 7].

По-видимому, попытка пересмотра образа немца в истории латышской литературы и попытка искусственного воссоздания — «вспоминания» прежней традиции, в том числе, прежней традиции сосуществования двух народов (хотя и не всегда безоблачного) для латышской культуры стали бы обогащающим и обновляющим фактором.

## ЛИТЕРАТУРА

- Иванов: *Иванов В. В.* Приветствие конференции «Геополитика и русские диаспоры в Балтийском регионе» // Геополитика и русские диаспоры в Балтийском регионе, I. Калининград, 2008. С. 10–13.
- Исаков: *Исаков С.* Из архивных «мелочей» // Труды русского исследовательского центра в Эстонии. Тарту, 2010. Вып. 5. С. 94–121.
- Фасмер: *Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV.* СПб., 1996.
- Цивьян: *Цивьян Т. В.* Семиотические путешествия. СПб., 2001.

- Blaumanis: *Blaumanis R.* Kopoti raksti. Rīga, 1993. Т. 2 [Собрание сочинений].
- Cerūzis: *Cerūzis R.* Vācbaltiešu fenomens // Kultūras Diena. 2005. № 10. 18. VI [Феномен балтийских немцев].
- Dribins, Spārītis: *Dribins L., Spārītis O.* Vācieši Latvijā. Rīga, 2000 [Немцы в Латвии].
- Grudule: *Grudule M.* Vācbaltiešu literatūra 1890–1939 // Vācu literatūra un Latvija 1890–1945. Zinātne, 2005. 411–556 lpp. [Литература балтийских немцев в Латвии].
- Janovskis: *Janovskis G.* Uz neatgriešanās. Rīga, 1973 [До невозвращения. Роман].
- Karulis: *Karulis K.* Etimoloģijas vārdnīca. Rīga, 1992. Т. 1–2 [Этимологический словарь].
- Kļaviņš: *Kļaviņš K.* Baltijas vāciešu un latviešu kopīgā pagātne // Diena, 2005, 19. III [Общее прошлое балтийских немцев и латышей].
- Lācis: *Lācis V.* Uz jauno krastu. Rīga, 1953 [К новому берегу. Роман].
- Lamejs: *Lamejs B.* Rīgas kaķu ķēniņš un citas kāda ārzemju korespondenta atmiņas. /b.v./, “Grāmatu Draugs”, 1979 [Рижский король кошек и другие воспоминания иностранного корреспондента].
- Latviska laika grāmata. 1797. Т. 2 [Латышский временник].
- Lencs: *Lencs K. D. (Lenz).* Sprediķu grāmata par tiem svētdienu un svētku evangeliumiem. Rīga, 1764. Т. 1 [Книга проповедей].
- Liedke: *Liedke K. J.* The Spirit of Kant and Königsberg as a Point of Reference for Today's Cooperation in the Baltic Sea Region // Baltic Meetings. Kaliningrad 17–21 June 2005. Proceedings. 2005. P. 5–9.
- Rainis: *Rainis.* Kopoti raksti. Rīga, 1980. Т. 10 [Собрание сочинений].
- Rozenbergs: *Rozenbergs J.* Tautas un zemes latviešu tautasdziesmās. Rīga, 2005 [Народы и земли в латышских народных песнях].
- Sakse: *Sakse A.* Pret kalnu. Rīga, 1948 [В горы. Роман].
- Stenders: *Stenders A. J.* Dziesmas, stāstu dziesmas, pasakas. Jelgava, 1805 [Стихотворения и литературные сказки / Предисловие].

# ПРАГМАТИКА ОБРАЗА «ВЕРНОПОДДАННОГО ФИННА» В ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 1809–1854 гг.\*

ТИМУР ГУЗАИРОВ

Финская кампания 1808–1809 гг. была заключительным аккордом военного противостояния России и Швеции. 18 февраля 1808 г. русские войска заняли Гельсингфорс, 10 марта — Або (столицу Финляндии). 16 марта Россия официально объявила войну Швеции, а 20 марта был издан Манифест о присоединении Финляндии к России. Согласно Фридрихсгамскому договору 1809 г., вся Финляндия стала частью Российской империи. В марте был собран сейм в городе Борго, на который прибыл Александр I. Ему принесли торжественную присягу, а русский царь в своей речи подтвердил те привилегии, которыми пользовалась Финляндия согласно шведской конституции. Великое Княжество Финляндское, таким образом, получило особый политически-административный статус фактической автономии. «В Статистических очерках России» 1848 г. географ К. И. Арсеньев подчеркнул:

Вообще Сибирь, Закавказье, Финляндия и Царство Польское суть такие страны, которые обеспечивают нынешнюю безопасность Государства, не затрудняя внутреннего управления. Сии земли, полезные для России по уважениям военным, политическим и коммерческим, не составляют существа Империи [Арсеньев: 25].

Особое положение означенных территорий обусловило конфликтные ситуации (от мирного сопротивления в Финляндии до бунта в Польше) и актуализировало вопрос о стратегии интеграции этих окраин и ее жителей в общее единое импер-

---

\* Статья написана при поддержке гранта ЭНФ № 7901 ««Идеологическая география» западных окраин Российской империи в литературе».

ское «тело». Вопрос о Великом Княжестве Финляндском осложнялся тем, что оно было обособлено как политически, так и экономически, культурно (не-славяне), конфессионально. Здесь изначально оказывались неэффективными идеологические механизмы, которые пробовали использовать на других окраинах (о попытках ассимиляции, манипуляции конфессиональной политикой см.: [Бовуа; Долбилов]). В этой ситуации повышалась роль официальных и иных идеологических текстов разных жанров<sup>1</sup>. Они обеспечивали «идеологическое обоснование <...>, художественное освоение определенного пространства таким образом, чтобы общественное сознание осмысливало это пространство как часть именно “своей”, “национальной” территории» [Миллер: 156].

Наряду с «ментальным» освоением пространства оставался не менее острым вопрос о межнациональном взаимодействии финнов / финских шведов и русских. Как справедливо отметил М. Р. Бейссинджер, «самый важный параметр любой имперской ситуации: восприятие [того], <...> принимается ли политика как “наша” или отвергается как “чужеродная”» (цит. по: [Суни: 35]). Взаимоотношения между коренным населением и титульной нацией носили всегда конфликтный характер (который в течение времени усиливался и становился более явным), поэтому центральная власть постоянно испытывала потребность в создании моделей для благоприятного восприятия финнами русских и наоборот. Тексты, которые формировали бы такое восприятие, должны были создать, по мысли М. Лескинен, «“политически корректный” образ “другого” Империи — если не как “своего”, то, во всяком случае, как “иного”, но не как враждебного “чужого”» [Лескинен: 316].

---

<sup>1</sup> Рассмотрев ситуацию на Правобережной Украине (1793–1830), Д. Бовуа пришел к выводу: «Влиянию польских землевладельцев <...> царские власти могли противопоставить лишь грозные с виду, но плохо исполнявшиеся указы» [Бовуа: 296]. Подчеркнем ту роль, которую, в целом, играли официальные (шире — идеологические) *тексты*: они создавали иллюзию решения проблем и видимость диалога между метрополией и окраиной.



В фокусе нашей статьи — имперские нарративы (официальные документы мы не рассматриваем), созданные в эпоху Александра I и Николая I и описывающие ситуации межэтнических контактов. По нашему убеждению, идеологические тексты такого типа формировали «правила» по ведению желательного диалога между коренным населением и представителями титульной нации и демонстрировали их успешное «функционирование».

Русское общество имело о Финляндии и финнах скорее литературное, чем реальное представление. В «Оде на прибытие <...> Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 года по коронации» М. В. Ломоносова был дан образ народа, который безропотно покоряется России и боится мести за лояльность шведской власти. Российская власть, напротив, выказывает крайнюю степень милосердия и доброжелательности:

На нивах жатву оставляет / От мести уstraшенный фин, / И с гор, оцепенев, взирает / На дым, всходящий из долин, / На меч, на готов обнаженный, / На пламень, в селах воспаленный; <...> / Елисавета к вам приходит, / Отраду с тишиной приводит: / Любя вселенные покой, / Уже простертой вам рукой / Дарует мирные оливы, / Щадить велит луга и нивы [Ломоносов: 91].

Однако личный опыт кампании 1808–1809 гг. или же службы в Великом Княжестве Финляндском меняли в сознании русского образованного общества этот сформированный литературой образ. Первые известные впечатления о последней русско-шведской войне были изложены К. Н. Батюшковым в «Отрывке из писем русского офицера о Финляндии» (1809 г.). В первой части сочинения изображена жизнь финнов в древнейшие времена. Читателю представлен образ диких жителей природы, который отражает, с одной стороны, черты литературной традиции, с другой, имплицитно передает военный опыт автора:

Томимые голодом, нуждою, исполненные мужества, решимости, презирая равно смерть и жизнь, — не знают опасности; в звер-

ском иступлении наполняют криком леса, и эхо повторяет глас их <финнов. — Т. Г.> в пространной пустыне [Батюшков: 13].

Литературная форма фиксации этнокультурных представлений о финнах как о суровых, мужественных, диких людях позволила коснуться болезненной для имперского сознания темы: столкновение русских войск с финским партизанским сопротивлением. К этому российское общество начала XIX в. оказалось не подготовленным ни исторически, ни литературно. Участник событий Д. В. Давыдов позднее подчеркнул в «Воспоминаниях о Кульневе в Финляндии» (1838):

Война в Финляндии во время самого разгара своего не обратила на себя взоров ни граждан, ни военных людей. <...> Зато уверенность в незатруднительном завоевании края этого так усилилась, что когда сосредоточенный неприятель напал на разбросанные по kloкам войска наши, **когда вспыхнула война народная**<sup>2</sup> <здесь и далее выделено мной. — Т. Г.>, когда подвозы с пищею и с зарядами прекратились от набегов жителей, когда пожары разлились по неизмеримому пространству лесов, сквозь которые надлежало нам пробиваться, когда каждый шаг вперед и назад требовал всеминутных жертвований жизни, — **тогда мирные соотечественники наши не хотели верить доходившим до них слухам** и, в заблуждении своем, приглашали нас письмами на веселия столицы и на семейственные удовольствия [Давыдов: 164–165].

Таким образом, ломоносовский образ испуганного финна и представление о быстром покорении Финляндии благотельным русским монархом были разрушены. Сомнения в искренности верноподданнических чувств финнов, как и в их, якобы, уверенности в благотельности и цивилизаторской роли России подкреплялись для русских в Финляндии ежедневным опытом общения.

В 1826 г. была напечатана поэма Е. А. Баратынского «Эда», однако, без эпилога. Полностью она была издана лишь в

<sup>2</sup> Ср. с описанием другого участника кампании Ф. В. Булгарина в «Воспоминаниях» (1846–1849): «<...> народная война кипела <...>» [Булгарин: 412].

1860 г. В эпилоге отразились, по-видимому, впечатления поэта от его службы<sup>3</sup>:

Ты покоришься, край гранитный, / России мочь изведаль ты / И не  
столкнешь пяты ее, / **Хоть дышишь к ней враждою скрытной!** /  
Срок плена вечного настал, / Но слава падшему народу! / Бес-  
страшно он оборонял / Угрюмых скал своих свободу [Баратын-  
ский: 243].

Точка зрения Баратынского противоречила официальной позиции, которая строилась на развитии идеологических сюжетов о «счастливом» финне<sup>4</sup>. Отметим, что после окончания войны между Россией и Швецией продолжалась идеологическая борьба, предметом которой были, как им казалось, верно-подданные чувства финнов. Ср. в агентурной записке Булгарина, посетившего Финляндию в 1838 г.:

Вера, язык и образованность связуют Финляндию с Швециею неразрывными узами, и 600 лет составляя один народ, имея одну историю, невозможно в 30 лет забыть все прошлое <...> Швеция <...> беспрерывно напоминает Финляндии прошлое и представляет настоящее в превратном виде [Видок: 454].

Таким образом, перед центральными властями стояла актуальная задача: переосмыслить негативные стороны последней русско-шведской войны и одержать идеологическую («риторическую») победу в послевоенном противостоянии со Швецией. Идеологическая практика заключалась в демонстрации «счастливых» отношений между коренным населением и представителями титульной нации, а также в изображении и словесном оформлении признания финнами превосходства

<sup>3</sup> С 1820 по 1825 гг. унтер-офицер Е. А. Баратынский вынужденно находился на службе в Финляндии.

<sup>4</sup> Вопрос о соотношении реальных впечатлений от посещения или службы в Великом Княжестве Финляндском со стереотипами, с которыми представитель титульной нации туда приезжал, требует специального исследования. Ср. на примере Кавказа: [Sherry]. О своеобразии и новаторстве поэмы «Эда» см. также: [Андреевская].



русской власти над шведской в деле благоустройства Великого Княжества Финляндского.

Остановимся в этой связи на поэтике некоторых эпизодов из «Воспоминаний» Булгарина. Автор вынужден признать известный факт, что:

Все финские поселяне — отличные стрелки, и в каждом доме были ружья и рогатины. <...> Разъяренная чернь свирепствовала! <...> Все они дрались храбро, и были чрезвычайно ожесточены против русских <...> [Булгарин: 412, 426].

Сопротивление финнов, проявления жестокости и ненависти автор связывает не с их стремлением к независимости, а с влиянием шведов и с преданностью королю. Не случайно, что Булгарин организует ряд эпизодов при помощи сравнительной временной рамки: *тогда — сейчас*. Повествуя о своем участии в русско-шведской войне, автор предлагает несколько картин из личного опыта общения с финнами / финскими шведами. Один из рассказов посвящен встрече дочери помещика с русскими офицерами:

Потом, обратясь к дочери хозяина, девочке лет десяти, удивительной красавице, Сабанеев представил ей Штакельберга, прапорщика 3-го Егерского полка, юношу лет семнадцати, также красавчика, и сказал, не угодно ли ей русского жениха. Вообразите наше удивление: девочка побледнела, как полотно, задрожала всем телом и, сжав зубы и грозя кулаком, **сказала по-шведски: «Смерть русскому!»** Отец улыбнулся, а мать поцеловала девочку, и увела в другую комнату. <...> прежняя неприятельница наша, девочка, впоследствии вышла замуж за русского, и теперь русская барыня **говорит хорошо по-русски** и весьма **преданна России!** [Там же: 481].

В фокусе повествования — изображение цивилизующей миссии империи. Булгарин доказывает определенную, в терминологии Ю. Остерхаммеля, восприимчивость к влиянию цивилизатора со стороны цивилизуемого. Как каждый считающий себя цивилизатором, он должен был «приписывать цивилизуемым потенциал, который может развиться, стоит им только предать себя великодушной опеке цивилизаторов» [Вульпиус:



30–31]. Таким потенциалом в болгаринском изложении предстает преданность русскому царю, которая в итоге и привела к личному счастью прежнюю «злую» девочку.

Выбор девушки — русский муж, освоение русского языка, превращение озлобленной девочки в русскую барыню — все эти элементы выстроены в единую идеологическую цепочку, прагматика которой заключается в демонстрации этнополитического изменения (шведских) финнов: трансформация прошлых врагов России в ее истинных верноподданных. Булгарин, таким образом, констатирует победу русского над шведом, которая имеет историко-культурный, можно сказать — ментальный характер.

В другом диалоге Булгарин описывает якобы неожиданную встречу в 1840 г. с финским почтмейстером, знакомство с которым состоялось во время войны 1808–1809 гг.:

«Скажите по совести, — спросил я старого моего хозяина, — правду ли сказал я тогда в вашем доме, что вам будет не хуже после соединения с Россиею, как было при шведском правлении?» Старик отвечал: «Предсказание ваше сбылось, и мы совершенно счастливы!» [Булгарин: 596].

В приведенных отрывках (независимо от степени достоверности описываемых событий) преломляются как черты реальной, так и идеальной картины происходящего в Финляндии. Как и при изображении Ливонии, Булгарин описывает мир Великого Княжества Финляндского «как “другой” <...> не всегда симпатичный, но все же <уже. — Т. Г.> как “свой”» [Киселева 2006: 125], тем самым подчеркивая преодоление дистанции. Идеологический текст, таким образом, переосмыслял исторический негативный опыт и вписывал представления о финнах как о «диком» народе завоеванной окраины в развертывающуюся имперскую цивилизаторскую модель.

То, что действительное отношение к русским оставалось сложным, было отлично известно тому же Булгарину, агентурная записка которого начиналась словами: «У нас несправедливо думают, будто Финляндия совершенно довольна и почитает себя счастливою» [Видок: 454]. 4 марта 1844 г.

П. А. Плетнев в письме к ректору Гельсингфорского университета Н. Урсину определил первостепенную общественно-политическую задачу следующим образом:

<...> уничтожить народные предрассудки, старинную недоверчивость между нациями и соединить их общим стремлением к обрабатыванию общей истории и литературы. Показывая друг к другу уважение, мы всем даем чувствовать, что понимаем друг друга и всех равно приглашаем в союз нашего братства (цит. по: [Бородкин 1915: 554]).

В интеграционной политике значительная роль отводилась литературе. Министр и статс-секретарь Великого Княжества Финляндского гр. А. Г. Армфельд выдал Ф. Дершау 1500 руб., и это пособие было использовано при создании «Финского вестника». Журнал издавался с 1845 по 1847 гг., затем был преобразован в «Северное обозрение», которое выходило до 1855 г. Он состоял из шести разделов: «Северная словесность», «Северная история», «Нравописатель», «Науки и художества», «Библиография», «Смесь»<sup>5</sup>.

В разделе «Северная словесность» первого номера «Финского вестника» была опубликована программная повесть Н. В. Кукольника «Егор Иванович Сильвановский, или завоевание Финляндии при Петре Первом». В основе повести лежит традиционная «финская» фабула о завоевании героем руки возлюбленной. Здесь достаточно вспомнить сюжет о Финне в пушкинской поэме «Руслан и Людмила». Кукольник создает интригу вокруг противостояния Шведа и Финна / Росса. Брак героя с героиней становится возможным, когда ее отец (шведский военный) соглашается на союз между своей дочерью и финном, который к тому времени уже стал русским офицером. Их брак, с идеологической точки зрения, должен послужить залогом ненападения со стороны шведа на русского в будущем. Рассмотрим некоторые эпизоды.

---

<sup>5</sup> Впрочем, «Финский вестник» не пользовался читательским успехом, и гр. А. Г. Армфельд заметил Дершау, что «от журнала Финляндии никакой пользы нет» (цит. по: [Бородкин 1915: 553]).

Благодаря захвату города Або русскими войсками главный герой, приговоренный до этого к сожжению на городской площади, был спасен. Герой отлучается на время из Або, а утром возвращается в город с возлюбленной и другими шведскими пленниками. Между ним и командующим русскими войсками кн. Голицыным происходит диалог:

- Послушай, однако ж, дружище: не дурно бы мне наконец знать, как зовут моего доброго офицера.
- Эрик Сильванус.
- Егор Сильвановский; ну, так ступай, Егорушка, да возвращайся проворнее... [Кукольник 1845: 76].

Кукольник конструирует образ финна, чей идеологический (а не психологический) портрет оказывается весьма «подвижным». Путем русификации имени автор придает герою новый статус — верноподданного Российской империи. Если в начале повести Эрик так позиционирует себя по отношению к шведам: «Мы все-таки Финны», то теперь его новое имя не вызывает у него протеста. Русская, имперская составляющая им беспрепятственно принимается и интегрируется в исконно финскую, национальную идентичность. Герой становится русским офицером, получает отчество Иванович — Кукольник изменяет этнополитическое и национальное сознание персонажа, что проявилось в характерном выборе заглавия (повесть называется не «Эрик Сильванус», а «Егор Иванович Сильвановский, или завоевание Финляндии...»).

Русификация имени была распространена в повседневной жизни и была также известным литературным приемом. Изменение исконно национального/языческого имени происходило при крещении, что отразилось в «эстонской повести» В. К. Кюхельбекера «Адо» (1824), которая могла служить одним из литературных источников для Кукольника. В основе повести Кюхельбекера лежит фабула завоевания/защиты невесты, осложненная сюжетом о борьбе между немцами, представителями римско-католической церкви, и эстонцами, нашедшими защиту в православном Новгороде. Вслед за Юрием, бежавшим от немецких завоевателей, Адо с дочерью Маею



также прибывают в Новгород. В конце повести оба героя принимают православную веру и нарекаются Марией и Адамом.

Главное отличие между Кюхельбекером и Кукольниковым заключается в трактовке идеологической роли православия. В повести «Егор Иванович Сильвановский...» православная составляющая отсутствует<sup>6</sup>. Кукольник не нарушает официально установленной еще в 1809 г. конвенции: Великое Княжество Финляндское сохраняет местное самоуправление и вероисповедание. Повесть построена на известных литературных приемах, сюжетных ходах и идеологических клише. В этом смысловом поле Кукольник конструирует скорее желаемый, чем реальный образ финна как верноподданного Российской империи. В заключительной части повести читатель узнает, что Эрик, или Егор Иванович

вел <против шведов. — Т. Г.> партизанскую войну по прибрежью; отряд его состоял из шестидесяти молодых рекрут, в том числе были волонтеры из Финнов. Аренфельд <...> не мог понять, каким образом шайка Эрика, разъезжавшая на финских конниках, в мороз и в виду армии могла продолжать свои дерзкие, отчаянные действия [Кукольник 1845: 78].

Напомним, что журнале «Славянин» еще в 1829 г. была опубликована статья «Финляндский поход 1808 года во время последней войны России с Швецией», в которой рассказывалось о партизанских действиях под руководством финляндского уроженца Рота, унтер-офицера Биорнеборгского полка, действовавшего, однако, *против русских*:

*Рот*, по мере успехов своих, становился отважнее: он учреждает засады, нападает врасплох на небольшие притины, перехватывает курьеров, собирает вооруженных поселян <...>. Русский гарнизон, состоявший из двух рот, с трудом мог от него отбиться. Таким образом, сей партизан в несколько дней успел привести Генерала *Раевского* в отчаянное положение [Финляндский поход: 310].

<sup>6</sup> Булгарин в агентурной записке о Финляндии обеспокоенно предупреждал: «Финляндцы также начинают опасаться за свой язык и веру» [Видок: 517].



Кукольник, таким образом, конструирует литературную альтернативу реальному персонажу. На ментальной карте появляются два образа финна — врага России и верноподданного русского царя. В своей повести Кукольник, нарочито отнеся действие в петровскую, а не александровскую эпоху, трансформирует известный образ финского партизана, перекодирует историческую реальность кампании 1808–1809 гг. и создает новые, политически окрашенные черты в национальном образе финна. Это — *верноподданный российский финн*, в этом варианте национальная идентичность неотделима от новой имперской идентичности.

На страницах «Финского вестника» было опубликовано еще одно историческое сочинение Кукольника на сюжет из петровского времени — «Генерал-поручик Паткуль. Трагедия в пяти актах в стихах». Выражение верноподданнических чувств, готовность к самопожертвованию ради исполнения возложенной царем миссии — таковы отличительные качества Паткуля, перешедшего на службу к русскому императору. В третьем акте герой, обращаясь к портрету Петра I, произносит: «Боготворимый образ человека, / Я об одном молю: не усомнись / В любви моей...» [Кукольник 1846: 65]. В результате тайного договора между Августом II и Карлом XII личный враг шведского короля и любимец русского царя Паткуль был арестован (он отказывается от бегства, так как расценивает этот шаг как предательство по отношению к Петру). В трагедии Кукольника важен заключительный идеологический аккорд. Петр приезжает на встречу к Августу II и, узнав о смерти Паткуля, «начал одеваться и горько плакать». Роза, невеста Паткуля, призывает: «И справедливый судия! Суди нас!» [Там же]. Как известно читателю трагедии, во время пытки Паткуль пророчествует шведскому королю поражение в войне. Таким образом, Кукольник как бы связывает объявление войны Петром I Карлу XII, в том числе, с решением отомстить за смерть своего подданного.

Публикация именно этой трагедии Кукольника на страницах «Финского вестника» кажется неслучайной, если обратиться к некоторым эпизодам из биографии Г. М. Армфельда,

отца министра Великого Княжества Финляндского и спонсора журнала А. Г. Армфельда. Итак, Г. М. Армфельд был обвинен в государственной измене, позднее прощен Густавом IV. В 1805 г. он занимал даже пост генерал-губернатора Финляндии. В 1810 г. Г. М. Армфельд навлек на себя новые неприятности и в 1811 г. бежал в Петербург, где получил графское достоинство и был назначен президентом комитета по финляндским делам. Ключевые точки из политической биографии Армфельда и Паткуля пересекаются. Хотя центральный герой трагедии является лифляндским дворянином, Кукольник создает образ и идеальную модель поведения дворянина, перешедшего на службу от иностранного монарха к русскому царю. Автор конструирует схему взаимоотношений, когда верность, готовность служить и жертвовать собой за монарха и Россию «обмениваются» на монаршую защиту, милости, личное внимание.

Повесть и трагедию Кукольника также связывает другая общая идея — утверждение того, что в душе нового и не принадлежащего к титульной нации подданного шведская составляющая разрушилась и вместо нее укоренилась любовь к Российской империи.

Материалы «Финского вестника» могли порой идеологически противоречить друг другу. В 8 томе за 1846 г. В. И. Даль под псевдонимом «В. Луганский» опубликовал очерк «Чухонцы в Питере». Автор подчеркнул, что финские женщины «охотно называют себя Шведами и Шведками: “Я ведь из Фиборга”, обыкновенный ответ петербургской кухарки, если спросите ее, откуда она родом» [Даль: 2]. Можно осторожно предположить, что одна из функций рассмотренной выше повести Кукольника заключалась, в том числе, в конструировании альтернативного образа финна — в противовес реально существующему представлению. Именно поэтому вопрос о «шведскости», или о мере принятия финнами новой, русской имперской идентичности выходил на первый план и стал одним из ключевых сюжетов в разножанровых идеологических сочинениях. В эпоху Николая I эти тексты предлагали русскому читателю увидеть в воевавшем против российских войск

финне «правильного» (доброжелательного и искреннего) нового верноподданного империи. Приведем пример из очерка Ф. К. Дершау «Финляндия и финляндцы»:

Ответы Финна резки, умны и обдуманно; <...> незнающий принимает за оскорбление слова его, в которые не вкрадывается и тени грубости; одним словом только не знающие Финнов могут приписывать им небывалые дурные свойства и отнимать истинные прекрасные и возвышенные, составляющие гордость благородной финской нации [Дершау: 20].

Идеологические тексты выполняли функцию координатора мирных взаимоотношений<sup>7</sup>.

В четвертом томе «Финского вестника» за 1845 г. в разделе «Смесь» был опубликован отрывок из французского сочинения кн. П. Г. Гагарина «Финляндия» под заголовком «Нечто о Финляндии в 1809 году»<sup>8</sup>. Представленный текст был давно

---

<sup>7</sup> Примечательно стремление автора николаевской эпохи (Дершау) затушевать негативное впечатление от контактов с финнами у представителей титульной нации. Позднее (особенно начиная с правления Александра III) в русских газетах и в отдельных брошюрах уже публиковались описания оскорбительного поведения финнов. См., напр.: [Оскорбление русских]. В 1891 г. публицист и цензор Ф. Еленев, проведший лето 1865 г. в Гельсингфорсе, решил опубликовать книгу «Финляндский современный вопрос по русским и финляндским источникам». В предисловии автор сообщал читателю о намерении издать еще одно сочинение, «Финляндия и положение в ней русских». Еленев искал ответ на мучивший большинство консервативно настроенных подданных вопрос: «<...> каким образом мог сложиться в этой провинции русского государства такой порядок, что государственная власть России явно там попирается, а русские люди, православная религия и ее служители подвергаются систематическим преследованиям и оскорблениям?» [Еленев: 5]. О риторике статей на эту тему из «Московских ведомостей» см.: [Гузаиров].

<sup>8</sup> Линия, ведущая от Гагарина до Булгарина, отражала, по мнению М. И. Соломца, «процесс “поиска наощупь” места Финляндии как нового элемента в российской имперской системе координат “свой — чужой”» [Соломец: 146]. Уточним мысль исследователя:



известен читателю. В 1809 г. в «Русском вестнике» был опубликован очерк «Нечто о Финляндии в 1809 г. (заимствовано из соч. “Тринадцать дней, или Финляндия” кн. Гагарина)». В том же году в Москве вышел отдельным изданием полный вариант книги «Тринадцать дней, или Финляндия». Важно отметить, что в 1845 г. были републикованы фрагменты, относящиеся, прежде всего, к участию Александра I в Сейме в Борго, к присяге жителей Великого Княжества Финляндского русскому царю. В этих же фрагментах встречаются описания некоторых знаковых поступков монарха (монаршее помилование осужденного местным судом к смертной казни), рассуждения о прошедшей кампании. Сочинение было написано очевидцем событий, что придавало ему, с точки зрения издателей, статус исторически достоверного источника. Вместе с тем, новая публикация текста, рассказывающего об обстоятельствах присоединения Великого Княжества Финляндского к Российской империи, имела отчетливую идеологическую цель — демонстрацию верноподданнического восторга в присоединенных землях и отсутствия напряжения между окраиной и метрополией.

Текст, представляющий собой дневниковые записи, начинается с 15 марта — дня прибытия государя в Борго. Автор рассматривает прибывших на Сейм депутатов:

---

идеологические тексты не только фиксировали расстановку сил на основе указанной дихотомии. Задача авторов заключалась в показе того, что процесс интеграции «чужих» в общее и единое «свое» происходит естественно, добровольно — а не по указке сверху из метрополии. Идеологические тексты, по нашему мнению, имитировали успешность политики центральных властей — той самой политики, которой, с точки зрения консервативных кругов второй половины XIX — начала XX вв., в предшествующую эпоху фактически не существовало. См. о положении края в николаевскую эпоху в многотомной истории Великого Княжества Финляндского видного публициста и историка М. Бородкина, созданной в эпоху открытого кризиса финляндского вопроса [Бородкин 1915: 540–560].



Какое разнообразие лиц, а может быть, чувств, желаний и мыслей! Тут были бароны, графы, дворяне, епископы, священники, стряпчие, купцы, откупщики, земледельцы. Я спросил самого себя: все ли они умеют сообразоваться с состоянием своим, и многие ли из них довольны своею участью? [Гагарин: 31]

Авторское сомнение в характере испытываемых представителями Финляндии чувств разрешилось в момент присяги 17 марта. Особое внимание Гагарин придал изображению душевных порывов дворян (т.е. тех, которые поддерживали шведского короля и с которыми предстояло налаживать новые контакты):

По твердому голосу видно было, что сердца дворян клялись вместе с устами! Потом присягали духовные, стряпчие, купцы и крестьяне. <...> вне храма, голос ликующего народа, а во внутренней голос служителя небес, подтверждали постановление нового Владыки Финляндии. Казалось, что сладкозвучие органа возвещало согласие душ и сердец [Там же: 33].

Присяга новых верноподданных русскому монарху и выражение личных чувств (переходящих во всеобщий экстаз), изображенные автором, призваны продемонстрировать всеобщую радость населения, а также послужить аргументом против шведского влияния. Описав Свеаборг, вспомнив памятные сражения за него, Гагарин приходит к выводу относительно чувств финнов к шведам:

Любя страстно отечественное имя свое, язык, обычаи, они не терпят владычества шведского и более склонны к Русским. <...> Финн ничем особенно не привязан к Швеции [Там же: 39].

Важно подчеркнуть, что механизм формирования новой имперской идентичности предполагал демонстрацию отказа от принадлежности к прежней (враждебной по отношению к русской) идентичности. Поэтому Гагарин деликатно обходит известный факт партизанского сопротивления финского народа российским войскам. Вместо этого он вводит указание на склонность финнов к русским, которое основывается на авторских наблюдениях над их поведением в дни присяги. В заключение Гагарин подводит читателя к мысли о том, что

России столица ближе к Финляндии; следственно она удобнее может поддерживать все нравственные и политические сношения с сею областью [Гагарин: 39].

Согласно автору, Россия одержала победу не просто военную, но и идеологическую (завоевала симпатии местного населения). Ее успех в борьбе против Швеции был предопределен географическим положением Петербурга как более близкого и сильного цивилизаторского центра.

Вслед за Гагариным, каждому автору-идеологу предстояло ответить на два вопроса: какие узы связывают окраину и метрополию, и на чем основывается лояльность жителей Великого Княжества Финляндского. Конструирование взаимоотношений между русским и финном в идеологических текстах разного времени было тесно связано с проблемой интеграции Финляндии в имперское политико-административное пространство.

В 1837 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» было опубликовано «Письмо из Финляндии» поэта и журналиста А. Грена. В тексте рассказывается о путешествии в Выборг. Кроме автора в кибитке едут поручик Б., денщик Иван; кучером был чухонец. Обратимся к описанию остановки у хижины одного финна:

Чухонец наш постучался в окошко, из которого показалась курчава и белая как снег голова. «Мите те таготе?» (что вам надобно?), проворчал он похоронным голосом. «Отопри ворота, **закричал с нетерпением Иван, или я твою белую голову выдерну на улицу**».

В другой раз кучер-чухонец случайно задел спавшего Ивана, на что последний резко заметил:

Гей пергалла! что ты взбесился! <...> **тебе верно хочется подарка от моей солдатской руки. <...> от меня и не вашей братьи доставалось.** Ведь я в двенадцатом году был под Бородином [Грен].

Иван как представитель титульной нации отличается грубостью и нетерпимостью по отношению к другим членам «имперской семьи», он всегда подчеркивает свою силу и превос-

ходство в иерархии народов империи, которое основывается, прежде всего, на завоевании и военной удали. Отношения представителя окраины с представителем титульной нации основаны на принципе безоговорочного подчинения.

С развитием туризма в России и повышением интереса к Финляндии постепенно переосмысляются общие принципы отношений между двумя нациями, что, напр., нашло отражение в поэтике издаваемых в Выборге разговорников. Появившиеся книги предлагали примеры-диалоги на различные темы из повседневной жизни. Разговорник 1848 г. представлял беседу во время случайной встречи, выдержанную в благожелательном тоне (что соответствует жанру и цели книги в целом)<sup>9</sup>. Эффект подлинности достигается благодаря связности диалога (логическая последовательность вопросов-ответов, имеющая четкие начало и конец):

— Мы заплутались; посмотрим, примут ли нас в этот дом. — Постучись. — Кто стучится, кто там?

— Приятель, что тебе надо? — Моя телега сломалась; я заблудился. — Прошу дать мне ночлег.

— Могу ли я поговорить с вашим баринном? — Сведи меня к нему. — Да, на перекрестке мы взяли не то направление. — Я очень счастлив, что могу предложить вам убежище. — Я принимаю это с благодарностью; но боюсь быть вам в тягость. — Вам нужен покой; я отведу вас в особую комнату и распоряжусь, чтобы ваша таратайка была починена [Финские разговоры 1848: 140–142].

---

<sup>9</sup> Идеологические тексты типа путеводителя также включали постановочные сцены. Как путеводители, так и разговорники управляли восприятием читателя в диалоге с «чужим» (пространством или жителем). Подробнее об этом на примере путеводителей см.: [Киселева 2008]. Перед исследователем встает новая задача, которую необходимо изучить на обширном и разнородном материале. Анализ риторики идеологических текстов позволит реконструировать *модель(и)* того, что русский ожидал от общения с финном/шведом. Такая работа может отчасти послужить решению общей проблемы: исследованию места финнов в российском сознании. Методологический подход к проблеме обозначен в [Слезкин].



Диалог был призван продемонстрировать высокий уровень взаимопонимания и добрых взаимоотношений между представителями трех наций: финской, шведской, русской (разговорники были трехязычными).

Обратимся к другому диалогу, который (*как цельный текст*) был призван воссоздать как бы реальную беседу финна со шведом (или финнов / шведов между собой) о русском дворянине<sup>10</sup>. В первой колонке были даны фразы на финском языке, во второй — на шведском, в третьей — на русском, таким образом, воображаемый русский как бы слышит разговор о себе:

— Кто этот господин? — Он русский дворянин. — Где он живет? — (Он живет) на Петровской улице. — Имеет ли он собственный дом? — Нет, он нанимает. — Сколько ему лет? — Я думаю, ему 25 лет.

— Женат ли он? — Нет, он холостой. — Давно ли вы уже знаете его? — Около трех лет. — Где вы с ним познакомились? — Я познакомился с ним в Риме. — Он красивого роста. — Он ни мал, ни высок.

— Он хорошо одевается. — Он вежлив, учтив и ласков со всеми. — Он играет на флейте, на скрипке и на многих других инструментах. — Когда вы желаете, чтобы мы посетили его вместе? — Когда вам угодно. — Пойдем-же завтра утром к нему. — Очень охотно (с удовольствием) [Финские разговоры 1890: 115–117].

Диалог, приведенный нами здесь по шестому изданию, появился уже в первом издании разговорника «Финские, шведские и русские разговоры» (1848, т.е. год спустя после процитированного выше письма Плетнева).

Прочитируем суждение Булгарина (хотя и постоянно конструирувавшего воображаемую действительность, но глубоко знавшего и реальное положение дел в Великом Княжестве

<sup>10</sup> Здесь надо учитывать еще одну возможность: русский дворянин мог использовать *отдельные* финские или шведские фразы из этого «образцового» диалога в личной беседе.



Финляндском). В «Воспоминаниях» автор не мог не признать очевидного факта:

Вековые войны, происходившие с русскими, и прежний варварский способ ведения войны укоренили в финляндцах предрассудки насчет русских. Нас почитали дикарями, почти людоедами, кровожадными и хищными, и никак не хотели верить нашему европейскому образованию, почитая всех благовоспитанных офицеров иностранцами или иноплеменными подданными России. О русском правительстве также не имели никакого понятия, представляя себе все в самом дурном и преувеличенном виде [Булгарин: 464].

Булгаринское размышление поясняет акценты в некоторых характеристиках русского в приведенном выше диалоге. В «Разговорах» образ русского дворянина строится как антитеза негативным стереотипам, которые и предстояло целенаправленно разрушить. Поэтому и порождается образ прекрасного во всех отношениях дворянина с развитым этическим и эстетическим чувством, образованного и приятного внешне, к общению с которым все стремятся и от общения с которым испытывают радость.

С точки зрения практического использования в повседневной жизни процитированный выше диалог не имеет никакой ценности. Прагматика разговора лежит не в бытовой сфере, а в области репрезентации — рисуется положительная картина из жизни трех народов. Беседа о русском дворянине несет двойную идеологическую функцию. Во-первых, создает положительный образ титульной нации на завоеванной окраине. Во-вторых, формируется представление о благожелательном отношении покоренного населения окраины к русским представителям империи. Такой диалог позволял отвлечь внимание пользователей от отрицательных сторон в отношениях между русским завоевателем и побежденным финном и шведом, проживавшим на территории Великого Княжества Финляндского.

В официальной газете «Русский инвалид» в 1854 г. появился очерк офицера первой Гренадерской дивизии М. М. Миансарова «Дорожные впечатления от Виток до Або и Гельсингфорса»:

В деревне Кухмис мне пришлось стоять у старого ветерана Шведских войск. В Финляндскую кампанию он воевал против наших и, по присоединении Финляндии к России присягнул на верноподданство Русскому Императору. Старый воин изрядно объясняется по-немецки. **Единственное украшение его залы которая служит вместе с тем и столовой, суть портреты Государя Императора и Государыни Императрицы.** Старик принял нас с необыкновенным радушием, несколько часов сидел у нас, беседуя о прошлом и настоящем. Утром он встал гораздо ранее нас, чтобы проститься [Миансаров: 996].

Итак, узы, связывающие представителей двух наций, основаны на преданности русскому монарху и характеризуются взаимной доброжелательностью. Конструируя различные диалогические ситуации, идеологические нарративы выстраивали выгодный образ совместного проживания народов в одной империи, моделировали «идеальные» отношения между титульной и завоеванной нациями и служили тем семантическим полем, на котором происходила воображаемая успешная и окончательная интеграция завоеванного народа в имперскую «семью».

Начиная со второй половины XIX в., создаваемый в официальной идеологической практике миф о финской имперско-национальной идентичности служил инструментом в полемике между консервативными кругами метрополии и финскими патриотами. При отсутствии резких, «окончательных» решений со стороны центральных властей в отношении Великого Княжества Финляндского, идеологические тексты создавали «воображаемую позитивную» реальность, которая противопоставлялась бурному развитию финского национального движения и сепаратистских тенденций, в частности. В этом контексте обращение к эпохе Александра I и Николая I и конструирование постановочных сценок именно с этими правителями было показательным. Особенностью этих описаний является стремление представить преданность русскому царю как развивающуюся национальную черту финна.

Рассмотрим пример из более поздней эпохи, описывающий второе путешествие Александра I в Финляндию. Он заимство-

ван нами из первой части статьи «Русские цари и финский народ. Фельетон», опубликованной в «Финляндской газете» (1900 г.)<sup>11</sup>:

Между прочим, на одной из станций случился следующий эпизод, оставшийся в памяти финского народа и перешедший в легенду. Государь, утомленный дорогой, заснул в своей коляске, когда перепрягали лошадей. В это время к коляске подошла 80-летняя старушка Келло-Лиза, которая во что бы ни стало хотела увидеть Государя, пожаловавшего ей после мужа, убитого на последней войне, пенсию. Несмотря на все уговоры, старая Лиза взобралась на колеса экипажа и стала смотреть на спящего Царя. При этом она воскликнула в умилении: “Tulkaat akat kattomaan kuina tämä on tässä nukkunut levollisesti, nünknin muutki ihmiset” (подите сюда, сестрицы, посмотрите, как тихо Он здесь дремлет, точно как всякий другой человек). Государь проснулся, увидел, что коляска окружена женщинами, ласково засмеялся и подал всем им руку, причем старая Лиза потрясла Царскую руку по-крестьянски и заметила: “Kesi on pehmiä kuin pumpuli; eipä ole työ haittanut” (рука мягкая, как хлопчатая бумага; работа не испортила ее). Государь велел старой Лизе просить у Него какой-нибудь милости, но она ответила, что пришла только поблагодарить Его. Император был глубоко тронут простодушием и благородством бедной вдовы [Русские цари: 2].

Итак, финская женщина с благодарностью принимает пенсию за убитого мужа, чья смерть не мешает ей радоваться и испытывать чувство умиления по отношению к императору-завоевателю. В тексте дипломатично обойден острейший момент: муж Лизы, как и другие финские крестьяне, сражался против русских войск. Автор создает этнополитический портрет финна как верноподданного Российской империи, ставившего любовь к императору выше личного и национального чувства. Легендарная история Келло-Лизы и ее встречи с императором построена как альтернативный сценарий поведения, которого в реальности придерживались шведские дворяне.

---

<sup>11</sup> О второй части статьи, где приводятся вирши финского народа, восхваляющие Николая I, см.: [Гузаиров].



В этой связи обратимся к случаю иного отношения к императору вдовы побежденного солдата. М. Бородкин в книге «История Финляндии. Время Императора Александра I» (1909) описал следующий эпизод. Император хотел остановиться на ночлег у вдовы полковника Рамзая. Царь готов был исполнить любую ее просьбу за причиненные неудобства и военные лишения. На это вдова ответила, что последнего оставшегося в живых младшего сына она не отправит в Петербург, также заявила о своем желании переселиться в побежденную Швецию и просила у Александра I разрешения не присутствовать на присяге в Гельсингфорсе. В результате такого обидного для него поворота беседы император не остался на ночлег в доме вдовы (см.: [Бородкин 1909: 572]).

Таким образом, в результате сопоставления двух аналогичных эпизодов (легендарного и реального) у читателя формировался выгодный по отношению к финской нации образ: если шведы стремились сохранить национальную идентичность, то финский простой народ, якобы, предпочитал приобрести новую имперскую идентичность.

Как механизм создания и репрезентации имперской идентичности официальная практика была призвана сформировать в глазах читателей воображаемый идеологический консенсус между окраиной и метрополией, сконструировать позитивный образ взаимоотношений коренного, побежденного населения и титульной нации. Перед исследователем встает следующий вопрос: в какой степени эти ментальные и сформированные литературой и идеологией представления о подвластных народах влияли на управление окраиной.

## ЛИТЕРАТУРА

- Андреевская: *Андреевская Л.* Поэмы Баратынского // Русская поэзия XIX века: Сб. ст. Л., 1929.
- Арсеньев: *Арсеньев К. И.* Статистические очерки России. СПб., 1848.
- Баратынский: *Баратынский Е. А.* Эда // Русская романтическая поэма. М., 1985.
- Батюшков: *Батюшков К. Н.* Избранная проза. М., 1988.



- Бовуа: *Бовуа Д.* Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914). М., 2011.
- Бородкин 1909: *Бородкин М.* История Финляндии. Время Императора Александра I. СПб., 1909.
- Бородкин 1915: *Бородкин М.* История Финляндии. Время Императора Николая I. Петроград, 1915.
- Булгарин: *Булгарин Ф.* Воспоминания. М., 2001.
- Видок: Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение. М., 1998.
- Вульпиус: *Вульпиус Р.* Вестернизация России и формирование российской цивилизаторской миссии в XVIII в. // *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи [1700–1917]*. М., 2010.
- Гагарин: <*Гагарин П. Г.*> Нечто о Финляндии в 1809 году // Финский вестник. 1845. Т. 4.
- Грен: *Грен А.* Письмо из Финляндии // СПб. Ведомости. 1837. № 152.
- Давыдов: *Давыдов Д. В.* Воспоминание о Кульневе в Финляндии (Из военных моих записок) (1808) // Сын Отечества. 1838. Т. III. № 6.
- Даль: *Даль В. И.* Чухонцы в Питере // Финский вестник. 1846. Т. 8.
- Дершау: *Дершау Ф. К.* Финляндия и Финляндцы // Маяк. 1842. Т. II.
- Долбилов: *Долбилов М.* Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010.
- Гузаиров: *Гузаиров Т.* Конструирование этнополитического образа: финские «туземцы» и «верноподданные» Российской империи (в печати).
- Еленев: *Еленев Ф.* Финляндский современный вопрос по русским и финляндским источникам. СПб., 1891.
- Киселева 2006: *Киселева Л. Н.* История Ливонии под пером Ф. В. Булгарина // «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи. Тарту, 2006. Ч. 1. (=Studia Helsingiensia et Tartuensia, X).
- Киселева 2008: *Киселева Л. Н.* Путеводитель как семиотический объект: к постановке проблемы (на примере путеводителей по Эстонии XIX в.) // Путеводитель как семиотический объект. Тарту, 2008.
- Кукольник 1845: *Кукольник Н. В.* Егор Иванович Сильвановский, или завоевание Финляндии при Петре Первом // Финский вестник. СПб., 1845. Т. I.
- Кукольник 1846: *Кукольник Н. В.* Генерал-поручик Паткуль. Трагедия в пяти актах в стихах // Финский вестник. 1846. Т. 8.

- Лескинен: *Лескинен М.* Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» через призму сквозь призму идентичности. М., 2010.
- Ломоносов: *Ломоносов М. В.* Избр. соч. Л., 1986.
- Миансаров: *Миансаров М. М.* Дорожные впечатления от Виток до Або и Гельсингфорса // Русский Инвалид. 1854. № 212.
- Миллер: *Миллер А.* Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М., 2008.
- Оскорбление русских: Оскорбление русских офицеров // Разведчик. 1893. № 159. 26 октября.
- Русские цари: Русские цари и финский народ. Фельетон // Финляндская газета. 1900. № 114; 117.
- Слезкин: *Слезкин Ю.* Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М., 2008.
- Соломец: *Соломец И. М.* От Финляндии Гагарина к Финляндии Ордина: на пути к финляндскому вопросу // Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. В. Новгород, 2004.
- Суні: *Суні Р. Г.* Империя как таковая: Имперская Россия, «национальная» идентичность и теории империи // Государство нации: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. М., 2011.
- Финляндский поход: Финляндский поход 1808 года во время последней войны России со Швецией // Славянин. 1829. Ч. X.
- Финские разговоры 1848: Финские, шведские и русские разговоры. Wiipurista [Выборг], 1848.
- Финские разговоры 1890: Финские и русские разговоры. Выборг, 1890.
- Sherry: *Sherry D.* Kavkaztsy: Images of Caucasus and Politics of Empire in the Memoirs of the Caucasus Corps' Officers, 1834–1859 // Ab Imperio. 2002. № 2.

# РАССКАЗЫ К. А. СКУЙЕ О ЛАТЫШСКИХ КРЕСТЬЯНАХ ДЛЯ РУССКОГО ЮНОШЕСТВА (1890-е гг.)

ЕВГЕНИЯ НАЗАРОВА

Герой настоящей статьи — этнический латыш Карл Александр Скуйе, учитель немецкого языка в средних учебных заведениях Москвы во второй половине XIX в. Латышей, работавших в то время учителями в российских столицах и других крупных городах за пределом Прибалтийского края, было немало. Некоторые из них писали художественные и научно-популярные произведения для юношества — о России, русском народе, других странах и народах. Но большинство таких сочинений, написанных по-латышски, предназначались для латышей. Скуйе — единственный автор, познакомивший русскую молодежь с жизнью латышей<sup>1</sup>.

По тому, как сын латышского крестьянина Карл Скуйе пробивался в жизни — от бедного крестьянского мальчика до российского чиновника, выслужившего личное дворянство — он не отличался от многих других латышей-интеллигентов в первом поколении. Он вырос в семье крестьянина-арендатора в пасторате Сиссегалл (Сиссегале, совр. Мадлиена в Видземе). Смышленный мальчик был принят в бездетной семье местного пастора, познакомился там с немецкой культурой — литературой и музыкой, хорошо выучил немецкий язык. Скуйе сумел окончить гимназию и Коммерческое отделение Рижского политехникума, работал бухгалтером на предприятии под Петербургом, затем сдал экзамен на право преподавать немецкий язык в учебных заведениях, получил место в Москве, где и работал учителем до конца жизни. Он упомянут в изданном

---

<sup>1</sup> Единственное упоминание о К. Скуйе в историографии см.: [Назарова 2009: 186–191].

в 1909 г. списке латышей, закончивших высшие учебные заведения [Latvieši: 90]. Год рождения его не указан, однако если в политехникум он поступил в 1869 г., то родился примерно на рубеже 1840–50-х гг.

В отличие от многих московских латышей-интеллигентов, он не был связан со здешней латышской общиной. Во всяком случае, пока не найдены подтверждения участия Скуйе в ее мероприятиях.

Сведения о Скуйе сохранились также в юбилейном издании к 50-летию 4-й Московской гимназии [Гимназия: 217] и в его собственных печатных трудах. Из юбилейного издания становится ясно, что учитель Карл Скуйе и автор рассказов Александр Скуйе — один и тот же человек. Как учитель он составил учебное пособие — «Сборник статей для перевода с русского языка на немецкий для 1–6 классов гимназии». Впервые оно было издано в самом начале 1890-х гг. и выдержало, по крайней мере, 10 переизданий, что указывает на качество и востребованность этой работы [Скуйе 1891]. Это же пособие было переработано им для обучения французскому языку [Скуйе 1896]. Учителя использовали пособие Скуйе и для преподавания английского языка [Назарова 2009: 188]. Учебные тексты в пособиях представляли собой завершенные рассказы на разные темы. Пособие напоминает книгу для чтения, по которой учились дети в латышских народных школах. Из них же дети получали сведения о мире, людях, разных науках.

Под именем *Александр Скуйе* он издал в 1897 г. сборник рассказов для русского юношества «Рай земной». Ему принадлежит также драма «Два друга или любовь и дружба» в 2-х действиях (1899). Предоставим литературным критикам судить о художественных качествах этих произведений. Заметим лишь, что читать их достаточно интересно, язык простой, но образный.

На социально-политические ориентиры Скуйе повлияло то, что в детские годы он постоянно находился между крестьянами и пасторским домом. Знания, полученные в общении с пастором и его супругой, выделили его из крестьянской среды.



Пастор, заметив его любовь к музыке, стал обучать мальчика игре на рояле. Скуйе писал:

... старый пастор имел влияние и на мое научное образование и мое развитие вообще, <...> почти исключительно ему я обязан, что с раннего детства я познакомился с чудным волшебным миром произведений великих немецких композиторов [Скуйе 1897: «Сиссегалл», 41–42].

Супруги много путешествовали по Европе и делились впечатлениями об увиденном [Там же: 45–46].

От пастора он усвоил общехристианские истины, которые толковал в основном в духе раннепротестантских представлений. Бог в его понимании — «есть любовь ко всему живому», совесть, мораль. Изгнание первых людей из Рая (что казалось наказанием для человека) «вечный Бог любви превратил в благословение, <...> дал людям возможность вернуть потерянный рай. И этот рай мы можем создать: 1) работою; 2) любовью к ближнему, делая других счастливыми; 3) умом; 4) фантазией» [Там же: «Рай», 5]. Богат и счастлив тот человек, «который в состоянии создать в себе внутренний мир» [Там же: «Уединение», 85]. «Человек смертен, но душа его бессмертна; ум его различает зло от добра, дурное из хорошего, он в состоянии восхищаться и удивляться величию Бога. И это доказательство бессмертия души» [Там же: 87].

Пасторша научила крестьянского мальчика хорошим манерам; он общался и с частыми гостями в доме пастора [Там же: «Сиссегалл», 44]. Вместе с тем Скуйе, очевидно, всегда чувствовал, что является не родным ребенком в этой семье, и знал, что называется, **свое место**. Он оставался мальчиком из «довольно ветхого» флигеля, который «назывался низом для различия от господского дома, обитаемого пастором, который назывался “верхом”» [Там же: 35]. Хотя пастор всегда помогал своим прихожанам, это не избавляло их от высокой арендной платы, отработок и прочих повинностей в пользу поместья:

Отношения пастора к моим родителям были довольно хороши. Порою пастор, однако, был раздражителен и несправедлив, и, желая получить побольше дохода с имения, часто увеличивал

арендную плату. Моим родителям приходилось много трудиться; они работали с раннего утра до поздней ночи, чтобы только свести концы с концами. Что оставалось, то родители употребляли на воспитание своих детей, — о больших сбережениях, конечно, и речи быть не могло [Скуйе 1897: «Сиссегалл», 48].

При сравнении разных рассказов создается впечатление, что Скуйе всю жизнь стремился достичь такого же материального и социального положения, что и пасторская семья. В рассказе о своем детстве он подробно описывает дом пастора: количество комнат, кабинет пастора, обстановку, вид из окон на парк и т.п. — то, что казалось ему тогда недостижимым благополучием [Там же: 43]. В рассказе «Моя квартира» он сообщает такие же сведения о своей квартире в Москве, где живет с семьей: в каменном доме на 3-м этаже, на высоком берегу р. Москвы при впадении в нее Яузы. Эта «скромная квартира» состоит из 7 комнат. У него есть собственный кабинет, из окон открывается прекрасный вид на Замоскворечье, на Царицынский лес. Видны также Кремль и Воробьевы горы. Кроме жены, хозяйством занимаются служанки [Там же: 57–63]. Известны национальность и социальное происхождение супруги Скуйе, что помогло бы прояснить основу его материального благосостояния во время жизни в Москве. Сам Скуйе к 1899 г. дослужился уже до статского советника. Другие его соотечественники в Москве, имевшие такой же чин, не бедствовали, но и к зажиточным гражданам отнести их было бы сложно, а Скуйе жил в собственном доме [Вся Москва: 450]. Если учесть, что дом пастора не был собственностью священнослужителя, то Скуйе в этом плане даже превзошел его.

Лидерам латышского национального возрождения, например, Кришьянису Валдемарсу, приходилось общаться с высшими должностными лицами государства, а также с членами императорской семьи [Назарова 2006: 57, 67; Воронин 2006: 51–54; Sarakste: № 106]. Но общение было исключительно деловым, касавшимся развития флота, народного образования и т.п. Скуйе же отважился на весьма необычный поступок, в котором нашли отражение и глубокое уважение к членам царской семьи, и высокая самооценка, и характерное для ран-

него протестантства чувство равенства всех людей. В декабре 1897 г. он отправил сборник своих рассказов в подарок императрице Александре Федоровне. На книге он сделал надпись по-немецки, поздравляя с Рождеством «её Величество, нашу всемилостивейшую Императрицу и Госпожу, нашу возлюбленную Мать страны» от «верноподданнейшего автора А. Скуйе». Он желал, чтобы Господь был «к ней благосклонен», дарил ей покой<sup>2</sup>. Такой шаг был необычен даже для представителей более высокой социальной страты. Вероятно, на Скуйе с его жизненными приоритетами немалое впечатление произвели известия об искренней любви между Николаем II и его супругой, не слишком часто встречающейся при династических браках.

Итак, Скуйе — человек, уже не принадлежащий по своему социальному статусу к крестьянскому сословию, но хорошо помнивший свои корни. Он считает необходимым прививать молодежи уважительное отношение к крестьянам независимо от их этнического происхождения. В тексте для перевода «Жизнь крестьянина» из пособия Скуйе рассказывается о молодых крестьянах из ближних к Москве деревень, занимающихся зимой отхожими промыслами, чтобы прокормить свои семьи. Перечисляются их занятия в городе — ремесла (в том числе и требующие большого искусства), работа на фабриках, извоз. В том, как написан этот небольшой рассказ, чувствуется теплота и уважение к людям труда: среди крестьян есть искусные ремесленники, создающие «в высшей степени тонкие произведения: шляпы и сапоги, материи и платки и проч.; все это продают фабриканты с большой выгодой» [Скуйе 1891: 24].

Лифляндия, Сиссегалл (Сиссегале) — «дорогая родина» Скуйе, «возлюбленный, прекрасный край» [Скуйе 1897: «Сиссегалл», 39]. Но сам он себя ощущает европейцем, по крайней мере, по интересам, культуре, кругозору. В сборник рассказов включена модная в последней четверти XIX в. и в Европе, и в России анкета с вопросами, на которые следовало дать честные или, по крайней мере, оригинальные ответы — об интере-

---

<sup>2</sup> Книга с посвящением хранится в РГБ в Москве.



сах, взглядах на жизнь, морально-этических представлениях, образовании и т.п. Знаменателен ответ Скуйе на вопрос о родном языке: «Родной язык. Русский, немецкий, французский, английский, латышский. Язык сердца» [Скуйе 1897: «Вопросы и ответы», 78–79]. Если язык — один из важнейших признаков национальной принадлежности, то Скуйе и по этому признаку — человек вне этнической и вне национальной принадлежности. Эти ощущения, а также его собственный морально-этический кодекс, давали ему внутреннюю свободу.

С таких позиций он описывает свой родной край и его обитателей. Воспоминания Скуйе относятся примерно к 1860-м гг. Он сам отмечает, что прошло уже 25 лет с тех пор, как он покинул Лифляндию [Там же: «Сиссегалл», 51]. Желание написать рассказы о своем детстве могло возникнуть у автора, перешедшего 50-летний жизненный рубеж. В таком возрасте люди часто начинают подводить итоги, вспоминать детство, родные края. Не удивительно и то, что в рассказах отчетливо слышатся романтически-ностальгические нотки, хотя при этом автор старается в оценках быть объективным.

Красочно описание природы Сиссегале и окрестностей: «Сиссегалл раскинут на двух холмах, между которыми среди лугов течет речка Сиссе» [Там же: 35]. Подробно описывает Скуйе парк пастората, ухоженный по всем правилам высшего садово-паркового искусства. Он не пишет, кто именно ухаживал за садом — латышские крестьяне или же штат немцев-садовников, но показывает, что вся эта красота есть сочетание дара природы с огромным и постоянным трудом тех, кто эту красоту сохраняет и облагораживает. Для Скуйе и парк, и дом, и церковь на территории пастората, и дом арендатора, и сиссегальские крестьяне — и есть его малая родина. Пастор Шель и его супруга — часть этого антуража, причем часть временная — пока жив пастор (имение находилось в его пожизненном владении). О них рассказывается после описания природы и архитектуры. Но по своему восприятию духовной культуры чета Шелей гармонично вписывалась в красоту природы, дополняла ее прекрасной музыкой, особенно сонатами Бетховена.



Еще одна сторона латышского мира Сиссегале, которую описывает Скуйе, — конфирмация молодых людей — праздник, в котором принимали участие все жители округа. Приход был большой: 8 имений и больше 200 крестьянских усадеб. Среди прихожан встречались и немцы, но их было гораздо меньше, чем латышей, поэтому и конфирмация немцев не отличалась особой торжественностью. Конфирмации латышей и немцев происходили в разное время. В понедельник на 5-й неделе Великого поста (в один год латышские юноши, в другой — девушки), обыкновенно человек сто, собирались в громадном зале арендаторского флигеля, принося с собой провизии на две недели. В течение этого времени молодые люди под руководством пастора изучали «сущность христианской веры», выучивали лютеранский катехизис, нужные места из посланий св. Петра, церковные гимны. Сама конфирмация латышей всегда происходила в Вербное воскресенье. Молодые люди выстраивались на дворе по два в ряд, потом двигались длинной вереницей по аллее, по мосту через реку Сиссе, затем в гору к церкви, где их ждали родители. В церковь входили под всеобщее пение, сопровождаемое игрой на органе и звоном колокола [Скуйе 1897: «Сиссегалл», 46–47].

После знакомства с природой Сиссегале в описании Скуйе читатели воспринимали как само собой разумеющийся тот факт, что оттуда родом был выдающийся латышский художник К. Ф. Гун или Карлис Хунс, профессор исторической живописи Петербургской императорской Академии Художеств. Талант молодого человека заметил известный русский естествоиспытатель и путешественник профессор А. Ф. Миддендорф. Проезжая как-то через Сиссегале, он обратил внимание на рисунки на стенах местной школы, расспросил об их авторе, а затем объяснил отцу юного художника, что такой талант надо развивать и пообещал помочь поступить в Академию Художеств в Петербурге. Это и решило судьбу Карла Гуна.

Но рассказ Скуйе посвящен не сыну — он лично его, скорее всего, не знал, — а его отцу — «неугомонному старику», который все умел и даже в весьма преклонном возрасте никогда не сидел без дела. Фридрих Гун — одна из личностей, ко-

торые повлияли на формирование характера Скуйе. 50 лет он служил органистом в Сиссегальской церкви и учил детей в местной приходской школе. Одновременно он занимался изготовлением и настройкой органов, починкой часов, работал краснодеревщиком, имел свою мастерскую. Он сумел нажить себе маленькое состояние, но при этом всегда оставался человеком своей среды. В разговоре у Гуна «всегда проглядывал неподдельный юмор, и все рассказанное им имело какой-то особенный отпечаток правдивости и искренности, простоты и веселости». В такой обстановке воспитывалось четверо детей старого Гуна [Скуйе 1897: «Фридрих Гун», 52–56].

Если Фридрих Гун — представитель немногочисленной сельской интеллигенции, то старший Скуйе — крестьянин-арендатор, представитель крестьянской «аристократии», который должен был, тем не менее, работать «с раннего утра до позднего вечера». Так как очень много средств уходило на арендную плату и воспитание детей, «о больших сбережениях <...> и речи быть не могло». Отец был «очень деятельный трудолюбивый человек и опытный сельский хозяин». Он «распоряжался сам: и домом, и скотным двором, и полевыми работами». Отца уважали и работники, и соседи, и знакомые. Он обладал хорошими знаниями в агрономии, в ветеринарии. Соседи-крестьяне получали от него много полезных советов по ведению хозяйства, но никогда, ни от кого он «не принимал за это платы». В хозяйстве арендатора, по крайней мере, в страду, были наемные работники, но члены семьи трудились наравне с ними. С работниками отец обращался гуманно, чем добивался того, что они исполняли работу добросовестно [Там же: «Сиссегалл», 46–47].

Отец мог со временем поменять арендодателя, найти поместье с меньшей арендной платой. Но он за 30 лет так привязался к Сиссегале, что решил остаться, в том числе и в благодарность за ту помощь, которую пастор оказал его сыну.

Скуйе подчеркивает, что женщины в страду также были заняты на сельскохозяйственных работах, на них лежали и все обязанности по дому. Многие из них были грамотными, например, мать, сестры, бабушка Скуйе. Бабушка тоже жила

в доме арендатора, хотя и отдельно от семьи дочери, вместе со своей подругой. А вот подруга была неграмотной. Старушки тоже не сидели без дела: шили, вязали, щипали перья и т.п. [Скуйе 1897: «Две подруги», 64–68].

Подробно описывает автор рабочий ритм латышских крестьян. Обычно вставали в 3 или 4 часа утра, летом, особенно в сенокос, даже в два часа. Чтобы легче было работать, люди обычно пели или беседовали, но на качестве труда это не сказывалось. Еда была самая простая: хлеб, молоко, ячменная каша, картофель, горох. В воскресенье не работали, вставали позже, ходили в церковь к обедне, гуляли, ходили в гости [Там же: «Сиссегалл», 48–50].

Рассказы о конкретных людях дополняются общими характеристиками народа: «Латыши очень трудолюбивый народ, они обладают большою веселостью и очень любят музыку» [Там же: 48]. Обобщение о народе сделано у Скуйе по канонам педагогической науки — если забудется деталь, в памяти останется общее представление:

Да благословит Господь мой край родной. Балтийский край! Да благословит Господь латышей, этот добрый народ. Этих прилежных тружеников! <...> Да распространится на них истинное просвещение и высокая гуманность. Латыши много терпели. <...> Пусть они продолжают неутомимо трудиться, создавая себе благосостояние, пусть они пользуются плодами цивилизации и просвещения на благо себе и родному краю [Там же: 51].

Таким образом, несмотря на определенную долю сентиментальности, воспоминания Скуйе — отнюдь не пасторальные картинки. Полупатриархальные отношения между состоятельными латышами (ремесленниками, сельскими хозяевами) и их наемными работниками — не преломление в желаемом виде картин детства. Такие отношения между хозяевами и работниками в конце XIX в. известны по историческим источникам; они описываются и в произведениях латышских писателей. Это понятно, ибо в прибалтийской деревне сохраняется национально-социальное противостояние: латыши (или эстонцы) vs. помещики-немцы. Такое противостояние проходит и через рассказы Скуйе. В пожеланиях латышам он пишет: «Пусть же



и у них после мрака ночи, после притеснений, несправедливости и насилий со стороны помещиков настанут светлые дни долгого мирного счастья!» [Скуйе 1897: «Сиссегалл», 51].

Социальное неравенство отражено и в описаниях разных частей сельского кладбища. В одной его части, по внешнему виду похожей на городское кладбище, «похоронены более зажиточные люди, из т.н. лучшего общества. Другая часть кладбища великолепных памятников не имеет. <...> Это крестьянское кладбище для более бедного, деревенского населения. Как видите, и здесь еще, на поле смерти, деление на касты!» [Там же: «Два кладбища», 58–59]. Правда, прямого отождествления немцев с помещиками автор не проводит. К тому же, справедливости ради, Скуйе в некоторых случаях рассказывает и о благих делах помещиков для крестьян. Однако он считает, что в отношениях между крестьянами и помещиками должны произойти изменения. Но к переменам приведут, с его точки зрения, не насильственные действия, а следование идее христианского равенства. Скуйе надеется на осознанное понимание представителями «высшей касты», что «мы все братья, <...> все должны предстать перед Судьей над мертвыми, <...> который не делает различия между богатыми и бедными, между знатными и незнатными. Тогда люди стали бы лучше, благороднее, справедливее» [Там же: 59]. При этом защитником латышей, в понимании Скуйе, является «русский царь» как представитель «нашего общего дорогого отечества — великой России». Верность русскому Царю — «залог счастья» латышей [Там же: «Сиссегалл», 51].

Заметим, что книга Скуйе вышла в свет в годы проводимой имперскими властями на национальных окраинах политики русификации. Латышская интеллигенция прилагала усилия, чтобы сохранить латышский язык, в первую очередь, письменный, национальную литературу и в конечном итоге — сохранить латышей как нацию, а не как этнографический реликт, к чему могла привести подобная политика. Кроме того, в Латвии в конце 1890-х гг. нарастает социал-демократическое движение с его программой борьбы с царизмом. Но Скуйе — не общественный деятель и не революционер, он пишет, как чув-



ствует, руководствуясь христианской моралью. Да и идеи социал-демократов распространяются пока в Риге и других промышленных городах, а до латвийской деревни еще не дошли. К тому же, судя по воспоминаниям Скуйе, он давно не был на родине, помнит ее такой, какой видел 25 лет назад и ранее. Было бы странно искать в его рассказах, тем более в книге для юношества, отзвуки исторических и политических изменений. Тем не менее, сама идея рассказать русским детям о латышах и тем самым показать, что в России живут разные народы со своими языками и культурой, была в основе своей антирусификаторской.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Воронин 2006: *Воронин В. Е.* Великий князь Константин Николаевич, К. Валдемарс и подготовка реформы отмены рекрутчины в Морском ведомстве России на рубеже 50–60-х гг. XIX в. // Россия и Балтия. М., 2006. Вып. 4.
- Вся Москва: Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 год. М., 1917. Ч. 2.
- Гимназия: 50-летие Московской 4-й гимназии. 1849–1899. М., 1899.
- Назарова 2006: *Назарова Е. Л.* Словари Кришьяниса Валдемарса // Россия и Балтия. М., 2006. Вып. 4: Человек в истории.
- Назарова 2009: *Назарова Е. Л.* Латышские педагоги в России // Интеллигенция в многонациональной империи. М., 2009.
- Скуйе 1891: *Скуйе Карл.* Сборник статей для перевода с русского на немецкий. 1-е изд. М., 1891.
- Скуйе 1896: *Скуйе Карл.* Сборник статей для перевода с русского на французский. 1-е изд. М., 1896.
- Скуйе 1897: *Скуйе Александр.* Рай земной. Очерки и рассказы для юношества. М., 1897.
- Latvieši: *Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās.* Jelgava, 1909.
- Sarakste: *Krišjānis Valdemārs.* Lietišķā un privatā sarakste. 1. sēj. Rīga, 1997.

## ЛИТОВЦЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ\*

ПАВЕЛ ЛАВРИНЕЦ

Католическое крещение Литвы (1388), объединение Великого княжества Литовского с Королевством Польским личной унией и в особенности соединение двух государств в Речь Посполитую Обоих Народов (1569) в русской историографии XIX в. обычно трактовалось как поглощение Литвы Польшей. Образцом общепринятого мнения могут быть суждения П. В. Кукольника, в своих работах отличавшегося не столько глубиной и самостоятельностью, сколько стремлением придать должную стройность и назидательность изложению сведений, подчерпнутых у российских и польских историков. После Люблинского съезда, писал бывший профессор Виленского университета, «два племени слились в одно, или, лучше сказать, польское залило литовское». Следствием стало исчезновение литовцев:

Все в Литве преобразилось по польским образцам: язык, народность, одеяния, нравы, обычаи, порядок судопроизводства, чиновное положение, одним словом все, что составляет отличительные признаки существования особого народа, введено и утвердилось польское. Литва как бы исчезла с лица земли [Кукольник П. 1860: 24].

В этой перспективе России после разделов Речи Посполитой достались земли с исчезнувшим народом — объектом исторического ретроспективного дискурса. Впрочем, тезис о том, что вследствие Люблинской унии Литва приняла образ управления Польши, «чиноположение, обычаи, язык, одежду, словом

---

\* Статья написана при поддержке Научного совета Литвы (исследовательский проект «Традиция, представления и современные идентичности ВКЛ», договор № VAT–19/2010; Национальная программа «Государство и нация: наследие и идентичность»).

слилась с нею в один народ», в речи Кукольника на открытии Виленской археологической комиссии дополняла немаловажная оговорка: «Осталось только имя Литвы, а следы ее народности сохранились под соломенными крышами бедных земледельцев» [Кукольник П. 1856: 43]. Российская наука на полном исчезновении литовского «племени» не настаивала и проявляла заинтересованность в его изучении. Заинтересованность носила характер специальной этнографической озабоченности исчезающим явлением: член-сотрудник Русского географического общества Э. А. Вольтер призывал собрать и сохранить для науки все то, что еще не погибло безвозвратно в быте, языке, сказаниях и поверьях литовцев [Вольтер: 123–125].

Литовцы на протяжении XIX в. составляли незначительную долю городского населения и в большинстве своем были крестьянами [Aleksandravičius, Kulakauskas: 224–233], что объяснялось их верностью «своему историческому типу», «врожденным стремлением к обособлению», неприятием жизни в городах и влечением к сельской жизни, «мистическим благоговением пред землей»; мещане же, сохраняя «следы польского владычества», не знают литовского языка, «все говорят по-польски, поют польские песни» [Кудринский: 119–120, 129–130]. Из особенностей социальной структуры литовского общества, полонизации, затронувшей прежде всего горожан и шляхту, и отождествления Речи Посполитой с Польшей вытекало восприятие Литвы как польского края. Например, для Ф. Н. Глинки в стихотворении «Партизан Сеславин» (1827) Вильна — «польский град». В «Письмах русского офицера» по поводу развалин замка в Медниках близ Вильны автор замечает, что рушатся и исчезают «старинные крепости Польши, и самая важнейшая из всех — *крепость нравов*»; на страницах, посвященных Вильне, упомянуты польские женщины с добродетельными нравами, гостеприимные и смущенные победой русских поляки, а единственный литовец — основав-

ший город за «509 лет пред сим» Гедемин<sup>1</sup>, «князь литовский» [Глинка: 60–63, 212–213, 252–263]. Восторженным восклицанием «Польша!.. одно это слово сводит меня с ума от радости!..» начинается вставная новелла «Гудишки» из «Добавлений» к «Запискам кавалерист-девицы» (1839) Н. А. Дуровой. В воображении рассказчицы, оказавшейся в краю воинственного прошлого и «чарующей таинственности», оживают персонажи «Конрада Валленрода» Мицкевича и все, что она читала «о происшествиях этого края, о войнах Литвы». С поэтическим прошлым и его прекрасными и величественными героями контрастирует настоящее скудной крестьянской жизни, глинистых полей, возделываемых «худыми, бедными *chlорами*» с бессмысленным взглядом. Нынешний литвин «мало чем разнится» от баранов, «с которыми живет в одной избе»; он не похож на тех, которые «доблестно воевали с рыцарями храма», а «безобразные бабы и девки», «дурные лицом, дурно одетые», — на тех, чья «красота превосходила красоту струй» [Дурова 1988: 280–281].

Отмеченные обстоятельства определили особенности судеб литовцев в русской литературе: быт, нравы, народная культура реальных литовцев стали предметом преимущественно этнографических ученых описаний; персонажами художественных произведений стали древние литовцы. Это придало литовской романтической экзотичности окраску, отличную от изображения облика, нравов и обычаев «народов финского и скандинавского происхождения», «воинственных сынов тихого Дона», «буйных жителей Кавказа», «остатков некогда грозных России татар» и т.п., если воспользоваться формулировками трактата О. М. Сомова «О романтической поэзии» (1823). В русской художественной литературе первых десятилетий XIX в. персонажи литовцы появились в жанрах со специфическим временем — прошлым баллады («Вадим» В. А. Жуковского; пушкинский перевод из «Будрыс и его сыновья. Литовская балла-

---

<sup>1</sup> Имена исторических персонажей и названия реалий литовской языческой культуры даются в тех формах, в которых они выступают в рассматриваемых произведениях.



да»; ср. также «тесный дом» мертвого жениха «Там, в Литве, в краю чужом» в «Людмиле»), думы («Глинский», «некогда знатный и богатый литовский вельможа», К. Ф. Рылеева; ср. также «Курбский» — «В Литве враждебной грустный странник»), поэмы (пушкинский перевод вступления к «Конраду Валленроду»; «Литвинка» М. Ю. Лермонтова, опубликованная спустя десятилетия, и «Боярин Орша», с формулами «Близ рубежа Литвы чужой» и мотивом агрессии: «беспокойная Литва / С толпою дерзких воевод / На землю русскую идет»), исторической повести (эпизодически в «Романе и Ольге» А. А. Бестужева-Марлинского; бегло упомянутые «полудикие литовцы», приведенных «панами на разбой и убой», в пестрой «смеси народов» в лагере одного из военачальников Лжедмитрия II в повести «Изменник»), исторической драмы («Елена Глинская» Н. А. Полевого, отрывок в «Сыне отечества» в 1836 г.). Ближайший контекст этих и других подобных произведений составляют «литовские страницы» «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, сюжеты литовской мифологии, представленные в переведенных с польского статьях Л. Юцявичюса из газеты «Tygodnik Petersburski», появлявшиеся в «Сыне отечества», начиная с 1836 г. (показательно, что первые такие статьи помещались в рубрике «Древности»), и стихотворения, подобные «Литовской песне», с похвальбой удалого молодца, на коне облетевшего землю из конца в конец с саблей наголо, и везде враг бежал [ВА].

Изображение литовцев в перечисленных произведениях русских писателей в целом отвечало представлениям о том, что романтизм «любит воспоминания о старинных обычаях, любит тосковать по минувшем, любит натуру дикую, простую, не образованную искусством!..» [Снядецкий: 197]. Дикость и простота литературных литовцев прошлого сочетается с воинственностью и враждебностью. Например, в «Вадиме» литовский князь и исполнитель его воли — враждебные носители угроз и опасностей, агрессивного иноверия («враг церкви православной»). Дикость состоит в конфессиональном, моральном и цивилизационном отличии от русских и выражена звероподобностью: у князя душа «зверонравна», противник бла-

городного русского витязя — вооруженный дубиной исполин в медвежьей шкуре — дважды назван хищником, уподоблен волку, лишен членораздельной речи («Ни слова тот на грозну речь», и лишь поверженный «захрипел / Под конскими ногами»); огромный рост выводит его за пределы норм человеческих размеров, делая некоторым образом не-человеком.

«Медвежья кожа на плечах» надолго стала едва ли не обязательной деталью облика литовца [Лавринец 2008a], соответствуя сведениям современной историографии, согласно которым литовским воинам латы и панцири в древности заменяли медвежьи шкуры шерстью вверх, а «шкура с головы зверя и челюсть его, с зубами», — шлем [Киркор: 11]; одежда воинов «состояла из медвежьих шкур», головным убором служила большая войлочная шапка [Кудринский: 90]; в романе Н. В. Кукольника «Альф и Альдона» звериные головы — шапки литовского простонародья; в повести С. Р. Минцлова «В лесах Литвы» литовцы одеты в «звериные шкуры шерстью вверх», на головах у воинов дружины полангенского кунигаса «остроконечные волчьи шлыки», на плечах — «звериные шкуры» [Минцлов: 8]. Означая технологическую и, следовательно, цивилизационную отсталость, эта деталь метонимически и метафорически относилась литовцев на границу между культурой и природой, на периферию, — если не вовсе за пределы, — цивилизации и человеческого рода.

Первым русским романом на литовскую тему стал роман «Гудишки» Н. А. Дуровой. Его действие отнесено к неопределенной далекой эпохе, «когда Литва еще была *Литвою* и имела множество богов везде и для всего, то есть: была еще Княжеством и поклонялась идолам» [Дурова 1839: I, 10]. Временную дистанцию подчеркивает финал: на развалинах замка спустя годы вырос господский дом, затем на его месте раскинулось ржаное поле, а связанные с замком происшествия изгладились из народной памяти; если спросить «теперешних литвинов», то они «отвечают с глупо-беспечным видом: “а Бог знает, что пане, що тут когдась было! говорят люди, що жила

якась мара оттам, где теперь болото”»<sup>2</sup> [Дурова 1839: IV, 213–214]. В «Гудишках» литовцы именуются литвинами, как и в балладе «Будрыс и его сыновья», исторических романах и повестях из прошлого Литвы Н. В. Кукольника и других авторов, в пьесе С. Ф. Калугина «Бирута и Кейстут» и в поэме В. Ивицкого «Царица Балтийского моря. Литовское предание» (1899). Этот этноним в литературных произведениях использовался отнюдь не в том значении, в котором он применялся в письмах и мемуарах XIX в. к славянам — выходцам из земель бывшего Великого княжества Литовского, таким, как Сенковский, Булгарин или Мицкевич, для того, чтобы отличать их от поляков — уроженцев коронной Польши [Федута: 8, 126, 130–131]. Литературные литвины и литовцы идентичны, как бы они ни назывались в оригинальных и переводных произведениях (в романе Г. А. Хрущева-Сокольникова «Грюнвальдский бой» оба этнонима используются попеременно), — воинственные язычники с экзотическими именами, Конрад и Альдона, Литавор и Гражина Мицкевича, в пушкинских переводах из Мицкевича Будрыс, Паз, Ольгерд, Кестут со своими священными рощами и «литовскими богами», у Дуровой — литвин Рокоч, его жена Керелла, дочь красавица Астольда и ее прабабка безумная вещунья Нарина, Ольгерд (не исторический князь, а сын одного из вельмож).

Романные язычники поклоняются «грозному Перкуну», «деревянному болвану» и главным образом Пеколе и его кумиру, вокруг которых выстроен запутанный готический сюжет, усложненный нарушениями линейной хронологической последовательности и сменами планов повествования, с родовым проклятием знатного литовского рода, предсказаниями Нарины, коварными происками демонического антагониста Воймира и кумиром-куклой Пеколой, наделенным сверхъестественными качествами. Несмотря на все усилия Рокоча избе-

---

<sup>2</sup> Наречие, на котором изъясняются местные мужики в «Записках кавалерист-девицы», в передаче Дуровой также «больше напоминает украинский язык», знакомый ей по проведенному на Украине детству [Сидеравичюс 1998б: 280].



жать судьбы, он погиб в роковой день пятнадцатилетия дочери, когда в его уединенное жилище прибыл отпрыск знаменитой литовской фамилии граф Яннуарий Торгайло со своей свитой и рука христианина поляка коснулась кумира. Пекола стал излюбленной игрушкой и талисманом приемного сына графа; благодаря безобразной кукле Евстафий чудесным образом приобрел знания, ум, красоту, силу, всеобщую любовь. Он завладел сердцем Астольды; она, выйдя замуж за графа, стала, как и было предсказано, «первой из дев литовских, первой из нашего народа», отступившей «от веры отцов своих» и ослепившейся «гибельным светом» христианской веры [Дурова 1839: I, 65].

В разработке литовской темы роман Дуровой остался исключением; жанровые конвенции готического романа, очевидно, делают нерелевантными в отношении «Гудишек» разноречивые суждения о достоверности изображения быта и характера литовцев, которые высказывались в современной критике и позднейшей исследовательской литературе. После романа «Альф и Альдона» Н. В. Кукольника (1842), изображающего Литву XIV в., литовцы стали персонажами исторических романов, повестей, поэм, драм, также исторических экскурсов в стихотворениях П. В. Кукольника и поэме А. В. Жиркевича. Литовцы Кукольника не чужды пылких страстей и тонких переживаний, охотятся и воюют с немецкими рыцарями (в чем участвуют «стада дикарей» из неприступных лесов [Кукольник Н.: III, 151–152]), пьют мед алус и слушают песни буртиников, поклоняются множеству богов и с участием многочисленных жрецов криве, сигонотов, тилуссонов, жриц вайделоток, «литовских вакханток» рагутниц совершают диковинные обряды. По роману, уже при Гедымине Русь «смешалась с Литвою», внося «в быт язычников свои нравы», пролагая «пути к принятию христианства» [Там же: II, 149]. При густоте экзотического антуража от необычных имен и топонимики до фантастических описаний языческих храмов и странных обычаев изображения светлиц и теремов предстают картинами скорее русской, чем литовской жизни; персонажи друг друга называют на русский лад Альдонушка, Бирута Видымундовна,



Ольгерд Гедимынович. Близости литовцев к русским, приемлемости для них православия противопоставлено враждебное отношение к католицизму: кроме единственного «поборника латинской веры» «между всеми боярами и князьями литовскими» Гаштольда «не было католиков во всем великокняжестве», «латинского креста» «не принимают литвины, бегут от него, или сражаются» [Кукольник Н.: II, 68–69]. Собственно «знаменитая Литва, от которой все великокняжество носило название», — едва заселенный «полудикими людьми» бедный край непроходимых лесов. Остальная часть княжества состояла из богатых русских земель и «народа, осененного православием», вела обширный торг, блистала христианскими храмами, «наукой и художествами своего времени». Ольгерд свой народ называет «стадом зверей» и «моими дикарями» [Там же: II, 25, 30]. Дикий, «как леса его», литовский удел Кейстута не испытал благотворного влияния православной цивилизации, дремлет «во мраке невежества» и поклоняется «идолам языческой Литвы» [Там же: III, 10–13]. Многочисленное жреческое сословие с неправдоподобно развитой иерархией и специализацией характеризуется низким уровнем морали. Для сохранения языческой дикости, обеспечивающей ему власть и благополучие, оно отчаянно сопротивляется мирно распространяющемуся православию и более высокой цивилизации, прибегая к обману и преступлениям (подробнее [Лавриненц 2008б: 408–410]).

В стихотворениях П. В. Кукольника «Александр Антониовичу Де-ла-Гарде (Гумореска)» (1856) и «Аделаиде Романовне Гейнрихсен (Воспоминания о Вильне)» (1861) язычество, выступающее вместе с воинственной агрессивностью основной чертой «литовцев-дикарей», рисуется требующим человеческих жертв в честь «бессловесных истуканов» [Кукольник П. 1861: 53, 76–78]. Расхожесть представлений о кровавых жертвоприношениях литовцев может иллюстрировать газетный фельетон с описанием храма Перкуна на месте нынешнего католического Кафедрального собора в Вильне: сюда «толпами стекались мохнатые литовцы, покрытые звериными шкурами, для принесения жертвы богам, которая нередко состояла из пленных

сарматов и крестоносцев»; с соседней башни верховный жрец «изъявлял полудиким толпам волю богов, живо разносимую ими по всем концам дремучих дебрь литовских» [Бутвиловский: 314]. Экспозиционные строки главы «Вильна» в поэме А. В. Жиркевича «Картинки детства» (1890) живописуют прошлое, когда язычество («жертвы в мрачном храме») освящало воинственную мощь («силы грубой меч») уподобляемых зверям литвинов:

Как зверь безжалостен, суров,  
Просил литвин своих богов  
Помочь в набегах за пределы  
Соседних стран, и звук цепей  
Летел до грубых алтарей.

По-своему привлекательный «образ строгий и кровавый» «старины ужасной» и «зверства этих мест», «сумрак угрюмый» жестокого язычества питает детские фантазии героя [Жиркевич: 167–169].

Восстание 1863 г. актуализировало историографические концепции средневековой Литвы как литовско-русского государства, изначальной близости или родственности литовцев русскому народу, представления о наносном характере чуждой литовцам польской католической цивилизации и губительном по последствиям для литовской народности католическом крещении Литвы; его виновник Ягайло противопоставлялся двоюродному брату Витовту — верному сыну литовского народа. Доказательству исконности русских начал в Литве и склонности литовцев к православию служили драматические сцены из времен князя Ольгерда «Свержение язычества в Вильне» (1866) и пьеса «Бирута и Кейстут» (1867), исторический роман «Ягайло» (1867–1868) С. Ф. Калугина. Во всех этих произведениях использован обычный экзотический антураж — языческие обычаи и обряды, напиток алус, колокольчики на одежде девушек и давших обет безбрачия жриц вайделоток (звон позволял контролировать их поведение), хитрые, коварные и развратные жрецы сигоноты, вайделоты и

верховный жрец криве-кривейто, бог преисподней Пеклос, богиня любви Мильда и другие божества.

В драме в стихах А. А. Навроцкого «Крещение Литвы» (1874) в противоречивых действиях властолюбивого Ягелло отражается непоследовательность властителя, изменившего вере предков ради короны, но не вполне отринувшего язычество. На пиру в виленском замке он позволяет пирующим наливать вино по польскому обычаю в кубки или, как принято у литовских язычников, в рога, и себе наливает в роговый кубок, веря как язычник, что рог уничтожает колдовство и наговор на вливаемый напиток. Певца Наримунда, отказавшегося петь по приказу «изменника богов», Ягелло велел казнить; но в финале, не вняв увещаниям архиепископа Бодзанты, приказал похоронить последнего «хранителя нашей веры» кривекрейто (верховного жреца) Лиздейко по языческому обряду.

Песни Наримунда вызывают «И скорбь, и радость, и отвагу, / И месть врагам, и похвалу / Деяньям предков...» [Навроцкий 1879: 14]. В конфликт с князем он вступает из-за песни, славящей богов. Певец выступает в функции носителя патриотического самосознания, неотделимого от традиционной национальной культуры, знакомой по «Конраду Валленроду» Мицкевича и «Литвинке» Лермонтова (где ночная «родимая песня» напоминает пленнице Кларе о родине, минувшем и вольности). Поята, дочь Лиздейко, бежит с христианином из отчего дома и сменяет веру из любви к рыцарю Тевтонского ордена Конраду Ротенштейну. Сходным образом сила любовного чувства преодолевает патриархальные культурно-бытовые ограничения и этноконфессиональные границы в сюжете любви православной русинки к язычнику литвину в «Свержении язычества в Вильне» Калугина, в сюжетных линиях любви литвинки и русина в «Бируте и Кейстуте» того же автора и в романе «Грюнвальдский бой» Хрушова-Сокольников. Такой женский персонаж связан с мотивом особого положения и особенного характера литовской женщины, обязанный прежде всего «Гражине» Мицкевича и отразившийся в «Литвинке» Лермонтова (Литва — край, где «вольны девы», вольны и в выборе спутников жизни).



В драме в стихах «Иезуиты в Литве» (1876) Навроцкого укрепление католичества при Стефане Батории разрушает сложившийся образ жизни и традиционную веротерпимость. Сюжет романа Вс. С. Соловьева «Княжна Острожская» (1876) движется кознями иезуитов в краю, изображенном Литовской Русью, где православие было «господствующей народной религией», но «царили совершенно языческие понятия и верования» [Соловьев: 9–10], описанные намного лаконичнее, чем в других романах и повестях из прошлого Литвы. Чуждые «литовскому православию» католичество и польские «непутные, разорительные моды» подрывают прежнее благочестие и строгие нравы. Особенности статуса и поведения литовской женщины оцениваются негативно, поскольку из-за них «семейные нравы литовской аристократии» пришли к упадку: имея «многие права» и пользуясь «большою независимостью», женщина при «полном отсутствии самоуважения» и недостатке воспитания «стремилась только к роскоши и неприличному кокетству» [Там же: 15]. В похищении и заточении иезуитами Гальшки Острожской реализуется своеобразный вариант сюжета «литовской пленницы», перекликающийся с «Литвинкой» Лермонтова и «Альфом и Альдоной» Кукольника, где главные герои прижиты крестоносцем с Германадой — захваченной в плен женой пилонского князя Маргера.

В поэме Липкина «Пац и Нарея» (1886) образ экзотичного прошлого создается изображением нравов и быта «рыцарей-панов» с охотами и пирами, застольными речами о тевтонах, «дерзком шведе», «краковских тайнах» и сечах, воспоминаниями про литовских князей и «славу в кровавых боях», упоминаниями дворца Гедимина и Ягелоннов, именами вельмож Радзивилла, Сапеги, Потоцкого, описаниями необычной одежды (кунтуши «в жемчужных кистях», «красота фантастичных жупанов», «узорные латы») [Липкин 1888: 136, 138, 140, 162, 164]. Нарея из-за тяги к свободе томится в монастыре, куда ее отдал на воспитание овдовевший отец. Вернувшись в «родной густолиственный сад», отважная и гордая литвинка участвует в опасных охотах, управляясь с могучим арабским конем и владея луком (в «Литвинке» героиня сражается «как ангел



брани», в «Альфе и Альдоне» княгиня эйрагольская Далия, несмотря на молодость и нежное сложение, наделена необычайной силой, отвагой и непокорным нравом, искусством метать копьё и управлять мечом [Кукольник Н.: III, 126–127]). Романтичная экзотика служит фоном сюжету преступной страсти магната Паца к дочери. Иной, сугубо языческий колорит, с обилием введенных в текст и примечания верований и преданий, придан поэме «Кейстут и Бирута» (1890) Липкина о преступной страсти князя к жрице.

В романе Хрущова-Сокольников «Грюнвальдский бой, или Славяне и немцы» (1889) Витовт и Ягайла называются славянскими князьями, обитатели «бедной, дикой и лесистой страны» — «литовскими славянами»; цель Витовта — освободить «святые славянские земли от позора немецкого ярма» [Хрущов-Сокольников: I, 182, 211, 152]. При близости русским литовцев отличает своеобычность, знаками которой выступают необычные имена и элементы социальной структуры, языческого культа, быта: жмудинка-кормилица Германда в одежде «национального жмудинского покроя», «литовские весталки» вайделотки, вечный огонь Знич, «золотой алус», который пьют из турьих рогов, и т.п. (часть имен, реалий, сцен заимствована из романа Н. В. Кукольника [Лавринцев 2009а]). Своеобразие обителей непроходимых лесов и болот усилено чертами дикости: сыновья жмудинского воеводы Стрыся — неразговорчивые косноязычные богатыри, «дикари от рождения», в глазах которых нет ничего, «кроме дикости и безграничного упрямства» [Хрущов-Сокольников: I, 163–174]; на войну с Орденом из недоступных дебрей вышли «удивительные дикари» — исполины с лицами, на которых трудно «уловить даже искру чего-то похожего на общечеловеческие чувства», с всклокоченными «пуками непокорных, жестких, рыжих волос», одетые в «звериные шкуры, накинутае прямо на голову», вооруженные громадными сучковатыми дубинами, необузданные «в проявлениях своей дикой, животной натуры» [Там же: 248–250]. Накануне боя «дикие орды лесных обитателей» под удары мечей о щиты и звуки бубнов поют «какие-то неслыханные дикие песни, скорее похожие на вой

волков»; в бой они вступают как «звери, бросающиеся на добычу» [Хрущов-Сокольников: II, 107, 121].

Важную роль в идеологической конструкции и сюжетном развитии играют фигура певца Молгаса и его песни. В тереме дочери князя Вингаллы Эйрагольского Скирмунды песня старого слепого лирника о коварстве и жестокости немцев воспламеняет сердца княжны и сенных девушек. Спетые Витовту и Ягайле песни о «славном Гедымине, «удалом князе Кейстуте льве литовском» и отравленных крыжаками детях Витовта побуждают колебавшегося Ягайлу решиться на войну с немцами [Там же: I, 240–241]. Скирмунда, высокая голубоглазая красавица «с дивными золотисто-русыми косами по плечам» [Там же: 33], — типичная литературная литвинка по внешнему облику и сильному характеру. Его определяют два глубоких чувства — горячая любовь к родине и своему народу и любовь к смоленскому князю Давиду. Во избежание брака с нелюбимым мазовецким князем («латинской веры, польский заморыш» [Там же: 44]), на чем по военно-политическим соображениям настаивал отец, княжна дала обет служения богине Прауриме, предполагающий безбрачие. Но любовь преодолевает и религиозные запреты, когда Скирмунда в «дикой решимости» соглашается с замыслом возлюбленного отбить ее по пути в святилище Прауримы и бежать с ним. Аналогичным образом в повести Минцлова «В лесах Литвы» (1905) Оллита дает обет вайделотки, чтобы не идти замуж за нелюбимого кунигаса, но бежит с возлюбленным рыцарем. Замысел Давида не удался; Скирмунду захватили крестоносцы, и в заточении «литовская пленница» родила ребенка от комтура, восплававшего страстью к ней; когда ее освободили воины Вингаллы и Давида, то она бросилась в костер, чтобы смертью в огне очистить себя от бесчестия.

Ягелло в «бывальщине» А. А. Коринфского «Ягелло и Витовт», Ягайло в поэме М. Липкина «Ягайло» (1905) и в повести С. Р. Минцлова «На крестах» (1906) изображен коварным властолюбцем, ради власти не брезгующим убийством Кейстута, союзом с заклятыми врагами литовцев и предательством своего народа. У Коринфского «орла Литвы», любимого наро-

дом Витовта ценой своей жизни спасает верная служанка княгини Анны, «дочь Литвы» Елена. Сходным образом в поэме Липкина контрастный заглавному герою характер представлен самоотверженной Пятой, готовой для спасения отчизны и веры отцов пожертвовать девичьей честью и долгом жрицы. Поэма насыщена густым слоем реалий языческой культуры, с фантастическими сведениями в примечаниях о том, что кумыс был любимым напитком литовцев («что доказывает их восточное происхождение»), что в древности литовцы «на манер краснокожих американцев убивали старух и стариков в тяжелые дни общественной жизни» [Липкин 1905: 3, 8]. Отчасти схожими средствами в повестях Минцлова «В лесах Литвы» и «На крестах» описан экзотичный быт Литвы XIV в. с особой социальной структурой, разветвленной специализацией жрецов, языческой культурой с богатым пантеоном и своеобразными поверьями, праздниками, обрядами. Нравам и простоте чувств высоких белокурых литовцев соответствует патриархальный образ жизни в диких непроходимых лесах: они охотятся и воюют с внешними врагами, обитают в деревянных нумаях на сваях, поют песни под аккомпанемент канклис, пьют из рогов алюс («медвяное пиво»), паскайлес («крепкий мед»), черное молоко (кумыс) (подробнее [Лавриненц 2009б: 67–69]).

Подводя итоги, следует сделать вывод: изображение литовцев в русской литературе зависело от фундаментальных особенностей повествования о прошлом, отличном от настоящего, и жанровых конвенций исторических драм, поэм, повестей и романов. Прошлое конструируется как антитеза современному, знакомому и обычному, своему, культурному и «нормальному». Представления о норме включают, в частности, нормальный человеческий рост, за пределы которого уходят «огромный великан» Жуковского и «обросшие волосами гиганты» Хрущева-Сокольников. Древние литовцы наделены честностью, благородством и необычайным гостеприимством; их простота и добродушие противопоставлены порочным нравам жестоких, лживых, корыстолюбивых немецких рыцарей в романе Хрущева-Сокольников и повестях Минцлова, в эпигонском романе-легенде Л. Кормчего «Гений мира» (1931),



также лицемерию и заносчивости поляков у Навроцкого и Хрущева-Сокольников, — и вместе с тем качествам современного человека. В изображении незаурядных характеров, цельных натур, глубоких страстей, простоты и дикой непосредственности чувств литовцев воспроизводились черты унаследованного от романтизма руссоистского образа естественного человека, не унифицированного и не испорченного цивилизацией. Аксиологические инверсии порождали модификации того же образа как грубого жестокого дикаря, немногим отличающегося от зверя.

### ЛИТЕРАТУРА

- Бутвиловский: *Бутвиловский И.* Ботанический сад в Вильне (Летняя картинка) // Виленский вестник. 1868. № 79, 16 июля. С. <313>—314; № 80, 18 июля. С. <317>—318.
- ВА: — *ВА [Анастасевич В. Г.?).* Литовская песня // Отечественные записки. 1839. Т. IV. С. 142—143.
- Вольтер: *Вольтер Э. А.* Об изучении литовского языка и племени // Памятная книжка Виленской губернии на 1887 год. Вильна, 1886. С. 123—133.
- Глинка: *Глинка Ф.* Письма русского офицера, о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год. М., 1870.
- Дурова 1839: *Александров [Дурова Н. А.].* Гудишки. Роман в четырех частях. СПб., 1839.
- Дурова 1988: *Дурова Н. А.* Избранные сочинения кавалерист-девицы. М., 1988.
- Жиркевич: *Нивин А. [Жиркевич А. В.].* Картинки детства. Поэма. СПб., 1890.
- Киркор 1854: *Киркор А.* Литовские древности (Объяснение виньетки) // Черты из истории и жизни литовского народа. Вильно, 1854. С. 7—20.
- Коринфский 1912: *Коринфский А.* Поздние огни. Стихотворения 1908—1911 гг. СПб., 1912.
- Кормчий: *Кормчий Л. [Король-Пурашевич Л. Ю.]* Гений мира. Роман-легенда. Рига, 1931.
- Кудринский: *Кудринский Ф. А.* Литовцы (Общий очерк) // Виленский календарь на 1906 простой год. Вильна, 1905. С. 75—142.



- Кукольник Н.: *Кукольник Н. Альф и Альдона*. Исторический роман в четырех томах. СПб., 1842.
- Кукольник П. 1856: *Кукольник П. В. О пособиях к дополнению литовской истории* // Записки Виленской археологической комиссии. Ч. I. Вильно, 1856. С. 40–47.
- Кукольник П. 1860: *Кукольник П. Исторические воспоминания о Немане* // Памятная книжка Виленской губернии на 1860 год. Ч. 2: Историко-статистический сборник Виленской губернии. Вильно, 1860. С. 1–24.
- Кукольник П. 1861: *Кукольник П. Стихотворения*. Вильно, 1861.
- Лавринец 2008а: *Лавринец П. «С медвежьей кожей на плечах»: литовец в русской литературе* // *Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje. Acta litteraria comparativa*. Mokslo darbai. 2008, 3. С. 159–172.
- Лавринец 2008б: *Лавринец П. Литовцы и история Литвы в русской художественной литературе XIX – первой половины XX вв.* // *Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo “dalybos”*. Vilnius, 2008. С. 393–414.
- Лавринец 2009а: *Лавринец П. М. «Грюнвальдский бой» Г. А. Хрущева-Сокольниковой и «Альф и Альдона» Н. В. Кукольника* // *Славянские чтения. VII*. Даугавпилс, 2009. С. 59–72.
- Лавринец 2009б: *Лавринец П. Литва в русской литературе конца XIX – начала XX вв.* // *Literatūra. Mokslo darbai*. 2009. 51 (2): *Russistica Vilnensis*. С. 59–72.
- Липкин 1888: *Липкин [М.] Стихотворения*. Вильна, 1888.
- Липкин 1890: *Липкин М. Кейстут и Бирута. Литовская быль из XIV века* // *Вестник Европы*. 1890. Кн. 4. С. 739–743.
- Навроцкий: *Вроцкий Н. А. [Навроцкий А. А.] Крещение Литвы. Историческая драма в пяти действиях* // *Русская речь*. 1879. Кн. IX. С. 1–76.
- Липкин 1905: *Липкин М. Ягайло. Историческая поэма из времен XIV столетия*. Вильна, 1905.
- Минцлов 1911: *Минцлов С. Р. Литва. Исторические повести с иллюстрациями*. СПб., 1911.
- Сидеравичюс 1983: *Сидеравичюс Р. Литва и русский романтизм* // *Литва литературная*. 1983. № 5 (32). С. 147–160.
- Сидеравичюс 1994: *Сидеравичюс Р. «Грюнвальдский бой» и его автор* // *Вильнюс*. 1994. № 4 (134). С. 18–23.
- Сидеравичюс 1998: *[Сидеравичюс Р.] Надежда Дурова* // *Русская литература в Литве: XIV–XX вв. Хрестоматия*. Vilnius, 1998. С. 280–281.

- Снядецкий: *Снядецкий И.* О творениях классических и романтических // Вестник Европы. 1819. № 7. С. 193–204; № 8. С. 275–302.
- Соловьев: *Соловьев Вс. С.* Сочинения. Т. 1: Княжна Острожская. Исторический роман XVI века. СПб., 1887.
- Федута: *Федута А. И.* Письма прошедшего времени: Материалы к истории литературы и литературного быта Российской империи. Минск, 2009.
- Хрушов-Сокольников: *Хрушов-Сокольников Г. А.* Грюнвальдский бой, или Славяне и немцы: Исторический роман-хроника. СПб., 1889.
- Aleksandravičius, Kulakauskas: *Aleksandravičius E., Kulakauskas A.* Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietuva. Vilnius, 1996.

## «ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС» В ЛИРИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ ФЕДОРА СОЛОГУБА

ТАТЬЯНА МИСНИКЕВИЧ

Тема национальной самоидентификации в произведениях Федора Сологуба неоднократно привлекала внимание исследователей<sup>1</sup>. Лирика, проза, драматургия и публицистика писателя в контексте патриотического дискурса периода Первой мировой войны подробно рассмотрена в монографии Бена Хеллмана [Hellman], а также в статье Джейсона Меррилла [Merrill]. В размышлениях Сологуба о судьбах России и Европы, о месте России в мире исследователи выявляют связь славянофильских воззрений писателя с его эстетическими взглядами и в качестве ключевой оппозиции его произведений военного времени выделяют противопоставление миролюбивой русской душе воинственной и агрессивной души Германии.

Однако в ряду идеологических построений Сологуба следует выделить еще один важный концепт, имеющий непосредственное отношение к теме «идеологической географии» западных окраин Российской империи. Данный концепт связан с восприятием писателем России как государства, занимающего пограничное положение между Востоком и Западом и, что особенно важно, не определившегося еще в своих приоритетах. Он неоднократно сформулирован Сологубом в его статьях военного времени. Так, в статье «Мировая громада» Сологуб пишет: «Хотя Россия и прожила уже тысячу лет, она все еще находится в пленительном периоде юношеского развития, и еще не твердо знает, что такое она, запад или восток» [Сологуб 1915], но в целом писатель все же склоняется к «ориентации» на Восток:

---

<sup>1</sup> См., например: [Вильчинский; Hellman; Григорьева; Merrill; Мисникевич].

Мы — не Запад, и никогда Западом не будем. Мы — Восток религиозный и мистический, Восток Христа, предтечами которого были и Платон, и Будда, и Конфуций. Трагедию нашу мы должны разрешить в том, чтобы над крушением европейской ориентации вознести то новое слово, которое мы давно обещаем миру, но которое уже давно дано нам в мистическом миропостижении Востока [Сологуб 1914: 107].

Тем не менее наступление войск Германии на западные окраины Российской империи заставляло «сориентироваться» именно на Европу и, прежде всего, на Польшу — извечную болевую точку внутренней и внешней политики Российской империи. Сологуб, наряду с другими русскими литераторами, включился в дискуссию об отношениях России и Польши. Начало дискуссии положило обращение верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича к полякам:

Поляки! Пробыл час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться. Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час Воскресения польского народа, братского примирения его с Великой Россией. <...> Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части русский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром Русского Царя. Под скипетром этим возродится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении<sup>2</sup>.

Польша в ситуации разразившегося европейского конфликта воспринималась как ближайший посредник между Россией и Европой. К примеру, П. Б. Струве отмечал:

В великой европейской войне 1914 года мы не только осуществляем союз с Англией и Францией, как выгодную политическую комбинацию. Мы миримся со всем культурным и свободолубивым Западом, и миримся с ним прежде всего в лице Польши. <...> Панславизм, как пугало, исчез, но славянское призвание России воссияло, как признанная политическая и культурная миссия. Россия одержала великую нравственную победу [Струве: 1].

---

<sup>2</sup> См.: День. 1914. № 206. 2 августа. С. 1.



Соответственно, Польша воспринималась одновременно и как Запад, и как часть славянского мира (показательно высказывание И. А. Бунина: «Польский народ соединяет в себе драгоценные славянские черты с европейской культурой, и единение с ним для нас особенно ценно»<sup>3</sup>).

Первым откликом Сологуба в поддержку Польши стало стихотворение «Стансы Польше», написанное 12 августа 1914 г.:

Ты никогда не умирала, —	Не заслужили укоризны
Всегда пленительно жива,	Твои сыны перед тобой, —
Ты и в неволе сохраняла	Их каждый труд был для отчизны,
Твои державные права,	Над Вислой, как и над Невой.
Тебя напрасно хоронили, —	И ныне, в год великой битвы,
Себя сама ты сберегла,	Не шлю проклятия войне.
Противоставив грозной силе	С твоими и мои молитвы
Надежды, песни и дела.	Соединить отрадно мне.
Твоих поэтов, мать родная,	Не для ее страданий дольше, —
Всегда умела ты беречь,	Молю небесного Отца, —
Восторгом сердца отвечая	Перемени великой Польше
На их пророческую речь.	На лавры терния венца

[Сологуб 1979: 396]<sup>4</sup>.

Эмоционально-стилевая окраска стихотворения, как и его ритмическая организация, позволяет соотнести представленный в нем образ Польши с образом России из одноименного стихотворения Блока («Опять, как в годы золотые...», 18 октября 1908 г.) [Блок: 173]. Ключевым и в образе Польши у Сологуба, и в образе России у Блока является «живое», жизнеутвер-

<sup>3</sup> См.: Биржевые ведомости. Утр. вып. 1914. № 14430 (13 октября). С. 4.

<sup>4</sup> Впервые: Биржевые ведомости. Утр. вып. 1914. № 14352 (4 сентября). С. 2; стихотворение вошло в книги стихов Сологуба «Война» (Пг.: Изд-е журнала «Отечество», 1915. С. 22) и «Алый мак» (М., 1917. С. 202), а также в сборники «Война в русской поэзии. Стихотворения выбраны Анс. Чеботаревской. Предисл. Федора Сологуба» (Пг., 1915. С. 72), «Современная война в русской поэзии. <Вып. 1>: На помощь Польше» (Пг., 1915. С. 28), «Военные стихи современных русских поэтов» (Пг., 1917. С. 7).

ждающее, самодостаточное начало («Ты никогда не умирала»; «Себя сама ты сберегла»; «Надежды, песни и дела» — Сологуб; «Не пропадешь, не сгинешь ты»; «А ты все та же <...>»; «И невозможное возможно» — Блок). В этом плане «Стансы Польше» полемичны по отношению к стихотворению Брюсова «Польше» (1 августа 1914 г.). У Брюсова Россия, подобно Христу, воскрешает Лазаря — умершую Польшу: «Ты, бывший мертвым в этом мире, / Но тайно памятный Судьбе, / Ты — званный гость на нашем пире, / И первый наш привет — тебе!»<sup>5</sup>. «Живая» Польша у Сологуба — это, прежде всего, страна с мистически настроенной, иррациональной славянской душой. Славянскому миру Сологуб противопоставляет «мертвую» рациональную Германию. В стихотворении «Дух Берлина» Сологуб так характеризует ее:

О, мешанская страна!  
Все, что совершается тобою, —  
Труд, наука, мир, война,  
Уж давно осуждено судьбою.

<...>

То, что было блеск ума,  
Облеклося тусклою рутиной,  
И Германия сама

Стала колоссальной машиной [Сологуб 1915а: 16]<sup>6</sup>.

Столкновению Польши с «колоссальной машиной» «тевтонов» посвящено стихотворение Сологуба «Братьям» («На милый край, где жизнь цвела...», 8 октября 1914 г.): 15 (28) сентября 1914 г. австро-венгерские войска начали наступление и в конце сентября переправились через Вислу, что привело к столкновению с русскими армиями и упорным боям под Ивангородом (русской крепостью на реке Висла) и Варшавой. Стихотворение написано от имени поляков, наблюдающих апокалипсические картины разрушения своей отчизны:

<sup>5</sup> Впервые: Русские ведомости. 1914. № 181 (8 августа).

<sup>6</sup> Впервые: Биржевые ведомости. Утр. вып. 1914. № 14540 (7 декабря). С. 2.

Как в день Последнего Суда,  
Сверкал огонь, гремели громы,  
Пылали наши города,  
И разрушались наши дома.

<...>

И кровь струилась, и вновь  
Вставал угарный дым пожара,  
И пеплом покрывала кровь  
Родных и милых злая кара.

Надежду на спасение Польша видит в России:

Из милых мест нас гонит страх,  
Но говорим мы нашим детям:  
«Не бойтесь: в русских городах  
Мы все друзей и братьев встретим» [Сологуб 1915а: 23]<sup>7</sup>.

«Стансы Польше», таким образом, можно рассмотреть и как рефлексию на тему «семейной вражды» славян, заданную стихотворением Пушкина «Клеветникам России» (1831) [Пушкин: III, 209–210]. С пушкинской традицией стихотворение связано и строфической, и ритмической организацией. Кроме того, у Пушкина, при всем его возмущении «кичливым ляхом», Польша также является членом славянской семьи, существование которой возможно только под эгидой России, и решение ее судьбы — внутреннее дело славян. Дилемма: *«Кто устоит в неравном споре: / Кичливый лях, иль верный росс? / Славянские ль ручьи сольются в русском море? / Оно ль иссякнет?»* однозначно разрешается у Сологуба в пользу единения

<sup>7</sup> Впервые: Биржевые ведомости. Утр. вып. 1914. № 14422 (9 октября). С. 3; стихотворение вошло в книгу стихов Сологуба «Алый мак» (Пг., 1917. С. 203), а также в сборники «Современная война в русской поэзии. <Вып. 1>: На помощь Польше» (Пг., 1915. С. 32, «Щит: Литературный сборник. Под ред. Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба. Изд. «Русского Общества для изучения еврейской жизни» (М., 1915. С. 208).

с Польшей и ее народом: «С твоими и мои молитвы / Соединить отрадно мне»<sup>8</sup>.

Для Пушкина был безусловен приоритет великодержавных интересов России. Он занимал крайне жесткую позицию по отношению к польскому восстанию. 1 июня 1831 г. он писал Вяземскому:

Но все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей. Но для Европы нужны общие предметы внимания и пристрастия, нужны и для народов и для правительств [Пушкин: X, 273].

Подобная позиция, как известно, вызвала возмущение в либеральных кругах.

Сологуб, как и Пушкин, поддерживает актуальную для своего времени общегосударственную позицию в отношении Польши: Россия, будучи славянской страной, должна защитить своего собрата от германского агрессора, угрожающего славянскому миру в целом. Однако для него также в первую очередь важно не «примирение» с Западом «в лице Польши», а защита собственных национальных интересов. Повторяя мысль Пушкина о своеобразии пути России, Сологуб писал в статье «Выбор ориентации»: «Довольно нам ориентировать-

---

<sup>8</sup> Ответ на пушкинский вопрос «Славянские ль ручьи сольются в русском море?» Сологуб дает еще в одном стихотворении на военную тему — «Петроград Белграду» (23 января 1915; опубликовано: Биржевые ведомости. Утр. вып. 1915. № 14630 (24 января). С. 3):

Чертог мы строим величавый,  
Наш третий и последний Рим.  
Мы в нем славянство новой славой  
В союзе братском озарим.

Встречай торжественные зори  
И вместе с братьями молись,  
Чтобы в глубоком русском море  
Все реки Славии слились.



ся на Запад, пора нам найти в самих себе нашу правду и нашу свободу, опереться на исконное свое, вспомнить древние наши были, оживить в душе торжественные звоны вечевых колоколов» [Сологуб 1914: 107]. Неслучайно в контексте рассуждений Сологуба об исторической миссии России Пушкин выступает символом национальной самодостаточности, на которую посягает Запад в лице Германии. Так, в статье «Мира не будет» Сологуб отмечает:

С необычайной навязчивостью вливался немец в русскую душу. В «Отцах и детях» есть воистину проникновенная страница, где рассказывается, как юный, но уже наглый выученик нигилистической германской культуры заставляет своего отца читать девятое издание Бюхнеровской брошюры «Материя и сила». — Сегодня я сижу да читаю Пушкина... (рассказывал об этом казусе отец своему брату) <...> Вдруг Аркадий подходит ко мне и, молча, с таким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мною другую, немецкую... улыбнулся и ушел, и Пушкина унес [Сологуб 1914а: 2].

В этом смысле, по мнению Сологуба, Польша может преподать урок России: она бережно относится к своему национальному символу — Адаму Мицкевичу (*«Твоих поэтов, мать родная, / Всегда умела ты беречь, / Восторгом сердца отвечая / На их пророческую речь»*)<sup>9</sup>. Более того, в духовном про-

---

<sup>9</sup> Сопоставление Мицкевича и Пушкина происходит у Сологуба не впервые. Л. Пильд отметила, что на страницах романа имя Пушкина как реального исторического лица неоднократно соотнесено с фамилией польского поэта Мицкевича, а в эпизоде, где описывается, как Марта (полька по национальности) и Передонов едут в деревню, упоминание о Пушкине включено в контекст разговора героев о поведении поляков как российских подданных. По мнению Л. Пильд, в романе «Мелкий бес» присутствуют неочевидные отсылки к полемике конца 1890-х годов о роли и значении Пушкина и Мицкевича. Сологубу было важно показать, что он не считает Пушкина нетенденциозным художником, чистым «эстетом», свободным от интереса к насущно-политическим и прочим «приземленным» вопросам [Пильд: 306–321]. См. также

тивостоянии Германии Польша находится по сравнению с Россией в более сильной позиции именно как национальная окраина, пережившая утрату самостоятельности и находящаяся под гнетом: в 1815 г. Александр I подписал конституцию Царства Польского — части Варшавского герцогства, отошедшего к России после четвертого раздела Польши на Венском конгрессе 1814–1815 гг., но она была отменена после подавления Польского восстания 1830–1831 гг. Для Польши сохранение своего внутреннего достоинства стало естественной составляющей жизненного уклада: *«Себя сама ты сберегла / Ты и в неволе сохраняла / Твои державные права»*<sup>10</sup>. Россия же,

---

комментарии М. М. Павловой к роману «Мелкий бес» в издании [Сологуб 2004: 774–775].

- <sup>10</sup> Подтверждением того, что Сологуб воспринимал представителей западных окраин Российской империи как надежных и испытанных борцов против германского агрессора и своего рода посредников в примирении России с Западом служит его рассказ «Правда сердца», опубликованный практически одновременно со стихотворением «Стансы Польше» (Биржевые ведомости. Утр. вып. 1914. № 14372 (14 сентября). С. 2), № 14374 (15 сентября). С. 2). Сюжет рассказа прост: в эстонском курортном местечке отдыхают дачники из России, в частности дочь морского офицера Лиза Старкина, в нее влюблены три молодых человека: два русских студента, Бубенчиков и Козовалов, и один местный житель — эстонец Пауль Сепп, к которому Лиза относится с иронией; начинается война, эстонец, в отличие от русских студентов, готов встать на защиту России, чем вызывает восхищение Лизы и ее обещание пойти за ним на фронт и стать его женой. Важно, какими чертами наделен эстонец Пауль Сепп — он чист душой, горд, независим, близок земле и в то же время тянется как к русской, так и к европейской культуре: «Паулю Сеппу было двадцать восемь лет. Он был красивый, высокий, сильный, широкоплечий, очень сдержанный человек, добродушный и немного мешковатый. У него были ясные голубые глаза и светлые волосы. Он не пил водки, не курил. Не знал никакого разврата. Кончил какое-то сельскохозяйственное училище. Много читал по-русски и по-немецки. Очень любил литературу и философию». Кроме того, он всем ходом истории подготовлен к противостоянию

как пишет Сологуб в статье «Мира не будет», должна еще вспомнить о своей самодостаточности:

Мы твердо веровали и продолжаем верить, что все действительно разумно, что все европейское лучше русского, что Германия — страна высокой культуры, что во всех обстоятельствах жизни следует по отношению к заграничным поступать так, чтобы нас не приняли, Боже упаси, за дикарей, питающихся сальными свечами, и во многом еще столь же прекрасном мы твердо уверены. Твердо, простосердечно и смиренно. Ибо Россия представляется нам в виде невежественного мужика, а Европа в виде Лауры за клавиром [Сологуб 1914а: 2].

Восстановление достоинства славянских народов, строительство общеславянского дома для Сологуба было связано, в частности, и с будущим русско-польских отношений, о котором он писал в анкете, инициированной газетой «Биржевые ведомости»:

Как бы сильны ни были взаимные недоверия, я думаю, что они погасятся тою мудростью, которую от нашего поколения зависит вложить в ходе событий. Россию и Польшу соединяет очень многое, так много острого и пламенного, — любви, ненависти в наших отношениях, — что уже эта сложность пережитых и творимых чувств рождает величие надежды. «Не можно отдать Варшавы», — многоосмысленные слова; не можно и потому, что славянский мир только единением и может победить германство. Славяне должны построить общий дом, создать союз племен и явить миру тот новый строй жизни, которым только и может быть оправдана наша борьба против капиталистически-воинственного расщепления<sup>11</sup>.

---

Германии. Про начавшуюся войну и миссию в ней представителей своего народа он говорит: «...если нас вызвали, мы будем воевать. И мы победим. Россия не может не победить», а немцев характеризует так: «Они все одинаковые — жестокие, хитрые, коварные». О рассказе «Правда сердца» и его драматической версии «Проводы» см. также: [Hellman: 119–121].

<sup>11</sup> См.: Биржевые ведомости. Утр. вып. 1914. № 14430 (13 октября). С. 4.

## ЛИТЕРАТУРА

- Блок: *Блок А. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 3.
- Вильчинский: *Вильчинский В. П.* Литература 1914–1917 годов // Судьбы русского реализма начала XX века. Л., 1972. С. 228–276.
- Григорьева: *Григорьева Е.* Федор Сологуб в мифе Андрея Белого // Блоковский сборник. Вып. XV: Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX–XX вв. Тарту, 2000. С. 120–131.
- Мисникевич: *Мисникевич Т. В.* Шуточная баллада Федора Сологуба // Судьбы литературы серебряного века и русского зарубежья: Сборник статей и материалов: (Памяти Л. А. Иезуитовой: К 80-летию со дня рождения). СПб., 2010. С. 68–75.
- Пильд: *Пильд Л.* Пушкин в «Мелком бесе» Федора Сологуба // Пушкинские чтения в Тарту 2. Тарту, 2000. С. 306–321.
- Пушкин: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977–1979.
- Сологуб 1914: *Сологуб Ф.* Выбор ориентации // Отечество. 1914. № 6.
- Сологуб 1914а: *Сологуб Ф.* Мира не будет // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1914. № 14462 (30 октября).
- Сологуб 1915: *Сологуб Ф.* Мировая громада // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1915. № 14638 (28 января).
- Сологуб 1915а: *Сологуб Ф.* Война. Пг.: Изд-е журнала «Отечество», 1915.
- Сологуб 1979: *Сологуб Ф.* Стихотворения. Л., 1979.
- Сологуб 2004: *Сологуб Ф.* Мелкий бес. Л., 2004.
- Струве: *Струве П.* Славянское призвание России и Запад // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1914. № 14374 (15 (28) сентября). С. 1.
- Hellman: *Hellman Ben.* Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in War and Revolution (1914–1918). Helsinki, 1995.
- Merrill: *Merrill Jason.* “East or West”: World War I as Apocalypse in Fedor Sologub’s War Poetry // The Silver Age of Russian Literature and Culture, 1881–1921. Vol. 3–4 (2000–2001). P. 105–125.



## У «ЛУКОМОРЬЯ»: К ИСТОРИИ ОДНОГО «НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО» ЖУРНАЛА

ОЛЕГ ЛЕКМАНОВ

Начну с признания и покаяния: заявляя тему для доклада, положенного в основу настоящей заметки, я руководствовался беглым просмотром нескольких материалов журнала «Лукоморье», знанием об одиозной репутации его издателя Михаила Алексеевича Суворина и фельетоном критика-марксиста Вячеслава Павловича Полонского, который «благословил» рождение суворинского журнала следующим образом: «<...> у ихнего “лукоморья” “русский дух”. “Здесь Русью пахнет”. Еще бы! Кто в этом сомневался! Не только пахнет: можно сказать — разит. И не просто русским духом — а, так сказать, почти что истинно — русским» [Полонский: 29]. Кроме того, я держал в памяти скандальную историю с выходом осенью 1915 г. из числа постоянных авторов «Лукоморья» большой группы писателей (С. Ауслендера, Г. Иванова, М. Кузмина, Б. Садовского, Ю. Слезкина, Ф. Сологуба и др.), объяснивших свой поступок в открытом «Письме в редакцию» «Биржевых ведомостей»:

Мы участвовали в журнале «Лукоморье» до тех пор, пока чисто-литературная и в общем приемлемая физиономия этого журнала не возбуждала в нас принципиальных сомнений <...> Нисколько не смущаясь нападками, от кого бы они не исходили, мы видим, что в последнее время «Лукоморье» приняло нежелательную для нас тенденциозную окраску, доказательством чего служат статьи Бурнакина и портрет Буренина. Ввиду этого мы считаем дальнейшее сотрудничество в «Лукоморье» невозможным<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Биржевые ведомости. 1915. № 15182. 30 октября. Утренний выпуск. Фотография Буренина была опубликована в качестве приложения к заметке Н. Жуковской «Театр имени А. С. Суворина».

Тщательное изучение *всех* номеров «Лукоморья» в очередной раз показало, как опасно историку литературы доверяться беглым просмотрам, устойчивым репутациям, коллективным заявлениям и критикам-марксистам. Предлагаемый далее обзор журнала М. А. Суворина, хочется надеяться, послужит отправной точкой для его объективного, нетенденциозного изучения.

Первый номер этого «еженедельного литературно-художественного и сатирического журнала»<sup>2</sup> датирован 16 апреля 1914 г. В дальнейшем журнал выходил регулярно, по средам, вплоть до сентября 1917 г. Изредка номера выпускались сдвоенными. Издателем «Лукоморья» с 1 номера за 1914 г. по 18 номер за 1917 г. был Михаил Суворин, сын известного публициста Алексея Суворина от первого брака, с 1907 г. — фактический редактор консервативного «Нового времени». Редактором же «Лукоморья» первоначально числился еще один любитель «русского духа» — журналист и писатель Андрей Селитренников (псевдоним — Ренников), затем — сам Суворин, а в последние месяцы существования журнала — писательница из суворинского круга Наталья Жуковская (Лисенко). Заведующим художественным отделом журнала долгое время значился художник-график Герасим Магула.

У «Лукоморья» был большой формат и не очень большой объем. Печатался журнал на отличной бумаге, каждый номер содержал изрядное количество репродукций и иллюстраций первоклассных художников — И. Билибина, Б. Григорьева, М. Добужинского, Б. Кустодиева, Е. Лансере, Г. Лукомского,

---

на» (1915. № 41. 10 октября). Статей Бурнакина «Лукоморье» не печатало. Он лишь выступил с восхвалением этого журнала в «Новом времени» (номер от 4 сентября 1915 г.)

<sup>2</sup> Из анонса «Лукоморья». Приведем также фрагмент другого анонса журнала, печатавшегося в течение 1916 г.: «В настоящее время особенное внимание уделяется войне, события которой иллюстрируются известными художниками. В журнале печатаются повести, рассказы, фельетоны, стихи лучших современных писателей, помещаются произведения выдающихся художников, даются иллюстрации событий, карикатуры, шаржи. Особенностью журнала являются красочные рисунки».

Д. Митрохина, П. Митурича, Г. Нарбута, И. Репина, К. Сомова, Н. Тырсы, К. Юона и многих других. Материалы в номерах, как правило, распределялись так: стихи, небольшие рассказы русских писателей (очень редко — переводные вещи и никогда — повести с продолжением)<sup>3</sup>, художественные обзоры и рецензии, изредка — публицистические статьи и отзывы на книги лирики и прозы. Завершался журнал обширным юмористическим разделом. «Кузмин и Буренин... // Какой винегрет! // В рисунках отменен, // В поэзии нет... // Во взглядах упорен // И лих, как гусар... — // Там лозунг: “Суворин”, // Пароль: “Гонорар”», — такую эпиграмму на «Лукоморье» сочинил Лев Никулин.

Относительно «упорства» политических взглядов журнала Никулин сильно стусил краски. Уже принцип распределения материалов в «Лукоморье» ясно показывает, что идеологическая составляющая в нем отнюдь не доминировала: в очень многих номерах статьи о политике просто отсутствовали. Более того, по нашим наблюдениям, реальная идеологическая платформа «Лукоморья» не слишком сильно отличалась от позиции, например, либеральной «Нивы»<sup>4</sup> и должна быть рассмотрена в своей эволюции.

В истории издания Суворина достаточно четко выделяются пять этапов, в целом совпадающих с периодизацией всей русской *неконсервативной* печати 1914–1917 гг. Это этап становления журнала (апрель 1914 г. — июль 1914 г.); этап урапатриотизма и очарования войной (август 1914 г. — январь 1915 г.); этап ослабления интереса к войне (февраль 1915 г. — март 1917 г.); этап очарования Февральской революцией (ап-

<sup>3</sup> Среди этих вещей выделим следующие: *Франс А.* Мадам Маттье (1915. № 36. 5 сентября); *Конан Дойль А.* Оправданный (1916. № 7. 13 февраля); *Брженчковский Г.* Разговор с пирамидами (Из Ю. Словацкого) (1916. № 20. 14 мая).

<sup>4</sup> Как и «Нива», журнал Суворина предназначался для самой широкой аудитории, в отличие, скажем, от «Золотого руна». О «Ниве» и ее авторах подробнее см.: [Лекманов: 3–15].



рель 1917 г. — июль 1917 г.) и, наконец, этап разочарования в Февральской революции (август 1917 г.)

В номерах «Лукоморья» первого периода была предпринята попытка нащупать и сформулировать художественную и идеологическую программу журнала. Эти поиски не слишком удачно велись вокруг журнального названия — «Лукоморье». Так, в дебютном номере журнала появилась установочная, с потугами на остроумие, статья А. Ренникова с одноименным заглавием, в которой зачин «Руслана и Людмилы» юмористически прикладывался к современности: «Не нужно быть почетным членом Академии наук по отделу изящной словесности, чтобы догадаться, кто здесь дуб, кто кот и что за сказки может рассказывать бедная бессловесная тварь, сидящая на цепи у лукоморья. Финский залив, господа, ведь не что иное, как лукоморье! Дуб зеленый — Россия. Кот — обыватель, а сказки кота — это сидящая на цепи периодическая печать» [Ренников: 14]. В номерах 5, 7 и 8 за этот же год были помещены сатирические заметки А. Столыпина под общим названием «Сказки двадцатого века», заброшенные в июне 1914 г. и более не возобновлявшиеся. А в 13 номере за 1914 г. (от 9 июня) журнал напечатал групповую карикатуру «Кадетское лукоморье» с котом-Милюковым в центре.

В этот же период шла активная вербовка постоянных авторов для журнала, что было относительно нетрудно, поскольку Суворин установил для писателей и художников, печатавшихся в «Лукоморье», весьма высокие гонорары и авансы.

Вяловатый старт «Лукоморья» отнюдь не предвещал той бурной активности, которую журнал развил после начала Первой мировой войны (начало второго этапа деятельности журнала). С 17 (от 6 августа) номера за 1914 г. по 1 номер за январь 1915 г. «Лукоморье» не напечатало ни одного материала, прямо не связанного с войной. При этом практически не ощущается качественной разницы между военными произведениями маститых писателей и дилетантов, утонченных модернистов и топорных реалистов. Приведем три характерных фрагмента из стихотворений двух профессионалов и одной графоманки о войне, напечатанных в «Лукоморье» в этот пе-



риод, а читатель пусть угадает, где стихи графоманки, а где — профессионалов (проверить себя он сможет, заглянув в соответствующие примечания):

Выкован крепко ваш меч заповедный,  
Скосит он жатву свою, —  
Словно колосья, под клич наш победный  
Лягут Тевтоны в бою<sup>5</sup>.

.....

С тобою Бог! На подвиг правый  
Недаром меч ты подняла  
И мир глядит на бой неравный,  
Моля, чтобы орел двуглавый,  
Сразил двуглавого орла<sup>6</sup>.

.....

За Карпаты, за Карпаты  
Рвется царственная рать  
Ярослава древний ратай,  
Выносил из бедной хаты  
Образа ее встречать<sup>7</sup>.

Как с издевкой вспоминал спустя год автор фельетона, напечатанного, заметим, в том же «Лукоморье», «великое единодушие проявила в те дни поэзия. Куда девались акмеизмы с футуризмами, как сквозь землю провалились направления, нет больше вырожденцев, нет отщепенцев, все патриоты, все спасают отечество <...> Все говорят в один голос? Но ведь это единодушие, ведь теперь же “общерусское единение”. “Ночью все кошки серы”. И это отнюдь не однообразие, а “унисон сердец”» [Пегас: 16–17]. Действительно, война на время как бы отменила литературные школы, поэты и прозаики разных течений вдруг ввели в свой активный словарь церковнославянизмы, запели о великой Руси, заговорили выспренным языком, пользоваться которым в мирное время считалось безвкусным и даже стыдным.

<sup>5</sup> Елена Федотова. Народ-исполин (1914. № 21. 3 октября).

<sup>6</sup> Георгий Иванов. Родине (1914. № 21. 3 октября).

<sup>7</sup> Сергей Городецкий. Русская рать (1914. № 23. 17 октября).

В этот и последующие периоды значительное место в журнале стало отводиться материалам, пропагандировавшим славянское и русское искусство, славянское единство и русскую идею. Среди таких материалов — статьи Г. Магулы «Война и народные картины» (1914. № 30. 6 декабря) и «Русская икона» (1914. № 11. 14 марта); заметки Я. Прохорова «Война в народном песнетворчестве славян» (1914. № 31. 13 декабря) и «Музыкально-патриотическое творчество женщины-крестьянки» (1915. № 2. 10 января); репортажи М. Влагина «У врат Царь-Града» (1915. № 11. 14 марта) и «Славянство и германизм» (1915. 25 апреля. № 17); его же рецензия на переписку А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова, названная «Пионеры славянофильства» (1915. № 37. 12 сентября); статья профессора А. Погодина «Единение славян» (1915. № 15. 11 апреля); заметка И. Евдокимова «Древнерусская иконопись» (1915. № 27. 4 июля); пламенное воззвание М. Дитрих-Рошфор «Возрождение Руси» (1916. № 8. 20 февраля); заметка Бориса Садовского «Новгород-Великий» (1915. № 25. 20 июня) и другие.

Важно только отметить, что в своем патриотическом раже и воспевании славянства «Лукоморье» в это время было отнюдь не одиноко. Пожалуй, невозможно назвать отечественный журнал, который бы в первые годы мировой войны не пел бы осанну русскому воинству и не проклинал бы «варвара-тевтона»<sup>8</sup>.

Спецификой «Лукоморья» стало повышенное внимание к месту и роли женщины на войне. Эта тема на все лады трактовалась в журнале как писательницами женщинами, так и представителями сильного пола, часто пишущими от лица женщин. К примеру, поэт, прозаик, драматург и юрист Владимир Опочинин напечатал в «Лукоморье» «Песню армянской девушки», из которой в целях экономии места приведем здесь лишь одну строфу:

Мы враги по духу и по крови, —  
Так оставь меня, безумный Сулейман...

<sup>8</sup> О русской «военной» поэзии эпохи Первой мировой войны см.: [Hellman: 9–62].

Каждый день я строго хмрю брови,  
Глядя вдаль, на села мусульман<sup>9</sup>.

Перечисляя другие произведения о женщинах на войне, ограничимся именами авторов и названиями: Павел Орешников «Женские стихи. Из “Дневника”» (1914. № 29. 28 ноября); Ник. Кузнецов «Кармен» (1914. № 30. 6 декабря); Л. Никулин «Жанна Д’Арк» (1914. № 31. 13 декабря); Юрий Слезкин «Мать-командирша» (1914. № 31. 13 декабря); П. Потоцкий «Женские письма (с натуры)» (1915. № 10. 7 марта); Дмитрий Чивилев «Сестра милосердия» (1915. № 17. 25 апреля); М. Г. «Дежурная» (1916. № 10. 5 марта); Е. Джунковская «Вражеское знамя. Письмо сестры милосердия» (1916. № 32. 6 августа); Е. Джунковская «Подле позиций. Письмо сестры милосердия» (1917. № 8. 18 февраля).

В свой третий период журнал «Лукоморье» незаметно для многих пристрастных критиков и читателей превратился в крепкое стабильное издание с весьма неплохими разделами прозы и поэзии. Из тех писателей и поэтов, которые оставили в истории русской литературы заметный след, в журнале Суворина печатались: **Сергей Ауслендер** — 3 публикации<sup>10</sup>; **Константин Бальмонт** — 2 публикации<sup>11</sup>; **Юрий Верховский** — 3 публикации<sup>12</sup>; **Владимир Гиляровский** — 1 публикация<sup>13</sup>; **Сергей Городецкий** — 41 публикация<sup>14</sup>; **Александр**

<sup>9</sup> 1914. № 25. 31 октября.

<sup>10</sup> «Я должен» <рассказ> (1914. № 27. 14 ноября); «Высокая защита» <рассказ> (1915. № 3. 17 января); «Грозная весть» <рассказ> (1915. № 10. 7 марта). Здесь и далее перечисляются художественные произведения авторов «Лукоморья». Литературно-критические статьи в расчет не берутся.

<sup>11</sup> «Легенды» (1915. № 23. 6 июня); «Стрела» (1915. № 24. 13 июня).

<sup>12</sup> «Коснулся неосторожно...» (1915. № 29. 18 июля); «Ты мне сказал, что соловьи поют...» (1915. № 32. 8 августа); «Я помню жгучую усладу...» (1916. № 34. 20 августа).

<sup>13</sup> «В деревне» (1916. № 42. 15 октября).

<sup>14</sup> «К жаворонку» (1914. № 1. 16 апреля); «Явление народа» (1914. № 17. 6 августа); «Воздушный витязь. Памяти Нестерова» (1914. № 18. 12 сентября); «Русская рать» (1914. № 23. 17 октября);



**Грин** — 2 публикации<sup>15</sup>; **Николай Гумилев** — 2 публикации<sup>16</sup>; **Михаил Зенкевич** — 3 публикации<sup>17</sup>; **Георгий Иванов** — 53 публикации<sup>18</sup>; юный **Валентин Катаев** — 1 публи-

«Прибытие поезда» (1914. № 27. 14 ноября); «Дед-Мороз» (1914. № 32. 25 декабря); «Пятнадцатый» (1915. № 1. 1 января); «Гибель сэра Арчибалда Дугласа» <рассказ> (1915. № 7. 14 февраля); «Моя земля» (1915. № 8. 21 февраля); «Двойной грех» <рассказ> (1915. № 14. 4 апреля); «Прообразы весны» (1915. № 18. 2 мая); «Римляне» (1915. № 21. 23 мая); «Родине» (1915. № 27. 4 июля); «Венеция» (1915. № 28. 11 июня); «Исцеление» <рассказ> (1915. № 32. 8 августа); «Как ветер и как солнце» <рассказ> (1915. № 40. 3 октября); «Последний штрих» <рассказ> (1915. № 48. 28 ноября); «Причащение детей» (1915. № 49. 5 декабря); «Пышный плат» (1915. № 50. 5 декабря); «Угодник ходит» (1916. № 1. 1 января); «Янко» (1916. № 3. 16 января); «Война» (1916. № 5. 30 января); «Русская весна» (1916. № 10. 5 марта); «Шабли» <рассказ> (1916. № 11. 12 марта); «Бриллиант» <рассказ> (1916. № 17. 23 апреля); «Страдная доля» (1916. № 21. 21 мая); «Венера» (1916. № 23. 4 июня); «Крымские сонеты» (1916. № 24. 11 июня); «На земле» (1916. № 26. 25 июня); «Любимой» (1916. № 29. 16 июля); «Добро дело» <рассказ> (1916. № 33. 13 августа); «Персидская птичка» (1916. № 34. 20 августа); «Ввысь» (1916. № 35. 27 августа); «Ирис» (1916. № 37. 10 сентября); «В Персии» (1916. № 40. 1 октября); «Победа сердца» (1916. № 41. 8 октября); «Поэт» (1916. № 46. 12 ноября); «На войне» (1917. № 3. 14 января); «Сады Семирамиды» <рассказ> (1917. № 7. 11 февраля); «Монах под спудом» (1917. № 8. 18 февраля).

<sup>15</sup> «Поединок» <рассказ> (1914. № 18. 12 сентября); «Урбан Греци принимает гостей» <рассказ> (1914. № 19. 19 сентября).

<sup>16</sup> «Пролетела стрела...» (1914. № 1. 16 апреля); «Конквистадор» (1915. № 50. 5 декабря).

<sup>17</sup> «Албанский романс» (1914. № 9. 11 июня; псевдоним «М. Зе»); «Паяц» <рассказ> (1914. № 12. 2 июля); «Прощанье» (1916. № 8. 20 февраля).

<sup>18</sup> «Песня», «Песни звонкие девчонок» (1914. № 3. 30 апреля), «Мы с мамашею скучаем...», «Простодушные березки...» (1914. № 14. 16 июля); «На начинающего Бог» (1914. № 20. 26 сентября); «Родине» (1914. № 21. 3 октября); «Песенка у вертепа» (1914. № 22. 10 октября); «Весть, которая опоздала» <рассказ> (1914. № 24.



24 октября); «Видение в Летнем саду» (1914. № 25. 31 октября); «Как странно, сердце не болит...», «Надежды не обманут нас...» (1914. № 28. 21 ноября); «Рождество в скиту» (1914. № 32. 25 декабря); «Девичье гаданье» (1915. № 2. 10 января); «Морозный день» (1914. № 9. 28 февраля); «Снега бурют, тая...» (1915. № 11. 14 марта); «Снова влечет тебя светлое знамя...» (1915. № 12–13. 21 марта); «Люблю рассветное сиянье...» (1915. № 15. 11 апреля); «Петроградские волшебства» (1915. № 21. 23 мая); «Итальянская песня» (1915. № 22. 30 мая); «Час и дом» (1915. № 27. 4 июля); «Годовщина войны» (1915. № 30. 25 июля); «Пожелтевшие гравюры» (1915. № 30. 25 июля — подписано «Г. И.»); «Недвижны липы, небо сине...» (1915. № 33. 15 августа; в юмористическом разделе); «Павловск» (1915. № 36. 5 сентября); «У памятника Петра» (1915. № 37. 12 сентября); «Покров» (1915. № 40. 3 октября); «Болгарам» (1915. № 41. 10 октября); «Монастырская липа» <рассказ> (1915. № 42. 17 октября); «Новогодние стансы» (1916. № 1. 1 января); «Мороз и солнце, опять, опять...» (1916. № 2. 9 января); «Москва» (1916. № 4. 23 января); «Белый снег синеет в поле...» (1916. № 6. 6 февраля); «Монастырские стихи» (1916. № 8. 20 февраля); «Русская красота» (1916. № 9. 27 февраля); «Зеленый фон, немного мутный...» (1916. № 12. 19 марта); «Опять заря горит светла...» (1916. № 15–16. 9 апреля); «Русская весна» (1916. № 18. 30 апреля); «Вновь зеленые шорохи в лесе...», «Ветер, ветер и плещут воды...» (1916. № 21. 21 мая); «Когда вечерняя прохлада...», «Мерцают тускло шандалы...», «И тени тают, тени блекнут...» (1916. № 24. 11 июня); «Стройны вы, как тростинка...» (1916. № 26. 25 июня); «В широких окнах — сельский вид...» (1916. № 32. 6 августа); «Старинные портреты» (1916. № 34. 20 августа); «Князь Карабах» <рассказ> (1916. № 41. 8 октября); «Стихи о Петрограде» (1916. № 47. 19 ноября); «Я слышу святые восторги...», «Стихи о Петрограде» (1916. № 48. 26 ноября); «Верхарн» (1916. № 50. 10 декабря); «Святочная поездка» (1916. № 52. 25 декабря); «Моя любовь, она все та же...» (1917. № 2. 7 января); «Остров надежды» <рассказ> (1917. № 3. 14 января); «Теплятся жаркие встречи...» (1917. № 4. 21 января); «Куликово поле» (1917. № 6. 4 февраля); «Масляная» (1917. № 8. 18 февраля); «Декабристы» (1917. № 14. 25 апреля); «Кто говорит: “Долой войну!”» (1917. № 19–20. 17 июня); «Сколько лет унижений и муки...» (1917.

кация<sup>19</sup>; **Александр Кондратьев** — 1 публикация<sup>20</sup>; **Михаил Кузмин** — 33 публикации<sup>21</sup>; **Алексей Ремизов** — 6 публикаций<sup>22</sup>; **Рюрик Ивнев** — 7 публикаций<sup>23</sup>; **Борис Садовской** —

№ 21. 6 июля); «Выхожу я в родные просторы...» (1917. № 28–29. 31 августа).

<sup>19</sup> «Теплый, тихий, ясный вечер...» (1915. № 11. 14 марта).

<sup>20</sup> «После долгой и трудной дороги...» (1914. № 10. 18 июня).

<sup>21</sup> «Завтра будет хорошая погода» <рассказ> (1914. № 3. 30 апреля); «Напрасные удачи» <рассказ> (1914. № 15. 23 июля); «Два брата» <рассказ> (1914. № 23. 17 октября); «Великое приходит просто...», «Не шлет вестей нам барабаном...» (1914. № 32. 25 декабря); «Пять путешественников» <рассказ> (1915. № 2. 10 января); «Третий вторник» <рассказ> (1915. № 5. 31 января); «Зеленый соловей» <рассказ> (1915. № 14. 4 апреля); «Пять мартовских дней» <рассказ> (1915. № 18. 2 мая); «Я встречу с легким удивлением...» (1915. № 23. 6 июня); «Успенье» (1915. № 33. 15 августа); «Двое и трое» <рассказ> (1915. № 36. 5 сентября); «Невеста» <рассказ> (1915. № 39. 26 сентября); «Отчего не убраны нивы...» (1915. № 40. 3 октября); «Все тот же сон, живой и давний...» (1915. № 45. 7 ноября); «Волнения г-жи Радовановой» <рассказ> (1915. № 49. 5 декабря); «Я вижу в дворовом окошке...» (1915. № 50. 5 декабря); «Аврорин бисер» <рассказ> (1916. № 2. 9 января); «Мой герой» (1916. № 5. 30 января); «Портрет с последствиями» <рассказ> (1916. № 7. 13 февраля); «Последняя капля» <рассказ> (1916. № 12. 19 марта); «Пасхе» (1916. № 15–16. 9 апреля); «Бабушкина шкатулка» <рассказ> (1916. № 19. 7 мая); «Забытый параграф» <рассказ> (1916. № 23. 4 июня); «Какая-толень недели кроет...» (1914. № 25. 18 июня); «Царевич Дмитрий» (1916. № 27. 2 июля); «Я недостойн» (1916. № 28. 9 июля); «Дама в золотом тюрбане» <рассказ> (1916. № 31. 30 июля); «Под вечер выдь в луга темные...» (1916. № 37. 10 сентября); «Машин рай» <рассказ> (1916. № 40. 1 октября); «Успокоительной прохладой...» (1916. № 49. 3 декабря); «Хорошая подготовка» (новелла) (1916. № 51. 17 декабря); «Рождество» (1916. № 52. 25 декабря); «Мы в слепоте, как будто не знаем...» (1917. № 7. 11 февраля).

<sup>22</sup> «Лей иконописец» <рассказ> (1915. № 32. 8 августа); «Последнее прибежище» <рассказ> (1916. № 8. 20 февраля); «Sancta Sophia» <рассказ> (1916. № 15–16. 9 апреля); «Воронец. Народная

6 публикаций<sup>24</sup>; **Игорь Северянин** — 1 публикация<sup>25</sup>; **Федор Сологуб** — 11 публикаций<sup>26</sup>; **Александр Тиняков** — 2 публикации<sup>27</sup>; **Александр Ширяевец** — 1 публикация<sup>28</sup>; **Илья Эренбург** — 5 публикаций<sup>29</sup>.

сказка» (1916. № 33. 13 августа); «Костяной дворец. Народная сказка» (1916. № 40. 1 октября); «Разные зайцы. Тибетская сказка» (1917. № 7. 11 февраля).

<sup>23</sup> «Екатерининские часы» <рассказ> (1915. № 47. 21 ноября); «Детище финогенов» (1916. № 4. 23 января); «Скупой рыцарь» <рассказ> (1915. № 50. 5 декабря); «Ее первый друг» <рассказ> (1916. № 1. 1 января); «Чужая любовь» <рассказ> (1916. № 35. 27 августа); «Малиновая шапочка» (1916. № 36. 3 сентября); «Медный кофейник» (1917. № 2. 7 января).

<sup>24</sup> «Ты бранным отроком погиб...» (1915. № 8. 21 февраля); «Невеста» (1915. № 20. 16 мая); «Двойник» <рассказ> (1915. № 23. 6 июня); «Самара» (1915. № 31. 1 августа); «Швейка» (1915. № 34. 22 августа); «Гробовый мастер» <рассказ> (1915. № 42. 17 октября).

<sup>25</sup> (1916. № 5. 30 января).

<sup>26</sup> «Вражий страж» (1914. № 31. 13 декабря); «Незамерзающий мальчик» <рассказ> (1915. № 1. 1 января); «Весенним дождем разнежены...» (1915. № 22. 30 мая); «В ночной воде купаться мило...» (1915. № 24. 13 июня); «Тебя Господь накажет...», «В немую бездну канут...» (1915. № 26. 27 июня); «Отчего у тебя утомленные руки...» (1915. № 27. 4 июля); «Надоело уж нам, зеркалам...» (1915. № 31. 1 августа); «Наперекор осенней скуке...» (1915. № 34. 22 августа); «Вот наше озеро: широко...» (1915. № 39. 26 сентября); «Я пришла к тебе в порфире...» (1915. № 41. 10 октября); «Признать, что все на свете благо...» (1915. № 43. 24 октября).

<sup>27</sup> «Оправдание войны» (1915. № 5. 31 января); «Страшна смиренная Россия...» (1915. № 16. 18 апреля).

<sup>28</sup> «Прощание» (1915. № 31. 1 августа).

<sup>29</sup> «Непостижимое» <рассказ> (1916. № 44. 29 октября); «Кровать Людовика XV» <рассказ> (1916. № 46. 12 ноября); «Мартин Зелельбек» <рассказ> (1916. № 51. 17 декабря); «Искусственная нога "Селект"» <рассказ> (1917. № 6. 4 февраля); «Поль де-Виньи. Письмо из Парижа» (1917. № 15. 1 мая).



Как видим, печататься в «Лукоморье» считали для себя не зазорным писатели из тогдашней первой и даже высшей литературной лиги (Бальмонт, Гумилев, Ремизов, Игорь Северянин, Сологуб). Почти в каждом номере журнала появлялось хоть одно произведение автора с «именем». Нужно, впрочем, признать, что эти писатели часто помещали в издании Суворина проходные, написанные для заработка, вещи. Недаром в «Лукоморье» мы можем найти так много «датских» стихов и рассказов, приуроченных к церковным и иным праздникам, военным победам, а также к календарным сменам времен года.

В литературно-критическом разделе журнала абсолютно неизвестного широкой публике, хотя и очень задиристого Марка Влагина в третий период деятельности «Лукоморья» постепенно потеснили обладавшие куда более солидной репутацией и широтой кругозора Сергей Городецкий, Борис Садовской и Димитрий Крючков. Безапелляционные влагинские нападки на Бунина<sup>30</sup>, Куприна<sup>31</sup> и Леонида Андреева<sup>32</sup> сменились тремя статьями Городецкого о стихах тогдашних и будущих участников «Цеха поэтов»<sup>33</sup>, доброжелательной рецензией Садовского на книгу стихов футуриста-одиночки Тихона Чурилина «Весна после смерти»<sup>34</sup> и его же обзором «О современной поэзии» (с проклятиями футуристам и похвалой Вяче-

---

<sup>30</sup> В заметках «Жемчужное ожерелье» (1914. № 2. 23 апреля) и «О гражданине вселенной» (1914. № 15. 23 июля).

<sup>31</sup> В заметках «Жемчужное ожерелье» (1914. № 2. 23 апреля) и «Безликий талант» (1914. № 31. 13 декабря).

<sup>32</sup> В заметке «Предсказания и рецепты» (1914. № 16. 30 июля).

<sup>33</sup> См.: *Городецкий С.* Тотс и Пруссак. Две маски (1916. № 2. 9 января); *Городецкий С.* Поэзия для себя <ругательная заметка о М. Лозинском, Г. Адамовиче и Рюрике Ивнине> (1916. № 6. 6 февраля); *Городецкий С.* Поэзия, как искусство <рекламная статья об акмеизме> (1916. № 18. 30 апреля).

<sup>34</sup> «Он несомненно даровит и оригинален, хотя и не без постороннего влияния: учителями его в поэзии являются Андрей Белый (главнейшее, как автор «Панихиды») и отчасти Иван Коневской» (1915. № 26. 27 июня. С. 16).



славу Иванову)<sup>35</sup>, заметкой Крючкова «Неуместные мысли», защищавшей от наскоков критики военные стихи Сологуба и прозу Ремизова<sup>36</sup>, и его же хвалебной статьей о Борисе Зайцеве «Земная печаль»<sup>37</sup>. На долю Влагина осталось дважды воспеть талант Садовского-критика<sup>38</sup> да в заметке «Тэффи» сдержанно-одобрительно отозваться о юмористических произведениях этой писательницы<sup>39</sup>. И только о Максиме Горьком и Дмитрие Мережковском, которых очень не любил лично Михаил Суворин, «Лукоморье», как правило, писало резко неприязненно. Горького в журнале ругали Влагин<sup>40</sup>, А. А. Б.<sup>41</sup> и Крючков<sup>42</sup>. Нападки на Мережковского начались уже в первом номере за 1914 г., где в разделе «Почтовый ящик» (со второго номера из журнала навсегда исчезнувшего) был помещен такой малоостроумный текст: «Никодиму Мережковскому. Спасибо, но исторических романов не печатаем. Кстати, у вас в рукописи описывается прием Ярославом Мудрым американского посольства. Разве вы не знаете, что открывать Америку раньше времени так же скверно, как и слишком поздно?»<sup>43</sup> В

<sup>35</sup> В № 45 за 1915 (от 7 ноября). Против футуризма (впрочем, не русского, а итальянского) было направлено сатирическое стихотворение Long ongle «Футурист»: «Внимайте, дети! // Спокойно кайзер может спать, — // Пронесся слух, что Маринетти // Решил его обвенковать» (1914. № 30. 6 декабря).

<sup>36</sup> В № 50 за 1915 (от 5 декабря). Заметим, что Сологуб в это время уже подписал письмо против «Лукоморья», о котором идет речь в начале нашей заметки. См. также заметку П. Владимировой «Поэзия в дни войны», где хвалились стихи Сологуба, Гумилева и Ив. Рукавишникова (1916. № 38. 17 сентября). В этой заметке находим забавную опечатку: в ней обсуждается стихотворение Гумилева «Памяти Аксинского» (вместо «Анненского»).

<sup>37</sup> В № 42 за 1916 (от 15 октября).

<sup>38</sup> В двух заметках: «Искренний голос» (1915. 11 апреля. № 15) и «О Борисе Садовском» (1916. № 22. 28 мая).

<sup>39</sup> В № 27 за 1916 (от 2 июля).

<sup>40</sup> В заметке «Под радикальным соусом» (1916. № 30. 23 июля).

<sup>41</sup> В заметке «В защиту Максима Горького» (1916. № 34. 20 августа).

<sup>42</sup> В заметке «Порченный» (1915. № 46. 14 ноября).

<sup>43</sup> 1914. № 1. 16 апреля. С. 18.

номере 52 (от 25 декабря) за 1916 г. была напечатана неприятная заметка о Мережковском «Мелея» Димитрия Крючкова<sup>44</sup>.

С подачи Садовского в «Лукоморье» стали изредка появляться материалы историко-литературного характера. Назовем здесь его собственные заметки «Новый автограф Пушкина. Находка в старинном альбоме» (1915. № 16. 18 апреля), «Академический Пушкин» (1915. № 21. 23 мая) и «Венгеровский Пушкин» (1915. № 24. 13 июня), статью Крючкова «Воскресающий» о Баратынском (1916. № 4. 23 января) и хвалебную рецензию Влагина на сборник статей П. Е. Щеголева о Пушкине (1916. № 36. 3 сентября). Также укажем на семейную публикацию, осуществленную на раннем этапе существования журнала: «Из неизданных писем А. П. Чехова к А. С. Суворину» (1914. № 12. 2 июля).

Сатирический отдел «Лукоморья», пожалуй, можно назвать ахиллесовой пятой журнала Суворина: здесь с самого начала войны из номера в номер печатались плоские остроты о немцах и их союзниках и бесконечные карикатуры на императора Вильгельма. Ситуация несколько выправилась лишь с конца февраля 1916 г., когда постоянным автором отдела стал талантливый Николай Агнiewicz, в итоге напечатавший в «Лукоморье» 27 стихотворных фельетонов<sup>45</sup>. Особо отметим

<sup>44</sup> Ср., впрочем, вполне корректную рецензию Н. Л. Ж. на постановку пьесы Мережковского «Романтики» (1916. № 45. 5 ноября).

<sup>45</sup> «Очень просто» (1916. 23 февраля. № 4); «Три чуда Магале-вы» (1916. № 5. 30 января); «Intime» (1916. № 11. 12 марта); «Песня корсара» (1916. № 13. 26 марта); «На вербе» (1916. № 14. 2 апреля); «История взятки российской» (1916. № 15–16. 9 апреля); «1906–1916 гг.» (1916. № 18. 30 апреля); «Звездные песенки» (1916. № 20. 14 мая); «Давно там» (1916. № 22. 28 мая); «Вечерняя история» (1916. № 24. 11 июня); «Ночью в городе» (1916. № 25. 18 июня); «Женское» (1916. № 35. 27 августа); «История театра русского» (1916. № 44. 29 октября); «Случай в Сент-Джемском сквере» (1916. № 45. 5 ноября); «Жираф и гиппопотамша» (1916. № 47. 19 ноября); «Новое издание старых сказок» (1916. № 50. 10 декабря; 1916. № 51. 17 декабря); «Ванька-

единственную в этом журнале и тоже в юмористической разделе публикацию Осипа Мандельштама, под псевдонимом Анк Сульпициус напечатавшего в 6 номере (от 7 февраля) за 1915 г. несколько юмористических стихотворений из своей «Антологии античной глупости».

«Лукоморье», редактором-издателем которого по-прежнему оставался Михаил Суворин, с энтузиазмом встретило Февраль 1917 г. (начало четвертого периода деятельности журнала). Уже первый пореволюционный номер (№ 9–11 за 1917 г., от 2 апреля) открылся портретом П. А. Кропоткина и обширной публикацией «Из писем П. А. Кропоткина к близким». На протяжении нескольких последующих месяцев «Лукоморье» составлялось в основном из приветствующих революцию или антимонархических материалов, среди которых особо выделим сатирическую «Историю дома Романовых» Николая Агнивцева (1917. № 14. 25 апреля). Пыл журнала, как и всей либеральной российской прессы, угас к августу 1917 г. (начало краткого пятого периода). В сдвоенном 24–25 номере «Лукоморья» (от 6 августа) были опубликованы направленная против большевиков статья «Политические партии в России», горькая заметка Михаила Андреева «Это ли свобода» и фельетон-антиутопия Козерога «Кошмар», начинавшийся так: «И вот настало. Экстренные выпуски газет вышли со списками новых министров. Иностранных дел — Ленин. Военный и морской — Троцкий. Внутренних дел — Зиновьев. Финансов — Коллонтай»<sup>46</sup>. Вскоре предприятие Суворина прекратило свое существование.

Подводя общие краткие итоги этой заметки, выскажу твердое убеждение, что «Лукоморье» *не было* консервативным и

---

Встанька» (1916. № 52. 25 декабря); «Три новогодних тоста» (1917. № 1. 1 января); «Dausse de portefeuille» (1917. № 7. 11 февраля); «Песня свободы» (1917. № 9. 1–2 апреля); «История дома Романовых» (1917. № 14. 25 апреля); «Японская ваза с барельефами: японочкой и самураем» (1917. № 18. 5 июня); «Сказочка о дедке и репке» (1917. № 22–23. 17 июля); «Радуйтесь, Адам и Ева» (1917. № 26–27. 25 августа).

<sup>46</sup> 1917. № 24–25. 6 августа. С. 18.



националистическим изданием — «Русью» в нем «разило» ничуть не больше, чем в остальной периодике военного времени; но для современников на журнал, увы, падала тень от «Нового времени» и других одиозных идеологических проектов М. А. Суворина. Интересная и значимая деталь: заявив о своем выходе из состава авторов «Лукоморья» осенью 1915 г., двое из подписантов, Михаил Кузмин и Георгий Иванов<sup>47</sup>, в журнал Суворина очень быстро вернулись. Иванов тихо, без лишнего шума, а Кузмин, напечатав специальное объяснительное письмо в «Биржевых ведомостях»: «Подписывая письмо об уходе из “Лукоморья”, я руководствовался дружеской солидарностью с авторами письма, отнюдь не соглашаясь с мотивировкой их выхода, конечно шаткой и необидительной»<sup>48</sup>. Мое небольшое сообщение может восприниматься в том числе и как комментарий к этому месту открытого письма Кузмина.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Иванов: *Иванов Г. В. Китайские тени* // Иванов Г. В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3.
- Кузмин: *Кузмин М. А. Дневник. 1908–1915*. СПб., 2005.
- Лекманов: *Лекманов О. А. Русский модернизм и массовая поэзия. Статья первая: стихи в журнале «Нива» (1890–1917) // Некалендарный XX век. Вып. 2. В. Новгород, 2003.*
- Пегас: *Пегас. Поэзия для тугоухих. Расцвет. 1915. № 42. 17 октября.*
- Полонский: *Полонский Вяч. Случайные заметки. Об Эртелевом переулке, о сатире, о звонкой монете и о г.г. Городецком и Гумилеве* // Рубикон. 1914. № 6 (Апрель).
- Ренников: *Ренников А. <Селитренников А.> Лукоморье* // Лукоморье. 1914. № 1. 16 апреля.
- Hellman: *Hellman B. Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Helsinki, 2009.*

<sup>47</sup> Ср. его вполне доброжелательные, хотя и с передержками, воспоминания о журнале М. Суворина: [Иванов: 243–245].

<sup>48</sup> Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. № 15189. 4 ноября. Подробнее см. в комментарии Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина к дневнику этого писателя: [Кузмин: 752].



# ПОЛЬСКАЯ ГОРДЫНЯ И ТАТАРСКОЕ ИГО В СТИХАХ ЦВЕТАЕВОЙ К АХМАТОВОЙ

РОМАН ВОЙТЕХОВИЧ

Образ героини в цветаевском цикле «Ахматовой» (1916) поражает не только крайней внутренней неоднородностью, но и явным несоответствием образу лирической героини «Вечера» и «Четок». Если поэтика Цветаевой и напоминает мандельштамовскую [Шевеленко: 130], то не столько работой с аллюзиями и цитатами, сколько смелой коллажной техникой: Мандельштам может слить Федру и Медею в одну «отравительницу Федру», а Цветаева в ахматовском цикле создает парадоксальные коллажи из собственных образов, метафорически удаленных от картин, встающих со страниц ахматовских книг.

Исследователи отмечали в цикле «Ахматовой» избыток устрашающих образов [Лосская: 21; Лиснянская: 47, 57]. Ср. «Ты черную насылаешь метель на Русь, / И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы»; «Ты, срывающая покров / С катафалков и с колыбелей, / Разъярительница ветров, / Насылательница метелей»; «краса Грустная и бесовская»; «над червонным моим Кремлем / Свою ночь простерла» [СС1: 303–308]. С. Ельницкая утверждает, что «портрет Ахматовой весь выдержан в черных тонах. Ахматова — страшная, темная сила <...> “чей голос — о глубь, о мгла!”» [Ельницкая: 26–27]. И. Шевеленко подчеркивает, что блоковский и ахматовский циклы у Цветаевой «не являются актами преклонения и превознесения их героев *par excellence*» [Шевеленко: 130], а Т. Горькова указывает на «эпитеты, которые не должны нравиться адресату» [Горькова: 211–214].

Своеобразие цветаевского «портрета» объясняют установкой на мифологизм [Полляк: 179–180], на мифологическую редукцию. П. Антокольский вспоминал, что для интересного собеседника Цветаева всегда находила «фантастическое, мало-

достоверное» определение: «такой-то в ее глазах “молодой Державин”, другой “Казанова”, третий — “Гоголь”, а четвертый — “чорт-дьявол” собственной персоной», и на этом «шатком основании» строила «систему складывающихся отношений, всю фабулу», обязывающую к чему-то «содержательному и ценному», что и порождало стихи [Антокольский: 41].

Такого рода проекции функционируют у Цветаевой как оценочные метафоры, в которых основа для сравнения минимальна или фиктивна, а область несовпадения выражает отношение говорящего к объекту (восторг, презрение и т.п.). Метафора не лишена при этом иконичности, но чем разнороднее части, связанные иконическим элементом, тем ярче выражено отношение говорящего, часто гиперболизированное. Эту особенность поэтики мы постараемся показать на примере ахматовского цикла.

Стихи Цветаевой — не «реалистический» портрет Ахматовой, а сложная система метафор, построенная в духе барочного аллегоризма. Поэтому прямых цитат и аллюзий на поэзию Ахматовой здесь мало. Цветаева не столько использует тексты Ахматовой, сколько *реагирует* на них, и еще больше — на самого автора, его судьбу (ср. «тот, кто ранен смертельной твоей судьбой» [СС1: 303]), внешность, задающую интерпретации (ср. «горбоносую, чей смертелен гнев» [Там же]), на отношение к ней окружающих (Блока, др. поэтов и т.д.) и, конечно, на имя (ср. «Это имя — огромный вздох...» [Там же]). Цветаева отбрасывает известное и фокусируется на минимальных признаках, на результатах чужой мифологизации, на важных для нее сигналах.

Ахматова предпочитала большую степень подобия, заметив об одной статье Цветаевой: «Как все у Марины. Есть прозрения и много чепухи» [Чуковская 2: 364]. Цветаева развивает именно то, что до нее не было замечено, отсюда и «прозрения» (ср. «Ах, я счастлива, что <...> тебя <...> / Я впервые именем назвала Царскосельской Музы» [СС1: 304]). Но, замечая нюансы и отдельные острые детали, резко укрупняя их место в общей картине, Цветаева нарушала общее подобие. «Ахматовские» «элементы» попадают в инородное для них

целое, где доминируют другие образы, например, образ «демона», который не входил в авторский миф ранней Ахматовой. Так, Цветаева использует слово Муза, но портрет «Музы» крайне далек от ахматовского, да и с традиционным представлением о богинях искусств и наук имеет мало общего. Музы не изображались «разъярительницами ветров» и «насылательницами метелей» (о генезисе образа музы-мучительницы у ранней Цветаевой см.: [Боровикова 2011: 110]).

Цветаева достигает яркости за счет соединения максимально разнородных элементов, за счет форсированной эклектичности, что проявляется не только в сочетании непохожих «ликов» героини из разных стихотворений («Муза», «демон» и «Златоустая Анна всяя Руси»), но и в каждом из этих образов, в пределах одного стихотворения. Она реагирует не на целостный мир Ахматовой, а на отдельные точки-сигналы, в частности, на любимый молодой Ахматовой эпитет «смуглый» [Жирмунский: 78].

«Смуглая муза» Ахматовой в культурном контексте эпохи звучала ярким оксюмороном, поскольку контрастировала с представлением о «мраморной» античности (ср. у Цветаевой: «Мраморность — загару хочет...» [СС2: 97]). По поводу стихотворения «Смуглый отрок бродил по аллеям...» М. М. Гиршман и Э. М. Свенцицкая писали: «Эпитет ассоциируется и с портретом Пушкина, и с восточным происхождением самой Ахматовой, и одновременно с цветом кожи ее Музы» [Гиршман: 25].

Мы полагаем, что Цветаева в эпитете «смуглый» также просматривала связь с восточными корнями Ахматовой и что этот восточный элемент отразился в цветаевском образе Ахматовой полнее, чем это до сих пор отмечалось. Доказательству этого тезиса и будет посвящена наша статья.

О восточном происхождении сообщало само имя Ахматовой, а подтверждением служили ее портреты. В стихах этот момент ярко проявится позже — в «Сказке о черном кольце» («Мне от бабушки-татарки...», публ. 1923, работа над текстом — 1917–1936 [Ахматова 1: 156]) и четверостишии «Имя» («Татарское, дремучее...», публ. 1965 [Там же: 237]). Нет нужды говорить о том, какое большое значение в поэтике



Цветаевой занимало имя собственное, особенно в стихах к Блоку и Ахматовой. Как будто по подсказке представителей мифологической школы, Цветаева создает текст, распутывая семантический и фонетический «клубок» имени. Впрочем, эта практика имеет древние корни: можно назвать такие прецеденты, как эпитафия Платона Астеру, и эпиграмма Марциала «Имя твое говорит нам о нежном времени вешнем...». В эпиграммах, мадригалах и шуточных гимнах эта традиция процветала и в пушкинскую эпоху (см. эпиграммы Пушкина на Каченовского, Ф. Н. Глинку, коллективный «Канон в честь М. И. Глинки», мадригалы Лермонтова и Баратынского).

В эпоху символизма традиция перестает быть уделом только периферийных жанров (ср. «Имману-Эль» В. С. Соловьева), и Цветаева постепенно приобщается к ней, начиная с акростихов, затем обращаясь к использованию аллитераций и паронимии на основе имени адресата (ср. раннее «Нине»), переходя к рефлексии над семантикой имени («Душа и имя»). В 1913 г. она пишет, что ее поэзия — «поэзия собственных имен» [СС5: 231], имея в виду имена неизвестные, ничего не говорящие посторонним<sup>1</sup>, но затем сосредоточилась на именах более «громких». Техника ее становится смелее. В 1915 г. она пишет стихотворение «Есть имена, как душистые цветы...» [СС1: 227]. Тонкая ассоциативная связь между звучанием имени, визуальным образом цветка и его запахом напоминает начало брюсовского «Сонета к форме» («Есть тонкие властительные связи / Меж контуром и запахом цветка» [Брюсов: 33]), который отсылает к знаменитому сонету Бодлера «Соответствия» с его центральным образом «леса символов». Так Цветаева сближалась с истоками символизма тогда, когда сам он уже сдавал свои позиции.

В стихах к Ахматовой имя «оказывается главной моделирующей категорией» [Круглова: 37]. Действительно, уже в

---

<sup>1</sup> Об ономастике Цветаевой писали Н. А. Гончарова, С. Н. Доценко, К. Б. Жогина, Л. В. Зубова, Г. Ф. Ковалев, И. М. Лисенкова, Т. В. Мирошниченко, О. С. Парфенова, О. Г. Ревзина, Е. Фарыно, Е. Г. Эткинд и др. См. подробнее в [Войтехович; Войтехович 2010].



раннем стихотворении «Анне Ахматовой» (1915) Цветаева мастерски обыграла просодический образ этого имени, используя его как ритмический импульс для построения текста («Я полюбила Вас / Анна Ахматова»). В цикле «Ахматовой» Цветаева выделяет из ахматовской фамилии междометие «ах» и отсылает к ахматовскому «Отрывку из поэмы», где обыгрывается благозвучие имени Анна [Шевеленко: 127]. Цветаева использует и этимологические резервы смысла этого имени: «Имя ребенка — Лев, / Матери — Анна. / В имени его — гнев, / В материнском — тишь» [СС1: 305]. Контрастная «воплям» в первом стихотворении «тишь» связана с еврейским значением имени Анна — «милость», «благодать». Мать и сын оказываются у Цветаевой воплощением царских проявлений «гнева и милости». Не исключено, что «тишь» — это и аллюзия на «Шаги Командора» Блока (Ср. «Анна! Анна! — Тишина» [Блок: 80]).

При таком внимании к семантике и многозначности имени Цветаева не могла пройти мимо его «генеалогической» составляющей, тем более, что она присматривалась к Ахматовой давно, возможно, — еще до выхода книги «Вечер» (1912), которая была сразу обласкана критикой. Уже в первом отзыве на «Вечер» Цветаева обнаруживает знание того, что Ахматова «замужем за Гумилевым, отцом кенгуру в русской поэзии» [Семья: 145]. Ахматова воспринималась Цветаевой в ореоле экзотики: «Ее называют утонченной и хрупкой за неожиданное появление в ее стихах розового какаду, виолы и клавесина» [Там же: 144]. Многое из того, чем впоследствии Цветаева будет восхищаться в «Вечере», она при первом прочтении игнорирует, принимая только «искреннее»: «Но есть трогательные строчки напр<имер>:

“Ива по небу распластала  
Веер сквозной.  
Может быть, лучше, что я не стала  
Вашей женой”.

Эти строчки, по-моему, самые грустные и искренние во всей книге» [Там же].

Таким образом, Цветаева воспринимала Ахматову как наследницу Черубины де Габриак с ее экзотической легендой. Ахматова именно в Черубине видела соперницу:

Очевидно, в то время (09–10 г.) открылась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии. И Черубина устремилась туда. Дуэль или что-то в ее стихах помешали ей занять это место. Судьба захотела, чтобы оно стало моим. Замечательно, что это как-то полупонимала Марина Цветаева [Ахматова 1996: 268].

Образ Ахматовой мог быть воспринят как вариация сильных сторон легенды Черубины, на что косвенно указывает и то, что Блок изобразил Ахматову «в чем-то испанском» (по своим причинам, но ее образ располагал к этому). Внешним сигналом сходства для Цветаевой могла послужить и перекличка названия сборника «Четки» с католическими четками Черубины.

Но фамилия Ахматова имела иной экзотический оттенок, в чем-то еще более острый, чем испанский, вместо крайнего Запада — Восток, с которым ассоциировалась и притягательность, и опасность. Позднее Ахматова чуть ли не раскаивалась в выборе псевдонима: «И только семнадцатилетняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы. Это фамилия последних татарских князей из Орды» [Чуковская 1: 93]. Образ дополняла и «турецкая» шаль, подаренная Гумилевым в 1913 г. и позднее упомянутая в набросках «Поэмы без героя» («Шаль турецкую не снимая...»). В записях Ахматова называет ее «желтой восточной»: «Это ее Блок обозвал испанской, Альтман на портрете сделал легкой шелковой, а женская “молодежь тогдашних дней” сочла для себя обязательной модой. Подробно изображена эта шаль на плохом портрете Ольги Людвиговны Кард<овской>» [Примечания].

О том, что Цветаева заметила «восточный» элемент в образе Ахматовой, свидетельствуют сделанные ею Ахматовой подарки: помимо шкатулочки, брошки, шали, стихов и Кремля, с которым Ахматова «не знала что делать», Цветаева подарила ей и магометанские четки, освященные в Мекке [Ахматова 1996: 278]. Такой подарок вскрывал неявную для других

«восточность» образа ахматовских четок (для самой Ахматовой, конечно, — фиктивную).

Если детский «дневник» Цветаевой показался критике «пресным» [Критика: 28], то «дневниковая» лирика Ахматовой была остра, и эту остроту, яркость, эффектность Цветаева стала бурно развивать, начиная с 1913 г., в том числе — и под влиянием Ахматовой. Так, ахматовский диптих «Алиса» откликается в цветаевском «В огромном липовом саду...», цикл «Обман», возможно, — в цветаевском стихотворении «Бабушке». По-видимому, сильное впечатление на Цветаеву произвело стихотворение «Умирая, томлюсь о бессмертии...», на которое Цветаева откликнулась в третьем стихотворении цикла «Ахматовой» [Саакянц: 95], вызвав и ответный отклик адресата («Ты любила меня и жалела...», 1959) [Горькова: 224]. Возможно, тот же текст мотивировал и демоническую топику цветаевского цикла. Ради бессмертья и свидания с возлюбленным героиня готова попасть в ад: «Пусть хоть голые красные черти, / Пусть хоть чан зловонной смолы. // Приползайте ко мне, лукавьте, / Угрозы из ветхих книг...» [Ахматова 1: 63]. Но еще раньше без видимой связи с Ахматовой Цветаева написала целую серию стихов «о юности и смерти», варьируя тематику того же стихотворения, воспринятого, вероятно, в общем контексте со стихотворением «На смерть Коммиссаржевской...» (1910) Блока и финалом «Рыцаря на час» Некрасова, связанных темой смерти молодой женщины и яркой рифмой «голос — боролось».

Блоковско-ахматовская выучка сказала, как нам представляется, и в стилистике «юношеской» Цветаевой. Например, в использовании метонимической перифразы с субстантивацией цвета (зеленые глаза → зелень глаз). «Золото стены» и «золото ресниц» имеются в «Благовещенье» (1909) Блока, затем «золото ресниц» попадает в стихотворение Ахматовой «Вечером». Через полгода после его публикации в «Аполлоне» (1913) Цветаева напишет:

Застынет все, что пело и боролось,  
Сияло и рвалось:



И зелень глаз моих, и нежный голос,  
И золото волос [СС1: 107].

Заметим, что ранней Цветаевой такая яркость красок и самолюбование (как бы на пороге могилы) не были свойственны. Вероятно, Цветаеву подстегивала яркость облика и поэтического образа Ахматовой, в которые дополнительную остроту вносила фамилия-псевдоним.

Обилие «страшного» в образе цветаевской Ахматовой, скорее всего, задано стихотворением Блока «Красота страшна, вам скажут...», где слово «страшна» повторяется четырежды, обрамляет текст и особенно выделяет финал. Героине приписывается и способность «убивать» [Блок: 143]. Она стремится быть красивой и, в зависимости от чужих мнений, то «вооружается» шалью и розаном, то «разоружается», но в итоге понимает с грустью, что ни один из вариантов красоты («проста» и «страшна») ей не доступен в полной мере, что жизнь — сложнее. Думается, что памятным контекстом для этого стихотворения послужило крылатое выражение, завершающее стихотворение С. Надсона «Дурнушка» (1883), наверняка знакомое Цветаевой (отметим и начальное «Ах»):

Зло над тобою судьба подшутила:  
Острою мыслью и чуткой душой  
Щедро дурнушку она наделила, —  
Не наделила одним — красотой...  
Ах, красота — это страшная сила!.. [Надсон: 217]

Сама Ахматова в своем ответе Блоку выбрала позицию максимальной простоты, что оказалась очень выигрышно, но Цветаева предпочла описание «страшной силы» ее красоты. При этом не следует забывать, что для Цветаевой «страшным» может быть и светлое, ангельское. Сравнивая дочь Алё с Ангелом, Цветаева писала: «Мой первенец светлый и страшный» [СС1: 421]. «Страх» — это и компонент восторга перед чем-то великим, грандиозным, вызывающим трепет.

В «Анне Ахматовой» (1915) красота героини предстает как внешняя красота (хотя упоминается и поражающий в сердце «безоружный стих» [Там же: 234]). Подчеркнут и ее экзотиче-



ский характер («Узкий, нерусский стан»), маркированный «шалью из турецких стран»: вероятно, мода, о которой позднее вспоминала Ахматова, дошла и до Москвы или у Цветаевой были надежные информаторы<sup>2</sup>.

Думается, что «узкий» стан бросился в глаза Цветаевой благодаря тому, что на портрете Делла-Вос Кардовской пышная «как мантия» шаль закрывает значительную часть фигуры, и «стан» виден только узкой полоской. На этом портрете Ахматова изображена строго в профиль, чем и объясняются слова: «Вас передашь одной / Ломаной черной линией». Горбинка и делает линию «ломаной», о чем Цветаева постоянно помнит, несколько раз упоминая в цикле, что Ахматова «горбоноса» [Дюсембаева; Боровикова].

Выразительность профиля, устойчиво ассоциирующегося с клювом хищных птиц (ср. «От ангела и от орла<sup>3</sup> / В ней было что-то» [СС1: 305]) и с Кавказом, темный цвет волос подсказали образ «юного демона», чему способствует и отсутствие на портрете ярко выраженных «женских форм». Вероятнее всего, имеется в виду лермонтовско-врубелевский демон, у Врубеля отчасти женоподобный. При всей разнице, что-то в картине Кардовской, действительно, может ассоциироваться с врубелевскими образами демона. Оба художника, каждый по-своему, выразили «страшную силу» красоты. К горным кавказским ландшафтам Лермонтова отсылает и эпитет «облачный» («Облачный — темен — лоб / Юного демона» [Там же: 234]). Небо на заднем плане портрета Кардовской напоминает занесенные снегом горы, и сама фигура Ахматовой находится высоко и смотрит как будто вниз (ср. картину «Демон сидящий» Врубеля). Смотрящий с высоты демон — это еще и тип горгульи, различие с которым маркировано словом «юный».

---

<sup>2</sup> Л. Л. Бельская подчеркивает «географический» сдвиг в стихах Цветаевой: «Шаль <...> превратилась в восточную, “из турецких стран”, что связано с “нерусским станом”, фамилией и происхождением адресата» [Бельская 1994: 31].

<sup>3</sup> Вероятно, орлиный мотив отсылает и к «вещим зеницам» «испуганной орлицы» в «Пророке» Пушкина.

В цветаевском образе «демона» важным элементом является соблазн, обольстительность, непреодолимые чары. Сопряжение мотивов «демона» и «стрел» расширяет метафорическую перспективу за счет переключки с образом Эроса<sup>4</sup>:

Каждого из земных  
Вам заиграть — безделица!  
И безоружный стих  
В сердце нам целится [СС1: 234].

При переходе от стихотворения 1915 г. «Анне Ахматовой» к циклу 1916 г. «Ахматовой» образ адресата претерпел изменения. Если внешняя красота героини была явлена в стихотворении, то в цикле акцент сделан на «страшной силе» этой красоты.

Т. С. Круглова отметила, что в цикле обращение на «Вы» сменяется обращением на «ты» [Круглова: 38]. Меняется коммуникативная перспектива: «я» теперь часто сливается с «мы» и говорит от лица всей «Руси»:

О, Муза плача, прекраснейшая из муз!  
О ты, шальное исчадие ночи белой!  
Ты черную насылаешь метель на Русь,  
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы [СС1: 303].

«Муза» и «Русь» — явления гетерогенные, и поведение «Музы» подчеркивает ее инородность. Метафорические «стрелы» здесь — те же «стрелы любви», что и в стихотворении «Анне Ахматовой», но вся картина гуляющей по Руси «черной метели», осыпающей ее жителей «стрелами», не случайно напоминает апокалиптическое бедствие, более всего — нашествие кочевников.

«Исчадие ночи белой», на наш взгляд, подразумевает не только «бесовское чад», порожденное ночной стороной жизни «города-призрака» Петербурга, но и угарный «чад» как своего рода инверсию белого тумана. За ним, возможно, стоит и озеро Чад из стихотворения Гумилева «Жираф» (1908), которое могло прочитываться как автобиографическое. В нем есть

---

<sup>4</sup> Напомним, что в «Пире» Платона Эрос назван «демоном».

и «черная дева», и противопоставленная ей героиня, которая «слишком долго вдыхала тяжелый туман» [Гумилев: 104].

Муза — внутренне гетерогенный образ, что выражается уже в контрасте определений: «прекраснейшая из муз» и «шальное исчадие». Она подобна колдунье: «насылание метели» — типичный магический акт или проявление стихийного духа (ср. с образом андерсеновской Снежной королевы). Но, поскольку «плач» и «вопли» ассоциируются с архаическими погребальными обрядами, можно представить, что метель несет хлопья не снега, а траурного пепла.

Действия Музы у Цветаевой напоминают действия других богинь и богов античной мифологии. В качестве аналогии можно вспомнить, как в начале Илиады [Гомер: 16] возмущенный Феб насыляет на ахейн мор лучами-стрелами:

Громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали  
В шествии гневного бога: он шествовал, ночи подобный. <...>  
Частые трупов костры непрестанно пылали по стану. <...>  
Вдруг и война, и погибельный мор истребляет ахейн...

По аналогии со светлым богом Мусагетом (предводителем Муз), отождествляемым с Солнцем-Гелиосом, цветаевская Муза плача оказывается «ночи подобной» и стрелами распростирает «мор».

Мифология, связанная с Аполлоном, была известна Цветаевой, вращавшейся в круге издательства «Мусагет». К тому же обращалась она к поэтессе, восхождение которой было связано с журналом «Аполлон». Одним из источников знаний Цветаевой об этой мифологии был филолог-классик и «первая любовь» Цветаевой — В. О. Нилендер.

Но для Нилендера, переводчика Гераклита и гимнов Орфея, еще важнее была сестра-близнец Аполлона — Артемида (Диана), отождествляемая с Селеной (Луной) и Гекатой, покровительницей чернокнижия и колдовства. Артемида была покровительницей Гераклита, жреца храма Артемиды Эфесской, на чем акцентирует внимание В. О. Нилендер во вступлении к своему переводу «Фрагментов» философа [Гераклит]. В цве-



таевских стихах к Нилендеру богиня Гераклита называется именно Гекатой:

Над ними лик склоняется Гекаты,  
 Им лунной Греции цветут сады...  
 Они покой находят в Гераклите,  
 Орфея тень им зажигает взор... [СС1: 97]

Будучи переводчиком Орфических гимнов, Нилендер «открыл» Цветаевой Орфея. К сожалению, его переводы не сохранились. Но, поскольку первый из Орфических гимнов посвящен Гекате, можно предположить, что содержание этого небольшого текста (11 строк) Цветаева знала в изложении Нилендера. Геката описана мечущей стрелы и взывающей к призракам на кладбище (даем в переводе О. В. Смыки [Гимны: 181]):

Я призываю Тебя, о Разящая метко Геката, <...>  
 Души умерших из бездн увлекая вакхической пляской,  
 Бродишь, Персеева Дочь, средь могил затеяв охоту.

«Вакхическая пляска» Гекаты могла перекликаться для Цветаевой с «адским танцем танцовщицы», о котором Цветаева позднее упомянула в дневниковой «рецензии» на стихи Ахматовой [ЗК1: 150]. Е. Б. Коркина и М. Г. Крутикова указывают, что это отсылка к стихотворению «Все мы бражники здесь, блудницы...» [Там же: 484]. Помещение Гекаты среди могил явно перекликается с местом пребывания Музы плача. Есть в гимне и другие переклички с «ахматовскими» мотивами, например, мотив «оленя»:

Вслед за Тобою бегут по безлюдным просторам олени,  
 Псы окружают Тебя, о Царица полночных видений.

Цветаева помнила, что Ахматова писала «изумительно — о серебряном голосе олени» [Там же: 150] в стихотворении «Он длится без конца — янтарный, тяжкий день!...»<sup>5</sup>, а связь Артемиды (Дианы) с оленем — общеизвестна. Ср. также:

<sup>5</sup> Цветаеву тронула отсылка к сказке Андерсена «Снежная королева», которую она сама обыграла в цикле «Подруга», посвященном С. Я. Парнок. Не забудем и про домашнее издательство Эф-



Неодолимая, Ты отзываешься свистом смертельным.

Этот «смертельный свист» (то есть резкие звуки) напоминает разящие «вопли» «Музы плача» и, как и «черная метель», может ассоциироваться с ветром. Неодолимая и смертельная Геката отзывается на призыв молящих. Параллель к этому образу можно найти во втором стихотворении к Ахматовой, где упоминается и Луна — символ Гекаты:

Ах, неистовая меня волна  
Подняла на гребень!  
Я тебя пою, что у нас — одна,  
Как луна на небе!  
Что, на сердце вóроном налетев,  
В облака вонзилась.  
Горбоносую, чей смертелен гнев  
И смертельна — милость [CC1: 303].

Эти строфы перекликаются и с финалом гимна Гекате, где она описывается как богиня, вдохновляющая и летающая:

Юношей доблестью Ты наделяешь, воинственный пламень  
В них возжигаешь. Летишь по горам, озирая владенья.

Гимн, как и положено, заканчивается молитвой:

Дай же надежду, прошу, всем молящим. И крепостью духа  
Их одари, как Своим волопасам удачу даруешь! [Гимны: 181]

Цветаева обращается к Ахматовой также от лица «всех молящих», осчастливленных «Музой плача»:

Мы коронованы тем, что одну с тобой  
Мы землю топчем, что небо над нами — то же! [CC1: 303]

Цветаева сообщает и о воздаянии посвященным в культ — они обретут бессмертие. Таким образом, Музе плача передоверяются функции Христа:

---

ронов «Оле-Лукое». Цветаева писала Ахматовой 17/30 марта 1921 г.: «Аля каждый вечер молится: — “Пошли, Господи, царствия небесного Андерсену и Пушкину, — и царствия земного — Анне Ахматовой”» [CC6: 205].

И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,  
Уже бессмертным на смертное сходит ложе [СС1: 303].

Кощунственный характер этой гиперболы усугубляется финальной строфой, где светлый православный град отдается во власть темному, языческому и «шальному исчадию»:

В певучем граде моем купола горят,  
И Спаса светлого славит слепец бродячий...  
И я дарю тебе свой колокольный град,  
— Ахматова! — и сердце свое в придачу.

Завершающая формула является парафразом крылатого выражения Андерсена — «весь мир и пару коньков в придачу». Кай, влюбленный в Снежную королеву, составляет из льдинок слова: «Только одно слово, которое ему очень хотелось сложить, у него не выходило — слово “вечность”. А между тем Снежная королева не раз говорила ему: “Если ты сложишь это слово, я отпущу тебя на волю и подарю тебе весь свет и пару новых коньков в придачу”» [Андерсен: 315]. Не исключено, что для Цветаевой просьба Снежной королевы перекликалась с ахматовским «томленьем о бессмертии».

В цикле «Подруга» Цветаева ассоциировала себя с Каем. Видимо, и здесь распределение ролей то же. Напомним, что Кай отдал себя во власть Снежной королеве, отказавшись от самого дорогого, нарушив все этические запреты. Именно такого рода «самоотверженность» демонстрирует и лирическая героиня стихотворения: ей «ничего святого» не жалко для своего кумира. Уже здесь Цветаева намечает сюжет будущей поэмы «На Красном Коне», позднее посвященной Ахматовой, только вместо Гения пока выступает Муза.

Логика Цветаевой понятна: бессмертным поэта делает творчество, но поэт должен быть призван Аполлоном, Музой, шестикрылым серафимом и т.д. Пронзенность стрелой Музы перекликается с аналогичным мотивом в финале поэмы «На Красном Коне» и в обоих случаях отсылает к иконографическому образу Св. Терезы Авильской, пронзаемой стрелой ангела (ср. скульптурную группу Бернини «Экстаз Святой Терезы» и другие воплощения этого образа, получившего популяр-

ность у русских модернистов [Войтехович 2008: 32, 72, 128, 134, 216]).

Проекция на «Снежную королеву» мотивирована и темой «бессмертья» / «вечности», и связью с северной столицей («белые ночи» — очевидная отсылка к петербургскому контексту), и публикациями Ахматовой в журнале «Гиперборей», но Муза не может прямо отождествляться со Снежной королевой, хотя бы потому, что белые ночи — примета летнего, солнечного времени. Муза плача — синтетический образ, фокусирующий отсветы многих фантастических существ, включающий в себя как элемент и «восточность».

Во втором стихотворении цикла («Охватила голову и стою...») еще раз подчеркивается и власть Ахматовой над Москвой, и ее инородность по отношению к ней, усиленная цветовым контрастом красного «червонного Кремля» и черной ахматовской «ночи» (в подтексте игра созвучием «черный» — «червонный»):

Что и над червонным моим Кремлем  
Свою ночь простерла,  
Что певучей негою, как ремнем,  
Мне стянула горло [СС1: 304].

Поскольку Ахматова в цикле мечет «стрелы», которые сравниваются с «черной метелью», не исключено, что «ночь» над Кремлем отсылает к риторической формуле — «тучи стрел, закрывающие солнце» (см. в «Слове о полку Игореве»). Автор словно забыл, что Москва «подарена» ею Ахматовой: Ахматова распространяет свою власть на героиню, «стянув горло», и отнимает ее собственность, что выражено местоимениями: «...над <...> *моим* Кремлем *свою* ночь простерла» (курсив мой. — Р.В.). Предлог «над» вместе с идеей подчинения, привносит семантику «давления» и отсылает к понятию «ига» (букв. ярмо, хомут), которое оборачивается «певучей негой», актуализирующей идиому «восточная нега». «Иго» налагается здесь по любви. Позднее этот мотив отразится в набросках «Поэмы Конца», где любовь получит определение «ахматовский хомут» [СТ: 274].



Это «иго-нега» предстает неким соблазном, обольщением, что в совокупности с образом восточной опасности, угрожающей древней столице, отсылает не только к монголо-татарскому игу (закончившемуся вместе с ханом Ахматом), но и к пушкинской сказке о Шамаханской царице. Шемаха в прошлом — столица прикаспийского Ширванского ханства. Может быть, с этим связано то, что в 5-м стихотворении цикла возникает Каспийское море. Т. Горькова убедительно доказала [Горькова: 217], что Цветаева использует в этом стихотворении мотивы поэмы «У самого моря» (название которой взято из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке):

Помнишь бешеный день в порту,  
Южных ветров угрозы,  
Рев Каспия — и во рту  
Крылышко розы [СС1: 306].

Цветаева учитывает и мотивы ахматовского стихотворения «Рыбак». Ср. «Все сильней биенье крови / В теле, раненном тоской» [Ахматова 1: 41] и цветаевское:

И — высоко у парусов —  
Отрока в синей блузе.  
Гром моря и грозный зов  
Раненой Музы [СС1: 306].

По нашему мнению, в стихотворении разыгрывается коллизия, намеченная в стихах Ахматовой, лирическая героиня которой колеблется между Музой и любовью (например, в стихотворении «В то время я гостила на земле...», на которое И. Шевеленко указывала как на один из источников цветаевского цикла [Шевеленко: 127]).

Упомянутые ахматовские тексты связаны с Черным морем, но Цветаева смещает место действия на восток. Одна из возможных причин — то, что Волга и Каспий — традиционный путь русских путешественников на Восток, с ним связано больше исторических преданий. Например, это место действия сюжета о Разине и «персианке», которая у Цветаевой приобретает черты коварной красавицы, напоминающей Шамаханскую царицу («Сон Стеньки Разина»). Каспийское море устойчиво



ассоциируется у Цветаевой с любовным соблазном и коварством (см. цикл «Скифские», где в роли восточной Афродиты выступает Астарта-Иштар).

В 7-м стихотворении ахматовского цикла Цветаева усиливает ряд уже использованных мотивов:

Ты, срывающая покров  
С катафалков и с колыбелей,  
Разъярительница ветров,  
Насылательница метелей,  
Лихорадок, стихов и войн,  
— Чернокнижница! — Крепостница! —  
Я слышала грозный вой  
Львов, вещающих колесницу.<...>  
Океаном ли правишь путь,  
Или воздухом — всею грудью  
Жду, как солнцу, подставив грудь  
Смертоносному правосудью [СС1: 308].

И. Шевеленко остроумно замечает, что у Цветаевой «Ахматова может представлять и как Богородица, и как ее антипод, “лже-Богородица” <...> делает она ровно противоположное тому, что совершает Богородица, опускающая покров на страждущих (т.е. дающая им защиту)» [Шевеленко: 129]. Это наблюдение можно конкретизировать.

В первом четверостишии срывание покрыва напрямую связано с ветрами и метелями, и в этом прежде всего выражаются стихийность и кошунственность («языческая месть», как сказано в сонете посвященном Овидию «Как жгучая отточенная лесь...», 1915). Срывание покрыва с катафалка не представляет угрозы умершему, но это акт надругательства, вызывающий возмущение. Строка про «лихорадки, стихи и войны» может отсылать к теме Троянской войны, а частности, в интерпретации Мандельштама («Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»). По-видимому, здесь есть намек на то, что героиня инспирирует любовную «лихорадку», а это заставляет видеть в героине отсвет Афродиты, богини любви и красоты (ей посвящено стихотворение Державина «Рождение Красоты», отозвавшееся

в “Silentium” Мандельштама). Отметим, что в стихах Ахматовой часто упоминаются голуби, которые у Цветаевой четко маркированы как птицы Афродиты (см. цикл «Хвала Афродите» и отказ от «птиц» в цикле «Сивилла»).

Тут же героиня называется «чернокнижницей», колдуньей и «крепостницей», что подхватывает линию любовного «ига». Заметим также, что параллель с Гекатой вновь поддерживается мотивом многих путей: она едет по земле на колеснице, запряженной львами (или львы предупреждают о ее колеснице), но может «править путь океаном» и «воздухом». Ср.:

Три заповедных пути предержавшая грозная Дева,  
Сжался, сойди к нам в земной ипостаси, морской и небесной...  
[Гимны: 181]

Возможно, многоликость Гекаты (часто ее изображали с тремя лицами) послужила одним из стимулов эклектического подхода Цветаевой к образу Ахматовой<sup>6</sup>.

Но поскольку сама Ахматова проецируется Блоком на персонифицированную Красоту, она может отождествляться и с протеичной любовью из ее собственных стихов: «То змейкой, свернувшись клубком <...> То целые дни голубком...» [Ахматова 1: 25]. Как заметила М. В. Боровикова, колесница, запряженная львами, — атрибут Кибелы, матери богов [Боровикова 2011], а «великая мать» — своеобразный аналог Богома-

<sup>6</sup> Связующим звеном между образами Гекаты и Афродиты могла послужить Астарта-Иштар как богиня-воительница, богиня любви, лунная богиня и «мать богов» одновременно. Она изображалась нередко в профиль с луком и львом. Оставаясь богиней восточной, она отождествлялась древними с Афродитой и Гекатой. В 1914 г. Цветаева переписывалась с В. В. Розановым по поводу его книги «Люди лунного света», в которой эта мифология тщательно описана, включая и возможность «перекодировки» одних божеств в другие, в том числе — с переменой пола [Розанов: 3–10]. С образом Астарты Цветаева могла познакомиться и на страницах «Путей и перепутьев» В. Брюсова, отрецензированных ею еще в статье «Волшебство в стихах Брюсова» (1910).

тери, что косвенно подтверждает упомянутую выше мысль Шевеленко.

В 1921 г. между Цветаевой, ее дочерью и Ахматовой завязалась переписка с обменом книжками и подарками. В августе переписку с цветаевской стороны подтолкнули сообщения о гибели Блока и Гумилева и слухи о смерти Ахматовой. Цветаева написала далекое от мифологизации откровенное стихотворение, излагающее отношения двух поэтов:

Соревнования короста  
В нас не осилила родства.  
И поделили мы так просто:  
Твой — Петербург, моя — Москва.

Блаженно так и бескорыстно  
Мой гений твоему внимал.  
На каждый вздох твой рукописный  
Дыхания вздымался вал.

Но вал моей гордыни польской —  
Как пал он! — С златозарных гор  
Мои стихи — как добровольцы  
К тебе стекались под шатер...

Дойдет ли в пустоте эфира  
Моя лирическая лесть?  
И безутешна я,  
Что женской лиры  
Одной, одной мне тягу несть [СС2: 53–54].

Последняя строфа может быть истолкована по-разному, но, вероятнее всего, речь идет о том, что Ахматова находится в мире ином (ср. «в пустоте эфира» с началом поэмы «Новогоднее»), а Цветаева остается единственной женщиной-поэтом.

Цветаева не скрывает, что ее слова во многом — «лирическая лесть», что между двумя «женскими лирами» было «соревнование», но победило «родство» и радостное со-творчество, причем Ахматова служила Музой — вызывала вдохновение («вал дыханья»). Отмечена и асимметрия: вздох Ахматовой («ах») — «вал» Цветаевой. Это говорит и о могуществе скромного вздоха, и о щедрости «вала».

Соревнование описывается как военные действия или турнир, на который съехались соперники из разных стран; участникам придаются иностранные черты. Себя Цветаева ассоциирует с Польшей. Польские залитые солнцем «горы» соотносятся с валом «гордыни» и шатром по очертаниям. Здесь «вал» — и большая волна, и реализация морской семантики имени Марина, и, вероятно, оборонительный вал [Полляк: 189] (ср. с образом польки в стихотворении «Бабушке», 1914).

Стихи текут с освещенных гор во мрак шатра, эксплицируя оппозиции 'светлое — темное' и 'Запад — Восток'. Ситуация с шатром вновь напоминает нам «каспийскую» связку мотивов и сюжет о Шамаханской царице. Теперь Цветаева моделирует и свою героиню как завоевательницу, но с Запада, вероятнее всего, подразумевая Марину Мнишек<sup>7</sup>.

Позднее Цветаева опубликовала в сборнике «Ремесло» (1923) вторую половину стихотворения как «Отрывок из стихов к Ахматовой», заменив конец:

Следя полночные наезды  
Бдил добровольческий табун,  
Пока беседовали звезды  
С Единодержицею струн [CC2: 54].

Слово «табун» вносит тему кочевий, что можно рассматривать как развитие «ордынской» семантики. Стиль этого отрывка, его «верноподданническая» и военная риторика заставляет вспомнить «Фелицу» Державина, обращенную к «Богopodobной царевне Киргиз-Кайсацкия орды». Державин был одним из любимых поэтов Цветаевой, и не случайно она создала свой вариант «Царь-Девыцы» (1920). Заметим, что ода «Фелица» кончается у Державина соединением мотивов государыни и звезд: «Да дел твоих в потомстве звуки, / Как в небе звезды, возблестят» [Державин: 47]. Если в первом варианте стихотворения к Ахматовой речь шла о соревновании и двоевла-

<sup>7</sup> Значение «Мнишек» («монашек»), возможно, обыграно Мандельштамом в «Не веря воскресенья чуду...»: «С такой монашкой туманной Остаться — значит быть беде» [Мандельштам: 135].



стии, которое закончилось передачей полной власти «польке» Цветаевой, то теперь Ахматова утверждается как «Единодержца» поэзии. Себя Цветаева представляет защитницей статуса Ахматовой, хотя эпитет «добровольческий» отсылает к защитникам павшей монархии, что косвенным образом указывает на шаткость положения Ахматовой в советской России.

Характерно, что Ахматова распознала отсылку к Марине Мнишек и дважды — в прозаических и стихотворных набросках упомянула въезд Цветаевой в Москву как въезд Марины Мнишек: «Так твоя знаменитая тетка / В золотую вступала Москву» [Ахматова 1: 416]; «Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда (не так, как та, с которой она любила себя сравнивать, т.е. с арапчонком и обезьянкой в французском платье, т.е. *décolleté grande gorge*)» [Ахматова 1996: 278]<sup>8</sup>. Отметим, что французское название высокого воротника может содержать анаграмму все той цветаевской «гордости».

Некоторые черты цикла Цветаевой 1916 г. (ряд «чернокосынька», «чернокрылонька», «чернокнижница») отразились в стихотворении «Ахматовой» (29 декабря 1921), которое считается последним из посвященных ей. Но Ахматовой посвящено, по-видимому, и стихотворение «Муза» (19 ноября 1921) как отклик на их прерванную переписку. Муза наделяется узнаваемыми чертами ахматовской Музы («смуглые веки») и цветаевских смысловых «приращений»: «Забыла — и россыпью / Гортанною, клеткотом...» [CC2: 66].

Известен скрытый диалог Цветаевой с Ахматовой в поэме «На Красном Коне», где Цветаева отказывается от Музы с ее черными косами и бусами (узнаваемые приметы Ахматовой) в пользу сурового и мужественного Гения. Но еще не отмечалась перекличка со стихотворением «Под крышей промерзшей пустого жилья...»:

---

<sup>8</sup> Ахматову впечатлило первое стихотворение цикла «Марина»: тот же размер и строфу Ахматова использовала в «Поэме без героя», а схожий синтаксис, мотивы полета, птиц и двойничества в «Позднем ответе» Цветаевой [Лиснянская: 150–152].

Читаю посланья Апостолов я,  
 Слова Псалмопевца читаю.  
 Но звезды синеют, но иней пушист,  
 И каждая встреча чудесней, —  
 А в Библии красный кленовый лист  
 Заложен на Песни Песней [Ахматова 1: 83].

Ср. в «Старинном благоговенье» (1920) Цветаевой:

Он пишет кратко — и не часто...  
 Она, Психеи бестелесней,  
 Читает стих Экклезиаста  
 И не читает Песни Песней [СС1: 511].

Метрически выделенная частица «не» звучит эмфатически, как будто Цветаева спорит с кем-то. Разумеется, здесь противопоставляются две книги Соломона, но не исключено, что в памяти стихотворения был «заложен» и ахматовский текст, что подтверждается неожиданным вторжением полонизма «не можно»:

Вздох торжествующего долга  
 Где непреложное: «не можно»...

Поступая вопреки героине Ахматовой, польская героиня Цветаевой еще раз актуализирует «национальную» струну ахматовско-цветаевского со-противопоставления в пределах общего поля русской поэзии, их «польско-татарскую» взаимную дополнительность.

## ЛИТЕРАТУРА

- Андерсен: *Андерсен Г. Х.* Сказки. М., 2005.  
 Антокольский: *Антокольский П. Г.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1973. Т. 4.  
 Ахматова 1–2: *Ахматова А. А.* Соч.: В 2 т. М., 1990.  
 Ахматова 1996: Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1965). М.; Torino, 1996.  
 Бельская: *Бельская Л. Л.* Диалог трех поэтов... об ахматовской шали (Мандельштам, Блок, Цветаева) // Русская речь. 1994. № 1. С. 27–33.  
 Блок: *Блок А. А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3.

- Боровикова: *Боровикова М. К* вопросу о творческих взаимоотношениях А. Ахматовой и М. Цветаевой // *Toronto Slavic Quarterly: University of Toronto*. № 35.
- Боровикова 2011: *Боровикова М.* Поэтика Марины Цветаевой (лирика конца 1900-х – 1910-х гг.). Тарту, 2011.
- Брюсов: *Брюсов В. Я.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1.
- Войтехович: *Войтехович Р.* «Имя твоё — птица в руке»: из чего сделаны стихи Цветаевой // *Блоковский сборник XVII: Русский модернизм и литература XX века*. Тарту, 2006. С. 54–66.
- Войтехович 2008: *Войтехович Р. С.* Марина Цветаева и античность. М.; Тарту, 2008.
- Войтехович 2010: *Войтехович Р. С.* Имя адресата в поэзии М. Цветаевой // *Поэтика и фоностилистика. Бриковский сборник*. М., 2010. Вып. 1. С. 277–284.
- Гераклит: *Гераклит Эфесский*. Фрагменты. М., 1910.
- Гимны: *Античные гимны*. М., 1988.
- Гиршман: *Гиршман М. М., Свенцицкая Э. М.* «В Царском Селе» А. Ахматовой // *Русская словесность*. 1998. № 2.
- Гомер: *Гомер*. Илиада. М., 1985.
- Горькова: *Горькова Т.* Некоторые штрихи творческих и личных взаимоотношений Марины Цветаевой и Анны Ахматовой // *Марина Цветаева и Франция*. М.; Париж, 2002. С. 206–229.
- Гумилев: *Гумилев Н. С.* Стихотворения и поэмы. Л., 1988.
- Державин: *Державин Г. Р.* Сочинения. М., 1985.
- Дюсембаева: *Дюсембаева Г.* «Я — отраженье вашего лица» // *Graduate Essays on Slavic Languages and Literatures*. Pittsburg, 1996. Vol. 9. P. 48–56.
- Ельницкая: *Ельницкая С. И.* Статьи о Марине Цветаевой. М., 2004.
- Жирмунский: *Жирмунский В. М.* Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.
- ЗК1–2: *Цветаева М. И.* Неизданное. Записные книжки: В 2 т. М., 2000–2001.
- Критика: *Марина Цветаева в критике современников*: В 2 ч. М., 2003. Ч. 1.
- Круглова: *Круглова Т. С.* Лирический диалог М. Цветаевой и А. Ахматовой в жанровом аспекте // *Вестник Новгородского гос. ун-та*. 2010. № 56. С. 36–40.
- Лиснянская: *Лиснянская И.* Шкатулка с тройным дном. Калининград, 1995.
- Лосская: *Лосская В. К.* Песни женщин. Париж; М., 1999.

- Мандельштам: *Мандельштам О. Э.* Полн. собр. стихотворений. СПб., 1997.
- Полляк: *Полляк С.* Славословия Марины Цветаевой — (Стихи к Блоку и Ахматовой) // *Марина Цветаева: Труды 1-го международного симпозиума.* Bern, 1991. С. 179–191.
- Примечания: Примечания к Поэме без героя // [http://www.akhmatova.org/poems/poema\\_prim2.htm](http://www.akhmatova.org/poems/poema_prim2.htm)
- Розанов: *Розанов В. В.* Люди лунного света: Метафизика христианства. СПб., 1913. Изд. 2.
- Саакянц: *Саакянц А.* Марина Цветаева: Жизнь и творчество. М., 1997.
- Семья: *Цветаева М.* Неизданное. Семья: История в письмах. М., 1999.
- СС1–7: *Цветаева М. И.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1994–1995.
- СТ: *Цветаева М. И.* Неизданное. Сводные тетради. М., 1997.
- Чуковская 1–3: *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 1997.
- Шевеленко: *Шевеленко И. Д.* Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика – идентичность автора в контексте эпохи. М., 2002.



ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЛИЧНОСТИ И НАЦИИ  
В РОМАНЕ А. Х. ТАММСААРЕ  
«Я ЛЮБИЛ НЕМКУ»  
(роль русской литературной традиции)\*

ЛЕА ПИЛЬД

«Развитие» (медленное протекание исторических и индивидуально-психологических событий во времени) — это одно из центральных понятий в художественном мире и историософии эстонского писателя А. Х. Таммсааре (1878–1940), которое писатель противопоставляет катаклизмам, катастрофическим событиям.

Столь же важным оказывается для Таммсааре романский жанр, в котором *развитие* персонажей становится смысловой и сюжетной доминантой. Черты «романа воспитания» прослеживаются, в первую очередь, в пенталогии «Правда и справедливость» (1926–1933) (линия Индрека). Некоторые литературные критики обращали внимание на следы этого жанра в структуре романа «Жизнь и любовь» (1934) (об этом см., напр.: [Annist: 16]). Однако эта особенность еще не отмечалась интерпретаторами романа «Я любил немку» (1935). С нашей точки зрения, и в этом произведении отразились некоторые черты названного жанра<sup>1</sup>.

---

\* Работа выполнена в рамках темы целевого финансирования «Рецепция русской литературы в Эстонии в XX в.: поэтика и интерпретация перевода» и в рамках гранта ЭНФ № 7901 «Идеологическая география» западных окраин Российской империи в литературе».

<sup>1</sup> По-видимому, Таммсааре имел представление об истоках жанра романа воспитания («развития») в собственном творчестве. Например, во второй части «Правды и справедливости» довольно большое место занимают размышления Индрека и Рамильды о

Во многих литературно-критических статьях (см., напр.: [Urgart; Hubel]) и научных исследованиях [Siimisker: 203–204; Teder] в образе главного героя интересующего нас романа подчеркиваются неизменность и неподвижность; акцентируется зависимость персонажа от среды или же его человеческие слабости (герой отчасти стыдится своего эстонского происхождения).

Такое понимание характера предполагает, что он не меняется на протяжении всего произведения. Отметим, однако, что Оскар, главный персонаж романа «Я любил немку», не просто страдает от комплекса неполноценности в связи со своей национальностью, но одновременно преодолевает его, превращаясь по мере развития действия в писателя, автора художественного произведения, в котором отражено его духовное развитие<sup>2</sup>.

Еще до начала любовного романа с Эрикой, во время обучения Оскара в университете, в его поведении обнаруживаются те отличительные особенности, которые можно считать проявлением внутренней ущербности: ориентация на немецкую (остзейскую) культуру, забвение своих национальных корней, переоценка современной цивилизации, безволие (см., об этом, напр.: [Teder: 201–203]). Любовь к Эрике постепенно

Гете, роман воспитания которого «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795–1796) был, безусловно, знаком писателю.

О специфике и значении этого жанра в западноевропейской литературе см.: [Бахтин: 199–250].

<sup>2</sup> Специфика жанра и композиции романа (создатель текста — герой, а не автор) может быть связана с негативным отношением литературных критиков к главному герою романа Таммсааре «Жизнь и любовь», а также к *жанру* этого романа. Критики обвиняли Таммсааре в излишней близости образа Рудольфа Икка к самому автору, а сам роман — в «фельетонности». Ср.: «Поскольку событийный и психологический узел в романе “Жизнь и любовь” находятся в зависимости от “фельетонного” персонажа Икка, то и сам роман становится фельетонным» [Tuglas: 288]. Здесь и далее перевод литературно-критических и публицистических статей — мой.

приводит к изменениям в духовном мире Оскара: герой начинает рефлексировать — переживать сложный процесс внутреннего раздвоения, расщепления.

Внутреннее раздвоение персонажей изображается и в других сочинениях Таммсааре, прошедшего школу художественного психологизма Достоевского (ср., напр., борьбу Индрека с самим собой в четвертой части «Правды и справедливости», рефлексию Рудольфа в «Жизни и любви» и т.д.). Произшедшие с Оскаром изменения — это результат мучительного самоанализа: полюбив Эрику, он становится способным к самокритике и глубинному пониманию собственного комплекса неполноценности на национальной почве. «Неполноценность» проявляется, например, в том, что пытаясь оценить свое чувство к *немке* Эрике, герой сравнивает себя с «волком», который «воет на луну» и не верит в ответное чувство девушки: «Меньший может любить большего, низший — высшего, но не наоборот. Волк воет на луну, но луна до сих пор ни на одного волка не выла, таков закон жизни» [Таммсааре: 234].

Нет никаких оснований считать, что критическое отношение к своим прежним взглядам на жизнь появилось у Оскара *до* влюбленности в Эрику (можно только предположить, что оно существовало тогда на уровне подсознания)<sup>3</sup>. Одновременно с ощущением собственной неполноценности раскрывается вторая сторона мира души главного героя: он испытывает искреннее и бескорыстное чувство к бедной гувернантке дворянского (остзейского) происхождения. Оскар полностью отдается своей любви, ему даже в голову не приходит изменить своей возлюбленной. Но глубина любовного чувства почти ничего не значит в его собственных глазах. Увидеть свет люб-

<sup>3</sup> Героиня романа Эрика размышляет о любви как непосредственном импульсе изменения («развития») душевного мира: «...на свете есть лишь одна вещь, которая нас развивает, — любовь. Теперь я знаю это и ни в чем не упрекаю Вас» [Таммсааре: 385]. Оскар подчеркивает ту же мысль, рассказывая о начальных стадиях своей любви: «...моя любовь, по-видимому, была еще далеко не свободна от эгоизма» [Там же: 319].

ви в своей душе и признать его ценность герою мешают мучительные размышления о собственном «низком» происхождении, «эстонскости».

Второй непосредственной причиной, изменяющей внутреннее состояние Оскара и обуславливающей его нравственное развитие (совершенствование), становится *писание романа*. Он начинает создавать роман после того, как Эрика его бросает, но до получения рокового письма (до смерти Эрики).

Главный герой превращается в писателя после того, как теряет место чиновника в департаменте<sup>4</sup>. В связи с этим еще более углубляется и становится многогранной его способность к самоанализу. В то же время продолжается упомянутый выше процесс «расщепления» внутреннего мира. Драматическое содержание автобиографического романа, который пишет Оскар, находится в явном противоречии с окружающим его «литературно-бытовым» контекстом и обусловленным им поведением Оскара. Стремясь превратиться в современного писателя, он пытается согласовать свой образ жизни с требованиями обстоятельств, как это делал, учась в университете. Участие в корпорации заменяется богемным образом жизни (т.е. герой вновь подчиняется требованиям «среды»):

Однако моей «богеме» способствовало еще и неизвестно где заимствованное убеждение, будто для того, чтобы стать писателем — а я этого в то время хотел, — непременно надо быть бездомным, то есть проводить свое свободное время где угодно, только не у себя дома [Таммсааре: 360].

Душевное раздвоение проявляется в мучительных переживаниях, но Оскар не способен к подлинному противоборству с самим собой (в отличие от Индрека в «Правде и справедливости»). Мы можем предположить, что герой кончает жизнь самоубийством, хотя прямо об этом в романе не говорится.

<sup>4</sup> Это обстоятельство позволяет говорить о возможной отсылке к повести Достоевского «Бедные люди» (1846), в которой «маленький человек» (мелкий чиновник) Макар Деушкин переживает значимые внутренние изменения в ходе *переписки* с Варенькой Доброселовой.



Есть основания полагать, что Таммсааре усматривает в своем герое тип «лишнего человека»<sup>5</sup> — образ, восходящий к русской литературной традиции XIX в. Для подтверждения этой мысли стоит обратиться к некоторым другим текстам Таммсааре, а также проанализировать глубинные уровни романа, выделяя в нем реминисценции из русской классической литературы XIX в.

Как известно, Таммсааре в первой половине 1930-х гг. довольно много пишет о проблемах национальной жизни и культуры<sup>6</sup>. Средоточием публицистических размышлений писателя становится, в частности, сравнение различных европейских наций и культур (а также разных национальных идентичностей). Важное место уделяется оценке немецкой и русской наций, сопоставлению эстонского, немецкого и русского национальных характеров.

Так, например, в статье «О культуре и демократии» (1933) Таммсааре утверждает:

Неужели у России, кроме лени и безделья больше нечему поучиться? Но ведь в России встречаются умы, которые в течение полувека оказывали воздействие если не на весь мир, то, по крайней мере, на всю Европу. Если Европа, перед которой мы вечно лебезим, переняла у России что-то хорошее, то почему же

<sup>5</sup> В романе находим косвенный намек на *ненужность* главного героя. Ср.: «Мало того, я прибежал и к помощи писем — мне хотелось, наконец, выяснить, неужели в целой Эстонии не найдется места всего лишь для одного человека, который к тому же готов сократиться до минимума, даже локти в себя вобрать. Но в Эстонии места для меня не нашлось, во всяком случае на срок более или менее продолжительный» [Таммсааре 1968: 358].

<sup>6</sup> Первые рецензенты романа также считали основной темой этого произведения Таммсааре тему национальную. Ср.: «Хотя любовный роман как таковой представляет собой самостоятельную ценность, идейная сложность этого произведения заключается в том, что в связи с изображенными здесь взаимоотношениями между двумя юными персонажами и двумя нациями подчеркивается проблема культуры, существенная для всей нашей нации» [Raudsepp: 1151].

мы не можем этого сделать? Точно так же обстоит дело с Германией. Разве кто-нибудь считает, что нам нечему было поучиться у немцев в прошлом, и мы не можем ничего хорошего перенять у них сейчас? Мы могли научиться кое-чему хорошему даже у остзейцев, но все же, в первую очередь, усваиваем их слабости [Tammsaare 1990a: 26].

По мнению главного героя романа «Я любил немку», эстонские студенты (как и все другие эстонцы) подражают остзейским немцам во всем, даже копируют недостатки немецкого «национального духа»:

Мы отобрали у баронов их поместья и теперь спешили перенять и образ жизни, который царил в этих поместьях <...> Мы изо всех сил старались усвоить традиции, обычаи, образ жизни, мировоззрение их недавних владельцев — все этическое и эстетическое отношение к окружающей действительности [Таммсааре: 186].

Ср. также:

Что касается нас, таким полем, такой обетованной землей нам казался университет, вернее, не сам университет, а то, что с ним связано, что является его атрибутами: самостоятельность, свобода, возможность действия по своему усмотрению, даже в тех случаях, когда вопрос касается бездельничанья и разгульной жизни [Там же: 26].

Взаимосвязь душевного мира Оскара с исторически обусловленными «слабостями» немецкого национального духа («духовная дряблость») показана в романе на сюжетно-фабульном уровне. На более глубоких уровнях структуры романа обнаруживается сходство главного героя с «лишним человеком».

Об этом типе в русской литературе XIX в. Таммсааре писал в нескольких своих статьях. Наиболее концептуальной интерпретацией названного образа следует считать размышления писателя в неопубликованном при жизни эссе о Достоевском (<“Sissejuhatuseks”>, 1924)<sup>7</sup>:

<sup>7</sup> Об отражении творчества Достоевского в произведениях Таммсааре см., напр.: [Sillaots: 128; Siimisker: 47; Ligi: 1732; Undusk: 495; Grišakova: 80–86; Vene: 345–356].

В Ставрогине проявляется в измененном виде столь знакомый характер, который Лермонтов называет Печориным, Пушкин — Евгением Онегиным, Гоголь — Тентетниковым, Тургенев — Рудиным. В нем заключены бесконечные возможности, но у него нет воли, и из него ничего не выходит. В нем борются противоположные силы, которые уничтожают друг друга и парализуют действие [Tammsaare 1988a: 642].

Далее Таммсааре подчеркивает, что русские интеллигенты («лишние люди»), «оставаясь чужими для родины и народа, теряли понимание о ней, связь с ней» [Там же: 643].

В период создания романа «Я любил немку» Таммсааре переводит на эстонский язык роман Гончарова «Обломов» и пишет к нему предисловие (1934)<sup>8</sup>. Здесь он снова возвращается к проблеме «лишнего человека». К перечисленным в эссе о Достоевском образам «лишних людей» он добавляет Обломова, обращая при этом к статье Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» (1859):

Образ Обломова не стоит в русской литературе особняком. Как раньше, так и позже там можно найти родственные ему души. «Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности» (Добролюбов). «Они бездельничают, заедают чужой век, говорят и чувствуют себя лишними в мире. Они лишние, непотребные люди». Этим духом времени или породы заражены Печорин Лермонтова, Онегин Пушкина, Чацкий Грибоедова, Тентетников Гоголя, Рудин Тургенева и многие другие [Tammsaare 1990b: 384].

Здесь, в отличие от эссе 1924 г., в котором Таммсааре (в духе русской радикальной критики 1860-х гг.) говорит о безволии и противоречивости мира психики «непотребных» людей, подчеркивается их «безделье», потому что теперь писатель склоняется к истолкованию душевной дряблости и лени русских

<sup>8</sup> См.: [Tammsaare 1990b: 381–388]. Интерес к Гончарову у Таммсааре был, возможно, обусловлен мыслью о том, что все три романа писателя («Обыкновенная история» 1847; «Обломов» 1859; «Обрыв» 1869) связаны с жанром романа воспитания. См. об этом: [Красношекова].



как свойств их «породы» (а не как «наследия» крепостного права):

Некоторые надеются, что обломовщина может быть уничтожена работой поколений <...> Трудно поверить, что труд может изменить породу — напротив, свойства породы обуславливают характер труда и его разновидности [Tammsaare 1990b: 385–386].

Что заставляет писателя сопоставлять характеристики трех национальностей? Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в том, что интерес Таммсааре к типологическому сравнению ментальностей и материальных культур разных наций, по-видимому, был стимулирован книгой Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918–1922), которую писатель реферировал в 1925 г. [Tammsaare 1988b: 526–548].

Следуя учению Шпенглера о культурах как организмах, Таммсааре разделяет национальности на «стареющие» и «юные»<sup>9</sup>. В статье «“Закат Европы” Освальда Шпенглера» Таммсааре обратил внимание эстонского читателя на шпенглеровское истолкование тенденций культурного развития в России:

Шпенглер не причисляет Россию к западным культурам. Петр Великий пытался ее туда протащить, но это произошло насильственно и противоестественно. <...> России еще только предстоит развиваться, и она будет развиваться, побуждаемая самобытной душой [Там же: 546].

К “молодым” нациям принадлежат, по Таммсааре, и немцы, не говоря уже об эстонцах — писатель включает эстонскую культуру в число «начинающих свое развитие» (“algavad kultuurid”) [Tammsaare 1990c: 184]. Представление об исторической молодости некоторых национальных культур, возможно, и

<sup>9</sup> Со многими идеями Шпенглера Таммсааре, тем не менее, не соглашался. Так, например, он стремился *анализировать* особенности развития национальных культур — в противовес Шпенглеру, утверждавшему, что культуры замкнуты в отношении друг друга и рационально не познаваемы (отметим, что тема «Таммсааре и Шпенглер», несомненно, нуждается в более глубоком и детальном исследовании).



побудило Таммсааре к рефлексии о типологических параллелях в их развитии. Разумеется, более всего писателя интересовало будущее эстонцев; он был возмущен как последствиями революции в России, так и приходом к власти нацистов в Германии. В обоих случаях были установлены политические диктатуры, культурные истоки которых Таммсааре видел в одностороннем развитии интеллектуального начала в эпоху современной цивилизации<sup>10</sup>, а также в радикализме политического поведения молодых наций<sup>11</sup>.

В России носителем интеллектуального начала была интеллигенция (те же лишние люди), которая в течение многих десятилетий существовала в отрыве от народа (российского крестьянства)<sup>12</sup>. Такая опасность (расщепление нации как целого) может угрожать, по мнению Таммсааре, и эстонцам, поскольку

<sup>10</sup> Ср.: «Тем не менее, ведь Германия как будто была страной философов и ученых. Но, возможно, именно поэтому здесь все и должно было закончиться национальным безумием» [Tammsaare 1990d: 18].

<sup>11</sup> Ср.: «Мы крайне нуждаемся в рассудительности французов и деловитости англичан, даже если их доставят нам вместе с вином, духами или “извечной” трубкой. В противном случае мы действительно можем придти к заключению, что капризные и безрассудные прыжки русских и немцев от одной крайности к другой — это и есть политическая культура» [Tammsaare 1990a: 30].

<sup>12</sup> Так, например, Таммсааре писал, соглашаясь со Шпенглером и цитируя его: «Русское общество больших городов со всей его заимствованной культурой и литературой, национальной экономикой и стремлением исправить мир не знакомо и непонятно архаической (первозданной) России. Народу нечего с этим делать, потому что все это принадлежит “обществу”». «Если первым деянием Антихриста была постройка Петербурга, то самоуничтожение появившегося под влиянием Петербурга общества — вторым: так это должен понимать крестьянин. Потому что и большевики — это не народ, даже и не часть его. Большевики — это низший слой “общества”, чужой и ориентированный на Запад, как и само это “общество”» [Tammsaare 1988b: 547].

ку эстонская интеллигенция все более отдаляется от культуры своих предков (крестьянской культуры), забывает ее<sup>13</sup>.

Кроме Гончарова, существовал еще и другой русский романист, явно интересовавший Таммсааре, также акцентировавший в своих сочинениях молодость русской нации, лишь недавно вступившей на путь подлинно исторического развития.

В романе «Я любил немку» есть реминисценции, отсылающие к романам и повестям Тургенева о лишнем человеке. В отличие от Гончарова, Тургенев уделил довольно много внимания анализу самоценного интеллектуального начала, не согласованного с чувствами, — теме, особенно привлекавшей Таммсааре в 1930-е гг.<sup>14</sup>

Герой романа «Я любил немку» Оскар, подобно тургеневскому Рудину в интерпретации Таммсааре, не способен справиться со своей жизнью и любовью — ему не хватает воли и решительности для совершения поступков, а его представления о жизни лишены зиждательной связи с национальными «корнями», родной культурой. Поведение же героини романа Эрики вполне отчетливо напоминает поступки Елены из романа «Накануне» (1860): героиня Таммсааре принимает решение «бежать» вместе с Оскаром.

Еще более существенна связь романа Таммсааре с повестью Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850), которая, как хорошо известно, была написана в период разочарования писателя в романтической культуре и теоретических построениях немецкой классической философии. Тургенев изобразил, как исказился под воздействием всех этих идей душевный мир русского дворянина, уклонился в сторону одностороннего интеллектуализма (рационализма), индивидуализма и отрыва от реальной жизни. (В публицистике 1920–1930-х гг. Таммсааре

<sup>13</sup> Ср. размышления Оскара после беседы со старым бароном, весьма недоверчиво отнесшимся к своему собеседнику: «Не потому ли, что барон полагал, будто настоящий эстонец относится к жизни серьезнее, чем отношусь к ней я, и в связи с этим заслуживает несравненно большего доверия, в особенности в трудные моменты жизни?» [Таммсааре: 293].

<sup>14</sup> Ср. критику интеллектуализма Таммсааре в статье [Annist: 5–21].

предостерегает эстонскую интеллигенцию именно от крайностей рационализма и индивидуализма).

С «Дневником лишнего человека» роман Таммсааре связывают, в первую очередь, некоторые общие жанровые особенности («роман» Оскара — это не «дневник», хотя некоторые исследователи и называли его именно так<sup>15</sup>, но к жанру «дневника» сочинение Оскара приближается благодаря своей исповедальности<sup>16</sup>) и жизненная ситуация, обуславливающая в романе появление литературного произведения. Оскар начинает писать роман о себе, потому что это единственный способ утверждения своего «я», самореализации. Герой стремится посредством самоанализа приблизиться к постижению происходящего как в собственной душе, так и в окружающей жизни. Тургеневский персонаж с комической фамилией Чулкатурин, терпит, подобно Оскару, поражение в любви.

Сходно представлены в обоих произведениях и результаты литературных опытов — писание дневника Чулкатуриным и создание романа Оскаром. Как Оскар, так и тургеневский «лишний человек» меняются в процессе сочинения собственного текста: они вынуждены отдалиться от жизни (уйти из нее), но их внутренний мир становится гораздо более многоплановым, а ощущение реальности более ясным и трезвым, чем до создания дневника/романа. Ср.:

Хорошая учеба развивает в людях чувство порядочности, а мы росли в эпоху, когда все старались жить таким образом, будто слово «совесть» затесалось в наш язык по ошибке, и эту ошибку необходимо по возможности скорее исправить [Таммсааре: 179]; Разумом я не только оправдываю, но и одобряю раздел поместий, но душа моя, так же, как души моих сверстников и сверстниц, повидимому, все еще судорожно за них цепляется [Там же: 188];

Конечно, мне, вероятно, <sic!> и в голову не пришло бы задавать такие вопросы в те времена, когда я был еще студентом, но

<sup>15</sup> Ср.: «Влюбленность двух молодых людей друг в друга, углубление их чувств дневник раскрывает с выдающимся литературным мастерством» [Teder: 199].

<sup>16</sup> «Исповедальным романом» назвала произведение Таммсааре Х. Сиймискер [Siimisker: 203].



теперь дело другое. В те времена я еще не познал любви и не пытался писать о ней романа, — может быть, именно любовь и возбудила во мне те самые мысли и вопросы, которые я только что изложил [Таммсааре: 191].

Третье произведение Тургенева, функция которого в романе несколько иная по сравнению с упомянутыми выше «Рудин» и «Дневником лишнего человека», — это «Фауст» (1856). Образ «лишнего человека» здесь существенно модифицируется. Главного персонажа этой повести ни Тургенев, ни современные ему литературные критики не считали «лишним»: как и его литературные предшественники, герой не достигает счастья в любви и в довершение ко всему невольно становится причиной смерти возлюбленной (ср. с Оскаром у Таммсааре). Этот персонаж смиряется с трагизмом жизни и приходит к выводу о его неизбежной закономерности. Реминисценции из тургеневского «Фауста» обнаруживаются в романе не только на уровне темы и сюжета, но и на лексическом уровне. Один из важнейших эпизодов в тургеневской повести — это видение главной героини в критической для ее жизни момент (Вере представляется умершая мать, появление которой предвещает смерть).

В романе Таммсааре образ матери приобретает символическое значение, о матери идет речь в целом ряде эпизодов романа — в самые напряженные моменты взаимоотношений Оскара и Эрики. Когда их любовь лишь зарождается, мечты героев воплощаются в образе матери, одетой в белое. В этом эпизоде образ матери символизирует высокую любовь и ее недоступность для героев:

В такие минуты мы мечтали о чем-то далеком, <...> это существо в белом словно бы наша родимая мать, оставившая нас сиротами еще в раннем детстве [Там же: 236].

После того как Эрика оставляет Оскара, он вспоминает о матери как о воплощении изменившейся (изменившей ему) любви:

Зачем оно, если все погрузилось в сон, если вокруг лишь белоснежное молчание, словно кто-то вспоминает свою давно умер-



шую мать, которая любила надевать белое! Да, белое платье, с красной розой! [Таммсааре: 335].

Во время последней встречи героев образ матери трансформируется в призрак:

— Неужели моя мать? — спросила барышня с испугом.

— Вот именно, — подтвердил я. — Мне даже казалось, будто я вижу ее посреди белого поля, такой, какой вы мне однажды ее обрисовали, только красной розой у нее не было, розу неоткуда было взять. <...>

— Ведь моя мать умерла, — объяснила барышня.

— Но она была умершей и в то время, когда вы сами о ней заговорили, — возразил я.

— Тогда было иначе, все было иначе, — заявила барышня. — А сегодня я пришла сюда, чтобы исполнить ваше последнее желание [Там же: 369].

Ср. у Тургенева:

— Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с выражением ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад...

— Оглянитесь, — сказала она мне дрожащим голосом, — вы ничего не видите? Я быстро обернулся.

— Ничего. А вы разве что-нибудь видите?

— Теперь не вижу, а видела. Она глубоко и редко дышала.

— Кого? что?

— Мою мать, — медленно проговорила она и затрепетала вся.

Я тоже вздрогнул, словно холодом меня обдало. Мне вдруг стало жутко, как преступнику. Да разве я не был преступником в это мгновение?

— Полноте! — начал я, — что вы это? Скажите мне лучше...

— Нет, ради бога, нет! — перебила она и схватила себя за голову.

— Это сумасшествие... Я с ума схожу... Этим шутить нельзя — это смерть... Прощайте... [Тургенев: 124].

Как в тургеневской повести, так и в романе Таммсааре, героиня умирает из-за невозможности соединиться с героем, и ее любви сопутствует внутреннее изменение (развитие)<sup>17</sup>. В обо-

<sup>17</sup> Ср. размышления Павла Александровича о *развивающей*, «воспитывающей» любви: «Я <...> как бы воспитываю ее; но и она, са-

их произведениях (в романе Таммсааре, возможно, в результате воздействия на писателя тургеневской повести) поступки главного героя соотносимы с Фаустом Гете, виновным в гибели Гретхен. Заметим, что в своих статьях 1920–1930-х гг. Таммсааре использовал восходящую к трудам Шпенглера идеологию «фаустовский человек». По Шпенглеру, это представитель современной европейской цивилизации; толкование идеологии эстонским писателем было весьма близким к трактовке самого философа. В то же самое время можно заметить внутритекстовую полемику с Тургеневым как автором повести «Фауст»: Таммсааре убежден, что необходимо отстаивать свое право на любовь, а не подчиняться пассивно жизненным препятствиям (подобно Павлу Александровичу Тургеневу и герою собственного романа Таммсааре).

В одной из своих ранних статей («О женском движении», 1906) Таммсааре писал о героинях романов Тургенева как о «притягательных женских типах», подчеркивая при этом, что во второй половине XIX в. именно тургеневские романы, а не радикальные тенденции в общественном движении стали внешним импульсом для формирования этического облика русской женщины:

Героини тургеневских произведений оказывают влияние на то, что в русской женщине так много стремлений, жизненных сил, жертвенности, самопожертвования. Эти душевные свойства могут реализоваться в примечательных поступках, если найдут для этого подходящие место и возможность [Tammsaare 1986: 113].

Несмотря на то, что в 1930-е гг. отношение Таммсааре к женской эмансипации существенно изменилось, его представление об исключительном влиянии тургеневских романов на поведение их читателей осталось прежним, т.к. оно хорошо соотносилось с идеей писателя о *преобразующей* роли литературы, в частности, в современном эстонском обществе.

Таммсааре, как и Тургенев, уверен в том, что историческое движение (прогресс) в обществе осуществляется посредством

---

ма того не замечая, во многом меня переделывает к лучшему» [Тургенев: 112–113].

медленного (эволюционного, а не «катастрофического») развития. Однако он убежден, что современная общественная ситуация неблагоприятна для духовного развития молодежи. Более детально этот вопрос писатель рассматривает в статье «О развитии нашей молодежи» (1936) и заключает:

Развитие зависит не столько от количества вещества, сколько от степени углубления в него. Избыток вещества ведет не к углублению, а к скольжению по поверхности [Tammsaare 1990с: 183].

Таммсааре находит, что система воспитания и образования молодежи ориентирована на «чужие» образцы, она слишком разносторонняя и поэтому поверхностная: «педагоги» и «воспитатели» не считаются с особенностями национальной культуры и спецификой национальной идентичности. Они недостаточно осознают, что без углубления в «свое» невозможно понять «чужое»: «Но развивать и воспитывать дух в только начинающих свое развитие культурах гораздо сложнее, чем тело» [Там же: 184]. Трудности испытывает и Оскар, главный герой романа «Я любил немку», который после «скольжения по поверхности» и блужданий по жизни и «чужим текстам», наконец, делает попытку осмыслить опыт своих заблуждений и создает свой собственный текст.

В романе «Я любил немку» Таммсааре указывает на творчество как важнейший импульс к духовному и нравственному совершенствованию («развитию») как личности (индивидуальности), так и нации. Очевидно, что писатель, чей литературный путь начался в эпоху модернизма, более всего верит в силу творчества и искусства. Однако роман является в то же время своеобразным *предостережением* эстонской интеллигенции: современные тенденции общественного и культурного развития могут стать причиной превращения забывших культуру своей страны интеллигентов в лишних людей. Следовательно, необходимо учиться на ошибках других наций, чтобы не повторять их в своем собственном историческом развитии.

## ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин: *Бахтин М. М.* Роман воспитания и его значение в истории реализма // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 199–250.
- Краснощекова: *Краснощекова Е.* Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997.
- Таммсааре: *Таммсааре А. Х.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1968. Т. 5.
- Тургенев: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1980. Т. 5.
- Annist: *Annist, August.* Tammsaare kui kultuurikriitik ja intellektualismi agoonia // Akadeemia. 1938. Nr 1. Lk 5–21.
- Grišakova: *Grišakova, Marina.* Mõtteid Tammsaarest, Nietzschest ja Dostojevskist // Vikerkkaar. 2005. Nr 1–2. Lk 80–86.
- Hinrikus: *Hinrikus, Mirjam.* Naisküsimuse lahendus Weiningeri moodi. Otto Weiningeri minatud naised Tammsaare loomingus // Vikerkkaar. 2005. Nr 1–2. Lk 87–118.
- Hubel: *Hubel, Eduard.* Eesti romaan 1935. aastal // Looming. 1936. Nr 4. Lk 432–434.
- Ligi: *Ligi, Katre.* “Tõde ja õigus” kriitikas // Looming. 1976. Nr 10. Lk 1729–1744.
- Siimisker: *Siimisker, Helene.* A. H. Tammsaare: Lühimonograafia. Tallinn, 1962.
- Sillaots: *Sillaots, Marta.* A. H. Tammsaare looming. Tartu, 1927.
- Raudsepp: *Raudsepp, Hugo* (1935). A. H. Tammsaare: Ma armastasin sakslast. Romaan. Noor-Eesti kirjastus, Tartu, 1935 // Looming. 1935. Nr 10. Lk 1150–1153.
- Tammsaare 1986: *Tammsaare, A. H.* Naisterahva liikumisest // Tammsaare, A. H. Kogutud teosed. 15. köide. Publitsistika I (1902–1914). Tallinn, 1986. Lk 31–118.
- Tammsaare 1988a: *Tammsaare, A. H.* Sissejuhatuseks // Tammsaare, A. H. Kogutud teosed. 16. köide. Publitsistika II (1914–1925). Tallinn, 1988. Lk 619–649.
- Tammsaare 1988b: *Tammsaare, A. H.* Oswald Spengleri “Õhtumaa langus” // Tammsaare, A. H. Kogutud teosed. 16. köide. Publitsistika II (1914–1925). Tallinn. Lk 526–549.
- Tammsaare 1990a: *Tammsaare, A. H.* Kultuurist ja demokraatiast // Tammsaare, A. H. Kogutud teosed. 17. köide. Publitsistika III (1926–1940). Tallinn, 1990. Lk 25–31.



- Tammsaare 1990b: *Tammsaare, A. H. Eessõna* [I. A. Gontšarov, "Oblo-mov"] // Tammsaare, A. H. Kogutud teosed. 17. köide. Publitsistika III (1926–1940). Tallinn, 1990. Lk 381–387.
- Tammsaare 1990c: *Tammsaare, A. H. Meie noorsoo arengust* // Tammsaare, A. H. Kogutud teosed. 17. köide. Publitsistika III (1926–1940). Tallinn, 1990. Lk 181–185.
- Tammsaare 1990d: *Tammsaare, A. H. Isamaa ja rahvuslus* // Tammsaare, A. H. Kogutud teosed. 17. köide. Publitsistika III (1926–1940). Tallinn, 1990. Lk 15–24.
- Teder: *Teder, Eerik. Järelsõna* // Tammsaare A. H. Kogutud teosed. 12. köide. Tallinn, 1984. Lk 195–205.
- Tuglas: *Tuglas, Friedebert. A. H. Tammsaare: Elu ja armastus (1934)* // Tuglas, F. Kogutud teosed 10. Kriitika VII. Kriitika VIII. Tallinn, 2004. Lk 286–290.
- Undusk: *Undusk, Jaan. Tammsaare, Baudelaire ja De Quincey* // Keel ja Kirjandus. 1991. Nr 8. Lk 491–495.
- Urgart: *Urgart, Oskar. A. H. Tammsaare: Ma armastasin sakslast. Romaan. Noor-Eesti kirjastus, Tartu, 1935* // Eesti Kirjandus. 1935. Nr 12. Lk 568–570.
- Vene: *Vene, Ilmar. Tammsaare ja Dostojevski* // Keel ja Kirjandus. 2007. Nr 5. Lk 345–356.

## А. К. БАИОВ — РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ НА ЭСТОНСКОЙ СЛУЖБЕ

### РОМАН АБИСОГОМЯН

Проблема пополнения эстонских офицерских кадров и их профессиональной подготовки была актуальна как во время Освободительной войны 1918–1920 гг., так и после ее завершения. Для ее решения распоряжением главнокомандующего эстонских вооруженных сил от 3 апреля 1919 г. было сформировано Военное училище (Vabariigi Sõjakool), учебный процесс которого строился по образцу бывшей российской школы прапорщиков с четырехмесячным сроком обучения. Однако в 1920 г. с постепенным переходом как всей страны, так и армии на положение мирного времени, возникла необходимость в более серьезном теоретическом и практическом обучении эстонского офицерского корпуса. Поэтому в том же году были открыты также Военно-техническое училище (Sõjaväe Tehnikakool) и Военно-морское Кадетское училище (Mereväe Kadetide Kool), а в 1921 г. — Курсы Генерального штаба (Kindralstaabi kursused), по окончании которых эстонские офицеры получали высшее военное образование [Pajur: 148–153].

Одной из основных проблем, с которой столкнулось командование эстонскими вооруженными силами при организации военных учебных заведений, являлась нехватка профессиональных преподавателей. В этой связи было решено обратиться с предложением — занять вакантные места лекторов по различным отраслям военного дела — к русским военным специалистам, проживавшим в то время в Таллинне. К сотрудничеству был привлечен ряд инженеров, врачей, юристов, специалистов в области точных наук и преподавателей иностранных языков.

В качестве преподавателей были приглашены на службу лекторы и профессора бывших российских высших военных

учебных заведений, такие как генерал-лейтенант Генерального штаба А. К. Баиов, генерал-лейтенант Г. М. Ванновский, генерал-майор Генерального штаба Д. К. Лебедев, полковник П. П. Маресев, генерал-майор Генерального штаба А. А. Зальф, генерал-майор В. Л. Драке, полковник Генерального штаба А. В. Кушелевский, лейб-медик, профессор С. А. Острогорский, полковник В. Н. Рославлев и др. [ERA 646: 1: 162: 1–1 об.; Kõrgem Sõjakool: 54–55, 60].

Из общего числа русских преподавателей самой яркой и значительной фигурой, без сомнения, был генерал-лейтенант А. К. Баиов. До эмиграции в Эстонию Баиов являлся правителем дел и профессором кафедры истории русского военного искусства Николаевской военной академии Генерального штаба. Его перу принадлежало порядка 23 книг по разным отраслям военной науки, в частности, фундаментальный «Курс истории русского военного искусства» в семи томах. Он был участником и организатором многочисленных обществ, редактором ряда военно-исторических изданий, а также проявил себя как талантливый военачальник в Первой мировой войне [Исаков 1996: 306–307].

Так как многие высшие чины эстонской армии (Й. Лайдонер, Я. Соотс, А. Ларка, П. Лилль, Ю. Тывранд и Я. Ринк) являлись в прошлом учениками Баиова по Николаевской академии Генерального штаба, то именно ему в первую очередь предложили занять должность преподавателя Военного училища. К чтению лекций он приступил уже с октября 1920 г. Вероятно, по его рекомендациям был набран и остальной штат преподавателей училища.

Самым значительным вкладом русских военных специалистов в дело обучения и подготовки эстонских офицерских кадров следует, на наш взгляд, считать их деятельность на Курсах Генерального штаба, где преподавание началось осенью 1921 г. Собственно говоря, организация обучения являлась в большей степени заслугой А. К. Баиова, поскольку именно он составил детальное описание структуры учебного процесса, вошедшее в «Записку о курсах Генерального штаба в Эстонии», подписанную Баиовым 18 мая 1921 г. [ERA 1856:

1: 6: 171–184]. Структура была детально расписана Баиовым по следующим разделам: цель курсов, способы достижения указанных целей, продолжительность курсов, штат обучающихся, прием на курсы, предметы преподавания и практические занятия, метод и характер преподавания, план учебных занятий, распределение предметов и практических занятий по лекторам и руководителям, оплата труда преподавательского состава.

Судя по пометкам, сделанным в тексте «Записки», по всей видимости, начальником Курсов Генерального штаба, а также по тому, как осуществлялся в дальнейшем учебный процесс, можно заключить, что предложенный учебный план был одобрен и был принят с привнесением небольших коррективов. В утвержденный военным министерством штат преподавателей Курсов вошли А. К. Баиов, Г. М. Ванновский, Д. К. Лебедев, В. Л. Драке, П. П. Маресев, А. Н. Малевич, И. И. Голенищев-Кутузов, Г. А. Э. фон Зальца, Н. Резк, Н. Эрасси, А. Пийп, Ю. Улуотс и Ф. И. Корсаков [ERA 1856: 1: 2: 2]. В числе ассистентов преподавателей также числился генерал-майор артиллерии российской армии и резерва эстонской армии А. А. фон Ден [Kõrgem Sõjakool: 55].

Программа обучения, предложенная Баиовым для Курсов Генерального штаба, включала в себя курсы по истории военного искусства, истории Первой мировой войны, военной географии соседних с Эстонией государств, военной статистике и стратегии, с практическими занятиями по последним двум предметам [Там же]. По каждому курсу Баиовым были составлены подробные конспекты лекций, которые были отпечатаны и размножены. Объем этих работ был весьма внушительным. Так, например, объем «Истории военного искусства от народов древности до начала XX ст. включительно» составлял 834 страницы, «Лекций по стратегии» — 548 страниц, «Великой Мировой Войны» — 307 страниц, «Военной географии соседних с Эстонией государств» — 170 страниц и «Лекций по теории статистики» — 82 страницы.

Однако значительным был не только объем читаемых Баиовым курсов, но и объем его преподавательской нагрузки, ко-



торая в первые годы его работы в военных учебных заведениях республики доходила до 20 лекционных часов в неделю только в Военном училище [ERA 646: 1: 162: 1–1 об.]. В целом нагрузка Баиова была самой большой, хотя и у других русских преподавателей она была достаточно высокой. Поэтому неудивительно, что к моменту открытия Курсов Генерального штаба часть русских лекторов во главе с А. К. Баиовым высказала руководству эстонских учебных военных заведений свое категорическое несогласие с лекционным объемом и его оплатой [ERA 1856: 1: 5: 4].

В результате военное министерство Эстонской Республики изыскало возможность повысить зарплату преподавателей с 50 марок за лекционный час до 160 марок — лекторам и до 300 марок — профессорам. Однако при этом было отмечено, что, ввиду трудного экономического положения Эстонии, дальнейшее повышение заработной платы преподавателей не предвидится [Там же]. Видимо, данный вопрос так и остался до конца неурегулированным, т.к. в начале декабря 1921 г. те же сотрудники подали по очереди рапорты на имя начальника Военного училища, в которых, во-первых, высказывали несогласие читать ряд лекций, предназначенных для Курсов Генерального штаба, также и для слушателей Военного училища; во-вторых, отмечали, что за определенное количество лекционных часов училище до сих пор не заплатило [ERA 1856: 1: 7: 83–87 об.]<sup>1</sup>. По отношению к таким требованиям военное министерство заняло жесткую позицию. Так, к примеру, в августе 1922 г. А. К. Баиову через начальника эстонских военных учебных заведений было передано, что «отказ от сотруд-

---

<sup>1</sup> Поочередность подачи рапортов лишний раз свидетельствует о том, что главным инициатором коллективных протестов среди русских преподавателей училища был А. К. Баиов, который в данном случае подал рапорт самым первым 3 декабря, на следующий день рапорт подал П. П. Маресев, а 7 декабря их примеру последовали Г. М. Ванновский и А. В. Кушелевский. В рапорте последнего, так как он не преподавал на Курсах Генерального штаба, недовольство высказывалось только по поводу неуплаты за прочитанные часы [ERA 1856: 1: 7: 83–87 об.].

ничества в одном военном учебном заведении является отказом от сотрудничества вообще» [ERA 646: 1: 162: 73].

Проблемы русских военных специалистов были связаны не только с большой лекционной нагрузкой и низкой оплатой труда, но и с большим числом слушателей в классах, что, несомненно, усложняло работу преподавателя, особенно на практических занятиях. Однако, по мнению инспектора классов Военного училища, недовольство русских преподавателей было необоснованно, т. к. количество слушателей в классах в 25 человек считалось вполне нормальным [ERA 646: 1: 304: 145, 158–160]. Но на проверку оказывалось, что в некоторых классах число слушателей достигало 35 человек, поэтому предложение русских преподавателей разделить большие группы слушателей на несколько подгрупп было вполне оправданным [ERA 1856: 1: 5: 5 об.].

Очередным камнем преткновения стало требование руководства Курсов Генерального штаба предоставлять рукописи лекций для дальнейшего тиражирования. И на сей раз проблема была связана с не удовлетворявшим преподавателей объемом гонорара. Руководство Курсов предлагало за составление конспектов лекций оплату в размере двойного тарифа за чтение лекций, а за дополнительную корректуру — 25% тарифа. С этим предложением большинство преподавателей было категорически не согласно, полагая размер оплаты несоразмерно низким по отношению к объему работы [ERA 1856: 1: 6: 199–207]. Впрочем, вскоре компромисс был найден, и за каждый печатный лист преподаватели, утвержденные на должности профессоров, получили по 3 000 эстонских марок [ERA 1856: 1: 9: 11 об.]. Правда, и в этот раз Баиов выразил свое несогласие с принципом подсчета печатных знаков и листов, согласно которому объем его работ был занижен. В результате была создана специальная комиссия, которая после перепроверки подсчетов удовлетворила требования Баиова [ERA 1856: 1: 10: 150, 176–177].

Может сложиться впечатление, что щепетильность Баиова и его коллег в отстаивании своих интересов были следствием капризности, высокомерия и завышенной самооценки, однако,

как нам кажется, их притязания были вполне обоснованы, так как исходили из объективного расчета выполняемой работы, объем которой был на порядок выше, чем у такого же уровня специалистов в среднем по Эстонии. Стоит отметить и тот факт, что изначально уровень зарплат преподавателей в военных учебных заведениях был намного ниже, чем, например, у преподавателей средних учебных заведений. К примеру, в своем рапорте на имя начальника военного округа от 22 августа 1922 г. начальник Военного училища отмечал, что зарплата инструкторов по стрельбе и фехтованию (полковник Ф. Лебедев и капитан Б. Бетхер) ниже, чем у таких же инструкторов, преподающих в средней школе, что является причиной их увольнения по собственному желанию [ERA 646: 1: 164: 85–85 об.]. В целом же военное руководство с самого начала стремилось организовать процесс обучения в военных учебных заведениях максимально экономно. Так, например, Курсы Генерального штаба планировалось организовать без дополнительных ассигнований, в рамках уже принятого бюджета. Продолжительность работы Курсов предполагалось ограничить двумя годами, пока не будут подготовлены свои профессиональные кадры, получившие высшее военное образование в военных академиях стран Западной Европы [ERA 495: 2: 84: 397, 491–495]. По сути, военное руководство страны стремилось максимально использовать знания и навыки русских военных специалистов в максимально короткие сроки при максимально низких затратах.

Оплата труда и вопросы, связанные с лекционной нагрузкой, были не единственными проблемами, с которыми приходилось сталкиваться русским военным в их преподавательской деятельности. Отношение к ним их эстонских коллег и учеников было далеко от идеального. В этой связи весьма показательно бестактное и обидное наставление начальника Курсов Генерального штаба полковника Н. Резка обучающимся, в котором он, призывая их соблюдать чистоту и правила гигиены, для большей показательности цитировал слова некоего иностранца, посетившего Россию в XIV в. и утверждавшего, что русский народ не может считаться культурным, так как, об-



разно выражаясь, не умеет пользоваться уборной. Выводом являлось предостережение о том, чтобы какой-нибудь иностранец не сделал такого же умозаключения об эстонцах [ERA 1856: 1: 10: 160].

Если пассажи подобного рода позволял себе образованный старший офицер эстонской армии, то можно себе представить, какое отношение к русским преподавателям формировалось у молодых солдат и офицеров. Результаты таких наставлений обнаружились уже через некоторое время, а именно в 1923 г., когда рядовой Лепик, подделав подпись, украл деньги, предназначенные для А. К. Баиова, которые Лепик должен был принести ему на дом [ERA 1856: 1: 64: 11].

Для многих представителей эстонского общества преподавание российских специалистов в военных учебных заведениях Эстонии казалось неприемлемым. Начиная с весны 1920 г. в ведущих периодических изданиях Республики все чаще стало выражаться недовольство по поводу чрезмерного числа русских офицеров и военных специалистов в армии и военных училищах. Критика была направлена как в адрес эстонского правительства, так и в адрес высшего руководства эстонских вооруженных сил, допускавшего такое положение дел. В частности, один из слушателей Военно-морского кадетского училища с возмущением писал в газете "Vaba Maa", что в Военном училище вместо работавших во время Освободительной войны преподавателей-эстонцев теперь преподают исключительно бывшие русские генералы и офицеры, которые все свои лекции читают на русском языке. Не осмеливаясь обсуждать их профессиональные качества, автор задавался вопросом: куда же подевались эстонские военные специалисты? [Hääl].

В ответ на критику высшие чины эстонской армии заявляли, что данное положение дел временно и эстонская армия пока не может отказаться от услуг русских военных, так как не обладает достаточным количеством специалистов эстонской национальности. Но как только такие кадры будут подготовлены, руководство эстонских вооруженных сил обещало рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с бывшими российскими офицерами [Mõned küsimused].



Несмотря на эти обещания, эстонская пресса требовала более решительных мер. Поэтому еще в конце мая 1920 г. военный министр А. Ханко отдал приказ, согласно которому все служащие по военной линии инородцы обязывались в течение шести месяцев овладеть эстонским языком, в противном случае им грозило увольнение [Väljavõtted]. Однако санкции, предусмотренные данным приказом, в то время ни к кому применены не были, и разбирательство отложили на будущее.

В случае с А. К. Баиовым эстонская общественность была недовольна занимаемой им общественно-политической позицией. Баиов был монархистом и убежденным сторонником великой, «единой и неделимой» Российской империи, и своих убеждений никогда не скрывал. До конца жизни он остался верен раз данной присяге, отказался присягать Временному правительству и не согласился сотрудничать с большевиками. Несмотря на то, что ему предлагали в упрощенном порядке принять эстонское гражданство, Баиов отказался и от этого предложения. Известно, что при устройстве на службу в эстонские военные заведения Баиов заявил генералу Я. Соотсу, «что все равно он останется таким же русским, каким был и раньше» [ERA 1: 7: 28: 177]. Очевидно, что наличие людей с подобными убеждениями — особенно на такой должности, какую занимал Баиов, — в эстонском обществе не приветствовалось.

Нападки на Баиова усилились после его выступления в таллинском Русском клубе. В своей речи Баиов выступил против решения эстонского правительства и городских властей снести памятник Петру Великому, который якобы напоминал о «рабском прошлом Эстонии». При этом Баиов достаточно резко высказался и в адрес Эстонского государства, допустившего такого рода проявление вандализма [Kihutustöö]. Хотя выступление Баиова прозвучало в закрытом клубе, дело получило огласку, и для его рассмотрения была собрана Комиссия по государственной обороне при Парламенте [Pajur: 144]. В результате Баиов чуть было не лишился своей должности, но благодаря заступничеству военного министра Я. Соотса дело было закрыто [ERA 1: 7: 28: 177].

Тем не менее, свои служебные обязанности Баиов исполнял безукоризненно, и в этом отношении его недоброжелателям придаться было не к чему. Согласно аттестациям, которые ежегодно оформлялись на каждого служащего по военному ведомству, начальство и коллеги А. К. Баиова оценивали его знания, педагогические и личные качества очень высоко. Так, например, отмечалось, что как преподаватель Баиов обладал обширнейшими знаниями, умел, хотя и несколько сухо, но довольно интересно преподнести слушателям материал, в то же время был достаточно требователен; с коллегами и слушателями вел себя исключительно вежливо и корректно, при исполнении служебных обязанностей был всегда точен и дисциплинирован. Среди мелких недостатков в аттестациях отмечалось то, что Баиов свои лекции читал несколько шаблонно без использования новейших данных и материалов; своего мнения не высказывал и вообще отличался замкнутостью. Главным недостатком Баиова высшее начальство считало незнание им эстонского языка, впрочем, отмечая при этом, что заменить такого рода специалиста вряд ли будет возможным даже в будущем [ERA 495: 2: 61: 106–115 об.].

К 1923 г. эстонское военное руководство начало постепенно реализовывать некогда данное общественности обязательство отказаться от услуг инородцев-военнослужащих, не соответствующих предъявляемым им требованиям. Еще в конце 1922 г. Комиссия по государственной обороне приняла решение об увольнении 40 инородцев [Pajur: 143]. В их числе были и преподаватели военных учебных заведений Г. М. Ванновский, П. П. Маресев, С. А. Острогорский и А. В. Кушелевский [ERA 646: 1: 38: 97–98, 139, 141–143, 171]. В сентябре 1923 г. с военной службы были уволены и зачислены в запас 23 инородца, большую часть из которых составляли русские [Хроника 1923]. 10 января 1923 г. вышел закон, согласно которому все служащие в эстонских вооруженных силах, не владеющие государственным языком, должны были сдать экзаме́н. В случае несдачи экзамена по эстонскому языку им грозило разжалование в рядовые [Seadus]. В соответствии с этим законом в мае 1924 г. из списков офицеров эстонской

армии было исключено 120 офицеров [Исключение], а в августе того же года еще 13 офицеров были разжалованы в рядовые [Хроники 1924].

Впрочем, седьмой параграф закона гласил, что по усмотрению военного министра без знания государственного языка на военную службу могли быть приняты те офицеры и чиновники, которые обладали высшим специальным образованием, и чье привлечение на службу было оправдано интересами государства [Seadus]. Не вызывает сомнения, что данное исключение было сделано военным министром Я. Соотсом именно для Баиова, так как кроме него все его коллеги, не овладевшие эстонским языком, были уволены.

Но, несмотря на покровительство начальства и безупречные аттестации по службе, новые веяния в военном министерстве коснулись и Баиова. С 1923 г. его преподавательская нагрузка была сокращена, и из 6 предметов, которые он читал на Курсах Генерального штаба, ему был оставлен только один предмет — «История военного искусства» [ERA 1856: 1: 52: 1–3]. Именно с этого времени Баиов начинает активно участвовать в общественно-политической жизни русской эмиграции в Эстонии. Он открывает книжный магазин «Русская книга», при котором действовала библиотека, а потом и издательство. С 1924 г. Баиов занимает должность председателя Совета старшин Русского клуба; он является организатором «Кружка ревнителей церковного благоустройства при храме Пюхтицкого подворья» в Таллинне, входит в правление родительского комитета Таллиннской городской русской гимназии, принимает участие в работе комитета частной гимназии при обществе «Русская школа в Эстонии», занимается объединением русских скаутов в Эстонии, участвует в других русских эмигрантских организациях. Баиов много выступает с докладами и лекциями, выпускает полемические брошюры, печатается на страницах местной русской прессы и даже на собственные средства издает газеты<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Подробнее о деятельности А. К. Баиова в Эстонии см.: [Исаков 2002; Абисогомян 2003].



Таким образом, к середине 1920-х гг. А. К. Баиов становится главной фигурой не только среди русских военных, монархистов и правых, но и вообще среди русских эмигрантов в Эстонии. Его имя все чаще начинает упоминаться в отчетах Охранной полиции, на страницах эстонской и русской прессы, и даже на заседаниях в Парламенте страны [ERA 1: 7: 28: 40 об., 177–177 об., 186, 189–189 об.; ERA 80: 1: 526: 18; Оратель]. Поэтому, несмотря на покровительство высших чинов эстонской армии, его общественно-политическая деятельность привела к необходимости выбора — или продолжать преподавательскую работу в военных заведениях Эстонии, или заниматься делами русских эмигрантов [Штейфон: 220]. Баиов выбрал последнее и подал рапорт об уходе по собственному желанию с должности профессора эстонских учебных заведений [Хроника 1926]. Приказом начальника Объединенных Военных учебных заведений Эстонии от 1 февраля 1926 г. его рапорт был удовлетворен. В своем приказе колонель Генерального штаба Я. Ринк отмечал большие заслуги Баиова в деле обучения и воспитания эстонских офицеров и его фундаментальный вклад в развитие высшего военного образования в Эстонии [ERA 650: 1: 119: 62].

Таким образом, в середине 1920-х гг. большая часть русских военных специалистов покинула службу в эстонской армии и военных учебных заведениях. К этому времени в эстонской армии уже появилось новое поколение офицеров, получивших военное образование в училищах и академиях Франции, Финляндии, Польши, Бельгии, Великобритании и Германии. По возвращении на родину они сразу же замещали специалистов неэстонской национальности, «благодаря чему, — по мнению А. Паюра, — стало возможным отказаться от сомнительных услуг русских профессоров» [Pajur: 153]. В военных учебных заведениях уже в 1926 г. не было почти ни одного лектора-неэстонца на постоянной контрактной основе. Именно с этого времени, по мнению другого эстонского историка, «национальное военное высшее образование было положено на твердую основу» [Helme: 7].



Об этом процессе писал А. К. Баиов в 1931 г. в записке «Русская эмиграция в Эстонии», предназначавшейся для баронессы М. Д. Врангель:

Русские не допускаются к занятию высших государственных должностей, они едва терпят на государственной службе и от них там стараются избавиться, <...> с течением времени, используя в полной мере знания, опыт, навыки русских, эстонцы всюду и везде постарались избавиться от них. Они все взяли от них и затем выбросили их как выжатый лимон. И те русские эмигранты, которые принимали деятельное участие в той или иной мере в строительстве нового государства, теперь живут тут же, испытывая большую нужду. Впрочем, большая часть из них, разочарованная в благодарности эстонцев, покинула их недружелюбную страну (цит. по: [Исаков 2002: 222, 232]).

Все, написанное А. К. Баиовым, его самого, пожалуй, касалось в меньшей степени, чем его коллег. Уход Баиова со службы был добровольным и являлся своего рода политическим протестом. Можно с уверенностью утверждать, что при желании Баиов мог бы и дальше преподавать в военных учебных заведениях, но стремление к личному благополучию не было характерным для него. А. К. Баиов являлся человеком высоких нравственных идеалов, убежденным русским патриотом и сторонником возрождения былого величия Российской империи, что совершенно не совпадало с целями молодого эстонского государства. Хотя в эстонском обществе люди подобного рода убеждений не приветствовались, но и жестоких репрессивных мер к ним тоже не применялось, в демократическом государстве, каковым была Эстония в 1920–30-е гг., уживались люди разных политических убеждений, кроме, конечно, коммунистических. И сторонники эстонской независимости, и русские монархисты во главе с Баиовым тактически были союзниками в противостоянии к советскому режиму в России, но стратегически их цели разнились. Однако в 1940 г. для новой советской власти и русские, и эстонские националисты были одинаково неприемлемы и поэтому одинаково обречены на физическое уничтожение. Правда, Алексей Константинович Баиов до этого момента не дожил, скончавшись 8 мая 1935 г.

## ЛИТЕРАТУРА

- Абисогомян 2003: *Абисогомян Р.* Деятельность А. К. Баиова в Эстонии // Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. Вып. 2 / Сост. В. Бойков. Таллинн, 2003. С. 49–69.
- Исаков 1996: *Исаков С. Г.* Алексей Константинович Баиов // Исаков С. Г. Русские в Эстонии (1918–1940). Историко-культурные очерки. Тарту, 1996. С. 305–308.
- Исаков 2002: *Исаков С. Г.* Записка А. К. Баиова «Русская эмиграция в Эстонии» // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Т. VII. Вильнюс, 2002. С. 212–243.
- Исключение: Исключение 120 офицеров из-за незнания государственного языка // Русский Голос. 1924. 17 мая. № 31. С. 2.
- Оратель: «Оратель» // Час. 1926. 25 янв. № 8. С. 2.
- Хроника 1923: Хроника // Последние Известия. 1923. 3 сент. № 213. С. 2.
- Хроника 1924: Хроника // Последние Известия. 1924. 15 авг. № 210. С. 3.
- Хроника 1926: Хроника // Последние Известия. 1926. 11 фев. № 33. С. 3.
- Штейфон: *Штейфон Б. А.* Национальная военная доктрина: Профессор генерал А. К. Баиов и его творчество. Таллинн, 1937.
- ERA 1: 7: 28: Eesti Riigiarhiiv (ERA). F 1. N 7. S 28 (Monarhistid Eestis).
- ERA 80: 1: 526: ERA. F 80. N 1. S 526 (I Riigikogu Riigikaitse komisjoni protokollid).
- ERA 495: 2: 61: ERA. F 495. N 2. S 61 (Sõjavägede Staap. Ohvitseride ametikohtadel teeninud eraisikute atestatsioonid).
- ERA 495: 2: 84: ERA. F 495. N 2. S 84 (Ettepanekud Vabariigi Valitsusele ja seaduse kavad).
- ERA 495: 3: 492: ERA. F 495. N 3. S 492 (Kaitsevägede staabi IV osakonna B jaoskonna kaust Nr 5).
- ERA 646: 1: 38: ERA. F 646. N 1. S 38 (Vabariigi Sõjakooli ohvitseride, lektorite, arstide ja sõjaväeametnike nimestiku raamat).
- ERA 646: 1: 162: ERA. F 646. N 1. S 162 (Väljavõtted Sõjakooli ülema päevakäskudest; ohvitseride kursuste nädala tunnikavad koos lektorite nimekirjad, tundide jaotuse ja õppekavaga).
- ERA 646: 1: 164: ERA. F 646. N 1. S 164 (Kirjavahetus sõjaväe asutistega Sõjakooli sõjaväelaste ja eraisikute koosseisu).

- ERA 646: 1: 304: ERA. F 646. N 1. S 304 (Sõjakooli klasside inspektorile teadmiseks saadetud lektorite nimekirjad koos õppetundide arvel-duse aruannetega ning vastava kirjavahetusega).
- ERA 650: 1: 119: ERA. F 650. N 1. S 119 (Sõjaväe Ühendatud Õppeasu-tuste ülema käsukirjad).
- ERA 1856: 1: 2: ERA. F 1856. N 1. S 2 (Kindralstaabi kursused. Kursuste päevakäsud. 1921).
- ERA 1856: 1: 5: ERA. F 1856. N 1. S 5 (Kindralstaabi kursuste õppejõu-dude istungite protokollide raamat).
- ERA 1856: 1: 6: ERA. F 1856. N 1. S 6 (Kindralstaabi kursuste õppeka-vad ja programmid).
- ERA 1856: 1: 7: ERA. F 1856. N 1. S 7 (Kirjavahetus sõjaväe õppeasu-tuste inspektoriga ja teiste sõjaväe ülematega kursuste õppekavade, õppeprogrammide ja eksamite kohta).
- ERA 1856: 1: 9: ERA. F 1856. N 1. S 9 (Kindralstaabi ülema poolt välja-antud kursuste sisekorra määrused).
- ERA 1856: 1: 10: ERA. F 1856. N 1. S 10 (Kindralstaabi ülema poolt väljaantud kursuste sisekorra määrused).
- ERA 1856: 1: 52: ERA. F 1856. N 1. S 52 (Kindralstaabi kursuste õppe-kavad ja õppeprogrammid).
- ERA 1856: 1: 64: ERA. F 1856. N 1. S 64 (Sissetulnud ja väljaläinud sa-lajaste kirjade registreerimise raamat).
- Helme: *Helme, R.* Eesti Sõjakoolide kaks aastakümnet // Mälestusi Eesti Vabariigi sõjakoolist / Koost. V. Talts. Tallinn, 1996. Lk 4–8.
- Hääl: Hääl kadettide hulgast. Kuhu meid juhitaakse // Vaba Maa. 1920. 27. okt. Nr 245. Lk 6.
- Kihutustöö: Ühe meie teenistuses seisva vene ohvitseri Eesti vastane ki-hutustöö // Päevaleht. 1922. 5. juuli. Nr 154. Lk 3.
- Kõrgem Sõjakool: Kõrgem Sõjakool 1921–1931. Tallinn, 1931.
- Mõned küsimused: Mõned küsimused meie praeguse sõjaväe korralduse alalt // Päevaleht. 1922. 10. märts. Nr 57. Lk 2.
- Pajur: *Pajur, A.* Eesti Riigikaitsepoliitika aastail 1918–1934. Tallinn, 1999.
- Seadus: Seadus nende Eesti kodanike kaitsevärke vastuvõtmise kohta, kes ohvitseridena ja ametnikkudena välisriikide sõjavägedes teeni-nud // Riigi Teataja. 1923. 3. veebr. Nr 18. Lk 95.
- Väljavõtted: Väljavõtted sõjaministri päevakäskudest // Sõdur. 1920. 5. juuni. Nr 23. Lk 1.



# KULTUURIRUUMI MÜTOLOOGIA

**Sergei Issakovi 80. sünnipäevaks**

## KOKKUVÕTTED

**Sergei Issakovi portree visandid (Juri Lotmani  
ja Boriss Jegorovi kirjavahetuse põhjal aastatest 1958–1963)**

Boriss Jegorov

Artikkel sisaldab autori mälestusi professor Sergei Issakovist, kelle juubelile käesolev kogumik on pühendatud, teadlase- ja pedagoogikarjääri algaegadest. Esmakordselt trükitakse ära lõigud autori kirjavahetusest Juri Lotmaniga, milles avaneb Lotmani tähelepanelik ja hooliv suhtumine oma esimesse õpilasse, tema tegevus väitekirja kaitsmise korraldamisel jm.

### **Paradiis Peeter I geograafias**

Maria Smorževskihh-Smirnova

Artiklis analüüsitakse Stefan Javorski jutlust, mida peeti 1. jaanuaril 1703. a Moskva Kremli Uspenski peakirikus. See on üks varasematest Peeter I ajastu jutlustest, mis on pühendatud Venemaa esimestele sõjavõitudele Põhjasõjas. Selles tekstis käsitleb Stefan Javorski korraga mitut tähtsat teemat: Jeesuse ümberlõikamist (tähistati 1. jaanuaril), uut aastat ja Peeter I esimest suurt võitu Ingerimaal — Schlüsselburgi kindluse vallutamist. Jutluses on kõik need teemad ühendatud Venemaa geograafilise ja sakraalse ruumi laiendamise kontseptsiooniga. Just selles jutluses sõnastatakse esimest korda mõisted, mida Peeter I hakkab edaspidi aktiivselt kasutama uue pealinna, Sankt-Peterburgi ehitamisel. Jutluse eripäraks on see, et autor konstrueerib selles tekstis tegelikku maailma, kasutades selleks metafoore, võrdlusi ja viiteid kirikus nähtavale. Kuulajal oli seda maailma lihtne ära tunda, kuna see korreleerus koha-



ga, kus antud jutlus esitati, s.o Kremli Uspenski peakiriku ja võidurõõmus Moskvaga.

### **Poola teemast Homjakovi loomingus**

Roman Leibov, Aleksandr Ospovat

Artiklis vaadeldakse A. Homjakovi luuletust, mis on kirjutatud 1830. aastate alguses, pärast teateid Poola mässust ja vene armee peatsest pealetungist. Nikolai I isikliku resolutsiooni alusel tsensuuri poolt ärakeelatud luuletus ilmus esmakordselt trükis pärast ülestõusu allasurumist. Käesolevas artiklis kirjeldatakse selle teksti publitseerimisega, muuhulgas ka saksa keelde tõlkimisega, seotud segast lugu, taastatakse Homjakovi oodi ümbritsenud ajaloolis-poliitiline kontekst, esitatakse kogutud andmed teose retseptsiooni kohta ning pakutakse välja teksti uus interpretatsioon, mis heidab uut valgust slavofiilsuse geneesile ja tähelepanuväärsele leheküljele Vene-Poola kultuurisuhetes.

### **«Много! Много! Много!»/“Palju! Palju! Palju!”**

**Soome näitus Petrogradis 1917. aastal**

Ben Hellman

1917. a aprillis eksponeeriti umbes 40 Soome kunstniku töid “Soome kunsti näitusel” Petrogradis. Tänu Veebruarirevolutsioonile kujunes näituse avamine poliitilise vabaduse ja rahvusliku vendluse peoks. Ürituse toetajate nimekirja kuulusid ka Venemaa uue poliitilise juhtkonna esindajad ja revolutsioonilise võitluse veteranid. Näituse külalisteraamatu sissekanded olid kantud “soomefiilsest” vaimust. Leiti, et Soome kunst oli just see, mida Venemaa hetkel vajas.

Näituse avamisele järgnenud banketile kogunes 150–200 inimest, “kogu kunstnike ja artistide Petrograd” ning palju kohale sõitnud soome kunstnikke. Pidukõnede teemadeks olid “vabadus, kultuur, vendlus”. Ivan Bunin nägi siiski futuristide “hüsteerilises” meeolus ja matslikus käitumises läheneva lõpu märke.

Mõned kriitikud leidsid, et soome kunst on “terviklik ja terve”, teised, vastupidi, arvasid, et näitus oli tagasihoidlik ja ilmetu. Pä-

rast näituse sulgemist võis külastajate arvu ja müüdnud teoste hulga põhjal konstateerida selle edu suhtelist tagasihoidlikkust. Sündmus, millest pidi saama uue ajastu algus Soome-Vene sõpruses, osutus tegelikult ühise ajaloo hüvastijätupeoks.

**Haua ja vangla vahel: O. Mandelštami luuletus  
«Голубые глаза и горячая лобная кость...»  
poeetiliste koodide sõlmpunktis (Teine artikkel)**

Jevgeni Soškin

Käesolev artikkel on järg publikatsioonile, mis ilmus “Blokki kogumikus, 18”, ning selles jätkatakse O. Mandelštami poolt Andrei Belõi surma puhul kirjutatud luuletuses kasutatud poeetiliste koodide analüüsi. Analüüsitakse vangla toopost, kirjeldatakse vene 19.–20. sajandi alguse, sealhulgas Mandelštami enda, lüürika poeetilist konteksti. Esitatakse *helesinise vangla* kujundi filosoofilised lätted (Platon, Schopenhauer, saksa romantikud). Poeetilise ruumi ülesehitamise probleem on tihedalt seotud rahvusküsimusega — juudisoost Mandelštam kirjutas mälestusluuletuse antisemiidist Belõi surma puhul, pidades seda enda jaoks põhimõtteliseks poeetiliseks žestiks. Eraldi teema käesolevas artiklis on luuletuse kirjutamise ja publitseerimise lugu, sealhulgas ka samizdati versioonis.

**Eesti ruumi nõukogude mütoloogiast  
 (“punane Venemaa” ja “verine Eesti”)**

Galina Ponomarjova

Artiklis vaadeldakse Eesti kujutamise iseärasusi mõnede nõukogude kirjanduse teoste — A. Lunatšarski essee «Окровавленная Эстония»/“Verine Eesti”, L. Sobolevi olukirjeldus «“Ленин” в Ревеле»/«“Lenin” Revalis» ja N. Tihhonovi luuletus «Ночь президента»/“Presidendi öö” materjali põhjal. Kõik need teosed on omavahel seotud ja on vastukajaks NSV Liidu poolt inspireeritud ebaõnnestunud kommunistlikule riigipöörde katsele Eestis 1924. aasta 1. detsembril.

Olemasoleva materjali põhjal võib järeldada, et Eesti esineb nõukogude 1920. aastate kirjanduses kui võõras, kuid alles hiljuti kaotatud, ala. Käsitletavate tekstide autorid rõhutavad Eesti elanike püüdlust “suure” ruumi poole, mille osaks nad varem olid, kuid on nüüd riigipiiriga eraldatud. Lunatšarski, Sobolev ja Tihhonov loovad pildi “poolpunasest Eestist”, mis on seotud vägivalla, vere ja vanglaga. Önnega on, nõukogude kirjanike arvates, seotud punase Eesti kuju, mille eest võitleb kohalik töölisklass. Artiklis on tõstatatud hüpotees, et “poolpunase Eesti” kuju mängis nõukogude massiteadvuses teatud ettevalmistavat rolli 1940. aasta juunipöördeks.

**«О, дивный остров Балаам!»: palverännakud Valaami saarele  
1930. aastate Eestimaa vene kirjanduses ja publitsistikas**

Tatjana Šor

1920.–1930. aastatel asus iidne Valaami saar Soome territooriumil. Vene emigratsiooni jaoks oli Valaami klooster muistse kristluse kaitseala, justnagu saareke “lahkunud Venemaast”, mis vääris palverännakut. Valaami palverännakukirjanduse hulka kuuluvad nii ilukirjandusteosed kui ka publitsistika. Käesolevas artiklis vaadeldakse selliste kirjanike teoseid nagu B. Zaitsevi «Балаам» (1936) ja I. Šmeljovi «Старый Балаам» (1937). Eesti palverännakupublitsistikasse, lisaks sõnumitele kohalikes ajalehtedes ja ajakirjades, kuuluvad otseselt I. Bogojavlenski «Балаамские впечатления» (1937), kaks M. Jansoni raamatut «Балаамские старцы» (1938) ja «Большой скит на Балааме» (1940), ning ka olukirjeldused, luuletused ja jutustused, mis ilmusid A. Ossipovi publitseeritud päevikus «Путевая тетрадь: На Балаам!» (1940).

**«И ему показалась Россия...»:  
D. Samoilovi ballaad J. Krossi tõlkes**

Tatjana Stepanišševa

Käesolevas artiklis on esitatud David Samoilovi luuletuse «Баллада о немецком цензоре» ja selle Jaan Krossi tõlke interpretatsioon. Samoilovi ballaad ilmus esmakordselt iseseisva tekstina

1961. aastal, ning lisati hiljem poemi «Ближние страны». Pоеemi põhisužeeaga on ballaad seotud suhteliselt. Seetõttu on üsna tõenäoline, et tegelikult oli sellel allusiooniline iseloom, mis pidanuks sõjateemalise poemi kontekstis vähem silma paistma.

Vastavalt autori oletusele, aktualiseeris Jaan Kross oma tõlkes taas nõukogude allusioonid, et teha luuletus eesti lugejale huvitavamaks. Seejuures loobus tõlkija kirjanduslike assotsiatsioonide edasiandmisest, mis olid ilmsed ballaadi originaalis lugejatele (need on eelkõige assotsiatsioonid vene klassikalise kirjanduse jutustustest “väikesest inimesest”).

### **David Samoilovi kaks luuletust Moskvast**

Andrei Nemzer

Artiklis analüüsitakse David Samoilovi kaht luuletust Moskvast — «Я учился языку у няnek...» (1976) ja «Старомодное» (1981), mis on kirjutatud tema Pärnus elamise aegadel. Need luuletused kuuluvad keerulise organisatsiooniga poeetilisse müüti Moskva linnast, mis Samoilovi jaoks ühendab endas samaaegselt nii riikliku kui ka intiimse, koduse, alged. Mõlemas luuletuses on Moskva vastastikuses seoses Eestiga ja sellele vastandatud, mistõttu võib käsitletavaid tekste pidada osaks Samoilovi “Eesti müüdist”, mida on käsitletud artikli autori teistes töödes. Suurt tähtsust luuletuste semantika seisukohast omavad varjatud reministsentsid Puškinist ja Tjutšševist («Я учился языку у няnek...») ning Georgi Ivanovi ja Bloki luulest («Старомодное»).

### **Venemaa kui mütologiseeritud ruum soome kaasaegses kirjanduses**

Pekka Pesonen

Soome tekst vene kirjanduses on põhjalikult läbiuuritud teema nii vene kui soome teaduses. Põhjamaisest tekstist vene kirjanduses on huvitunud ka teiste riikide teadlased. Kuid kuidas on lood vene kirjanduse tekstiga soome kirjanduses? Tõuke sellel teemal kirjutamiseks andsid artikli autorile mõned Soomes viimastel aasta-



kümnetel ilmunud romaanid, milles Venemaa on üheks, ja mõned lausa ainsaks, tegevuskohaks. Venemaa tervikuna on sügavalt mütologiseeritud, kuigi eksisteerivad reaalsed Peterburg, Moskva, Jelabuga, Murmansk ja Magadan. Ruumimütoloogia vaatepunktist avaneb huvitav rakurss kultuurisidemete mõistmisele käesoleval ajal. Venemaa kui kultuuriruum soome kirjanduses on samaaegselt tuttav ja tundmatu, oma ja võõras. Lähtudes Venemaa traditsioonilisest dualistlikkusest, võtavad kirjanikud selles omaks võõrast ja õpivad tundma oma.

### **Siberi ja Põhja kujundite evolutsioon vene keeles**

Nikolai Vahtin

Artiklis esitatakse materjal Siberi ja Põhja kujundite uurimiseks — ettekujutused ja assotsiatsioonid, mida nimetatud mõisted tekitavad kaasaegse vene keele kandjates. Uurimus on läbi viidud vene keele Rahvusliku korpuse baasil. Analüüsitakse sõnade «Сибирь»/Siber, «сибиряк»/siberlane jne kontekste alates esimesest ülestähendusest kuni kaasaegse sõnakasutuseni, demonstreeritakse konnotatsioonide kasvu dünaamikat ja muutumisi nende sõnade tähendusväljas. Samaaegselt näidatakse ka sotsiaalanthropoloogilises lähenemises toimunud muudatusi: enamus tänapäeva antropolooge nõustuvad tõsiasiaga, et seoses Siberi ja Põhjaga tuleks uurida mitte ainult klassikalist etnograafilist objekti — “põlisrahvaid”, vaid ka kogu ülejäänud elanikkonda. Artiklis tehakse järeldus, et vaatamata muutustele objekti käsitlestes sotsiaalanthropoloogias ning sõnade «Сибирь» ja «сибиряк» tähenduse muutumisele vene keeles, jäävad need ikkagi sotsiaalanthropoloogiliste uurimuste “ideaalseteks objektideks”.

### **Kirjanduslik osis impeeriumi rahvuslikus projektis**

Ljubov Kisseljova

Käesoleva artikli teoreetilises sissejuhatuses käsitletakse kirjanduse rolli rahvuslikus ülesehituses, tuuakse esile selle konsolideeriv ja representeeriv funktsioon. Samuti rõhutatakse tõlgete rolli ja rah-

vuse kultuurialaste saavutuste esitlemise tähtsust teistes keeltes. Impeeriumi tingimustes tõstsid nimetatud faktorid rahvusvähemuste prestiiži ja aitasid kaasa edule võitluses rahvusliku enesemääratluse eest.

Käesoleva artikli analüüsi objektiks said kaks vene 1916. aasta projekti. Esimene — kogumik “Isamaa. Rahvuslike kirjanduste teed ja saavutused Venemaal. Rahvusküsimus”, tõlgete antoloogiaga kümnest keelest, sealhulgas ka eesti keelest, — kuulus konstitutsioonilis-demokraatlikule parteile. Autorid püüdsid vastandada ametlikule venestamispoliitikale ja rahvusliku alge allasurumisele Vene impeeriumi reformimise idee, mis põhineks rahvusliku eripära austamisel ja vähemuste õiguse kultuurilisele enesemääratlusele tunnustamisel. Kogumiku koostajad tõestasid paljurahvuselise riigi eeliseid unitaarriigiga võrrelduna Vene impeeriumi rahvaste rahvuskirjanduste saavutuste demonstreerimise kaudu. Teise projekti initsiaatoriks oli M. Gorki ja tema kirjastus «Парус»/Puri, kus ilmusid armeenia, läti ja soome kirjanduse antoloogiad. Gorki projekt oli palju “vasakpoolsem”, kuid selle realiseerimisel ilmnes vastuolu tekste väljavalivate rahvuslike komiteede marksistliku programmi ja vene tõlkijate vahel — viimaseid ei huvitanud sotsiaalne võitlus vaid saavutused esteetika vallas. Kumbki projekt ei teostunud täiel määral, kuna Vene impeerium lõpetas oma eksistentsi, kuid ilmunud antoloogiad soodustasid vaieldamatult nendes esitatud rahvusvähemuste kirjanduste lõimumist ülemaailmsesse kirjanduskonteksti.

### **Soome etnose tõlgendus A. Šahhovskoi kolmikteoses “Fin” ning selle allikas**

Dmitri Ivanov

Käesoleva artikli eesmärk on selgitada välja Šahhovskoi romantilise näidendi “Fin” (“Soomlane”) võimalikud allikad. Selle näidendi eriomadus on leedu ja balti-slaavi onomastikoni ning tavade kasutus soome omade asemel. Uurimuse tulemusena jõuab autor järelduseni, et draamakirjanik, kes püüdlas erinevate rahvaste eripära täpse kujutluse poole, kasutas oma teoses saksa etnograafi F. J. Mone raamatut “Geschichte des Heidenthums im nördlichen

Europa" (1823). Lähtudes ideedest, mis sellel perioodil Šahhovskoile huvi pakkusid, oletab artikli autor, et Mone Läänemere rahvaste kultuuri ühtsuse ja kontaktide teooria ning nende analoogiaid Vahemere rahvastega tõmbasid vene draamakirjaniku tähelepanu. Veel üks järeldus seisneb selles, et "Fini" kirjutamise ajendiks ei olnud mitte Puškini "Ruslan ja Ljudmila" (1820), vaid oli Mone raamat põhjamaade rahvaste mütholoogiast.

### **"Tuntud perekonnanimi": Poola patrioot krahv Faddei Tšatski**

Inna Bulkina

Artikkel on pühendatud ukraina-poola päritolu ühiskonnategelasele ja valgustajale, Volõõnia gümnaasiumi (Kremenetski Lütseumi) asutajale krahv *Faddei Tšatskile* (1765–1813). Tema maine Venemaa 19. sajandi esimese kolmandiku kirjanduslikes ja poliitilistes ringkondades võimaldab rekonstrueerida selle ajaloolise ja kultuurikonteksti, mis nii või teisiti võis assotsieeruda selle nimega Venemaal 1810.–1820. aastatel. Võimalike assotsiatsioonide väljas peab artikli autor silmas A. Gribojedovi komöödiat "Häda mõistuse pärast".

### **Brutus, Mazepa, Wallenrode: ukraina temaatika spetsiifikast K. Rõlejevi loomingus**

Heinrich Kirschbaum

19. sajandi alguses toimus vene kirjanduses Ukraina poeetiline avastamine. Ukraina paradoksaalne polüseemia tugevnes seejuures tänu Ukraina kasakate, kui impeeriumi ajalooliste ohvrite, kujutamisele Vene koloniaalpoliitika eelpostina. Ukrainast saab koht ja kaasosaline Venemaa võitluses nii Idaga (või Lõunaga: Krimmi khaaniriik) kui ka vastasseisus Läänega (Poola). See Ukraina poeetiline "russifitseerimine", mida omakorda võib nimetada ka Venemaa enese-ukrainastamiseks, toimub sama mudeli järgi nagu inglise kirjandus avastas Iirimaa ja (või) Šotimaa. Samasuguseks poeetiliseks kolooniaks, "vene Šotimaaks", osutub Ukraina. Kuid sarnasusse rolli pretendeeris ka tolle aja poola kirjandus. Ukraina teema

kujunes mõlemas kirjanduses uue rahvusliku süžee osaks, mis eeldas distantseerumist naabermaade rahvuslikest süžeedest. Lisaks sellele said Ukrainast ja ukraina kasakatest vabaduse idee kandjad ja allumatuse ning mässu sümbolid. Tähtsamaiks süžeeväljaks osutub nimetatud seoses Peetri “reetmine” Mazepa poolt.

Üheks olulisemaks tähiseks Ukraina teema käsitlemisel 19. sajandi alguse vene poeesias olid K. Rõlejevi “ukraina” tekstid. Käesolevas artiklis üritatakse näidata Ukraina-teema mõningaid iseärasusi poeedi-dekabristi loomingus tervikuna ja mazepa-kompleksis sealhulgas.

### **Etniline kuuluvus kui poeetika probleem (saksa päritolu tegelaskujud I. Turgenevi loomingus)**

Jelizaveta Fomina

Turgenevi sakslased moodustavad osa kirjaniku paljurahvuselisest kunstilisest maailmast, kuhu, lisaks venelastele, kuuluvad itaallased, prantslased, ukrainlased, juudid jt. Teistest rahvustest tegelaskujude küllus Turgenevi loomingus annab tunnistust sellest, et etniline kuuluvus (sotsiaalse, kultuurilise, soolise jm kuuluvuse kõrval), oli tema jaoks tegelaskujude iseloomustamisel üheks võtmehendiks. Kirjaniku teostes võib kohata erinevaid sotsiaalseid gruppe ja elukutseid esindavaid sakslasi: mentorid (professorid, õpetajad ja guvernerid), (mõisa)valitsejad, sõjaväelased, ametnikud, arstid. Kuid isegi ühe grupi sees ei ole kangelased ühetüübilised. Rahvuspõhiste tegelaskujude teiseks iseärasuseks on sakslastele iseloomulike omaduste ja stereotüüpide ülekandmine vene päritolu tegelaskujudele ja vastupidi. Tegelaskujude jooned lähtuvad kontekstist, põhjustades teatud määratletamatuse, mis omakorda raskendab saksa-päritolu tegelaste käsitlemist tervikliku grupina. Kangelase sõltuvus teose kunstilisest kontseptsioonist tingib ka olukorra, kus nende tegelaskujude rahuldava klassifikatsiooni andmine “väliste” — elukutse, sotsiaalne staatus, kultuuritase — tunnuste põhjal on võimatu. Eriti huvitavad on tekstid, kus kohtame erinevate rahvuste esindajatest esivanematega kangelasi, samuti paariskangelasi — venelasi ja “vene sakslasi”. Turgenev kasutab, nagu käesolevas artiklis demonstreeritakse, nende tegelaste kirjel-



dustes laialdaselt intertekstuaalseid viiteid ja autoreferentse. Turgenevi teistest rahvustest tegelaskujude omavahelised keerulised korrelatsioonid toovad välja, nagu johtub käesolevast artiklist, Turgenevi poeetika iseloomuliku eripära — ta opereerib piiratud valimiga süžeedest, teemadest, karakteritest luues seejuures nende põhjal igas uues tekstis uue “mustri”. Üheks vahendiks sellise varieerimise juures on saanud tegelaste rahvuslike joonte ümberadresseerimine.

**Vene rahvuslik iseloom kui “ilukirjanduslik pettus”  
(A. Pisemski jutustus “Metsavaim”)**

Aleksei Vdovin

Artiklis vaadeldakse 1850. aastate kriitikas esilekerkinud vaidlusi selle üle, kuidas peaks kujutama lihtrahva rahvuslikku iseloomu. Probleemi tunnetasid nii kriitikud, kui kirjanikud pigem jutustusekeskse kui ideoloogilisena: aadlikultuuris enesekirjelduseks välja-töötatud kirjanduslikud mudelid tunnistati lihtrahva kujutamisel kõlbmatuteks. A. Pisemski jutustuse “Metsavaim” näite varal demonstreeritakse käesolevas artiklis kuidas kirjanik, eksperimenteerides I. Turgenevi “Küti kirjade” traditsiooniga, püüdis, ühelt poolt, objektiviteerida jutustamist, elimineerides autori-jutustaja seisukoha, kuid teisalt — projitseeris jutustuse kollisiooni klassikalisele kirjanduslikule süžeele (A. Puškini “Poltaavale”). Taolise lihtrahva “kirjanduslikustamise” tulemusena tekkis 1850. aastatel terve rida “kanoonilisi” talupojakaraktoreid, kellest kujunesid rahvuslikud tüübid.

**Baltisakslased endast ja teistest**

Annelore Engel-Braunschmidt

Käesoleva artikli alusmaterjaliks on kaks Saksamaal ilmunud memuaaride kogumikku: *Baltische Lebenserinnerungen*, mille andis 1926. aastal välja A. Eggers, ja H. von Wistinghauseni poolt 1993. aastal välja antud *Zwischen Reval und St. Petersburg*, aga ka seni publitseerimata ja eravalduses olevad A. Raczynski (1870–1952) käsikirjalised perekonnamälestused. Nende näite varal on mugav jälgida, kuidas baltisakslased ennast identifitseerisid ja kui-

das mõistsid oma lähimaid naabreid — eestlasi ja lätlasi. Artiklis näidatakse, et baltisakslaste jaoks oli täiesti loomulik nimetada kolme Läänemere-äärset provintsi oma *isamaaks* (Vaterland); Saksamaad käsitleti kui kodumaad/emamaad (Mutterland), Venemaa oli *isamaaks* vaid pidupäevadel. Alles pärast Saksamaa ühinemist (1871) hakati provintse nimetama *kodumaaks* (Heimat) ning *isamaaks* kutsuti Saksamaad. Läti ja eesti talupoegi nimetasid sakslastest mõisnikud *Landvolk* (maarahvas) — kahe sotsiaalse grupi vahel eksisteeris püsiv omavaheline usaldamatus, kuigi mõnd sakslastest iseloomustas missioonitunne, mis leidis väljundi põlisrahvale hariduse andmises. Venemaa suhtes olid baltisakslastel kahetised tunded: teenistus õukonnas ja armees oli karjääri ja lisaprivileegide allikaks, samas pidasid nad venelasi tsiviliseerimatuteks ja võimetuteks midagi korda saatma. Sakslaste suhtumine juutidesse ja mustlastesse oli lojaalne ja pigem positiivne. Niipalju, kui on võimalik memuaaride põhjal otsustada, kujutas baltisakslaste keel endast saksa keele arhailist versiooni lisanditega vene, läti ja eesti sõnadest. Baltisakslased pidasid ennast tõelise saksa iseloomu kehastuseks, millele on omased vastutustunne, kohusetunne, äraostmatus, kord ja distsipliin.

### Sakslase kuju läti kirjanduses

Janina Kursite-Pakule

Lätlastel, nagu ka eestlastel, oli sakslase kuju kõige sagedamini esinevaks võõra kultuuri esindajaks kirjanduses ning ka publitsistikas. Sakslase kuju tervikuna ei omanud läti kirjanduses positiivseid konnotatsioone. Kuigi mitte alati ei olnud see üheselt negatiivne, samas positiivseks on teda ka raske nimetada. Läti kirjanikel ei olnud võimalik (subjektiivsetel või ideoloogilistel põhjustel) oma teostes näidata kuni 1939. a ühises kultuuriruumis elanud lätlaste ja baltisakslaste vahelise tulevase dialoogi perspektiive. Etniliste stereotüüpide dominant, antud juhul baltisakslaste suhtes, aga nende kaudu ka kõigi sakslaste suhtes, jäi vääramatuks. Üsna üksluisele pildile sakslaste kujutamisel läti kirjanduses vaatamata, on siiski viimastel aastatel täheldatav püüd eemalduda kõige püsivamast etnilisest stereotüübist, mille kohaselt on sakslane mitte ainult võõ-

ras, vaid ka oma olemuselt vaenulik inimene. Läti autorite kirjan-  
dusteaduslikes uurimustes osutatakse järjest rohkem tähelepanu  
baltisakslaste kirjanduspärandi uuele läbivaatamisele.

**“Truualamliku soomlase” kuju pragmaatika  
1809–1854. aastate ideoloogilistes tekstides**

Timur Guzairov

Artiklis käsitletakse metropoli poolt impeeriumi uue ääreala ideo-  
loogilise hõivamise küsimust. Kuigi Soome sai 1809. aastal Vene-  
maa osaks, olid põlisrahva ja tiitelrahvuse omavahelised suhted jät-  
kuvalt konfliktised. Keskvõimul oli vajadus luua mudelid näitamaks  
venelasi soomlastele soodsas valguses ja vastupidi. Artiklis kä-  
sitletud impeeriumi narratiivid kujundasid “reegliid” soovitava dia-  
loogi pidamiseks põlisrahva ja tiitelrahvuse esindajate vahel ning  
demonstreerisid nende edukat “toimimist”. Vastukaaluks reaalselt  
eksisteerivatele kujutelmadele rõhutasid tekstide autorid impee-  
riumi tsiviliseerivat missiooni, mõtestasid ümber negatiivse aja-  
loolise kogemuse, konstrueerisid alternatiivse soomlase kuju. Tao-  
line impeeriumi identiteedi loome- ja representatsioonimehhanism  
oli kutsutud looma lugejate silmis kujuteldavat ideoloogilist kons-  
sensust metropoli ja ääremaa vahel, konstrueerima positiivset ku-  
vandit allutatud põlisrahva ja tiitelrahvuse omavahelistest suhetest.

**A. K. Skuye jutustused vene noorsoole läti talupoegadest  
(1890. aastad)**

Jevgenia Nazarova

Kuni viimase ajani ei teadnud ei vene, ega läti ajaloolased midagi  
Moskva gümnaasiumiõpetaja, rahvuselt lätlase, Karl Aleksander  
Skuye elust ja loomingust midagi, kuigi tegemist oli silmapaistva  
isiksusega. Liivimaa kubermangu renditalupoja pojana kasvas  
Skuye üles kahe kultuuri — koduse läti ja saksa luterluse, mõjuväl-  
jas, sest ta võeti varases eas kasvandikuks kohaliku pastori pere-  
konda. See mõjutas tema maailmavaadet, kus Euroopa kultuu-  
ri (muusika, keelte, kirjanduse) hea tundmine põimus sügavalt läbi-



tunnetatud kristlike arusaamadega ligimesearmastusest. Kõik see ühines juba lapseeest läbitunnetatud teadmisega läti talupoegade majanduslikust ja sotsiaalsest sõltuvusest saksa parunitest. Sellele vaatamata pidi tema arvates õigluse taastamise algamiseks vene tsaar kui riigi kõrgeim võimukandja. Skuye vaated ja tunded väljendusid Moskvast 1897. aastal trükitud jutustustes, mis põhinesid mälestustel lapsepõlvest ja kodukandist. Skuye oli üks Vene impeeriumi läti rahvusest haritlastest, kes ei osalenud rahvusliku taassünni liikumises. Kuid just tema tutvustas esimesena vene noorsoole lätlasti ja Lätit arusaadavas ja kujukas vormis.

### **Leedulased 19.– 20. sajandi alguse vene kirjanduses**

Pavel Lavrinets

Leedulaste kujutamine vene kirjanduses erineb teiste Vene impeeriumi rahvaste eluolu, meelelaadi ja rahvusliku eripära kajastamisest. Leedulased figureerivad spetsiifilise minevikuga ballaadides, duumades, poemides, ajaloolistes jutustustes, ajaloolistes draamadest, ajaloolistes ja gooti romaanides. Neid kujutatakse eksootiliste sõjakate paganatena, kellele on omased primitiivsed, siirad ja sügavad tunded. Eelnevat selgitavad ajaloolised põhjused ja kirjanduslikud seaduspärasused. Kujutati ette, et tänu leedulaste katoliku usku ristimisele ja Leedu Suurvürstiriigi ühendamisele Poola kuningriigiga ning üldise poloniseerimisega, kaotasid leedulased oma rahvusliku eripära ja peaaegu kadusid. Muistse leedulase kuju konstrueeriti seetõttu antiteesina kaasaegsele, “omale” ja kultuursele.

### **“Poola küsimus” Fjodor Sologubi lüürikas ja publitsistikas**

Tatjana Misnikevitš

Artiklis käsitletakse rahvusliku eneseteadvuse teema üht aspekti Fjodor Sologubi teostes — kirjaniku Venemaa tunnetamist riigina, kus kohtuvad Ida ja Lääs ja, mis eriti oluline, kes ei ole veel lõplikult määratlenud oma prioriteete. Nimetatud aspekt aktualiseerus Sologubi lüürikas ja publitsistikas seoses Esimese maailmasõja puhkemisega. Saksamaa vägede pealetung Vene impeeriumi lää-



nepoolsetel äärealadel kutsus vene literaatide seas esile järsu huvi kasvu juba iidsest ajast pärineva valupunkti — “Poola küsimuse” vastu Vene riigi sise- ja välispoliitikas. Sologub lülitus aktiivselt Venemaa ja Poola suhteid lahkavasse diskussiooni. Vallandunud üleeuroopalise konflikti situatsioonis nägi ta Poolat lähima vahendajana Venemaa ja Euroopa vahel. Sologub väljendas oma toetust Poolale luuletustes «Стансы Польше» (12. augustil 1914), «Братьям» (8. oktoobril 1914) jt. Sologubi poola-temaatilisi luuletusi võib vaadelda kui slaavlaste “peresisese vaenu” refleksiooni, mille algatas Puškin oma luuletuses «Клеветникам России»/Venemaa laimajatele (1831). Nagu Puškin, nii toetab ka Sologub tema ajastule aktuaalset üldriiklikku seisukohta Poola suhtes, mille kohaselt peab Venemaa slaavi riigina kaitsma oma venda kogu slaavi maailma ähvardava saksa agressori eest. Samas ei ole siiski ka tema jaoks “leppimine” Läänega “Poola näol” esmajärgulise tähtsusega, vaid ikkagi oma rahvuslike huvide kaitsmine.

### **«Лукоморье»: ühe “natsionalistliku” ajakirja lugu**

Oleg Lekmanov

Käesolevas artiklis antakse ülevaade M. A. Suvorini ajakirjast «Лукоморье», mis ilmus aastatel 1914–1917. Selle ülevaate eesmärk on algtada ajakirja, mille maine kaasaegsete ja järeltulevate põlvete silmis oli rikkunud väljaandja odioosne reputatsioon, objektiivne käsitlemine. Tehakse katse näidata, et «Лукоморье» oli, eelkõige, kunstiline, mitte ideoloogiline projekt, millesse olid kaasatud osalema G. Ivanov, M. Kuzmin, F. Sologub ja teised tuntud ”hõbeajastu” prosaistid ja poeedid. Väga tõsiselt mõjutas Suvorini ajakirjas ilmuva luule ja proosa taset Esimene maailmasõda.

### **Poola kõrkus ja tatari ike Tsvetajeva luuletustes Ahmatovale**

Roman Voitehhovitš

Käesolev artikkel pakub välja uue rakursi, vaatlemaks, kuidas suhestub Ahmatova kuju Tsvetajeva luules oma allikatega. Ahmatova “portree” peamiseks allikaks ei ole mitte tema poetiline maailm,

vaid kaasaegsete (Blok'i jt) ja Tsvetajeva enda reaktsioon Ahmatova isiksusele. Tsvetajeva jaoks on poeetiliste väljenduste kõige tähtsamaks allikaks adreassaadi nimi, milles rõhutatakse ka seost tatarlastest esivanematega. Ahmatova välimuse eksootilised jooned aitasid kaasa poeedi varasele populaarsusele, tehes temast Cherubina de Gabriaki mantlipärija. Aastatel 1913–1915 omandab Tsvetajeva ja töötab aktiivselt ümber Ahmatova loomingu teemaderingi ja kunstilisi võtteid. See, mis teda varem eemale tõukas, äratas nüüd tähelepanu ja tsükilis "Ahmatovale" lõi Tsvetajeva kujundi võõrast jõust, mis allutas Venemaa (allusioon mongoli-tatari ikkega). Püüdes Ahmatovaga võrdne olla, projitseerib Tsvetajeva enast analoogilisele, mitte küll idamaisele, vaid läänelikule vallutajale — Marina Mnišeki kujule. See avaldub nii otsestes pühendustes Ahmatovale kui ka seal, kus äratuntav poleemika või dialoog Ahmatovaga puudub. Näiteks, motiveerib Ahmatova loomingu poleemiline parafras lisama luuletusse «Старинное благоговение» poola koloriiti.

### **Isiku ja rahvuse arenemisest Tammsaare romaanis "Ma armastasin sakslast" (vene kirjanduse traditsiooni roll)**

Lea Pild

Artiklis analüüsitakse 19. saj vene kirjanduse funktsiooni Tammsaare romaanis "Ma armastasin sakslast". Seda Tammsaare teost võib pidada "arenguromaaniks". Arenguromaan on kirjaniku loomingu kesksemaid žanre, arenemine (aeglane evolutsioon) vastandub tema vaadetes kataklüsmidele, katastroofilistele (revolutsioonilistele) ajaloosündmustele. Eeskätt võib märgata arenguromaanilise jooni "Tões ja õiguses" (Indreku liin); mõned autorid on püüdnud rääkida ka "Elust ja armastusest" kui arengu- (kasvatus) romaanist (vt [Annist 1938: 16]). Sellele pole aga millegipärast osutatud romaanis "Ma armastasin sakslast" käsitluste juures. Nagu teada, kirjutab Tammsaare 1930. a esimesel poolel üsna palju rahvuse (rahvuste) ning kultuuri probleemidest. Kirjaniku mõtiskluste keskmeks kujuneb seejuures erinevate Euroopa (ja maailma) rahvuste/kultuuride võrdlus. Oluline koht kuulub saksa ning vene rahvuste hinnangule ning saksa, vene ja eesti rahvuslike iseloomude

kõrvutamisele. Seoses viimasega aktualiseerub Tammsaare teadvuses ka huvi vene 19. saj teises poole proosa vastu. Teoses leiame arvukalt reministsentse Turgenevi, Gontšarovi ning Dostojevski teostest: romaani süvakihtidesse on peidetud peategelase Oskari sarnasus “üleliigse inimese” kujuga. Romaanis “Ma armastasin sakslast” on Tammsaare esile tõstnud armastuse ja loovuse/loomingu kui olulisemad tõukejõud/impulsid isiku (ning ka rahvuse) hingelise ja vaimse arengu teel. Samas aga kujuneb romaan omapäraseks *hoiatuseks* eesti intelligentsile: kaasaegsed arengutendentsid võivad põhjustada *oma maa* kultuuri unustanud haritlaste *üleharust* rahvuse kui terviku raames ning tuleks õppida teiste rahvuste vigadest, et neid mitte oma arengus korrata.

#### **A. Baiov — vene kindral Eesti riigi teenistuses**

Roman Abisogomjan

Käesolevas artiklis vaadeldakse Vene keiserliku armee Kindralstaabi kindral-leitnandi A. Baiovi tegevust õppejõuna Eesti Vabariigi sõjalistes õppeasutustes 1920. aastate esimesel poolel.

## ОБ АВТОРАХ

**Роман Абисогомян** (Таллинн) — МА, докторант Гуманитарного института Таллиннского университета. Основные области научных интересов: культура русского зарубежья 1920–30-х гг., история русской эмиграции в Эстонии 1920–30-х гг.

**Инна Булкина** (Киев) — PhD, старший научный сотрудник Украинского Центра культурных исследований (Киев). Основные направления научной работы: история русской литературы начала XIX в., романтическая культура, украинская культурная топография.

**Николай Вахтин** (Санкт-Петербург) — доктор филологических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалист по языкам и культурной антропологии коренного населения Крайнего Севера. Автор работ по грамматике эскимосско-алеутских языков, по социолингвистике.

**Алексей Вдовин** (Тарту) — PhD, сотрудник кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные области научных интересов: история русской литературы и критики середины XIX в.

**Роман Войтехович** (Тарту) — PhD, лектор кафедры русской литературы Тартуского университета. Область научных интересов: литература XX в., творчество М. Цветаевой, рецепция античности в русской литературе, поэтика, риторика, стиховедение.

**Тимур Гузаиров** (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные области научных интересов: история русской литературы и общественной мысли первой половины XIX в., взаимодействие русской и эстонской культур.

**Борис Егоров** (Санкт-Петербург) — доктор филологических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Ин-



ститута истории РАН. Основные области научных интересов: история и семиотика русской литературы XIX в., история журналистики XIX в., наследие и биография Ю. М. Лотмана.

**Дмитрий Иванов** (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные области научных интересов: история русской литературы и театра XVIII – первой половины XIX вв., творчество А. А. Шаховского.

**Генрих Киршбаум** (Пассау) — PhD, научный сотрудник кафедры славянских культур и литератур Университета г. Пассау. Основные области научных интересов: Мандельштам, русско-польские и русско-немецкие культурные связи, поздние и постсоветская филологическая культура, современная поэзия.

**Любовь Киселева** (Тарту) — PhD, ординарный профессор, зав. кафедрой русской литературы Тартуского университета. Основные области научных интересов: история и семиотика русской культуры XVIII – первой половины XIX вв., русская литература в инонациональном культурном контексте, взаимодействие русской и эстонской культур.

**Янина Курсите-Пакуле** (Рига) — профессор Латвийского университета, действительный член АН Латвии, хабилитированный доктор филологических наук, фольклорист, литературовед.

**Павел Лавринец** (Вильнюс) — PhD, доцент кафедры русской филологии Вильнюсского университета. Область научных интересов включает историю русской литературы, русско-польских и русско-литовских литературных связей, русской литературы и культуры в Литве.

**Олег Лекманов** (Москва) — доктор филологических наук, профессор МГУ и РГГУ. Область профессиональных интересов: русская литература XIX–XXI вв., история и поэтика кино.

**Роман Лейбов** (Тарту) — PhD, доцент кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные области научных интересов: история русской литературы XIX в., творчество

Ф. Тютчева, гуманитарное измерение Интернета, русский литературный канон.

**Татьяна Мисникевич** (Санкт-Петербург) — кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Основные области научных интересов: творчество Ф. Сологуба, история и текстология русской литературы конца XIX — начала XX вв., источниковедение.

**Евгения Назарова** (Москва) — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН, специалист по истории стран и народов Балтии, редактор-составитель серии «Россия и Балтия».

**Андрей Немзер** (Москва) — кандидат филологических наук, профессор кафедры словесности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», обозреватель отдела культуры газеты «Время новостей». Основные научные интересы: русская литература XIX — начала XXI вв. творчество Жуковского, А. К. Толстого, Тынянова, Солженицына, Самойлова.

**Александр Осповат** (Лос-Анджелес / Москва) — профессор Калифорнийского университета, старший научный сотрудник Института мировой культуры МГУ. Область научных интересов: русская литература и культурная мифология первой половины XIX в.

**Пекка Песонен** (Хельсинки) — PhD, профессор (эмеритус) русской литературы Хельсинкского университета. Литературовед, критик, культурный деятель. Основные области интересов: русский символизм, современная русская литература, русско-финские литературные связи, культурная семиотика.

**Леа Пильд** (Тарту) — PhD, доцент кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные направления научной работы: история и поэтика русской литературы второй половины XIX — начала XX вв., русский символизм и предсимволизм; взаимодействие русской и эстонской культур.

**Галина Пономарева** (Таллинн) — PhD, старший научный сотрудник Института славянских языков и культур Таллиннского университета. Основные области научных интересов: история русской литературы XX века, русско-эстонские литературные отношения, староверы в Эстонии.

**Мария Сморжевских-Смирнова** (Таллинн) — МА, докторант Таллиннского университета (отделение теории культуры), область научных интересов: история, культура и идеология Петровской эпохи.

**Евгений Сошкин** (Иерусалим) — аспирант кафедры славистики Еврейского университета в Иерусалиме. Основная область научных интересов: творчество О. Мандельштама.

**Татьяна Степанищева** (Тарту) — PhD, лектор кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные области научных интересов: история и поэтика русской литературы первой половины XIX в.; взаимодействие русской и эстонской культур.

**Елизавета Фомина** (Тарту) — докторант кафедры русской литературы Тартуского университета. Научные интересы: русская проза XIX в., творчество И. С. Тургенева.

**Татьяна Шор** (Тарту) — PhD, главный специалист отдела использования Национального архива Эстонии. Основные направления научной работы: история русского литературоведения, источниковедение, биографика, культурология.

**Бен Хеллман** (Хельсинки) — PhD, профессор по русской литературе Хельсинкского университета. Основные области научных интересов: Л. Н. Толстой, русская литература начала XX в., Л. Андреев, русская детская литература, русско-финские культурные связи.

**Аннелоре Энгель-Брауншмидт** (Киль) — PhD, профессор-эмеритус Кильского университета. Исследователь русской и советской литературы XX в., русско-немецких культурных контактов.

# MYTHOLOGY OF CULTURAL SPACES

## CONTENTS

A Homage to Sergei Isakov .....	7
Editorial Preface .....	11
Boris Yegorov. On Sergei Isakov (From the Correspondence of Yu. Lotman and B. Yegorov, 1958–1963) .....	17

### I

Maria Smorzhevskikh-Smirnova. Paradise in the Geography of Peter the Great .....	28
Roman Leibov, Aleksandr Ospovat. On the Polish Theme in Khomyakov's Writings .....	44
Ben Hellman. "Much! Much! Much!" Finnish Exhibition in Petrograd in 1917 .....	52
Eugene Soshkin. Between the Grave and the Prison: O. Mandelstam's "The Blue Eyes and a Hot Frontal Bone..." at the Crossroads of Poetic Codes (Part 2) .....	74
Galina Ponomareva. Soviet Mythology of Estonian Space ("Red Russia" and "Blood-stained Estonia") .....	109
Tatyana Shor. "Oh, Divine Island of Valaam!": Pilgrimage to Valaam in Russian Literature and Estonian Political Journalism of the 1930s .....	121
Tatyana Stepanisheva. "And He Fancied Russia...": A Ballad by D. Samoilov and Its Translation by J. Cross .....	145



Andrei Nemser. Two Muscovite Poems by D. Samoilov .....	163
Pekka Pesonen. Russia as a Mythologized Space in Contemporary Finnish Literature .....	184
Nikolai Vahtin. From "Wilderness" to "Otherwise": on the Evolution of the Image of Siberia and the North in Russian Language .....	203

## II

Lyubov Kiseleva. The Literary Component in the Imperial National Project .....	217
Dmitri Ivanov. The Finnish Ethnos in A. Shakhovskoi's Trilogy "Finn" and Its Sources .....	234
Inna Bulkina. "The Famous Name": Count Tadeusz Czacki, A Polish Patriot .....	250
Heinrich Kirschbaum. Brutus, Mazepa, Wallenrod: Ukrainian Themes in the Writings of K. Ryleev .....	265
Elizaveta Fomina. Ethnicity as an Issue of Poetics (German Characters in the Works by I. Turgenev) .....	278
Aleksei Vdovin. Russian National Character as "Literary Deception" (Pisemskii's "Leshii") .....	301
Annelore Engel-Braunschmidt. Baltic Germans on Themselves and Others .....	318
Janina Kursite-Pakule. The Images of Germans in Latvian Literature .....	337
Timur Guzairov. "Loyal Finn": A Political Concept and its Pragmatics in Ideological Texts, 1809–1854 .....	349

Eugenia Nazarova. Karl Alexander Skuye and his Short Stories on Latvian Peasants for the Russian Youth: the 1890s .....	373
Pavel Lavrinets. Lithuanians in Russian Literature in the 19 <sup>th</sup> – early the 20 <sup>th</sup> century .....	384
Tatyana Misnikevich. The “Polish Question” in the Poetry and Political Essays of Fedor Sologub .....	401
Oleg Lekmanov. “Lukomorie”: On the History of a “Nationalistic” Magazine .....	411
Roman Voitehovich. The Polish Pride and the Tatar Yoke in Tsvetayeva’s Poems to Akhmatova .....	427
Lea Pild. On the Evolution of an Individual and a Nation in the Novel “I Used to Love a German Woman” by A. H. Tammsaare (Role of Russian Literary Tradition) .....	451
Roman Abisogomyan. A. Baiov: A Russian General in Estonian Service .....	468
Summaries in Estonian .....	482
About the Contributors .....	498

# ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С 1993 г.

## СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

### **Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Новая серия**

Вып. 1. Тарту, 1994.

Вып. 2. Тарту, 1996.

Вып. 3: К 40-летию «Тартуских изданий». Тарту, 1999.

Вып. 4. Тарту, 2001.

Вып. 5. Тарту, 2005.

Вып. 6: К 85-летию Павла Семеновича Рейфмана. Тарту, 2008.

Вып. 7. Тарту, 2009.

### **Блоковский сборник**

Вып. XII. Тарту, 1993. Том посвящен памяти З. Г. Минц.

Вып. XIII: Русская культура XX века: метрополия и диаспора. Тарту, 1996.

Вып. XIV: К 70-летию З. Г. Минц. Тарту, 1998.

Вып. XV: Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX–XX вв. Тарту, 2000.

Вып. XVI: Александр Блок и русская литература первой половины XX века. Тарту, 2003.

Вып. XVII: Русский модернизм и литература XX века. Тарту, 2006.

Вып. XVIII: Россия и Эстония в XX веке: диалог культур. Тарту, 2010.

### ***Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia***

Вып. IV: «Свое» и «чужое» в литературе и культуре. Тарту, 1995.

Вып. VI: Проблемы границы в культуре. Тарту, 1998.

Вып. VIII: История и историософия в литературном преломлении. Тарту, 2002.

Вып. X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи. Тарту, 2006. Т. 1–2.

### **Пушкинские чтения в Тарту**

Вып. 2: Материалы международной научной конференции 18–20 сентября 1998 г. Тарту, 2000.

Вып. 3: Материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева. Тарту, 2004.

Вып. 4: Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария. Материалы международной конференции. Тарту, 2007.

Вып. 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон: К 85-летию Ларисы Ильиничны Вольперт. Тарту, 2011. Ч. 1–2.

### **Русская филология**

Вып. 6–22: Сборники науч. работ молодых филологов (Раздел «Литературоведение»). Тарту, 1995–2011. Материалы ежегодных международных студенческих конференций в Тарту.

## **ВНЕСЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ**

**Классицизм и модернизм.** Сб. статей. Тарту, 1994. (Совместно с Институтом славянских и балтийских языков Стокгольмского ун-та).

**Культура русской диаспоры: Саморефлексия и самоидентификация:** Материалы международного семинара. Тарту, 1997. (Совместно с кафедрой русской литературы Таллиннского пед. ун-та).

**Тютчевский сборник II.** Тарту, 1999. (Совместно с Институтом славянских и балтийских языков Стокгольмского ун-та).

**Лотмановский сборник 3.** М.: О.Г.И., 2004.

**Тартуские тетради** / Сост. Р. Г. Лейбов. М.: О.Г.И., 2005.

*Лекомцева М. И.* Устройство языка. Сб. трудов. М.: О.Г.И., 2007.



*Войтехович Р. С.* Античные мотивы в творчестве Марины Цветаевой. Тарту, 2007.

**Путеводитель как семиотический объект.** Тарту, 2008.

**Соп amore:** Историко-филологич. сб. в честь Любви Николаевны Киселевой. М.: О.Г.И., 2010.

#### ГОТОВЯЩИЕСЯ К ПЕЧАТИ ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Новая серия. Вып. 8.

Русская филология. Вып. 23.



ISSN 1239-1611  
ISBN 978-9949-19-852-8